

РОССИЯ ВЕК XX (1939 – 1964)

Вадим КОЖИНОВ

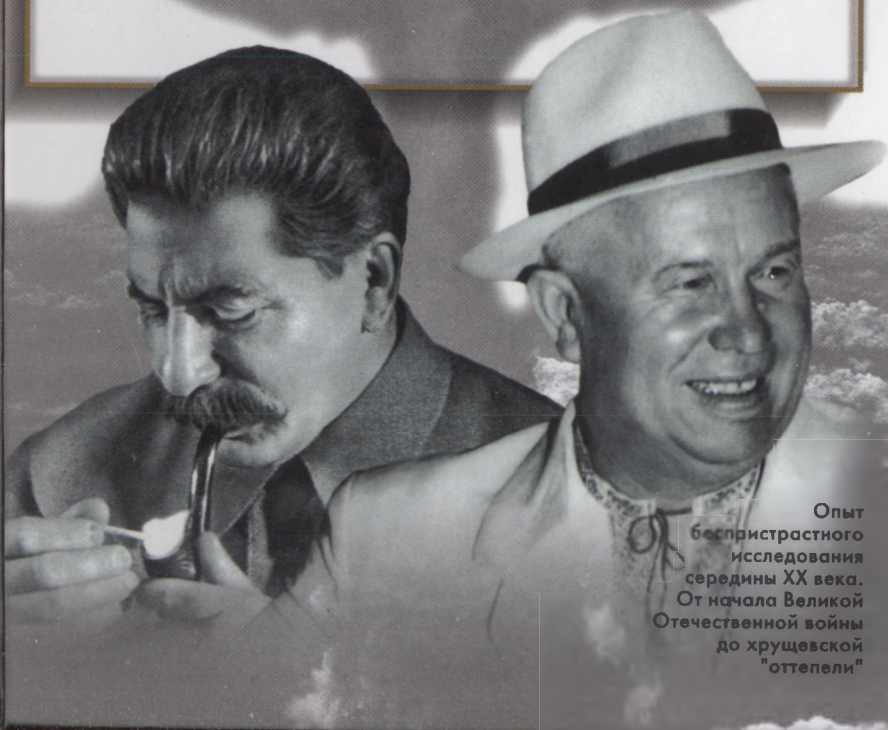
ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

РОССИЯ ВЕК XX (1939 – 1964)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР

Вадим КОЖИНОВ

ЭКСМО



Опыт
беспристрастного
исследования
середины XX века.
От начала Великой
Отечественной войны
до хрущевской
"оттепели"

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР**

RECEIVED
JAN 10 1964

100

100

100

.

Вадим КОЖИНОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

**РОССИЯ.
Век XX
(1939–1964)**

МОСКВА


«АЛГОРИТМ»

2 0 0 5

УДК 882
ББК 63.3(2)
К 58

Оформление художника *А. Новикова*

Кожин В. В.
К 58 Россия. Век XX. (1939—1964). — М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. — 448 с.

ISBN 5-699-09129-7

Эта работа известного русского историка и литературоведа Вадима Валериановича Кожина является продолжением книги «Россия. Век XX (1901—1939)». В ней подробно, с позиций сегодняшнего дня исследуется история Великой Войны, как ее именует автор, и вскрываются ее *истинные* причины. Во многом подход автора к истории этого мирового кровавого побоища неординарен и даже неожидан. «Загачным» считает В. Кожин и период 1946—1953 годов в истории России. И, наконец, поновому пытается взглянуть на феномен личности и правления Н. С. Хрущева.

УДК 882
ББК 63.3(2)

ISBN 5-699-09129-7

© ООО «Издательство «Эксмо», 2005
© Издательство «Алгоритм», 2005

От автора

Эта книга представляет собой прямое продолжение моей изданной в начале 1999 года книги «Россия. Век XX. 1901—1939. От начала столетия до «загадочного» 1937 года», но вместе с тем имеет вполне самостоятельное значение. Ведь и сам период нашей истории с 1939-го (год начала Второй мировой войны) по 1964-й («критически» мыслящие авторы объявили его годом начала «эпохи застоя», но это весьма одностороннее определение)* — период, имеющий свой особенный смысл и свои особенные вехи, связанные с судьбоносными годами: 1941, 1945, 1953, 1956-й...

Помимо прочего, я стремился в тех случаях, когда для понимания событий 1939—1964 годов необходимо учитывать те или иные события предшествующих десятилетий XX века, вкратце напомнить об этих событиях. Словом, эта книга — опыт исследования двадцатипятилетнего периода отечественной истории, периода, который естественно разделяется на время войны, послевоенное восьмилетие (до смерти Сталина) и годы хрущевского правления.

*«Застой», конечно, имел место, но вместе с тем *впервые с начала XX века* наша страна в течение двух десятилетий (вторая половина 1960-х — первая половина 1980-х) не была погружена в стихию резких перемен, переворотов, катастроф... Как заметил близко знакомый мне самобытный стихотворец Николай Глазков (1919—1979):

... Чем эпоха интересней для историка, —
Тем она для современника печальней...

Часть первая 1939 – 1945



ИСТИННЫЙ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Глава первая

ВОЙНА И ГЕОПОЛИТИКА

Датировка войны в названии этой части моего сочинения может несколько смутить, ибо в сознании большинства людей война датируется 1941—1945 годами. Вполне естественно, что Великая Отечественная война как бы заслонила собой предшествующий период. Тем не менее участие СССР в войне началось уже в 1939 году на тогдашних территориях Польши и — в гораздо больших масштабах — Финляндии. Александр Твардовский в написанном в 1943 году стихотворении назовет финскую войну «незнаменитой», но она все же, увы, имела место. И нельзя полноценно понять войну 1941—1945 годов без понимания того, что происходило начиная с 1939 года и называется в целом Второй мировой войной.

Не умаляя достоинств многих книг и статей об этой войне, приходится все же сказать, что господствующие представления о ней страдают поверхностностью, то есть, в конечном счете, не являются истинными. Делу мешает, в особенности, *идеологизированность* сочинений о великой войне, — притом даже не столь уж важно, какая именно идеология перед нами — коммунистическая или, напротив, антикоммунистическая, широко внедрившаяся в сочинения об этой войне, публикуемые в последние годы. Толкование столь грандиозного события в свете какой-либо идеологической тенденции заведомо не дает возможности понять ее действительный смысл во всей его полноте и глубине.

Надеюсь, не вызовет спора утверждение, что эта война — одно из наиболее значительных событий Истории во всей ее целостности, кардинально изменившее само состояние мира. Так, например, едва ли можно усомниться, что последствием этой войны явилось потрясение и, затем, быстрое отмирание существовавшей уже более *четырёх столетий колониальной системы*, во многом определявшей бытие Азии, Африки и Латинской Америки — хоть и не была вообще ликвидирована зависимость этих континентов от стран Западной Европы и США.

И есть все основания утверждать, что в этой войне решались именно судьбы *континентов*, а не только отдельных государств и народов, — притом судьбы в многовековом, даже тысячелетнем плане, а не в рамках отдельного исторического периода; уместно определить эту войну как событие самого глубокого и масштабного *геополитического значения*.

Понятие о геополитике получило у нас права гражданства совсем недавно. В последнем издании Большой Советской Энциклопедии было безоговорочно объявлено: «Геополитика — буржуазная реакционная концепция» и т. д. (т. 6, с. 316; 1917 год). Сам термин «геополитика», соединяющий древнегреческие слова «земля» и «управление государством», толкуют весьма различно. Я считаю возможным употреблять его в достаточно простом и ясном значении: речь идет о единстве определенного земного *пространства*, определенной «территории» и сложившегося на ней (существовавшей, так сказать, извечно) *государства* либо взаимосвязанной совокупности государств. Предмет геополитического мышления — это обладающие более или менее органичным единством «земли-государства», закономерно стремящиеся, в частности, к сохранению своих границ.

Наиболее крупный геополитический феномен — континент-государство, или, вернее, континент-империя. С внешней точки зрения Европа, например, представляется суммой отдельных земель-государств, однако в тысячелетней европейской истории не единожды создавалась так или иначе, в той или иной мере объединявшая континент *империя*, которая как бы существует *подспудно* и тогда, когда ее нет налицо. Об этом проникновенно писал еще полтора века назад великий поэт и мыслитель Федор Тютчев.

Кстати сказать, геополитическое мышление обычно счита-

ют чисто «западным» изобретением. Сам термин «геополитика» действительно предложил в 1916 году шведский социолог Рудольф Челлен (1864—1922), но образцы подлинно геополитического мышления содержатся в сочинениях и Тютчева, и других крупнейших русских мыслителей прошлого столетия — Петра Чаадаева (1794—1856), Николая Данилевского (1822—1885), Константина Леонтьева (1831—1891). Однако, как ни прискорбно, русская мысль в ее самых глубоких и масштабных воплощениях была фактически «отвергнута» господствующими идеологами еще задолго до Революции и, тем более, после нее. А между тем, скажем, понимание соотношения Европы и России, выразившееся в сочинениях только что названных русских мыслителей, способно дать для постижения истинной сущности Второй мировой войны много больше, чем теоретические рассуждения о ней ее современников...

Не исключено такое опасение: стремясь к геополитическому мышлению о войне, не колеблю ли я тем самым столь дорогое миллионам русских людей понятие «Великая Отечественная война»? Не растворится ли в «глобальных» перспективах смысл самоотверженной защиты Отечества? Но на эти вероятные вопросы ответит эта часть моего сочинения в ее целостности.

Поскольку война была грандиозным мировым событием, а СССР-Россия играла в этой войне существеннейшую и во многом просто главнейшую роль (превосходя в этом отношении даже свою роль в войне 1812—1814 годов), необходимо рассматривать отечественную историю данного периода в самом широком — всемирном — контексте, ибо без этого и невозможно понять ее истинный смысл. И, значит, не следует видеть нечто излишнее в характеристиках тогдашнего положения в целом ряде стран мира; в данном случае это не уход от собственно отечественной истории, а стремление осмыслить ее во всей ее полноте и глубине.

К тому же ход войны непосредственно в отечественных пределах, начиная с 22 июня 1941 года, достаточно хорошо известен многим людям, но гораздо менее ясен тот ее всемирный контекст, о котором прежде всего пойдет речь.

Наконец, положение той или иной страны — в данном случае России — в мире, ее взаимоотношения с миром наиболее глубоко и остро выявляются, обнаруживаются именно в ситуа-

ции грандиозной войны, и, осмысляя тему «Россия и мир во время Второй мировой войны», можно полнее и истиннее понять это положение и эти взаимоотношения вообще, — то есть в прошлом, настоящем и будущем. Наше, нынешнее время — это уже значительно отдаленное от войны будущее, но, как представляется, верное понимание того, что имело место более полувека назад, дает возможность вернее понять многие *сегодняшние* явления и события, — вернее, чем при, так сказать, прямом взгляде на них. Правда, для этого необходимо именно верное понимание великой войны.

Господствующее понимание периода 1941—1945 годов как противоборства СССР и Германии и, тем более, как схватки большевизма с нацизмом — по сути своей узко и поверхностно. Несостоятельность последнего толкования убедительно показана, например, в недавнем основательном исследовании О. Ю. Пленкова «Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм» (СПб, 1997). При всех своих «особенностях» нацистская Германия прямо и непосредственно продолжала то мощное устремление к *первенству* в Европе и, в известной степени, в мире вообще, которое в продолжение веков определяло путь германской нации. Основная тема книги О. Ю. Пленкова — «теория» и «практика» Германии в период с 1871 года, когда заново свершилось *объединение* этой страны, которая в течение долгого времени являла собой конгломерат разнородных государственных образований (и, следовательно, 1941-й год реально готовился семь десятилетий). Даже сугубо «либеральный» германский социолог Макс Вебер писал во время Первой мировой войны: «...мы, 70 млн. немцев... обязаны быть империей. Мы должны это делать, даже если боимся потерпеть поражение»¹(!).

Корни этого германского устремления к имперскому «первенству» уходят очень далеко в глубь истории. Апелляцию нацистов к средневековой Германии чаще всего истолковывают как чисто идеологическое предприятие, как конструирование мобилизующего нацию *мифа*. Но с точки зрения геополитики проблема гораздо более существенна, чем может показаться. Ведь именно *германские* племена создали объединившую основное пространство Европы империю Карла Великого (800—814 гг.), на фундаменте которой позже, в X—XI веках, сложи-

лась Священная Римская империя германской нации (правда, последние два слова были добавлены в это название еще позже, в XV столетии). И именно «империя германской нации» в прямом смысле слова *создала* тысячелетие назад то, что называется «Европой», «Западом», и начала «Drang nach Osten» — геополитический «Натиск на Восток». Поэтому присвоение 21 июля 1940 года плану войны против СССР-России названия «План Барбаросса» — по прозвищу императора в 1155—1190 гг. Фридриха I (Краснобородого) — не являлось чисто риторической акцией.

Главное здесь в том, что «империя германской нации» объединила Европу в определенную целостность и так или иначе правила ею в течение нескольких столетий. Могут возразить, что дело идет о слишком давнем времени, с которым Германию XX века можно связывать только теоретически. Ведь к концу Средневековья Священная Римская империя утратила свое верховное значение, и Европа предстала как совокупность отдельных более или менее замкнутых в себе земель-государств.

Однако, как уже сказано, историческое бытие Европы время от времени порождало *новую* империю, которая так или иначе объединяла континент. После потери «германской нацией» ее верховной имперской роли (позволительно высказать мнение, что это объяснялось «перенапряжением» национальных сил) первенство постепенно перешло к Испании, и в 1519 году ее король Карл I становится императором Священной Римской империи Карлом V и в той или иной мере заново объединяет Европу, — уже не как представитель «германской нации» (хотя он и принадлежал к имевшей германское происхождение династии Габсбургов). В «испанский» период европейская империя осуществляет мощную колониальную экспансию на другие континенты, а с конца XVI века первенство в «колонизации» мира переходит к Великобритании (она сохраняла эту свою роль до XX века, что во многом определило расстановку сил во Второй мировой войне).

Далее, на рубеже XVIII—XIX веков Европа (кроме опять-таки Великобритании) превращается в Наполеоновскую империю, также устремленную и на другие континенты. Но затем начинается упорное соперничество Франции и заново объединявшейся Германии, завершившееся сокрушительной победой последней в 1871 году; кстати сказать, для создания империй

вообще типично мощное применение военной силы (время с 1871 до 1918 года, когда Германия потерпела поражение в мировой войне, — это Вторая империя, Второй рейх; с 1933-го началась очень краткая история Третьего рейха...).

К концу XIX века внимательным наблюдателям стало ясно, что Германия неотвратимо стремится (и имеет серьезные основания стремиться) к первенству в Европе. Это явилось исходной причиной и Первой, и Второй мировых войн, притом уже в самом начале Второй Германия смогла действительно — и почти невероятно быстро — осуществить (пусть и ненадолго) свое устремление. Начав боевые действия в сентябре 1939 года, к июлю 1940-го она фактически «объединила» под своей эгидой всю континентальную Европу, хотя ее «окраинные» юго-восточные страны — Греция и Югославия — были присоединены несколько позже, к июню 1941 года.

Притом, вторгаясь в пределы той или иной европейской страны, германские войска встречали тогда способное изумить своей нерешительностью и слабостью сопротивление. Так, германское вторжение в Польшу началось 1 сентября 1939 года, а уже 17 сентября польское правительство покинуло страну. С Францией дело обстояло еще удивительнее: германские войска фактически начали захват страны 5 июня 1940 года, а 14 июня они уже овладели Парижем, — между тем как в Первую мировую войну Германия целых *четыре года* тщетно пыталась сделать это...

Начало германского овладения Европой получило во Франции название «странная война» (*drôte de guerre*), в Германии — «сидячая война» (*Sitzkrieg*), в США — «мнимая» или «призрачная» (*phony war*). И, строго говоря, *реальная* война — о чем еще будет речь — началась лишь 22 июня 1941 года... Кратковременные схватки вооруженных сил той или иной европейской страны с перешедшими ее границу германскими войсками являли собой скорее формальное соблюдение извечного «обычая» (нельзя же, мол, попросту впустить в свою страну чужую военную силу!), нежели действительную войну с врагом.

Очень много написано о последующем европейском «движении Сопротивления», наносившем будто бы громадный ущерб Германии, а кроме того (и это, пожалуй, главное), свиде-

тельствующем, что Европа-де наотрез отвергала свое объединение под германским главенством.

Но масштабы Сопrotивления — исключая разве только тогдашние события в Югославии, Албании и Греции — весьма сильно преувеличены в идеологических целях. Нет сомнения, что режим, устанавливаемый Германией, вызывал решительный протест тех или иных общественных сил в европейских странах. Однако сопротивление режиму имело место ведь и *внутри* Германии, в самых различных слоях ее населения — от потомков германской аристократии до рабочих-коммунистов, но оно, вполне понятно, ни в коей мере не являло собой сопротивление *страны и нации* в целом. И, при всех возможных оговорках, то же самое уместно сказать, к примеру, о Сопrotивлении во Франции. Вот выразительное сопоставление: согласно известному скрупулезному исследованию Б. Ц. Урланиса о людских потерях в войнах, в движении Сопrotивления за пять лет погибли 20 тысяч (из 40 миллионов) французов, однако за то же время погибли от 40 до 50 тысяч (то есть в 2—2,5 раза больше) французов, воевавших на стороне Германии!²⁾

И. Эренбург в очень популярном в свое время романе «Буря» (1947), удостоенном Сталинской премии 1-й степени, преподнес французский «Резистанс», выразившийся в не очень значительных диверсиях и убийствах отдельных германских военнослужащих, как нечто чуть ли не сопоставимое со Сталинградской и Курской битвами... И подобная — в сущности, смехотворная — гиперболизация была внедрена в умы как полезный идеологический миф: нашу смертельную борьбу с Германией поддерживала, мол, вся Европа.

В действительности, как уже сказано, весомое сопротивление германской власти имело место только в Югославии, Албании и Греции, что объясняется, надо думать, сохранившейся к тому времени глубокой патриархальностью этих «окраинных» европейских стран; им были чужды порядки, устанавливаемые в них Германией, и чужды, пожалуй, не столько как собственно германские, сколько как общеевропейские, ибо эти страны по своему образу жизни и сознания во многом не принадлежали к европейской цивилизации середины XX века.

К странам с мощным Сопrotивлением причисляют еще и Польшу, но при ближайшем рассмотрении приходится при-

знать, что и здесь (как и в отношении Франции) есть очень значительное преувеличение (подкрепленное, между прочим, целым рядом ставших широко известными блестящих польских кинофильмов о том времени). Так, по сведениям, собранным тем же Б. Ц. Урланисом, в ходе югославского Сопротивления погибли около 300 тысяч человек (из примерно 16 миллионов населения страны), албанского — почти 29 тысяч (из всего лишь 1 миллиона населения), а польского — 33 тысячи (из 35 миллионов)³). Таким образом, *доля* населения, погибшего в реальной *борьбе** с германской властью в Польше, в 20 раз меньше, чем в Югославии, и почти в 30 раз меньше, чем в Албании!..

* * *

Гиперболизация европейского Сопротивления, повторю, имела существенное идеологическое назначение (Европа — не с Германией, но с нами!). А в последние годы, когда всяческое очернение СССР-России стало у нас выгодной профессией и дело дошло до того, что даже Германию нередко представляют как более «добропорядочную» страну, чем СССР-Россию, заслуги европейского Сопротивления подчас еще значительно преувеличиваются (в частности, дабы «умалить» роль СССР-России в великой войне).

В действительности же почти вся континентальная Европа к 1941 году так или иначе, но без особых потрясений вошла в новую империю, возглавляемую Германией. Напомню еще раз, что и в самой Германии имелось Сопротивление, но это ни в коей мере не влияло на геополитическую направленность страны. Более того, немалая часть людей, принадлежавших к германскому Сопротивлению, отнюдь не возражала против нападения на СССР-Россию. Тенденциозное толкование известного заговора против Гитлера, закончившегося неудачным покушением на него 20 июля 1944 года, внедрило в умы совершенно превратные представления об основных участниках этого заговора как о чуть ли не друзьях России! Между тем среди них был, например, заместитель командующего группой армий

* Речь идет именно о борьбе; другое дело — уничтожение поляков нацистами как «расово неполноценных»...

«Центр», наступавшей в 1941-м на Москву, генерал-майор фон Тресков, покончивший самоубийством 21 июля 1944 года. Его возмущала вовсе не война против СССР-России, а как раз напротив — провал этой войны! Между тем в статье об этом генерале, вошедшей в изданную в Москве в 1996 году «Энциклопедию Третьего рейха», он преподнесен как персона, коей мы должны всей душой сочувствовать... В действительности этот, по-видимому, в самом деле способный выходец из «старинной прусской семьи» был более опасным для нас противником, нежели какой-нибудь ни в чем не сомневавшийся туповатый гитлеровец.

Но обратимся к положению в Европе в целом. Из существовавших к июню 1941 года двух десятков (если не считать «карликовых») европейских стран почти половина, девять стран, — Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия (отделившаяся и в то время от Чехии), Финляндия, Хорватия (выделенная и тогда из Югославии) — совместно с Германией вступили в войну с СССР-Россией, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы (правда, Дания и Испания, в отличие от других перечисленных стран, сделали это без официального объявления войны)⁴⁾.

Остальные страны континентальной Европы не принимали прямого, открытого участия в войне с СССР-Россией, но так или иначе «работали» на Германию, или, вернее, новую европейскую империю. Виднейший английский историк Алан Тейлор совершенно справедливо писал в своем изданном в 1975 году труде «Вторая мировая война» о ситуации во Франции после заключения ею «перемирия» с Германией 22 июня (!) 1940 года:

«Для подавляющего большинства французского народа война закончилась... правительство Петена (маршал Франции с 1918 года, военный министр в 1934 году, с 16 июня 1940-го — премьер-министр. — В. К.) осуществляло политику лояльного сотрудничества с немцами, позволяя себе лишь слабые, бесплодные протесты по поводу чрезмерных налогов... Единственное омрачало согласие: Шарль де Голль бежал в последний момент из Бордо в Лондон... Он обратился к французскому народу с призывом продолжать борьбу... Лишь несколько сот

(выделено мною. — В. К.) французов откликнулись на его призыв»⁵).

Тейлор переходит далее к объективной характеристике положения в Европе в целом:

«Устанавливалось германское господство с помощью разнообразных средств — от аннексии и прямого правления до формально равного партнерства...» Так, например, «Швеция и Швейцария сохраняли свою демократическую систему... фактически они... поскольку англичане их не бомбили, могли приносить Германии больше пользы, чем если бы оказались в положении побежденных. Германия получала железную руду из Швеции, точные приборы из Швейцарии (это две наименее зависимые тогда от Германии европейские страны. — В. К.). Без этого она не смогла бы продолжать войну... Европа стала экономическим целым» (там же, с. 421, 422—423).

И еще о Франции: «Немцы обнаружили в хранилищах достаточные запасы нефти... для первой крупной кампании в России. А взимание с Франции оккупационных расходов обеспечило содержание армии численностью 18 млн. человек» (там же, с. 421); в результате в Германии «уровень жизни фактически вырос во второй половине 1940 года... Не было необходимости в экономической мобилизации, в управлении трудовыми ресурсами... Продолжалось строительство автомобильных дорог. Начали осуществляться грандиозные планы Гитлера по созданию нового Берлина» (с. 423) — то есть помпезной столицы объединенной Европы.

Неверное представление о ситуации в Европе во время Второй мировой войны заставило многих людей как бы начисто забыть целый ряд реальных событий того времени. Так, например, сегодня способно вызвать настоящее изумление напоминание о том, что знаменитый военачальник (а позднее президент) США Дуайт Эйзенхауэр, вступив в войну во главе американо-английских войск в Северной Африке в ноябре 1942 года (именно тогда, в конце 1942-го, войска США вообще *впервые* начали участвовать в боевых действиях!), должен был для начала сражаться не с германской, а с двухсоттысячной *французской* (!) армией под командованием министра обороны Франции Жана Дарлана, который, правда, ввиду явного превосходства сил

Эйзенхауэра, вскоре приказал своим войскам прекратить борьбу. Однако в начавшихся боевых действиях успели все же погибнуть 584 американца, 597 англичан и свыше 1600 сражавшихся с ними французов⁶⁾. Это, конечно, крайне незначительные потери в масштабах той великой войны, но они ясно говорят о более «сложной», чем обычно думают, тогдашней ситуации в Европе.

А теперь другие — намного более впечатляющие — сведения, относящиеся уже к противостоянию возглавленной Германией континентальной Европы и СССР-России. Национальную принадлежность всех тех, кто погибал в сражениях на русском фронте, установить трудно или даже невозможно. Но вот состав военнослужащих, взятых в плен нашей армией в ходе войны: из общего количества 3 770 290 военнопленных основную массу составляли, конечно, германцы (немцы и австрийцы) — 2 546 242 человека; 766 901 человек принадлежали к другим объявившим нам войну нациям (венгры, румыны, итальянцы, финны и т. д.), но еще 464 147 военнопленных — то есть почти полмиллиона! — это французы, бельгийцы, чехи и представители других вроде бы не воевавших с нами европейских наций!⁷⁾

Кто-нибудь возразит, что следует говорить в данном случае о «жертвах» германского насилия, загнавшего этих людей на военную службу совершенно вопреки их воле. Однако едва ли соответствующие германские инстанции шли бы на столь очевидный риск, внедряя в войска огромное количество (полмиллиона — это ведь только попавшие в плен!) заведомо враждебно настроенных военнослужащих. И пока эта многонациональная армия одерживала победы на русском фронте, Европа была, в общем и целом, на ее стороне...

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер записал сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, констатирующие положение вещей: «*Европейское единство* в результате совместной войны против России» (выделено мною. — В. К.). И это была вполне верная оценка положения. Геополитические цели войны 1941—1945 годов фактически осуществляли не 70 млн. немцев, а более 300 млн. европейцев, объединенных на различных основаниях — от вынужденного

подчинения до желанного содружества, — но так или иначе действовавших в одном направлении.

Разумеется, основу армии, вторгшейся 22 июня 1941 года в СССР-Россию, составляли германские солдаты, которые с собственнo профессиональной точки зрения являлись «лучшими» в мире. Но никак нельзя не учитывать, что только благодаря опоре на всю континентальную Европу стала возможной мобилизация почти *четверти* всех немцев. У нас было призвано за время войны 17 процентов населения (к тому же далеко не все из них побывали на фронте) — то есть *один из шести* человек, ибо иначе в тылу не осталось бы необходимых для работы военной промышленности квалифицированных мужчин (мужчины в возрасте от 18 до 50 лет — это примерно четверть всего населения)*.

Словом, *силу* — и с «количественной» и с «качественной» точек зрения — армии, вторгшейся в 1941-м в СССР-Россию, обеспечивали десятки миллионов высококвалифицированных работников всей Европы. И, не учитывая и не осмысляя эту сторону дела, нельзя понять истинную суть войны 1941—1945 годов. В частности, на территории самой Германии потрудились в общей сложности более 10 миллионов (!) квалифицированных рабочих из различных европейских стран⁸). И без этого нельзя понять ни мощь германского нападения, ни глубокий *объективно-исторический* смысл этого нападения (пусть большинство людей находившейся под главенством Германии Европы о нем и не задумывались).

После журнальной публикации первоначального варианта этой части моей книги я получил весьма интересное письмо от проживающего ныне в городке Аксай Ростовской области Бориса Михайловича Лукашева, который так объяснил неизбежность первоначальных поражений наших войск:

«Немецкий солдат — это в основном промышленный рабочий одной из самых образованных наций мира. *Технарь*. Наш красноармеец — колхозник, хорошо владеющий косой, вилами и т. д. Война же была «войной моторов»... Я не видел ни одного подразделения у немцев (они заняли деревню, где я жил, 13 ок-

*Так, в СССР в 1941 году имелось 49 млн. мужчин 1890—1926 гг. рождения (из 196,7 млн. населения в целом).

тября 1941 года), идущего пешком: мотоциклы, грузовики, гусеничные вездеходы... Кстати, на грузовиках всей Европы — французских, чешских и т. д. То есть армия немцев была более маневренной, а это давало огромные преимущества: можно выбирать *место* и *время* очередного удара без риска, что противник, — то есть мы — успеет все сделать для отражения удара. В ходе войны эти преимущества начали постепенно сходить на нет». Но «при любом «раскладе» мы были обречены на первоначальные неудачи: против всей Европы трудно устоять...»

Б. М. Лукашев в своем письме не раз скромно говорит о себе как «простом человеке», но, право же, его понимание сущности дела посрамляет тех многочисленных публицистов и даже вроде бы профессиональных историков, которые сводят причины наших тяжких поражений в 1941—1942 годах к так называемым субъективным факторам — ложной общей и военной политике, всякого рода извращениям, ошибкам и просчетам.

Стоило бы авторам этих сочинений внимательно прочитать написанные 160 лет назад, в 1839 году, стихи героя 1812 года (когда на Россию также обрушилась мощь всей Европы) Федора Глинки о Смоленской битве 4—6 августа:

...Достоин
 Похвал и песен этот бой:
 Мы заслоняли тут собой
 Порог Москвы — в Россию двери:
 Тут русские дрались как звери,
 Как ангелы!..
 Внимая звону
 Душе родных колоколов,
 В пожаре тающих, мы прямо
 В огонь метались и упрямо
 Стояли под дождем гранат...
 Дома и храмы догорали,
 Калились камни... И трещали
 Порою волосы у нас
 От зноя!.. Но сломил он нас:
*Он был сильней!..** Смоленск курился,
 Мы дали тыл. Ток слез из глаз
 На пепел родины скатился...

* Курсив здесь и далее самого Ф. Н. Глинки.

Далее — о Бородине:

Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин?
Со *всей Европой* эту встречу
Мог русский выдержать один!
И он не отстоял отчизны,
Но поле битвы отстоял,
И, весь в крови, — без укоризны —
К Москве священной отступал!..

И, наконец:

О, как душа заговорила!
Народность наша поднялась:
И страшная России сила
Проснулась, взвихрилась, взвилась...
И вновь раздвинулась Россия!
Пред ней неслись разгром и плен
И Дона полчища лихие...
И галл^{*} и *двадцать* племен,
От взорванных кремлевских стен
Отхлынув бурною рекою,
Помчались по своим следам!..
Клевал им очи русский вран
На берегах Москвы и Нары;
И русский волк и русский пес
Остатки плоти их разнес...

В стихах этого высоко ценимого самим Тютчевым поэта воплотилось более верное понимание существа дела, нежели у многих нынешних историков... Ведь и в 1941-м, как и в 1812-м, война шла с «двадцатью племенами», со «всей Европой», и враг был заведомо *сильней*, его первоначальные победы было невозможно предотвратить, — до тех пор, пока «страшная России сила» не «взвилась», пока Россия не «раздвинулась» во всю свою широту и глубину.

Об истинной сущности войны 1941—1945 годов сказано в созданной в 1972—1973 годах поэме «Дом» одного из наиболее значительных поэтов нашего века — Юрия Кузнецова:

Европа! Старое окно
Отворену на запад.
Я пил, как Петр, твое вино —
Почти античный запах.

* То есть француз.

Твое парение и вес,
 Порывы и притворства,
 Английский счет, французский блеск,
 Немецкое упорство.
 И что же век тебе принес?
 Безумие и опыт.
 Быть или не быть — таков вопрос,
 Он твой всегда, Европа.
 Я слышу шум твоих шагов.
 Вдали, вдали, вдали
 Мерцают язычки штыков.
 В пыли, в пыли, в пыли
 Ряды шагающих солдат,
 Шагающих в упор,
 Которым не прийти назад,
 И кончен разговор...

(стоит обратить внимание на меткое словосочетание «английский счет», о коем мы еще вспомним). В главах своей «Сталинградской хроники» (1984) поэт сказал и о том, как (если употребить слово Федора Глинки) «раздвинулась Россия», чтобы одолеть мощнейшего врага:

Оборона гуляет в полях.
 Волжский выступ висит на соплях,
 На молочных костях новобранцев...

.....
 Этот август донес до меня
 Зло и звон двадцать третьего дня,
 Это вздрогнула матушка-Волга.
 Враг загнал в нее танковый клин,
 Он коснулся народных глубин.
 Эту боль мы запомним надолго.

.....
 Но в земле шевельнулись отцы,
 Из могил поднялись мертвецы
 По неполной причине ухода.
 Тень за тенью, за сыном отец,
 За отцом обнажился конец,
 Уходящий к началу народа...

Словом, тем, кто берется писать о русской истории, стоит знать проникновенную русскую поэзию...

* * *

Нацистские идеологи, которые отнюдь не были недоумками, каковыми их нередко изображают, вполне адекватно определяли геополитическую* суть войны против СССР-России, — правда, чаще всего не для всеобщего сведения, поскольку истинные цели войны и, с другой стороны, задачи дипломатии и пропаганды — не одно и то же. «Рейхслейтер» Альфред Розенберг, с 1933 года возглавлявший внешнеполитический отдел нацистской партии, а в 1941-м ставший министром «по делам восточных территорий», за день до начала войны (20 июня) произнес директивную речь перед доверенными лицами, в которой не без издевки сказал о наивных людях, полагающих, что война имеет цель «освободить «бедных русских» на все времена от большевизма»; нет, заявил Розенберг, война предназначена «для того, чтобы проводить германскую мировую политику (то есть геополитику. — В. К.)... Мы хотим решить не только *временную* большевистскую проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного явления как *первоначальная сущность европейских исторических сил*» (выделено мною. — В. К.). Война имеет цель «оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы...»⁹⁾ То есть дело шло именно о «континентальной» войне.

Позднее, в сентябре 1941 года, когда фронт был уже на подступах к Ленинграду, Гитлер недвусмысленно заявил (хотя и не для печати):

«Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются поселения настоящих германцев... Наша задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на восток, если нужно — за Урал... Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли... Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен... Восток (то есть земли, которые «оставят» русским. — В. К.) будет для Западной Европы рынком сбыта и источником сырья»¹⁰⁾.

Итак, по убеждению «фюрера», закончилась принципиаль-

*Одним из их главных идеологических наставников был крупнейший представитель геополитической теории в Германии Карл Хаусхофер (1869—1946).

но и открыто *евразийская* эпоха истории России, начавшаяся со времен Петра Великого... Германия собрала в единый кулак Европу, чтобы навсегда избавить ее от восточного геополитического соперника, который трактуется как чисто «азиатский», но, мол, без всяких оснований претендовавший и на «европейскую» роль...

Восприятие войны против СССР-России как именно геополитической войны было присуще вовсе не только «фюрерам». Современный германский историк Р. Рюруп, приводя цитату из составленного в мае 1941 года «секретного документа», в котором уже совсем близкое нападение определено как «старая борьба германцев... защита европейской культуры от московито-азиатского потока», пишет, что в этом документе запечатлелись «образы врага, глубоко укоренившиеся в германских истории и обществе. Такие взгляды были свойственны даже тем офицерам и солдатам, которые не являлись убежденными или восторженными нацистами. Они также разделяли представления о «вечной борьбе» германцев... о защите европейской культуры от «азиатских орд», о культурном призвании и праве господства немцев на Востоке. Образы врага подобного типа были широко распространены в Германии, они принадлежали к числу «духовных ценностей»...»¹¹⁾

И это геополитическое сознание было свойственно не только немцам; после 22 июня 1941 года появляются добровольческие легионы под названиями «Фландрия», «Нидерланды», «Валлония», «Дания» и т. д., которые позже превратились в добровольческие дивизии СС «Нордланд» (скандинавская), «Лангемарк» (бельгийско-фламандская), «Шарлемань» (французская) и т. п.¹²⁾ (последнее название особенно выразительно, ибо Шарлемань — это, по-французски, Карл Великий, объединивший Европу). Немецкий автор, проф. К. Пфедфер, писал в 1953 году: «Большинство добровольцев из стран Западной Европы шли на Восточный фронт только потому, что усматривали в этом общую задачу для всего Запада... Добровольцы из Западной Европы, как правило, придавались соединениям и частям СС...» (Итоги Второй мировой войны. М., 1957, с. 511).

В высшей степени наглядно предстает геополитическая сущность войны в составленных накануне нее, 23 мая 1941 года, «Общих указаниях группе сельского хозяйства экономичес-

кой организации «Ост»» (то есть «Восток»). Одно из главных «общих правил» сформулировано так:

«Производство продовольствия в России на длительное время включить в европейскую систему», ибо «Западная и Северная Европа голодает... Германия и Англия (да, и Англия! — В. К.) ...нуждаются в ввозе продуктов питания», а между тем «Россия поставляет только зерно, не более 2 млн. тонн в год... (Наш урожай 1940 года — 95,6 млн. тонн. — В. К.). Таким образом, определяются основные направления решения проблемы высвобождения избытков продуктов русского сельского хозяйства для Европы (заметим: Европы в целом! — В. К.)... Внутреннее потребление России... должно быть снижено настолько, чтобы образовались необходимые излишки для вывоза» (цит. по кн.: «Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы, материалы». М., 1987, с. 250, 251).

Далее констатируется, что СССР-Россия в сельскохозяйственном отношении состоит из двух различных «зон»: «Районы с избыточным производством расположены в черноземной области (т. е. на юге и юго-востоке)... районы, требующие поставок, находятся в основном в северной лесной зоне (подзолистые почвы). Из этого следует, что отделение черноземных областей от лесной зоны при любых обстоятельствах высвободит для нас излишки производства продуктов. Это отделение будет иметь своим следствием прекращение обеспечения продуктами всей лесной зоны, включая важнейшие промышленные центры Москву и Петербург. Промышленностью в районах, требующих поставок, включая промышленность Урала, следует пренебречь... Должна быть сохранена лишь та промышленность, которая находится в областях с избыточным производством продуктов, т. е. в основном тяжелая промышленность Донецкого бассейна... Кроме того, нефтеносные районы Закавказья (хотя они и находятся в зоне, требующей дополнительных поставок) следует снабжать продовольствием, поскольку... они должны быть сохранены как главные поставщики нефти...

Вследствие прекращения подвоза продуктов из южных районов сельскохозяйственное производство в лесной зоне примет характер натурального хозяйства... Население лесной зоны, особенно население городов (включая Москву. — В. К.), вы-

нуждено будет страдать от голода, даже в случае интенсивного ведения хозяйства путем расширения площадей под картофель в этих областях и увеличения его урожая. Этими мерами голод не ликвидировать. Попытка спасти население от голодной смерти путем привоза из черноземной зоны имеющихся там излишков продуктов нанесла бы ущерб снабжению Европы». А «наша задача состоит в том, чтобы включить Россию в европейское разделение труда и осуществить принудительное нарушение существующего экономического равновесия внутри СССР» (там же, с. 251, 252—253, 254).

Ясно, что это «разделение труда» между Европой и представляющей собой (и в глазах создателей сего проекта, и реально) *иной континент* Россией означало превращение последней в рабский придаток Европы. В этой «сельскохозяйственной» программе со всей очевидностью выразился *геополитический* смысл войны...

* * *

Вместе с тем есть все основания утверждать, что в СССР России к 1941 году не было ясного осознания геополитического смысла войны. Теперь не так легко себе это представить, но в начале войны весьма широко было распространено представление, что пролетариат европейских стран и даже самой Германии вот-вот поднимется на революцию, дабы спасти СССР от нацистского воинства...

Несмотря на начавшееся в середине 1930-х годов восставление в СССР *патриотизма*, над умами еще тяготела поверхностная классово-политическая (а не геополитическая) идеология, — что сыграло прискорбную роль.

Не столь давно были опубликованы суждения Сталина по поводу состоявшегося 3 сентября 1939 года объявления войны Германии со стороны Франции и Великобритании: «Мы не прочь, — сказал генсек в самом тесном кругу (Ворошилов, Молотов, генсек Исполкома Коминтерна Георгий Димитров), — чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если бы руками Германии было бы расшатано положение богатейших капиталистических стран...» Ныне доктор исторических наук М. М. Наринский, цитируя эти суждения,

комментирует: «Говоря о политике Советского Союза, Сталин *цинично* (выделено мною. — В. К.) заметил: «Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались»¹³⁾.

Прежде всего следует внимательно вдуматься в эпитет «цинично», ибо по одной этой детали можно ясно понять существо нынешней «либеральной» историографии войны. В словах Сталина выражено типичнейшее и даже элементарнейшее отношение государственного деятеля какой-либо страны к войне, разразившейся между *соперниками* этой страны. Так, 23 июня 1941 года сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн заявил не в узком кругу (как Сталин), а корреспонденту популярнейшей «Нью-Йорк таймс»:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше!»¹⁴⁾

Это, повторяю, обычная, заурядная в устах государственного деятеля постановка вопроса, и Сталина можно упрекнуть лишь в том, что он едва ли бы стал повторять свои процитированные высказывания *публично*. И в высшей степени показательна «реакция» Наринского, подобную которой можно найти в сочинениях множества нынешних «либеральных» историков. Обвиняя Сталина в «цинизме», Наринский, — конечно, бессознательно — обнаруживает тем самым, что в свое время он привык ставить Сталина в моральном отношении *гораздо выше* политических деятелей Запада, погрязших во всяческих темных интригах.

При этом Наринский, надо думать, понимает, что поведение во внешнеполитических делах в ситуации войны не может — за редчайшими исключениями — соблюдать нравственные принципы, но от Сталина, которого Наринский (как, конечно, и множество его коллег) ранее ставил высоко, он этого требует! И подобная тенденция, по сути дела, господствует в нынешних сочинениях о Второй мировой войне.

Сколько проклятий обрушено в последнее время на Сталина за заключение 23 августа 1939 года пакта о ненападении с Гитлером, — пакта, который дал последнему возможность «спокойно» двигаться в 1940 году на запад. Но эти проклятья

из уст историков, которые еще недавно были исправными членами КПСС, обусловлены в конечном счете их прежним пиететом перед Сталиным, ибо ведь они, без сомнения, знают, что ранее, в 1938 году, премьер-министры Франции и Великобритании — Даладье и Чемберлен — в ходе по-своему трогательных визитов (которых Сталин не предпринимал) к Гитлеру вступили с ним в совершенно аналогичные договоренности, позволявшие ему «спокойно» двигаться на восток.

Между прочим, небезызвестный Волкогонов в 1991 году назвал пакт с Германией «отступлением от ленинских норм внешней политики... Советская страна *опустилась* (выделено мною. — В. К.) до уровня... империалистических держав»¹⁵⁾, — то есть, иначе говоря, Сталин, увы, повел себя так же «недостойно», как Чемберлен и Даладье...

Если перелистать сочинения конца 1980-х — начала 1990-х годов, затрагивавшие вопрос о «пакте» Сталина — Гитлера, ясно обнаружится именно такая мотивировка проклятий в адрес этого пакта (генсек-де отступил от «ленинских норм»); однако позднее о сей мотивировке как бы полностью забыли, и Сталина начали преподносить в качестве воплощения уникального, беспрецедентного цинизма и низости: ведь он вступил в сговор с самим Гитлером! Ныне постоянно тиражируется фотография, на которой Сталин 23 (точнее — уже ранним утром 24-го) августа 1939 года обменивается рукопожатием с посланцем Гитлера Риббентропом, что должно восприниматься с крайним неодобанием и даже презрением к генсеку.

Конечно, пресловутый «пакт» по ряду различных причин не может вызвать каких-либо положительных эмоций у объективно оценивающего его человека. Однако нынешние потоки брани представляют собой не что иное, как именно *культ Сталина* — хоть и «наизнанку»: великий вождь не имел, мол, права совершить столь позорную акцию, которая уместна лишь для «обычных» правителей государств. Если честно вдуматься, дело как раз в этом, и давно пора бы нашим историкам освободиться от менталитета, порожденного временем сталинского культа, и «позволить» Иосифу Виссарионовичу вести себя подобно другим правителям той эпохи...

Ведь почти годом раньше, 29 сентября 1938 года (кстати, невзирая на то, что 12 марта Германия «присоединила» к себе

Австрию), вполне аналогичный «пакт» с Гитлером заключил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен: «Мы, Фюрер и Канцлер Германии и Премьер-Министр Великобритании... — объявлялось в официальном документе, составленном 30 сентября, — рассматриваем подписанное вчера соглашение как символизирующее волю обоих народов никогда больше не вступать в войну друг против друга»¹⁶⁾.

«Символизирующим соглашением», о коем упомянуто, являлось признание права Гитлера на отторжение Судетской области у Чехословакии, за которым менее чем через шесть месяцев, 15 марта 1939 года, последовал захват Чехии в целом и так далее; «пакт» Гитлера — Чемберлена фактически являлся *разделом Европы*, согласно которому Германия получала полное право распоряжаться в Восточной Европе.

При действительно объективном подходе к проблеме никак нельзя отрицать, что Сталин в августе 1939 года поступил точно так же, как Чемберлен в сентябре 1938-го. А если заняться «оценками» поведения двух правителей, придется — исходя из фактов — признать, что поведение Чемберлена было и «циничнее» и, уж безусловно, «позорнее». Сталин повторил содеянное за год до того Чемберленом, и, следовательно, его «цинизм» был, так сказать, порожден чемберленовским «цинизмом». А всматриваясь в давно воссозданную мемуаристами и историками конкретную картину поведения Чемберлена в сентябре 1938 года, невозможно не признать, что оно было крайне и даже, пожалуй, уникально «позорным».

Чемберлен в начале сентября решил осуществить проект, о котором сообщил лишь немногим доверенным лицам и для секретности называл его «планом Зет». В соответствии с этим «планом» он 12 сентября 1938 года неожиданно обратился к Гитлеру с просьбой о личной встрече. В тот же день он так изложил свой «план» в письме к ближайшему сподвижнику, Ренсиму: «...я сумею убедить его (Гитлера. — В. К.), что у него имеется неповторимая возможность достичь англо-немецкого понимания путем мирного решения чехословацкого вопроса... Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира... и поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние трудности... Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России. Это и есть план Зет»¹⁷⁾.

Едва ли можно оспорить, что сей «план» ничуть не менее «циничен», чем сталинский «пакт», который к тому же являлся *последствием* осуществления «плана Зет». Что же касается самого «общения» Чемберлена с Гитлером, подробно описанного свидетелями, оно было чем-то в самом деле беспрецедентно «позорным». Почти семидесятилетний (через два года он скончался) премьер-министр великой Британской империи, население которой составляло четверть (!) тогдашнего населения Земли, вынужден был ранним утром 15 сентября 1938 года впервые в жизни войти в самолет, лететь несколько часов (при тогдашних скоростях авиации) до Мюнхена, а оттуда еще несколько часов добираться до Бергхофа — поместья высоко в горах юго-восточной Баварии, где ради дополнительного унижения соизволил принять его Гитлер.

И, публикуя фотографию, на которой Сталин пожимает руку Риббентропу, следовало бы уж публиковать рядом и другую — к сожалению, менее известную, — на которой Гитлер, стоя на лестнице своего высокогорного дворца двумя ступеньками выше Чемберлена, взирает сверху вниз на бывшего двадцатью годами старше его, еле держащегося на ногах после утомительного путешествия правителя Британской империи, который к тому же затем являлся на поклон к Гитлеру еще и в Бад-Годесберг около Бонна 22 сентября и, наконец, в третий раз, в Мюнхен, 29 сентября, стремясь осуществить свой «план Зет», который, по его словам, являл собой «решение, приемлемое для всех, *кроме России*», — поскольку Гитлера достаточно явно умоляли двигаться на восток.

Но Гитлер — и он со своей точки зрения был совершенно прав — через год неожиданно заключил «пакт» с СССР-Россией и в 1940-м двинулся все же на запад, чтобы, вобрав мощь Европы, уже затем двинуться на Москву.

* * *

Вернемся теперь к «циничному», вызывающему шумное негодование нынешних либеральных (вообще-то в большинстве своем псевдолиберальных, ибо они стали либеральными, в сущности, только потому, что это вдруг оказалось выгодным) историков, удовлетворению Сталина тем фактом, что Вели-

кобритания и Франция 3 сентября 1939 года объявили войну Германии.

Испытывая это удовлетворение или даже чувство радости от того, что соперники СССР-России на мировой арене наконец-то «подрались», и выражая намерение так или иначе «подталкивать» их, Сталин поступил именно так, как и *любой* правитель *любой* страны в аналогичных обстоятельствах, чему есть бесчисленные примеры. Прискорбно было совсем другое: руководствуясь не проникающей в глубины исторического бытия концепцией «внутренних противоречий капитализма», Сталин полагал, что «междоусобная» борьба в Европе будет столь же долгой и жестокой, какой она была в 1914—1918 годах, и поэтому его страна на более или менее длительный период может особенно не беспокоиться за свою судьбу.

Однако уходящие своими корнями в глубь веков претензии Германии на объединение Европы под своим главенством стали к 1939 году вполне реальными, и вместо настоящей войны в Европе получилась на этот раз «мнимая» война, которая несколько не помешала за кратчайшие сроки осуществить германские планы.

Прежде чем идти дальше, целесообразно сделать небольшое отступление. Нетрудно предвидеть, что вышеизложенное вызовет вполне готовое возражение: поскольку одна из европейских стран, Великобритания, не была поглощена новой «империей германской нации» и, объявив 3 сентября 1939 года войну Германии, вроде бы так или иначе вела ее вплоть до мая 1945 года, нельзя считать войну против СССР-России делом *Европы*: война шла, скажут мне, и внутри самой Европы.

Однако «островная» Великобритания, которая к тому же четыре с лишним столетия назад стала крупнейшей колониальной империей мира, не в первый раз «отделялась» в своей геополитике от остальной — континентальной — Европы: так было и на рубеже XVI—XVII веков (борьба Великобритании с «общеевропейской» империей Филиппа II), и на рубеже XVIII—XIX веков (борьба с империей Наполеона). Но главное даже не в этом.

Как уже говорилось, война заслуженно получила определения «странная», «сидячая», «призрачная» — и это всецело отно-

сится к «военным действиям» Великобритании в 1939—1940 годах, а в значительной степени (как еще будет показано) и позднее — по меньшей мере до июня 1944 года...

Кстати сказать, на всем протяжении Второй мировой войны Великобритания противостояла Германии (и возглавленной ею континентальной Европе) *гораздо слабее*, чем в Первую мировую войну. Об этом ясно говорит количество погибших британских военнослужащих: в 1914—1918 гг. — 624 тысячи, а в 1939—1945-м — 264 тысячи, то есть в 2,5 раза меньше¹⁸⁾, — несмотря на гораздо более смертоносное оружие Второй мировой войны, в силу чего на ней вообще-то погибло в 2,5 — 3 раза больше военнослужащих, чем на Первой. Если учитывать эту сторону дела, боевые потери Великобритании были во Второй мировой войне примерно в 7 раз (!) меньше, чем в Первой... И это, конечно, очень существенный «показатель».

Впрочем, к подробному разговору о роли Великобритании, а также США в 1941—1945 годах мы еще обратимся. Важно сначала сказать о том, как поверхностное и просто ложное представление о сути войны воздействует на многие приобретшие сегодня широкую популярность сочинения, посвященные тем или иным ее событиям и явлениям. Это поможет яснее увидеть истинное существо войны в целом.

* * *

Обостренный интерес вызвал, например, появившийся в последние годы ряд сочинений о так называемой Русской освободительной армии и ее вожаке — бывшем советском генерал-лейтенанте Власове, который, мол, вел борьбу как против большевизма, так и против нацизма, являя собой лидера «третьей силы», которую нередко оценивают ныне как единственно «позитивную», призванную спасти Россию от «двух зол» сразу. Выше цитировались иронические слова рейхслейтера Розенберга о том, что с точки зрения наивных людей война имеет своей целью «освободить «бедных русских» от большевизма». Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Вильгельм Кейтель 3 марта 1941 года внес в «План Барбаросса» следующие положения об устройстве завоевываемой на Востоке «территории». Ее, по словам этого

главного стратега, «следует разделить на несколько государств... Всякая революция крупного масштаба, — писал более способный к серьезному мышлению, чем, скажем, Ельцин или Чубайс, Кейтель, — вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто *отбросить в сторону*. Социалистические идеи в нынешней России уже *невозможно искоренить*. Эти идеи могут послужить *внутриполитической основой* при создании новых государств... Наша задача и заключается в том, чтобы... создать эти зависимые от нас *социалистические* государства»¹⁹⁾ (выделено мною. — В. К.).

Власов же исходил из того, что Германия будто бы собирается спасти русский народ от социализма. В конце февраля 1943 года его привезли в Смоленск, и во время беседы с местными жителями один из них задал Власову не ожидаемый им вопрос (напомню, что Смоленск был захвачен германской армией еще в июле 1941-го, то есть двадцать месяцев назад):

« — Почему не распускают колхозы?

— Быстро ничего не делается. Сперва надо выиграть войну, а тогда уже земля крестьянам»²⁰⁾, — ответил этот борец с большевизмом (кстати, в 1930 году вступивший в ВКП(б) — будучи зрелым тридцатилетним человеком — в разгар коллективизации...).

Но вот вполне типичное распоряжение германских военных властей в оккупированной Белоруссии:

«Уборку и обмолот хлебов производить существовавшим до сего времени порядком, т. е. коллективно... Руководство уборкой возлагается на председателей колхозов, указания и распоряжения которых обязательны... К уборке хлеба привлекать всех единоличников, насчитывая им трудодни»²¹⁾.

Факты этого рода вообще-то старались замалчивать в литературе о войне, ибо они противоречили канонам, а кроме того, могли получить «вреднейшее» истолкование: колхозы — способ ограбления крестьянства, и нацисты решили пользоваться этим способом так же, как ранее большевики (которые, правда, не заставляли работать за трудодни уцелевших единоличников)...

В таком умозаключении есть определенный резон, но все-таки важнее другое: ведь, как уже сказано, германское коман-

дование собиралось сохранить на оставляемой русским территории социализм, — помимо прочего и потому, что, согласно трезвому соображению Кейтеля, «уже невозможно искоренить» явления, вызванные к жизни «революцией крупного масштаба». Да и цель войны состояла не в изменении общественного строя, но в подчинении России «германской мировой политике», вернее, геополитике, с точки зрения которой социальный уклад — дело второстепенное, и если русские живут в своем социализме, пусть себе живут так и дальше; необходимо только ликвидировать их страну как геополитический феномен.

Из этого ясно, что связанное с именем Власова «движение», которое Германия использовала в тех или иных идеологических целях (кстати, не очень уж результативно), само по себе не имело существенного значения, ибо эта пресловутая «третья сила» вообще никак «не вписывалась» в геополитическую коллизию, развертывавшуюся в 1941 — 1945 годах. И нынешние — подчас горячие — дискуссии вокруг «власовцев» — плод крайне поверхностного понимания реальной исторической ситуации.

Между прочим, и личность, и судьба самого Власова в конечном счете имеют мнимый, бессодержательный характер (выражая тем самым мнимость всего «движения»). Ибо едва ли можно спорить с тем, что, если бы руководимая Власовым в апреле — июне 1942 года 2-я Ударная армия не потерпела бы полного поражения, он ни в коем случае не объявил бы себя врагом большевизма и продолжал бы свою успешнейшую военную карьеру. Ведь еще в конце апреля 1942 года Власов гордо рассказывал, как он «трижды встречался со Сталиным и каждый раз... уходил окрыленным»²²). Можно допустить, что среди «власовцев» были люди, которые искренне надеялись и стремились «спасти» Россию и от большевизма, и от нацизма. Но их верования и усилия не могли не оказаться всецело бесплодными, ибо в их основе лежало абсолютное непонимание геополитического смысла войны.

Характерно, что в среде уже давней — двадцатилетней к тому времени — белой эмиграции (которая, понятно, отвергала большевизм совсем не так, как член ВКП(б) с 1930 года Власов, а с самого начала и безоговорочно) немало способных если

не к геополитическому мышлению, то к соответствующему *чувствованию* людей сумели во время войны как-то преодолеть свою жгучую ненависть к большевизму. Ибо они так или иначе сознавали, что решается вопрос о самом *бытии* России. Не кто иной, как категорически непримиримый «антибольшевик» Иван Бунин, признался в ноябре 1943 года, во время известной Тегеранской конференции (между прочим, как раз тогда Власова удостоило своим вниманием верховное лицо в германском главнокомандовании — Альфред Йодль)²³⁾:

«Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось...»²⁴⁾

А ведь сравнительно не столь давно, 26 октября 1934 года, Бунин, отвечая на вопрос о причинах его «непримиримости с большевизмом», написал: «...большевизм... чудовищно ответил сам на этот вопрос всей деятельностью... низменной, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории»²⁵⁾. Когда Бунин это писал, Власов делал блестящую большевистскую карьеру. Но к тому времени, когда Власов объявил себя борцом против большевизма, Иван Алексеевич, по свидетельству близко знавшего его человека, осознал истинную суть войны:

«Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже *столетия вперед* (выделено мною. — В. К.), и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе по-прежнему оставалось для него неприемлемо» (там же, с. 24).

Повторю еще раз: я ставлю вопрос о Власове и его «движении» не в *моральной* плоскости (как чаще всего делают); речь идет о полном непонимании сущности войны, которое в конечном счете обрекало сие «движение» на бессмысленность.

Как уже было упомянуто, Власов в ноябре 1943 года был удостоен внимания генерал-полковника Йодля. Но ведь именно этот самый Йодль составил «совершенно секретную» «*Директиву по вопросам пропаганды*», содержащую «основные указания» о том, как надо обрабатывать наших «военнослужащих и население... а) противником Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно еврейско-большеви-

ское советское правительство...^{*} б) ...необходимо подчеркивать, что германские вооруженные силы пришли в страну не как враг, что они, напротив, стремятся извлечь людей от советской тирании... г) ...пропагандистские материалы не должны преждевременно привести население к мысли о нашем намерении расчленив Советский Союз...»²⁶⁾ и т. д. и т. п.

Роль «власовцев» сводилась в основном к участию в сей чисто пропагандистской кампании, к тому же едва ли есть основания считать, что эта их роль была очень уж весомой.

Переходя к нашему времени, приходится сделать вывод, что нынешнее обилие сочинений о «власовском движении» опять-таки объясняется непониманием истинной сути войны. «Власовцам» придают существенное значение (пусть даже чисто «негативное»), которого они не имели, ибо дело шло тогда в конечном счете вовсе не о борьбе нацизма и большевизма (Бунин, как мы видели, это глубоко чувствовал!), а ведь именно борьбу и с тем и с другим ставят в заслугу «власовцам» их апологеты. Другие же авторы, которые, напротив, гневно обличают «власовцев» как подручных нацизма, опять-таки чрезмерно преувеличивают их роль.

Словом, сам по себе тот факт, что вопрос о Власове занимает немалое место в сегодняшней историографии войны 1941—1945 годов, говорит о ее поверхностном характере.

* * *

Другое очевидное проявление этой поверхностности — весьма широкие и подчас прямо-таки страстные нынешние споры вокруг книжек советского разведчика-перебежчика Резуна, личное ничтожество которого ясно выразилось уже в выбранном им псевдониме «Суворов». Речь идет не о том, что вообще не следовало обращать внимание на опубликованные большими тиражами резунские опусы, но о том, что при вер-

^{*}В «предложениях» Генерального плана «ОСТ» от 27 апреля 1942 года четко сказано: «Речь идет не только о разгроме государства... Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы... Дело заключается... в том, чтобы разгромить русских как народ...» («Совершенно секретно! Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. М., 1967, с. 117).

ном представлении о мировой ситуации в 1941 году они просто не дают оснований для сколько-нибудь серьезных споров, которые тем не менее ведутся уже несколько лет. Единственный, пожалуй, адекватный отклик на эти книжки — чисто ироническая по своему тону статья Анатолия Ланщикова под названием «Ледокол» идет на таран»²⁷). В статье со всей убедительностью показано, что перебежчик, пытаясь опровергнуть «агитпроповскую» версию войны, всецело находится на уровне этой примитивной версии, хотя и вывертывает ее наизнанку (отчего она отнюдь не становится менее примитивной).

Отсылая читателей к статье Анатолия Ланщикова, обращусь к основному содержанию множества других откликов, авторы коих либо так или иначе присоединялись к «доводам» Резуна, либо «на полном серьезе» их оспаривали. К сожалению, как то, так и другое свидетельствует о неблагоприятии в осмыслении великой войны.

Объявляя, что именно СССР готовился в 1941 году внезапно напасть на Германию («установлена» даже точная дата — 6 июля), которая, узнав о грозящей опасности, «предупредила» это нападение, Резун ссылается на множество «фактов», долженствующих доказать, что в СССР шла подготовка к мощному наступлению на Запад. Вообще-то из всех приводимых «фактов» войны не получается, как из самого большого количества кошек не сделаешь тигра. Но существо дела даже не в этом. В сознание военнослужащих в 1930-х годах внедрялась принципиально *наступательная* тактика, причем делалось это не только в собственно военно-профессиональных, но и в идеологических целях, так сказать, «для поднятия духа». Однако разработка наступательных операций, воспитание соответствующего духа и т. д. и действительное принятие *решения* о превентивной войне — это, конечно же, совершенно разные вещи, отличающиеся друг от друга столь же кардинально, как военная игра и реальная война.

Так, например, в США, начиная с 1950-х годов, как это уже давно и точно известно, самым тщательным образом разрабатывалась тактика превентивной ядерной войны против СССР, но *решение* о такой войне не было принято даже тогда, когда (в 1962 году) по «волюнтаристскому» хрущевскому приказу

ядерное оружие СССР было доставлено в «подбрюшье» США, на Кубу!

К сожалению, после издания резунских книжек появилось немало сочинений, авторы коих тщатся доказать, что в 1941 году в СССР якобы было действительно принято решение о превентивной войне против Германии и только, мол, упреждающее нападение последней помешало осуществлению сего решения. Этим-де и обусловлены тяжелейшие поражения начального периода войны, ибо изготовившиеся для наступления войска СССР не имели возможности создать надежную оборону от упредившего их германского нападения.

В эту «концепцию» вложен и иной, гораздо более ядовитый смысл: СССР-Россия предстает, согласно ей, как истинный «виновник» войны и главный «агрессор», вознамерившийся завоевать Германию (которая, значит, была вынуждена спасать себя превентивным нападением) и, далее, Европу в целом...

Поэтому следует хотя бы кратко остановиться на вопросе о «превентивной» войне. Некоторые историки (хочется, правда, в данном случае заключить это слово в кавычки), «вдохновленные» резунским опусом, изданным в 1992 году, обратили сугубое внимание на опубликованную ранее, в 1990-м («Искусство кино», № 5, с. 10—16), запись речи Сталина, произнесенной 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий и высшим командным составом армии. Вождь, согласно записи, заявил тогда, в частности: «Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильные, — теперь надо переходить от обороны к наступлению».

Через десять дней после этой речи, 15 мая 1941 года, заместитель начальника Оперативного управления Генштаба полковник (тогда) А. М. Василевский при участии начальника этого управления генерал-майора Н. Ф. Ватутина, написал «Сображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками», в которых констатировалось, что «Германия в настоящее время держит свою армию отобилизованной, с развернутыми тылами», и, следовательно, «имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым... упредить противника в раз-

вертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск» (цит. по кн: Война 1939—1945. Два подхода. М., 1995, ч. I, с. 129. Подчеркивания самого А. М. Василевского). Далее намечались конкретные наступательные операции наших войск.

Подпевалы Резуна радостно ухватились за этот текст, даже не заметив (или не желая заметить), что речь в нем идет — это очевидно — вовсе не о *превентивной войне* как таковой, но о наступательной стратегии, которую следует применить только в том случае, если *нападение* противника станет несомненным фактом. И, между прочим, цитируемый документ отнюдь не предполагал, что это нападение — дело ближайшего времени; так, в нем сказано, в частности: «...необходимо всемерно форсировать строительство и вооружение укрепленных районов... и предусмотреть строительство новых укрепрайонов в 1942 году...» (там же, с. 133).

Словом, нет никаких оснований считать сей документ свидетельством о якобы существовавшем плане превентивной войны. Однако и это еще не все. Цитируемый текст тогдашним наркомом обороны С. К. Тимошенко и начальником Генштаба (с 14 января 1941-го) Г. К. Жуковым был преподнесен Сталину, и, как рассказал еще в 1965 году Жуков, тот «прямо-таки закипел, услышав о предупредительном ударе по немецким войскам. «Вы что, с ума сошли, немцев хотите спровоцировать?..» Мы сослались... на идеи, содержащиеся в его выступлении 5 мая. «Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира», — прорычал (!) Сталин». Этот рассказ Георгия Константиновича (из которого, в частности, ясно принципиальное различие между идеологическим «воспитанием» армии и реальной военной практикой) был опубликован в 1995 году («Военно-исторический журнал», № 3, с. 41). Однако и после его появления некоторые горе-историки продолжают пытаться доказывать, что в 1941 году под руководством Сталина шла-де подготовка к захвату Германии, — вернее, *Европы*, преобладающее большинство стран которой так или иначе вошло к тому времени в новую империю — Третий рейх...

Чтобы показать полнейшую несостоятельность самой этой постановки вопроса, следует углубиться в историю. Экскурс в дальние времена может кому-либо показаться излишним или даже пытающимся подменить осмысление событий середины XX века толкованием совсем иных исторических ситуаций. Но если исходить из того, что война, о которой идет речь, была одним из крупнейших событий мировой истории, явлением первостепенного геополитического значения (а это вряд ли можно оспорить), нельзя при познании ее сущности не учитывать многовековые взаимоотношения России и Европы, иначе наши представления об этой войне неизбежно окажутся поверхностными, то есть в конечном счете ложными.

* * *

Россия — как, впрочем, и любая держава мира — на протяжении своей истории не раз предпринимала завоевательные акции — хотя гораздо чаще, напротив, отражала нападения различных завоевателей с Востока и Запада. Но можно с полным основанием утверждать, что Россия не предпринимала и даже не «планировала» завоевательных акций в отношении стран *Запада*, стран Европы в собственном смысле слова. В тех или иных обстоятельствах русские войска вторгались в Европу, но не для завоевания; так, в 1760 и 1813 годах они брали Берлин, а в 1814-м даже далекий Париж, однако по своей воле вскоре же уходили оттуда.

Внимательно изучая проблему, можно убедиться, что отказ от присоединения к территории России стран Запада — это своего рода *геополитический закон*, действовавший в продолжение столетий. И многократно и громогласно возвещавшееся в Европе предупреждение, что-де Россия собирается ее завоевать — не более чем пропагандируемый в тех или иных целях идеологический *миф*, или, вернее будет сказать, блеф, который, в частности, призван был оправдывать походы с Запада на Россию в Смутное время, при Петре I, в 1812-м, 1854-м и т. д.

Найдутся, конечно же, оппоненты, которые, быть может, даже не без гнева заявят, что Россия в тот или иной период захватывала расположенные к Западу от нее Польшу, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию и Бессарабию. Однако при объ-

активном и конкретном осмыслении этих «захватов» (каждый из которых имел существенное своеобразие) картина получается совсем иная, чем обычно рисуют. Помимо прочего, обращение к этой проблеме важно и потому, что дело идет о западной *геополитической границе* России.

Начнем с «польского вопроса». С XI по XVII столетие Польша многократно вторгалась в пределы Руси, захватывала громадные ее территории и веками владела ими — между тем как русские войска за все это время *ни разу* не вступали на собственную территорию Польши. Но это, скажут мне, дела давно минувших дней. А в бесчисленных сочинениях утверждается, что-де в конце XVIII века Россия совместно с Австрией и Пруссией совершила «разделы Польши» (их было три)...

Как мощна все же русофобская пропаганда! Любой «либерал» преподносит как аксиому обвинение России в «разделах Польши». Между тем в результате этих «разделов» Россия не получила ни одного клочка собственно польских земель, а только возвратила себе отторгнутые ранее Польшей земли, принадлежавшие Руси со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого! Земли, которые отошли в конце XVIII столетия к России, и сегодня, *сейчас* входят в состав Украины и Белоруссии, и те, кто возмущается этими самыми «разделами», должны уж тогда требовать «возврата» Польше около *трети* нынешней украинской и белорусской территории! Короче говоря, участие России в «разделах Польши» конца XVIII века — либеральный миф.

Позднее, в 1815 году, часть Польши действительно вошла в состав Российской империи, но это было не завоевание, а результат дипломатического «передела» Европы по решениям *общеευропейского* Венского конгресса, который подводил итоги наполеоновских войн. Поскольку польские войска приняли чрезвычайно активное участие в походе Наполеона в Россию, последней в порядке «компенсации» (а также в качестве «наказания» поляков) была передана восточная часть «Герцогства Варшавского», созданного в 1807 году по воле Наполеона в качестве компонента его империи. Это был *единственный* в истории факт присоединения к России земель западного государства (осуществленный, как сказано, не по собственной воле России, а по решению *общеевропейского конгресса*). В конеч-

ном счете именно поэтому Александр I сразу же одарил поляков *конституцией* (каковой в самой России не было) и возвел присоединенную территорию в ранг автономного «Царства (или, иначе, Королевства) Польского», которое считалось государственным образованием, связанным с Российской империей особой «*унией*», а не просто одной из многих частей страны.

Тем не менее, как говорится, ничего хорошего из этого не получилось. В 1830 и 1863 годах в Царстве Польском разражались мощные восстания — притом повстанцы требовали вернуть Польше украинские (включая Киев!) и белорусские земли, которыми она ранее владела, — автономность «царства» пришлось не раз «урезывать» и т. д.

И, надо думать, дело было в *геополитической* «несовместимости», ибо Польша — это все же страна Запада, страна Европы, — пусть и «окраинная», и ей, говоря попросту, не место в составе России. Но, повторю еще раз, Россия, строго говоря, и не имела настоящей цели поглотить Польшу, что ясно выразилось в предоставлении отданным России Венским конгрессом польским землям статуса особого «царства».

Перейдем к Финляндии, которая — в отличие от Польши — до присоединения ее к России в 1809 году никогда не являлась самостоятельным *государством*, а представляла собой завоеванную в давние времена часть Швеции. В результате русско-шведской войны 1808—1809 годов территория будущего финского государства отошла к России. Аналогично истории с «Царством Польским» это было не проявлением одной только российской воли, а следствием предшествовавшего войне 1812 года краткого «зигзага» общеевропейской геополитики.

Великая война 1812—1815 годов как бы заслонила от нас события 1807 года, когда Россия приняла участие в установлении общеевропейского «порядка» Наполеоном (подчинившим себе к тому времени почти всю континентальную Европу), заключив с ним в июне—июле этого года Тильзитский мир (по решению которого, в частности, и было создано Варшавское герцогство, ставшее затем одним из важных участников похода Наполеона на Москву). Тильзитский мир — явление, во многом аналогичное советско-германскому «пакту» 1939 года, и сопо-

ставление этих двух отделенных ста тридцатью годами акций способно многое прояснить.

Согласно договоренностям с Наполеоном, Россия обязывалась так или иначе противостоять не подчинившейся ему Великобритании и тесно связанной с ней Швеции, в которую входила территория Финляндии. И присоединение в 1809 году к России Финляндии было, в сущности, следствием *Тильзитского мира*, а не выражением собственной геополитической воли России.

Нельзя недооценивать и тот факт, что Финляндии (как и Польше) был сразу же предоставлен особый статус «Великого княжества Финляндского», получившего экономическую (своя таможня и своя валюта) и политическую (своя полиция и суд) — кроме сферы *внешней* политики — самостоятельность. Хотя это противоречит общепринятому мнению, именно в составе Российской империи сформировалась собственная финская *государственность*, в результате чего после распада Империи в 1917 году Финляндия как бы совершенно естественно стала суверенной европейской (конкретно — скандинавской) страной. И столетнее пребывание в составе России было для самой Финляндии, по-видимому, более «удачной» судьбой, чем если бы она продолжала оставаться частью Швеции (так, «выход» Финляндии из состава Швеции означал бы потерю последней около *половины* ее территории, что, наверное, вызвало бы решительное сопротивление). Характерно, что 23 ноября 1939 года, то есть за неделю до начала советско-финской войны, премьер-министр Финляндии А. Каяндер выступил с заявлением о «сочувственной Финляндии политике, которая проводилась Александром I и Александром II и встречала одобрение всего населения Финляндии»; кстати, памятники этим российским императорам и сегодня красуются на финской земле.

По-иному обстоит дело с территорией Латвии и Эстонии. Уже тысячелетие назад эта территория представляла собой своего рода *пограничную зону* между Европой и Россией. Так, еще в 1030 году Ярослав Мудрый построил здесь крепость, названную в честь его небесного покровителя Юрьевом (ныне — Тарту), но и тогда, и позднее на эти прибалтийские земли претендовали и в течение того или иного периода владели ими Польша, Германия, Дания, Швеция и, с другой стороны, Рос-

сия. До 1917 года латышский и эстонский народы не имели никаких элементов собственной государственности.

Двумя столетиями ранее, в 1721 году, Петр I по условиям Ништадтского мирного договора *купил* эти территории у владелицы ими тогда Швеции за громадную по тем временам сумму — 2 миллиона талеров (по-русски — «ефимков»), притом купил их вместе с так называемым Карельским перешейком между Финским заливом и Ладожским озером²⁸). Если посмотреть на карту, станет ясно, что тем самым обрело границы геополитическое пространство к северу и западу от новой столицы России — Петербурга (но необходимо напомнить, что еще в IX веке недалеко от будущего Петербурга находился древнейший город Руси — Ладога, который имел тогда не меньшее значение, чем Киев).

Вместе с тем Латвия и Эстония и после 1721 года в известной мере сохраняли характер *пограничной зоны* между Европой и Россией, что выражалось, в частности, в составе населения городов этих территорий: в Риге и Ревеле (Таллине) жили, кроме латышей и эстонцев, и немцы, и шведы, и русские. На рубеже XIX — XX веков в Риге, например, издавалось 18 газет на немецком языке, 8 — на русском, 5 — на латышском и, что особенно выразительно, выходили, помимо того, двуязычная русско-немецкая и трехязычная русско-латышско-немецкая газеты!²⁹

Сложнее была ситуация в третьей прибалтийской территории — Литве, так как она, в отличие от Латвии и Эстонии, в свое время имела собственную государственность, но позднее была целиком поглощена Польшей. В конце XVIII века при «разделах Польши» литовские земли вошли в состав России вместе с украинскими и белорусскими, и это произошло, в сущности, как бы по «техническим причинам», для уяснения которых следует опять-таки посмотреть на карту. Собственно польские земли, находящиеся *западнее* украинских и белорусских, забрала себе тогда Пруссия, и если бы литовские земли также отошли к ней, то образовался бы почти трехсоткилометровый германский «клин», врезающийся в глубь России. Кстати, небольшой «клин» с портом Клайпеда — Мемель Пруссия все же оставила тогда за собой, и он был возвращен Литве только в

1923 году, а в марте 1939 года вновь захвачен Германией, — вплоть до 28 января 1945 года, когда в Клайпеду вошли войска СССР-России.

* * *

Но обратимся к 1939 году. Сегодня явно господствует представление, что в сентябре этого года СССР совершил совместно с Германией еще один — четвертый, или, вернее, пятый — «раздел Польши», и массы людей бездумно воспринимают эту «концепцию». Между тем и в данном случае СССР-России были возвращены исконные украинские и белорусские земли, отторгнутые Польшей в 1920—1921 годах. То, что произошло в 1939 году, было в своем историческом смысле не агрессией СССР против Польши, но ликвидацией последствий польской агрессии! Английский историк Алан Тейлор «напомнил» в своем исследовании «Вторая мировая война» (1975), что тогда, в 1939-м, «министерство иностранных дел (Великобритании. — В. К.) указывало, что британское правительство, намечая в 1920 г. линию Керзона*, считало *по праву принадлежащей русским* ту территорию, которую теперь (то есть в 1939-м. — В. К.) заняли советские войска... В дальнейшем не было удобного случая признать *законность* наступления, принятого Советской Россией (в 1939-м. — В. К.), и... вопрос этот постоянно осложнял отношения между Советской Россией и западными державами»³⁰).

Положение, надо сказать, прямо-таки замечательное: воссоединение в 1939 году Украины и Белоруссии с британской точки зрения вполне *законно*, но не находится «удобного случая» признать это, и лихие сочинители продолжают вопить об агрессивном «разделе» Польши в 1939 году между СССР-Россией и Германией!

Словом, та геополитическая граница Польши — и Европы в целом — с Россией, которая установилась еще в X (!) веке, а позднее неоднократно нарушалась, была в очередной раз вос-

*Министр иностранных дел Великобритании в 1919—1924 годах Джордж Керзон предложил в 1919 году установить примерно ту восточную польскую границу, которая существует и сегодня. Но Польша в результате войны 1920 года отодвинула границу далеко на восток.

становлена в 1939 году. В высшей степени показательно, что поначалу намечалась иная, проходившая намного западнее граница — по рекам Сан и Висла, — но по воле СССР этого не произошло. Известный американский историк войны Уильям Ширер писал в 1959 году о решении Сталина отказаться от собственно польских территорий: «Хорошо усвоив урок многовековой истории России, он понимал, что польский народ никогда не примирится с потерей своей независимости»³¹⁾.

Другое дело — отторгнутые в очередной раз в 1920—1921 годах Польшей украинские и белорусские земли. Сейчас имеется немало всяких «перевертышей», кричащих, что воссоединение этих земель с остальными землями Украины и Белоруссии являлось-де «оккупацией» и «захватом». Поэтому отрадно читать работу *молодого* историка А. Д. Маркова «Военно-политические аспекты присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии», опубликованную в изданном в 1997 году в Москве сборнике «Великая Отечественная война в оценке молодых» (сборник этот небезыntenесен в целом).

А. Д. Марков вовсе не «лакирует» историческую ситуацию; он пишет, например, что СССР «до 22 июня 1941 г. фактически являлся гитлеровским союзником» (с. 22). Правда, слово «союзник» неточно; вернее было бы сказать, что СССР был «пособником», ибо в самом деле так или иначе способствовал германскому овладению Западной Европой, — вполне подобно тому, как годом ранее Великобритания и Франция являлись пособниками в овладении Германией Восточной Европой.

Вместе с тем молодой историк, никак не причастный к тенденциозности «доперестроечных» времен, не имеет потребности «отмываться» от своих прежних сочинений и, основываясь на реальных фактах, показывает, что основное население западных земель Украины и Белоруссии ни в коей мере не воспринимало введение войск СССР в 1939 году как «агрессию», «захват», «оккупацию» и т. п. Напротив, пишет А. Д. Марков, «в восточнопольских землях украинцы, белорусы и евреи нередко организовывали повстанческие отряды... нападая на отступающие от немцев польские части... Непольское население превращало польские знамена, отрывая от них белые полосы, в красные, засыпало цветами колонны Красной Армии... указывало места, где поляки прятали оружие, участвовало в обезвре-

живании небольших польских частей» и т. п. (с. 18). А это «непольское» население составляло, «по разным источникам», от 67 до 90 процентов! (с. 14).

Особенно следует отметить, что цитируемый молодой историк в своей лаконичной работе все же нашел место для многовековой перспективы: «Западноукраинские и западнобелорусские земли... в X — XI вв. входили в состав Киевской Руси. Причем уже в 981 г. князю Владимиру I пришлось вести борьбу с поляками за города Перемышль, Червень и др.» (с. 13). События 1939 года свидетельствуют, заключает А. Д. Марков, что «политика интернационализма с ленинским пренебрежением к вопросу о границах стала изменяться в сторону возвращения территорий, которыми когда-либо владели не только Российская империя, но и Киевская Русь» (с. 22). Отрадно, повторю еще раз, что молодой историк не поддается давлению — весьма мощному! — нынешних «либеральных» очернителей истории своей страны.

Впрочем, необходимо одно существенное уточнение. Суть дела состояла не просто в том, чтобы вернуть прежние «владения». Становление границы Руси и Запада в древнейшую эпоху происходило не столько в процессе «дипломатических переговоров», сколько как бы естественно, стихийно, само собой. Складывался не политико-дипломатический, а *геополитический рубеж* между Русью и Европой. И именно он лежал в *подоснове* решения о границе в 1939 году. И когда германские войска на рассвете 22 июня 1941 года переправлялись через Западный Буг, они рушили границу, прочно установленную великим князем Владимиром Святославичем в 981 году, то есть 960 лет тому назад...

При восстановлении этого рубежа в 1939 году закономерно встал вопрос (как и в конце XVIII века) о том литовском «клине», о коем уже шла речь выше, ибо в 1920 году Польша не только отторгла западные украинские и белорусские земли, но и отняла у Литвы Вильно — Вильнюс с прилегающей к нему территорией. И 10 октября 1939 года СССР передал эту территорию Литве. То есть вновь — спустя полтора столетия — была воспроизведена та же самая «геополитическая модель», что говорит о ее существенности. В нынешней Литве подчас звучат голоса, проклинаящие СССР за «позорный раздел

Польши» в 1939 году, однако, если толковать это событие в таком духе, литовцам следует отдать Польше Вильнюс...

Мне, разумеется, напомнят, что в 1940 году СССР присоединил к себе эту самую воссоединенную им самим Литву. Но, прежде чем говорить об этом, отмечу, что Литва — вполне аналогично Латвии и Эстонии — являет собой «пограничную зону» между Европой и Россией. Показателен с этой точки зрения состав населения Вильно — Вильнюса (в котором долго господствовали поляки) по переписи 1897 года: поляки — 30,1%, русские — 25,5%, литовцы — всего лишь 2,1% (!). И спустя почти сто лет, в 1989 году: поляки — 18,7%, русские — 20,2%, а литовцы теперь — 50,2% (!).

Кто-либо может подумать, что я уделяю прибалтийской теме в этом размышлении о великой войне неоправданно много места. Однако речь ведь идет именно о *геополитическом пограничье*, и без понимания его характера невозможно понять проблему в целом.

После начавшегося вскоре после Февральской революции, летом 1917 года, распада Российской империи (отделение Украины, Грузии, Армении и т. д. вплоть до отдельных губерний) отделились также Латвия, Литва и Эстония и, в отличие от других частей страны (к 1922 году «возвратившихся» в ее состав), были до 1940-го самостоятельными государствами. Но многозначительно, что на мировом дипломатическом языке они назывались в то время государствами-«лимитрофами», то есть «пограничными».

И накануне великой войны эти страны неотвратимо должны были занять либо Германия, которая уже 22 марта 1939 года (то есть за полгода до очередного «раздела» Польши) захватила район Клайпеды — Мемеля, либо СССР-Россия.

Я отнюдь не намерен закрывать глаза на тот факт, что, поскольку в предшествующие два десятилетия три прибалтийских страны были самостоятельными государствами, их присоединение к СССР в 1940 году заслуживает осуждения. Руководствуясь своими геополитическими интересами, СССР пренебрег национально-государственными интересами прибалтийских народов (между прочим, Петр I этого не делал, так как он именно купил латышские и эстонские земли у другого их «владельца»).

Но вместе с тем нельзя согласиться со многими нынешними сочинителями, преподносящими события 1940 года в качестве некой уникально позорной, прямо-таки чудовищной акции, на которую-де способен был именно и только большевистский или — как нередко объявляют — русский империализм.

Достаточно вспомнить, как «присоединяли» вроде бы добропорядочные европейские страны свои бесчисленные колонии, дабы убедиться, что русское и даже большевистское зло не представляет собой чего-либо из ряда вон выходящего. И дело, конечно, не только в колониях в точном смысле слова. В XIX веке США, например, отхватили у Мексики большую и наиболее ценную часть ее территории (нынешние штаты Калифорния, Техас, Нью-Мексико и др.), и тем не менее американские идеологи нисколько не стесняются обрушивать проклятия в адрес российского «империализма»!

Уже упомянутый английский историк Алан Тейлор писал в 1975 году, что «права России на балтийские государства и восточную часть Польши (украинско-белорусскую. — В. К.) были *гораздо более обоснованными* по сравнению с правом Соединенных Штатов на Нью-Мексико (одна из захваченных у Мексики территорий. — В. К.). Фактически англичане и американцы применяли к русским нормы, которых они не применяли к себе» (цит. соч., с. 497; выделено мною. — В. К.).

Особенно дики современные попытки некоторых прибалтийских идеологов представить пребывание их стран в составе СССР как гораздо большее зло, чем оккупацию этих стран Германией, хотя давно опубликованы секретные германские директивы, предписывавшие осуществление полной «аннигиляции» самих прибалтийских *народов* (а не только их государственной независимости). Так, в «меморандуме» Розенберга от 2 апреля 1941 года предписывалось превращение Эстонии, Латвии и Литвы в «территорию немецкого расселения, призванную ассимилировать наиболее подходящие в расовом отношении местные элементы... Необходимо будет обеспечить отток значительных слоев интеллигенции (то есть выразителей национального самосознания. — В. К.), особенно латышской (как наиболее многочисленной в сравнении с литовской и эстонской. — В. К.), в центральные русские области, затем при-

ступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян... не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного окончания войны и англичан (очень существенный момент, к которому мы еще вернемся! — В. К.), чтобы через одно или два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям Германии»³²⁾.

Гиммлер, несколько расходясь с Розенбергом, планировал не столько заселение Прибалтики германцами, сколько самую интенсивную политику в отношении ее собственного населения: «...двадцатилетний план, — писал он 12 июня 1942 года, — должен включать полное онемечивание Эстонии и Латвии... Мы должны это осуществить по возможности в течение 20 лет. Я лично убежден, что это можно сделать...»³³⁾

Впрочем, по своей главной сути оба «плана» едины: и в том и в другом прибалтийские народы как таковые, в их наличном национальном бытии и сознании, не причисляются к *европейским* народам, и их следует или в значительной мере «заменить» переселенцами из Европы, или полностью «онемечить», — лишь тогда Прибалтика станет частью Европы, действительно войдет в ее геополитические границы. Между тем ни в России, ни тем более в СССР с его политикой «интернационализма» (со всеми ее «негативными» сторонами) не проводилась какая-либо целенаправленная «русификация» прибалтийских народов.

Разумеется, изложенная программа ликвидации прибалтийских народов — крайнее выражение того, что называется «геноцидом», и она вообще не может подлежать какому-либо «обсуждению». Но поставим вопрос в совсем иной плоскости: нацисты были с определенной точки зрения *правы*, не считая прибалтийцев собственно европейцами; перед нами, как уже говорилось, «пограничье» Европы и Евразии-России, и нацистская программа именно это выявляла...

Для полноты картины следует сказать и о еще одной «спорной» пограничной территории — части нынешней Молдавии, называвшейся ранее Бессарабией. Поскольку в древнейшие времена здесь обитали восточнославянские племена уличей и тиверцев, западная граница Руси так или иначе устанавливалась в этой южной ее части не позднее X века; в частности,

князь Святослав Игоревич даже в известном смысле перенес столицу Руси из Киева в находившийся в дельте Дуная Переяславец. Впоследствии на бессарабских землях существовало в течение некоторого времени православное Великое княжество Молдавское, но им завладела мощнейшая в те времена Турецкая империя, а позднее, после целого ряда войн, Бессарабия к 1812 году вновь стала частью России, что окончательно закрепилось после победы над Наполеоном.

Словом, переход Бессарабии в результате распада России в 1917 году в состав Румынии был по меньшей мере не бесспорным актом, и возврат в 1940 году к восходящей к глубокой древности границе опять-таки нельзя воспринимать в качестве захвата собственно *европейской* территории.

И, следовательно, определившуюся к 1941 году западную границу СССР-России от Ледовитого океана до Черного моря есть все основания считать геополитической, соответствующей многовековому делению на два «субконтинента» — собственно Европу и то, что давно уже определяют термином *Евразия* (это, в сущности, геополитическое обозначение России, являющей собой своеобразный *субконтинент*).

Поэтому постоянно повторяемые утверждения, что-де СССР-Россия в 1939 — 1940 годах совершила агрессивные захваты и осуществила «раздел» *Европы* (Восточной) с Германией и т. п., едва ли имеют объективное значение; это только тенденциозная идеологическая оценка. Другое дело — положение, создавшееся после Победы 1945 года, когда определенный рубеж СССР-России и Запада прошел по восточной границе ФРГ, Австрии и Италии. Этот рубеж не имел *геополитического* обоснования, а поэтому и перспективного будущего. Но об этом речь пойдет в своем месте — в главе о послевоенном периоде.

* * *

Итак, в 1939—1940 годах была восстановлена та геополитическая граница между Европой и Россией, которая существовала уже тысячелетие назад, в очередной раз утвердилась на два века при Петре Великом и была порушена в результате катаклизма Революции. Россия никогда не имела цели присоеди-

нить к себе какие-либо территории *западнее* этой границы; столетнее пребывание в ее составе части Польши (1815—1917) и другой *будущей* (именно так!) европейской страны, Финляндии (1809 — 1917), — это те исключения, которые, как говорится, подтверждают правило; в высшей степени показательно, что обе территории с самого начала их вхождения в Империю получили статусы особых Царства и Великого княжества.

Естественно, нельзя обойти здесь вопрос о крайне прискорбной войне с Финляндией, длившейся с 30 ноября 1939 до 13 марта 1940 года. 14 октября 1939 года СССР предложил Финляндии совершить «территориальный обмен», главным элементом которого являлась передача — в сущности, как еще будет показано, возврат — в состав СССР-России *Карельского перешейка* (между Финским заливом и Ладожским озером) в обмен на превышающую этот перешеек в два раза территорию, расположенную севернее. На этом стоит остановиться подробнее, ибо в судьбе, казалось бы, совершенно незначительного клочка земли (1/15000 от территории СССР и 1/260 от территории Финляндии) воплощалась основополагающая геополитическая проблема.

Дело в том, что Карельский перешеек вошел в состав Русского государства в момент его рождения. Государство это с самого начала представляло как многонациональное или, вернее, многоплеменное, и, согласно «Повести временных лет», северное ядро Руси с центром в ее древнейшем городе Ладога создали *совместно* восточнославянские и финские — *чудь и весь* — племена, притом как раз *весь* населяла Карельский перешеек (ее потомки, называющиеся *вепсами*, существуют и сегодня, — в частности, в Ленинградской области; в 1989 году их было 13 тысяч человек).

Позднее Карельский перешеек не раз пыталась отнять у Руси-России владевшая Финляндией Швеция, и в 1617 году ей удалось отторгнуть его у ослабевшей за годы Смутного времени России. Но в 1721-м, как уже говорилось, Петр Великий возвратил Карельский перешеек, создавая пограничье вокруг новой столицы России, — восстановив тем самым первоначальную границу Русского государства.

Однако девяносто лет спустя, в 1811 году — через два года после создания Великого княжества Финляндского — эта тер-

ритория была (надо прямо сказать, совершенно опрометчиво) присоединена к нему в качестве своего рода щедрого дара Александра I. И после превращения в 1917 году Финляндии в суверенную страну получилось так, что граница с ней прошла не в полтораста километрах от Петербурга (как было при Петре), а почти по его предместьям... В принципе это было как бы геополитическим дефектом, очень остро воспринимавшимся в ситуации 1939 года. И СССР предложил вышеупомянутый «обмен», а на категорический отказ Финляндии ответил войной.

Сейчас СССР за эту войну клеймят последними словами, между тем видный английский историк Лиддел Гарт (отнюдь не «просоветски» настроенный) в 1970-м писал о «требованиях» СССР 1939 года к Финляндии:

«Объективное изучение этих требований показывает, что они были составлены на рациональной основе с целью обеспечить большую безопасность русской территории, не нанося сколько-нибудь серьезного ущерба безопасности Финляндии...» И даже после трудно доставшегося в марте 1940-го поражения финских войск «новые советские требования были исключительно умеренными. Выдвинув столь скромные требования, Сталин проявил государственную мудрость»³⁴⁾, — которая, надо отметить, по сей день проявляется в отношениях России и Финляндии.

Стоит привести слова Сталина из стенограммы его переговоров 12 октября 1939 года с главой приглашенной в Москву финляндской делегации Ю. К. Паасикиви: «Мы не можем ничего поделаться с географией (выделено мною. — В. К.), так же как и вы... — сказал тогда Сталин. — Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него границу»³⁵⁾. То есть речь шла именно о нарушенной в 1917 году геополитической границе, — и, в конечном счете, именно поэтому объективный английский историк выразил согласие с «требованиями» 1939 года к Финляндии.

Однако финны с 1811 года привыкли считать Карельский перешеек неотъемлемой частью Великого княжества Финляндского, которое — что особенно важно — даже и в столетний период его существования во внешнеполитических границах Российской империи предстало как скандинавская, то есть

европейская, страна. И вот эта страна с населением, составлявшим всего лишь *три с половиной миллиона* человек, в течение трех с половиной месяцев отчаянно сопротивлялась войскам огромного СССР. По недавно опубликованным подсчетам, «на той войне незначительной» (по словам Твардовского) погибли 126 875 (!) военнослужащих СССР...

Между тем при вторжении в сентябре 1939 года войск СССР в восточную часть Польши — то есть в Западные Украину и Белоруссию — погибли всего 1139 военнослужащих (0,9 процента от числа погибших в Финляндии)³⁶.

Что же касается ввода войск СССР-России в Эстонию, Латвию и Литву в октябре 1939 года (то есть еще до начала боевых действий в Финляндии) и официального присоединения этих трех стран к СССР в августе 1940-го, ни то ни другое не вызвало фактически никакого сопротивления!

Резкий контраст с ситуацией в Финляндии (следует напомнить, что совокупное население трех прибалтийских стран почти в *два раза* превышало финляндское) не мог быть некой случайностью. Конечно, те или иные слои прибалтийских народов испытывали чувство недовольства или даже негодования совершавшимся, но население в целом, надо думать, как-то сознавало «пограничный» характер своих стран и мирилось с их возвратом в состав СССР-России.

Этот факт обычно толкуется в «классовом» духе: большинство населения Прибалтики, ее трудящиеся, не имели, мол, ничего против социализма, и потому никакой войной и не пахло. Но ведь и в Финляндии имелся пролетариат и даже коммунистическая партия (сразу после начала финской войны в Москве было создано «теневое» коммунистическое правительство Финляндии во главе с видным коминтерновцем Отто Куусиненом). Однако финский народ единодушно встал на защиту своей страны — в отличие от прибалтийских народов.

И главное, полагаю, не в каких-либо «оценках» поведения народов, но в осознании *геополитического* различия. Показательно в этом плане рассуждение Черчилля о финской войне в его сочинении «Вторая мировая война». Он говорит о западных границах СССР 1939 года, которые вызывали у правителей страны глубочайшую тревогу, — границах с прибалтийскими странами и Финляндией, усматривая в этом давнюю историчес-

кую проблему. «Даже белогвардейское правительство Колчака, — напоминал Черчилль, — уведомило мирную конференцию в Париже (речь идет о конференции 1919—1920 гг., подводящей итоги Первой мировой войны. — В. К.), что базы в прибалтийских государствах и Финляндии (имелся в виду прежде всего Карельский перешеек. — В. К.) были необходимой защитой для русской столицы (Петрограда. — В. К.). Сталин высказал ту же мысль английской и французской миссиям летом 1939 года». То есть дело шло о «естественной» геополитической границе. «Сталин, — продолжал Черчилль, — не терял времени даром...» 28 сентября 1939 года был заключен соответствующий договор с Эстонией, и «21 октября Красная Армия и военно-воздушные силы уже были на месте, — заключает Черчилль, — та же процедура была одновременно проделана в Латвии. Советские гарнизоны появились также и в Литве... Оставались *открытыми* подступы только через Финляндию»³⁷⁾ (таким образом, Черчилль считал присоединение Карельского перешейка вполне естественным делом).

При этом — что особенно впечатляюще — речь шла отнюдь не о введении войск СССР на территорию Финляндии в целом, а только о возврате «подаренного» Великому княжеству Финляндскому в 1811 году Карельского перешейка, который еще в IX веке (!) принадлежал Руси. Тем не менее началась долгая и тяжкая война.

* * *

Возвращаясь к теме, о которой уже говорилось выше, нельзя не сказать, что сам факт очень дорого обошедшейся победы над крохотной Финляндией делает абсолютно неправдоподобной, даже нелепой нынешнюю «гипотезу», согласно которой в СССР всего через несколько месяцев после этой — в сущности, пирровой — победы было-де принято решение напасть на Германию, к тому времени уже подчинившей себе всю континентальную Европу! При всех возможных негативных оценках Сталина едва ли уместно видеть в нем полного несмышлениша...

К тому же в сознании Сталина, без сомнения, сохранялась ясная память о *походе на Европу* в 1920 году, — походе, в котором он принимал прямое участие. Хотя дело началось тогда с

агрессивного нападения Польши, которая стремилась вернуть себе всю правобережную Украину и большую часть Белоруссии, после поражения и отступления польских войск возникла идея захвата Варшавы (где, как предполагали, тут же начнется социалистическая революция) и дальнейшего движения на Берлин и Запад в целом. Командующий главным — Западным — фронтом М. Н. Тухачевский без обиняков взывал в июле 1920 года в своем приказе о наступлении: «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад!»³⁸⁾

Но начавшийся в июле поход на Европу потерпел сокрушительное поражение уже в августе. И позднее, в марте 1921 года, Ленин открыто признал этот поход «ошибкой», многозначительно добавив: «Я сейчас не буду разбирать, была ли эта ошибка стратегическая или политическая... это должно составлять дело будущих историков»³⁹⁾.

Из вышеизложенного следует, что это была *геополитическая* «ошибка»: Россия (пусть даже в обличье РСФСР и, далее, СССР) не может и не должна завоевывать Европу; она может и должна сохранять свое собственное геополитическое пространство, хотя не исключены споры о *границах* этого пространства, — в частности, о «принадлежности» к нему Прибалтики.

С 1991 года уже семь лет три прибалтийских страны всячески стремились доказать свою принадлежность к Европе, однако достаточно было властям РФ в 1998 году выразить недовольство притеснениями так называемых русскоязычных в Латвии и несколько ограничить взаимоотношения с ней, — и в этой вроде бы независимой от России стране разразился весьма острый кризис (хотя никакой действительной угрозы со стороны РФ, разумеется, не было). Из этого ясно, что Латвия — по крайней мере в настоящее время — *не вышла* из геополитического пространства России...

Но вернемся еще раз к походу на Варшаву и, далее, на Запад в целом в 1920 году. Строго говоря, это была *единственная* попытка завоевания европейской страны за *всю* историю России, — хотя, если верить западным русофобствующим идеологам, подобные попытки будто бы имели место многократно (реального подтверждения этих домыслов не существу-

ет). Притом поход 1920 года был продиктован, конечно же, не геополитической волей России, а большевистско-коминтерновским экстремизмом, который сразу же потерпел крах.

К 1939 году сей экстремизм ушел в прошлое, и, кстати сказать, именно в этом году, как показано в недавних исследованиях⁴⁰⁾, начался фактический «демонтаж» Коминтерна, завершившийся его официальной ликвидацией в мае 1943 года.

Подводя итог, целесообразно процитировать размышления одного из крупнейших представителей западной историософии — Арнольда Тойнби, проявлявшего волю к истинной объективности взгляда. В 1947 году он писал:

«На Западе бытует понятие, что Россия — агрессор... в XVIII веке при разделе Польши Россия поглотила львиную долю территории; в XIX веке она угнетатель Польши и Финляндии... *Сторонний* (выделено мною. — В. К.) наблюдатель, если бы таковой существовал, сказал бы, что победы русских над шведами и поляками в XVIII веке — это лишь *контрнаступление*... в XIV веке лучшая часть исконной российской территории — почти вся Белоруссия и Украина — была оторвана от русского православного христианства и присоединена к западному христианству... Польские завоевания исконной русской территории... были возвращены России лишь в последней фазе мировой войны 1939—1945 годов.

В XVII веке польские захватчики проникли в самое сердце России, вплоть до самой Москвы, — продолжал Тойнби, — и были отброшены лишь ценой колоссальных усилий со стороны русских, а шведы отрезали Россию от Балтики, аннексировав все восточное побережье до северных пределов польских владений. В 1812 году Наполеон повторил польский успех XVII века; а на рубеже XIX и XX веков удары с Запада градом посыпались на Россию, один за другим. Германцы, вторгшиеся в ее пределы в 1915—1918 годах, захватили Украину и достигли Кавказа. После краха немцев наступила очередь британцев, французов, американцев и японцев, которые в 1918 году вторгались в Россию с четырех сторон. И, наконец, в 1941 году немцы вновь начали наступление, более грозное и жестокое, чем когда-либо.

Верно, что и русские армии воевали на западных землях, — заключил британец, — однако они всегда приходили как *союз-*

ники одной из западных стран в их бесконечных семейных ссорах. Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства, пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди Запада — агрессорами... Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада из-за своей упрямой приверженности чуждой цивилизации»⁴¹).

Возражения против множества нынешних сочинений, в которых Россия (в том числе и в обличье СССР) предстает как агрессор в отношении стран Запада, пытаются обычно дискредитировать, объявляя такие возражения тенденциозными выдумками русских «национал-патриотов», пытающихся идеализировать свое Отечество. Но Арнольд Тойнби явно не принадлежал к русским патриотам...

И, если договаривать все до конца, очевидное «нежелание» России переступить геополитическую границу с Западом (чрезвычайно характерно, например, что даже при включении в состав Империи Финляндии была установлена определенная граница с ней), обусловлено не особенным ее «миролюбием», но, помимо прочего, давно сложившимся *пиететом* перед европейской цивилизацией, — *пиететом*, столь ясно воплотившемся в мощном российском *западничестве*. Притом западничество — это только крайнее проявление всеобщей настроенности: так, отнюдь не принадлежавший к западникам Достоевский все же посеял мысль о том, что «старые камни» Европы едва ли *не дороже* русским, чем самим европейцам (напомню, что 19 января 1945 года русские войска, например, спасли «старые камни» Кракова, рискуя при этом сильно увеличить свои потери...).

Итак, Россия, а затем СССР не предпринимали и даже не планировали (планы разжигания «мировой революции» — это иная проблема) завоевания стран Европы. «Поход на Варшаву — Берлин» 1920 года — своего рода исключительный случай, признанный вскоре же «ошибкой». Поэтому споры, возбужденные пресловутой резунской версией, — всего лишь недоразумение, говорящее о серьезном неблагополучии в стане нынешних историков. Нелепость этой версии обнаруживается уже абсолютно бесспорно в ее, так сказать, втором аспекте, согласно которому Гитлер-де решил начать войну против нас по-

тому, что ему стало известно о готовом вот-вот обрушиться на Германию задуманным Сталиным нападении. Между тем «План Барбаросса» был окончательно утвержден 18 декабря 1940 года, но даже три недели спустя, 9 января 1941 года, Гитлер заявил, что «Сталин, властитель России, — умная голова, он не станет открыто выступать против Германии»⁴²⁾, а 20 января «развил» тему: «...пока жив Сталин, *никакой опасности нет*: он достаточно умен и осторожен. Но когда его не станет, евреи, которые сейчас обретаются во втором или третьем гарнизонах, могут продвинуться в первый...» (там же, с. 138. Выделено мною. — В. К.).

Словом, все нынешние разглагольствования о том, что Германия-де напала на СССР ради предотвращения его якобы готового нападения, прямо-таки до неприличия безосновательны. И тем не менее эта «версия» сейчас достаточно широко выдвигается, особенно «решительно» такими авторами, которые сравнительно недавно утверждали нечто прямо противоположное. Они явно стремятся «отмыться» от своих прежних «заслуг».

Как уже сказано, при заключении пакта 1939 года глубоким заблуждением правительства СССР был расчет на последующую долгую и упорную войну *внутри* Европы, войну, которая, мол, изнулив враждующие лагеря, спасет СССР от мощного нападения, а в конечном счете, возможно, приведет Европу к революции, — как привела к ней Россию Первая мировая война. Этого рода надежды ясно просматриваются в тогдашних рассуждениях Сталина, и именно они, очевидно, и явились главным, решающим стимулом для неожиданного для всего мира пакта с нацистской Германией, который, так сказать, развязывал ей руки для атаки на Запад, каковая и началась всего через семь месяцев, в апреле 1940 года...

Конечно, вызвавшаяся в этом пакте «линия поведения» была заведомо «безнравственной», но, как уже говорилось, когда дело идет о глобальной внешней политике государств, попросту бессмысленно исходить из критериев нравственности, и «поведение» Великобритании и США было тогда отнюдь не менее безнравственным. К этой стороне проблемы великой войны мы и переходим.

* * *

К сожалению, до сего дня господствует ложное представление о роли Великобритании в 1939—1945 годах, что обусловлено, во-первых, тем поверхностным пониманием сущности войны в целом, о котором подробно говорилось выше, и, во-вторых, недостаточной раскрытостью некоторых «тайн» того времени, — в частности, спасения, избавления британских войск в мае 1940 года под Дюнкерком и полета Рудольфа Гесса в Великобританию через год, в мае 1941-го.

Германия, как подтверждает множество разнообразных фактов, стремилась вовсе не к войне с Великобританией, а к прочному *союзу* с ней, в котором она намеревалась, конечно, играть ведущую роль. Программу войны против СССР-России и, напротив, дружественного союза с Великобританией Гитлер выдвинул еще в 1925 году в «Майн кампф» и неоднократно горячо отстаивал ее, поскольку некоторые его соратники не верили в возможность склонить Великобританию на свою сторону.

Уже во время войны, в 1939-м и позднее, Гитлер не раз утверждал, что *победа* над Великобританией — отнюдь не в интересах Германии. Так, 13 июля 1940 года он заявил на секретном совещании, что «если Англия будет разбита... Британская империя распадется. Пользы от этого Германии — никакой. Пролит немецкую кровь, мы добьемся чего-то такого, что пойдет на пользу лишь Японии, Америке и другим» (цит. изд., с. 111). Примерно тогда же он утверждал (опять-таки не на публике), что «все, чего он хочет от Англии — это признания германских позиций на континенте... целью является заключить с Англией мир на основе переговоров». И очень существенно в устах Гитлера утверждение: «Наши народы по расе и традициям едины»⁴³ (напомню, что согласно проекту Розенберга Прибалтику следовало заселить, в частности, «расово полноценными» англичанами).

Военная документация Германии стала после ее поражения доступной для историков, и уже упомянутый Лиддел Гарт не без глубокого удивления констатировал, что «как это ни странно, но ни Гитлер, ни немецкое верховное командование не разработали планов борьбы против Англии... Таким образом, очевидно, что Гитлер рассчитывал добиться согласия английского правительства на компромиссный мир на благоприятных для

Англии условиях... немецкая армия совершенно не была готова к вторжению в Англию. В штабе сухопутных войск не только не планировали эту операцию, но даже не рассматривали подобную возможность» (!) ⁴⁴).

Правда, в июле 1940 года был намечен план вторжения в Англию — «Морской лев», но многие историки убедительно доказывают, что он представлял собой фальшивку (план, кстати, ни в коей мере не реализовывался), преследовавшую цель дезинформировать и Великобританию (ради запугивания, чтобы склонить к мирным переговорам), и, главное, СССР (дабы обеспечить неожиданность нападения на него). В высшей степени показательно, что именно в том самом июле 1940 года составлялся *реальный* «План Барбаросса»!

Многозначительны два уже упомянутых «тайнственных» события. Первое — поистине чудесное (его и называют обычно «чудом») избавление 300-тысячных английских войск в мае — начале июня 1940 года, когда германская армия стремительно окружала их около французского порта Дюнкерк и было ясно, что они не смогут перебраться через пролив Ла-Манш на родину. Однако Гитлер неожиданно приказал приостановить наступление своих войск, и благодаря этому три сотни тысяч британских военнослужащих спаслись, оставив, правда, немцам свое вооружение.

Пытались доказывать, что Гитлер и его военачальники допустили грубейшую ошибку. Между тем уже хотя бы один давно известный факт, что столь существенный приказ о приостановке наступления был передан немцами по радио в *незашифрованном* виде ⁴⁵) (и стал, естественно, известен англичанам), ясно говорит: это не ошибка, а намеренная акция. Германский генерал-фельдмаршал Рундштедт, выполнявший приказ о приостановке наступления, впоследствии заявил, что после дюнкеркского «чуда» Гитлер «надеялся заключить с Англией мир» ⁴⁶).

Об истинной сути дюнкеркского «чуда» основательно написал в 1956 году французский историк А. Гутар: «Гитлер был убежден, что Англия... будет вынуждена заключить мир. Он имел твердое намерение облегчить англичанам это дело и предложить им чрезвычайно великодушные условия. Было ли удобно при этих условиях начать с того, чтобы захватить у них их

единственную армию?.. Лучше... позволить их войскам совершить посадку на суда, что не представляло никакой опасности, так как они не могли взять с собой оружие, и война уже на исходе»⁴⁷). Случай вообще-то исключительно редкий в истории войн, и он может быть понят только как акция в пользу союза с Англией, а вовсе не борьбы с ней.

И вторая «тайна». Спустя год после дюнкеркского «чуда» (в течение этого года имели место только не столь уж значительные бои между итало-германскими и британскими войсками в Северной Африке), 10 мая 1941 года — то есть за шесть недель до вторжения Германии в СССР — в Великобританию прилетел Рудольф Гесс — третье (после Гитлера и Геринга) лицо в нацистской иерархии.

Утверждают, что это произошло по сугубо личной инициативе Гесса или даже что он был в то время в состоянии некоего умственного помрачения; именно такое толкование акции Гесса было дано спустя пять дней после его полета в официальной прессе Германии.

Однако в новейших исследованиях убедительно показана несостоятельность этой версии; Гесс, очевидно, был уполномочен на переговоры самим Гитлером. Автор одного из этих исследований, Г. Л. Розанов, основательно объяснил причину неудачи «миссии» Гесса: «Руководители английской политики к моменту прилета Гесса, то есть к маю 1941 г., не только обладали обширной информацией о готовившемся нападении фашистской Германии на СССР, но им была известна и дата нападения»⁴⁸). Поэтому они не опасались атаки Германии. Тем не менее Г. Л. Розанов делает существенное добавление к сказанному: «Видимо, в ходе переговоров с Гессом английская сторона серьезно скомпрометировала себя. Не этим ли объясняется тот факт, что английские дипломатические документы, относящиеся к «миссии Гесса», скрыты за семью печатями? Их публикация в нарушение существующей в Англии практики будет осуществлена не ранее 2017 г.» (!) (там же).

Речь идет скорее всего не о документах, в которых отражены переговоры с уже прилетевшим Гессом, ибо к моменту его прилета в Великобританию, как сказано, точно знали, что война перемещается в СССР-Россию, и потому едва ли германские предложения о союзе могли быть в этот момент приняты. Но

вместе с тем крайне сомнительно, чтобы столь высокопоставленный «парламентер» заявился в Великобританию без всяких предварительных — разумеется, сугубо тайных — договоренностей, которые, надо думать, и отражены в документах, чья публикация отложена на столь долгий срок (даже сегодня ждать этой публикации осталось почти двадцать лет!).

Укажу еще на один факт, который подтверждает, что полет Гесса 10 мая 1941 года был согласован с Гитлером (пусть последний это категорически отрицал): именно 10 мая, после перерыва в несколько месяцев, германская бомбардировочная авиация совершила «разрушительнейший налет на Лондон»⁴⁹⁾, притом это был вообще *последний* крупный налет. Вполне вероятно, что сей мощный удар призван был «подкрепить» предложения о мире и союзе прилетевшего как раз в тот самый день в Великобританию Гесса.

Но обратимся к общему положению Великобритании в первые годы войны. Нет никакого сомнения, что она не могла противостоять Германии, быстро вбиравшей в себя всю мощь континентальной Европы. Премьер-министр (с 28 мая 1937 по 10 мая 1940-го) Чемберлен и его ближайшие сподвижники были — как показано выше — готовы на все, лишь бы избежать реальной войны.

Вроде бы принципиально по-иному повел себя новый премьер — Черчилль. Однако вопрос о его политической линии достаточно сложен и противоречив. Ясно, что он был намного более широко мыслящим и осведомленным (сэр Уинстон умел собирать информацию) правителем, нежели Чемберлен, что нашло выражение, в частности, в его изданном в 1948—1953 годах пространном сочинении «Вторая мировая война», которое в 1953-м было удостоено Нобелевской премии *по литературе* (хотя особыми собственно литературными достоинствами его сочинение едва ли обладает).

Конечно же, Черчилль в своем сочинении всячески выпрямил и приукрасил свою политическую линию, утверждая, например, что он-де всегда был непримиримым противником Гитлера и нацизма вообще и при любых условиях боролся бы не на жизнь, а на смерть с Германией.

Между тем в 1937 году, когда суть нацизма уже вполне выявилась, Черчилль писал: «Некоторым может не нравиться сис-

тема Гитлера, но они тем не менее восхищаются его патристическими достижениями... Если бы моя страна потерпела поражение (в Первой мировой войне. — В. К.), я надеюсь, что мы должны были бы найти такого же великолепного лидера, который возродил бы нашу отвагу и возвратил нам наше место среди народов»⁵⁰).

И американский биограф Черчилля Эмрис Хьюз утверждал еще при его жизни, в 1955 году (и никаких опровержений не последовало), что тот едва ли «когда-либо серьезно беспокоился по поводу идеологических концепций Гитлера или его анти-демократической политики... Если бы Гитлер ограничился только пропагандой священной войны против России, Черчилль, вполне вероятно, не поссорился бы с ним» (там же, с. 285).

О том, с чем не хотел примириться Черчилль, он сказал в своей парламентской речи в октябре 1938 года: «Я нахожу невыносимым сознание, что наша страна входит в орбиту нацистской Германии, подпадает под ее власть и влияние и что наше существование начинает зависеть от ее доброй воли или прихоти»⁵¹).

Весь, как говорится, ужас положения заключался в следующем: «Черчилль — согласно совершенно справедливому суждению его советского биографа, В. Г. Трухановского, — прекрасно отдавал себе отчет в том, что, оставаясь в одиночестве, Англия обречена на неминуемое и быстрое поражение»⁵²). Отдавала себе в этом отчет и правящая верхушка Великобритании в целом. Впервые за несколько столетий гордая империя не могла рассчитывать на победу в войне и потому была, в общем, готова согласиться на мир и союз с Германией (в чем был уверен Гитлер).

Об этом недвусмысленно сказал вскоре после своего назначения на пост премьер-министра сам Черчилль в письме к президенту США Рузвельту от 14—15 июня 1940 года: «...в борьбе может наступить такой момент... когда можно будет получить очень легкие условия для Британского острова путем превращения его в вассальное государство гитлеровской империи. Для заключения мира будет, несомненно, создано прогерманское правительство (как это и произошло во многих странах Европы. — В. К.), которое может предложить вниманию потря-

сенной и голодающей (из-за германской блокады морских путей Великобритании. — В. К.) страны доводы почти неотразимой силы в пользу полного подчинения воле нацистов»⁵³).

Писал он о том же — правда, более сдержанно — Рузвельту и позднее, указывая на последствия своего возможного смещения с поста премьер-министра: «Я не могу отвечать за моих преемников, которые в условиях крайнего отчаяния и беспомощности могут оказаться вынужденными выполнить волю Германии»⁵⁴).

Существует ложное представление, согласно которому Великобритания чуть ли не с самого начала Второй мировой войны имела мощного и верного союзника в лице США. Между тем достаточно познакомиться с неофициальной перепиской Черчилля и Рузвельта в 1939—1941 годах (значительная часть ее была опубликована в сочинении Черчилля «Вторая мировая война»), дабы убедиться, что США только предоставляли Великобритании не очень значительную материальную помощь, но категорически отклоняли любые предложения о своем реальном или даже хотя бы официально-символическом участии в войне (о причинах речь еще пойдет). Лишь после внезапного нападения Японии на крупнейшую военно-морскую базу США Пирл-Харбор 7 декабря 1941 года (то есть почти через полгода после начала войны между Германией и СССР-Россией) произошел резкий сдвиг, и 11 декабря США и Германия объявили войну друг другу; в высшей степени показательно, что на следующий же день, 12 декабря, Черчилль отплыл на линкоре «Дьюк оф Йорк» в США для переговоров с Рузвельтом. Но только почти через год, 8 ноября 1942 года, войска США высадились в Северной Африке (кстати, высадились уже после 23 октября, когда английские войска разгромили «Африканский корпус» Роммеля), а еще восемь месяцев спустя, 10 июля 1943-го, — в Сицилии, то есть уже на территории Европы.

И едва ли есть основания сомневаться, что в 1940—1941 (до декабря) годах США ни при каких обстоятельствах не оказали бы собственно военной поддержки Великобритании. Уже не раз цитированный британский историк Лиддел Гарт, стремившийся к действительной объективности, писал в 1970 году, что только начавшееся 22 июня 1941 года нападение Германии

на СССР-Россию «позволило Англии выйти из положения, которое казалось безнадежным». Всякий иной вариант развития событий, утверждал Лиддел Гарт, «должен был логически привести сначала к истощению ее (Великобритании. — В. К.) сил, а в конечном итоге к полному поражению, даже если бы Гитлер и не пытался быстро завоевать остров путем вторжения... Соединенные Штаты могли бы «подкачать воздух», чтобы дать возможность Англии «удержаться на плаву», но это только продлило бы агонию, но не позволило бы избежать печального конца...» (с. 141—142).

В упомянутом своем сочинении Черчилль как бы не смог удержаться от признаний в том, что он прямо-таки *восторженно* воспринял 22 июня 1941 года. Правда, он значительно ранее — не без проницательности — полагал, что Германия нападет не на Великобританию, а на СССР-Россию (в своем сочинении он, обращаясь к опыту истории, напоминал, что ведь и Наполеон, захватив основную территорию континентальной Европы, напал затем на Россию, а не на Великобританию...), но все же, как признался сэр Уинстон, «это, казалось мне, слишком хорошо, чтобы быть истиной» (!)⁵⁵.

Повторю в связи с этим еще раз, что нынешние «туземные» историки, которые вроде бы читали цитируемое сочинение Черчилля и тем не менее гневно проклинают Сталина за его «циничную» удовлетворенность началом войны между Германией и Великобританией, поступают так только в силу засевшего в их подсознании культа Сталина! Ведь Черчилль буквально и открыто ликовал в аналогичной ситуации — когда Германия обрушилась на СССР-Россию.

Нет ровно никаких оснований усомниться в том, что Великобритания не могла оказать реальное военное сопротивление Германии и, если бы не 22 июня, так или иначе вошла бы в состав новой «империи германской нации».

Меня могут упрекнуть, что, утверждая это, я присоединяюсь к недавно еще модным рассуждениям об истории «в сослагательном наклонении» («если бы... то...» и т. п.); однако я вовсе не намерен конструировать какую-либо «альтернативу» реальному ходу истории. Суть дела состоит не в том, что Великобритания *не могла бы* вести войну против уже объединившей континентальную Европу Германии (достаточно упомянуть об

одном, но поистине впечатляющем факте: «присоединенные» к Германии «чешские заводы «Шкода» представляли собой... военно-индустриальный комплекс, который произвел между сентябрем 1938-го и сентябрем 1939 года почти столько же военной продукции, сколько вся военная промышленность Англии!»⁵⁶). Нет, суть дела заключается в том, что Великобритания и после 22 июня 1941 года не вела реальной войны против Германии. Не столь уж значительные боевые действия ее и, позднее, американских войск в Северной Африке с июня 1941-го до мая 1943 года и, далее, высадка 10 июля 1943-го на Сицилии преследовали фактически иную цель (о чем — ниже), а не задачу разгрома Германии.

Разумеется, и Черчилль и другие в то время официально уверяли, что интенсивно *готовятся* воевать против Германии вместе с СССР-Россией, и эти дипломатически-пропагандистские уверения до сих пор тяготеют над умами многих историков. Между тем Черчилль еще в 1950 году «рассекретил» составленный им 16 декабря 1941 года по пути в Америку документ, посвященный, как это вполне ясно из него, именно *целям* действий Великобритании и США (для понимания сути дела необходимо вспомнить, что десятью днями ранее составления этого документа, в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года, началось мощное контрнаступление наших войск под Москвой, развеявшее весьма прочно утвердившееся к тому времени представление о «непобедимости» германской армии):

«В настоящий момент фактом первостепенной важности в ходе войны являются провал планов Гитлера и его потери в России, — констатировал Черчилль. — Вместо предполагавшейся легкой и быстрой победы ему предстоит... выдерживать кровопролитные бои...» Но читаем далее:

«Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать *никакого участия* (выделено мною. — В. К.) в этих событиях, за исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью (ее не было. — В. К.) обеспечить все поставки, которые мы обещали»⁵⁷).

То есть цель участия в действительной войне с Германией даже и не ставилась! В конце цитируемого документа вся задача боевых действий Великобритании и США в наступающем 1942 году сведена к следующему: необходимо осуществить

«оккупацию Великобританией и Соединенными Штатами всех французских владений в Северной Африке (для чего, как уже говорилось, пришлось вначале посражаться с французскими войсками. — В. К.) и установление их (Великобритании и США. — В. К.) контроля... над всем Североафриканским побережьем от Туниса до Египта, что обеспечит, если это позволит положение на море, свободный проход через Средиземное море к Ливану и Суэцкому каналу»⁵⁸).

Цель заключалась, таким образом, не в действительной войне против Германии, а в обеспечении прохода по Средиземному морю к громадным британским колониям в восточной части Африки и в Азии, ибо другой возможный путь — вокруг Африканского континента — был примерно на 15 тысяч км (!) протяженнее... В сочинении Черчилля многократно подтверждается, что боевые действия в Северной Африке преследовали именно и только эту цель.

Разумеется, движение судов через Средиземное море было жизненно важным и даже необходимым для Великобритании. Но в высшей степени показательным, что германское командование выделяло для боевых действий в Северной Африке всего не более *трех-четырех* дивизий. Германия, говоря попросту, не опасалась Великобритании, ибо была убеждена, что после победы над СССР-Россией та волей-неволей смирится с германским господством.

Могут возразить, что за спиной Великобритании стояла мощь США. Но в Германии не считали, что США в наличной ситуации начнут полномасштабные боевые действия. Так, подводя итоги совещания в Ставке Гитлера в Полтаве 3 июля 1942 года, Гальдер записал:

«Вашингтон лишь утешает и заверяет. Никакого действительного второго фронта... Отвлекающий маневр на западе? Сомнительно^{*}; очевидно, никаких серьезных обещаний России не дадут. Скорее предупредят о необходимости сражаться дальше»⁵⁹).

Правда, спустя почти два года Великобритания и США вторглись в Северную Францию, но эта акция имела совершенно особенные смысл и цель (о них еще пойдет речь). Задачи же

^{*}Как видим, сомнителен даже всего-навсего «маневр»!

предшествующих боевых действий в сущности полностью сводились к обеспечению «выживания» Великобритании. Переломным моментом в осуществлении этой задачи явилось длившееся с 23 октября до 4 ноября 1942 года сражение около египетского селения Эль-Аламейн в ста километрах западнее Александрии, в ходе которого превосходящим британским силам удалось разгромить германо-итальянский «Африканский корпус». А через две недели, 19 ноября 1942 года, начался разгром германской армии под Сталинградом, завершившийся 4 февраля.

В западной литературе, а подчас под ее влиянием в нынешней «российской», эти два события истолковываются чуть ли не как равноценные, хотя такая постановка вопроса попросту смехотворна. В сражении при Эль-Аламейне итало-германские войска насчитывали всего 80 тысяч человек (в большинстве — итальянцев), оборонявших фронт протяженностью 60 км, а под Сталинградом — более чем *миллионное* войско Германии и ее союзников действовало на фронте длиной около 400 км. Но наиболее показательны, что в Сталинградской битве потерпела полный разгром 1/6 часть — 16,3% — всех тогдашних вооруженных сил противника, а при Эль-Аламейне — всего лишь около 1,3% (!) этих сил. Нельзя умолчать еще и о том, что британцы имели при Эль-Аламейне почти трехкратное превосходство в людях — 230 тысяч против 80 тысяч. Многозначительно, что Гитлер, который обычно сурово наказывал своих генералов за поражения, не только не сделал этого в отношении командовавшего «Африканским корпусом» Роммеля, но, наградив его 17 марта 1943 года «бриллиантами к Рыцарскому кресту», вскоре же — после того, как американско-английские войска 10 июля 1943 года высадились на Сицилии, — поручил ему командование группой армий в Италии.

Тем не менее западная пропаганда до сих пор пытается «приравнять» Сталинградскую битву и стычку у Эль-Аламейна, что, повторю, воистину смешно. Но поскольку *других* хоть сколько-нибудь заметных «побед» у Великобритании не имелось, без мифа об Эл-Аламейне пришлось бы признать, что она до 1944 года *не воевала вообще...* Дело обстояло именно так; английский историк войны Тейлор свидетельствовал: «В Англии до 1942 г. вероятность того, что солдат в армии получит те-

леграмму о гибели жены от бомбы, превышала вероятность того, что жена получит телеграмму о гибели мужа в бою», а «общее число убитых англичан во время воздушных налетов составило 60 тыс. за всю Вторую мировую войну...» (Тейлор, цит. соч., с. 387, 391). То есть до Эль-Аламейна Англия действительно не воевала...

Впрочем, если освободиться от пропагандистского тумана, станет ясно, что дело обстояло гораздо «хуже». Как раз во время сражения при Эль-Аламейне и остановки германского наступления под Сталинградом, в октябре 1942 года, Черчилль составил следующий секретный «меморандум»:

«Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе... — писал он тогда, во время Сталинградской битвы. — Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое... Я обращаю свои взоры к созданию объединенной Европы»⁶⁰), — правда, объединенной под эгидой не Германии, а Великобритании и США, но направленной-то против того же самого «русского варварства».

Эта геополитическая постановка вопроса целиком и полностью соответствовала *гитлеровской*, только лидеры для противостоящей России Европы предлагались другие...

Хотя Черчилль «дерзко» опубликовал этот меморандум вскоре после войны, на него не было обращено должное внимание. По всей вероятности, смущала известная раздвоенность геополитической (ясно выразившейся в сем меморандуме) и более узкой, так сказать, чисто политической стратегии Черчилля: считая европейские государства и нации единой «семьей», извечно противостоящей «варварской» России, он все же не хотел признать первенство германской нации в этой самой семье. И, надо думать, главным образом потому, что предвидел вполне созревшие к тому времени устремленность и способность США верховодить в Европе и в мире вообще.

Хорошо известно, что предшественник Черчилля, Чемберлен, не ориентировался на США, подчас даже почти оскорбительно пренебрегая инициативами Рузвельта, — о чем поведе-

но и во «Второй мировой войне» Черчилля, который, придя в 1940-м году к власти, повел себя совсем иначе.

Исходя из опыта прошлого, Чемберлен, очевидно, был убежден, что США, сохраняя свой традиционный «изоляционизм», не будут существенно участвовать в судьбе Европы, стремясь только извлекать какую-либо «прибыль». Ведь США всячески уклонялись от участия в начавшейся 1 августа 1914 года Первой мировой войне и вступили в нее лишь 6 апреля 1917 года, дабы поучаствовать в дележе «трофеев»*. Выразительно в этом отношении и резкое различие в количествах погибших в боях военнослужащих США: в 1917—1918-м — 37 тысяч, а в 1943—1945-м — 405 тысяч, то есть почти в *одиннадцать раз* больше, — несмотря даже на особенные, «американские» способы ведения войны**.

Так, США сыграли главную роль в начавшемся 10 июля 1943 года вторжении американо-английских сил на Сицилию и, затем, в южную часть Италии. Но об этом вроде бы значительном событии говорят гораздо меньше и как-то приглушеннее, чем о сражении при Эль-Аламейне. И только немногие — уж совершенно беспардонные — фальсификаторы сопоставляют его с развернувшейся в то же самое время грандиозной Курской битвой, — хотя события у Эль-Аламейна не стесняются постоянно сопоставлять со Сталинградской битвой.

Вторжение на Сицилию возглавлял сам Эйзенхауэр, который — что весьма существенно — считал «главной целью» этой операции (по его собственному определению) «очищение средиземноморского пути»⁶¹⁾, а не оккупацию Италии. И в самом деле: после занятия летом — осенью 1943 года Сицилии и южной части Италии (включая Неаполь) — то есть менее трети территории страны — наступление как-то нелогично остановилось и возобновилось лишь в июне 1944 года, — когда было предпринято и вторжение во Францию, — и преследовало уже совсем иную цель.

Как сказано, об итальянской кампании 1943 года пишут обычно кратко и уклончиво. В трактате Алана Тейлора (1975 год)

* Показательно, что США отказались в 1919 году вступить в Лигу наций.

** Напомню, что потери Великобритании во Второй мировой войне были, напротив, гораздо меньше, нежели в Первой (264 и 624 тыс.).

лаконично сказано: «Вторжение в Италию принесло с собой гораздо более серьезные политические проблемы, чем в Северной Африке... союзники действовали, не руководствуясь четкими политическими принципами. В Сицилии, например, американцы опять вооружили мафию, сокрушенную фашизмом, и господство ее продолжается по сей день...»⁶²⁾

Истинную историю вторжения США совместно с Великобританией в Италию можно узнать из позднейших западных сочинений, — но не из трактатов о войне, а из расследований деятельности мафии! Результаты этих европейских и американских расследований обобщены в изданной в 1996 году книге Р. Ф. Иванова, где, в частности, показано, что к подготовке вторжения в Италию были еще в 1942 году привлечены два самых влиятельных главаря американской мафии — Меир Лански и Лаки Лучано, причем последний — выходец из Сицилии — с 1939 года находился в тюрьме, осужденный за свои преступления на 50 лет, но ему за его участие в планируемой операции была обещана амнистия после войны, и правительство США сдержало свое слово. Были созданы все условия для контактов Лучано с его «людьми» в Америке и в Италии. И вот результат:

«Деятельность мафии по всем направлениям подготовки вторжения на Сицилию имела решающее значение». Были установлены «тесные связи со всемогущим главарем сицилийской мафии Калоджеро Виццини, доном Кало... Мафия расчищала путь американским войскам в Сицилии... Американские войска практически без сопротивления дошли до столицы Сицилии Палермо. Когда генерала Эйзенхауэра попросили прокомментировать этот блицкриг, он, ссылаясь на военную тайну, отделался лишь туманными намеками, будто генеральный штаб располагал важной стратегической информацией. О том, что произошло в действительности, мир узнал лишь много лет спустя. Мафия использовала все свое влияние, чтобы превратить наступление американцев в увеселительную военную прогулку. Были случаи, когда по приказу мафии капитулировали неприступные крепости... Американские власти по достоинству оценили рвение дона Кало. Он был назначен мэром одного из городов и получил звание почетного полковника американской армии. В составе американских вооруженных

сил пришли в Сицилию многие мафиози из США. Показательно, что 15% (!) личного состава американских вооруженных сил, высадившихся в Сицилии, были американцы сицилийского происхождения»⁶³) (отмечу, что обо всем этом в объемистых мемуарах Эйзенхауэра нет ни слова...).

Но особенно показателен тот факт, что после захвата в июле—сентябре 1943 года Сицилии и южной части Италии, включая Неаполь, наступление прервалось на целых восемь месяцев, и Рим, до которого оставалось всего сто с небольшим километров, был взят только 4 июня 1944 года. Дело в том, что вместо быстро капитулировавших под воздействием мафии итальянских войск армия США и Великобритании должна была после взятия Неаполя сражаться с пришедшими с севера *германскими* войсками, а это была уже совсем иная проблема... В реальную войну с Германией «союзники» вступили лишь летом 1944-го, что, как уже сказано, имело совсем другой смысл, чем обычно утверждают. И, кстати сказать, на территорию Италии севернее Флоренции — то есть, в частности, города Генуя, Болонья, Турин, Милан, Венеция — англо-американские войска смогли войти только в апреле 1945 года (!), когда германская военная мощь была полностью сокрушена нашей армией...

* * *

Невозможно переоценить приведенные выше секретные установки Черчилля, сформулированные в декабре 1941-го и в октябре 1942-го. В первой безоговорочно утверждалось, что Великобритания и США «не должны принимать никакого участия» в войне России и Германии, во второй — что именно Россия, а не Германия является истинным врагом Европы...

И вторжение англо-американских войск 6 июня 1944 года во Францию, а также возобновление остановленного восьмью месяцами ранее наступления в Италии (только 4 июня 1944 года был взят Рим) представляли собой в глубоком, подлинном своем значении акцию, имевшую целью не допустить, чтобы в ходе разгрома германской армии СССР-Россия заняла Европу. Дело в том, что за десять недель до начала *реального* вступления американско-английских вооруженных сил в войну, 26 марта

1944 года, наши войска вышли на южном участке фронта к государственной границе, и было всецело ясно, что они вот-вот начнут победный поход по Европе.

Высадка десанта в северной Франции была вообще-то естественной акцией и так или иначе обсуждалась уже в течение длительного времени. Но одно дело — обсуждение и совсем другое — практическое осуществление. Черчилль сообщает в своем сочинении: «Лишь в марте (1944 года. — В. К.) Эйзенхауэр... вынес окончательное решение», а «к апрелю наши планы стали принимать окончательную форму»⁶⁴). В свою очередь, Эйзенхауэр в опубликованных им мемуарах свидетельствовал: «7 апреля (1944 года. — В. К.) генерал Монтгомери (командовавший британской частью войск. — В. К.)... был готов детально доложить план наступления»⁶⁵).

Представляется по меньшей мере странным, что реальный план столь значительной военной операции (к тому же *единственной* по своим масштабам в действиях США и Великобритании в 1941—1945 гг.) явился на свет за столь краткий срок до ее начала (только 7 апреля Монтгомери был готов доложить о британской части плана!). Напрашивается объяснение, что именно выход войск России на государственную границу заставил действительно принять решение о вторжении во Францию — и по сути дела не для разгрома Германии, но для спасения как можно большей территории Европы от России.

Стоит привести здесь очень характерные суждения Уильяма Буллита, который в 1933—1936 годах был первым послом США в СССР, а затем стал послом во Франции. В мае 1938 года, когда так или иначе выявилась вероятность войны между Германией и Италией и, с другой стороны, Великобританией и Францией, он обратился к Рузвельту с призывом примирить враждующие стороны ради спасения Европы:

«Вы можете лучше, чем кто-нибудь другой, использовать тот факт, что мы являемся выходцами из всех наций Европы, а наша цивилизация — результат слияния всех цивилизаций Европы... что мы не можем спокойно наблюдать приближение конца европейской цивилизации и не предпринять последней попытки предотвратить ее уничтожение...» Ибо, заключал Буллит, «война в Европе может окончиться только установлением большевизма от одного конца континента до другого», а осу-

ществленное Рузвельтом примирение европейских держав «оставит большевиков за болотами, которые отделяют Советский Союз от Европы. Я думаю, что даже Гитлер... примет Ваше предложение»⁶⁶).

Именно такое геополитическое сознание определяло и стратегию Черчилля. Начавшаяся война между Германией и СССР-Россией, как показано выше, бесконечно радовала его, поскольку рождала надежды и на ослабление соперника по первенству в Европе, и на обезвреживание главного врага — России.

Однако, когда к 1944 году стала очевидной близкая победа СССР, Черчилль выдвинул «программу», которой он и придерживался в созданной СССР-Россией ситуации — согласно определению его самого — «уничтожения военной мощи Германии»:

«Решающие практические вопросы стратегии и политики... сводились к тому, что:

— во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой;

— во-вторых, надо немедленно создать *новый фронт* (выделено мною. — В. К.) против ее стремительного продвижения (в этом и заключалось истинное назначение созданного в июне 1944-го «второго фронта»! — В. К.);

— в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на Восток» и т. д.⁶⁷)

Как уже говорилось, до июня 1944 года Великобритания и США, по сути дела, *не воевали* с Германией. В частности, при любом возможном отношении к Сталину нельзя не признать справедливость его характеристики боевых действий 1943 года в южной Италии, изложенной им 28 ноября этого года на Тегеранской конференции: «...итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море... но он не представляет какого-либо значения в смысле... операций против Германии»⁶⁸).

Незадолго до этого, 10 августа 1943 года, — то есть уже после вторжения в Италию, — военный министр США Генри Стимсон докладывал Рузвельту: «Не следует думать, что хотя бы одна из наших операций, являющихся *булавочными уколами* (выделено мною. — В. К.), может обмануть Сталина и заставить его поверить, что мы верны своим обязательствам»⁶⁹).

Итак, только через *три года* после 22 июня Великобритания и США начали *реальную* войну, но из процитированной программы Черчилля ясно, что в истинном своем смысле это было противостояние не уже потерявшей свою боевую мощь Германии, а, как определил сам Черчилль, «стремительному продвижению» России, ставшей «смертельной угрозой» для Европы.

Разумеется, бои шли с германскими войсками, но, как недвусмысленно признал Черчилль, ради того, чтобы войска Великобритании и США продвинули свой «новый» фронт «как можно дальше на восток».

Во многих сочинениях о войне затронута тема разногласий между Великобританией и США, — в частности, в вопросе о «втором фронте». Разногласия действительно были, но они не касались *главного*. Еще 1 апреля 1942 года Рузвельт одобрил доклад начальника штаба армии США Маршалла, в котором осуществление высадки войск в Европе «ставилось в зависимость от двух условий:

- 1) Если положение на русском фронте станет отчаянным...
- 2) Если положение немцев станет критическим...»⁷⁰⁾

Как многозначительно уже одно это различие побуждающих вступить в войну «положений» — «отчаянное» и всего только «критическое»! В 1944 году положение немцев стало очевидно «критическим» — и именно и только потому США начали реальную войну, ничем не отличаясь в этом отношении от Великобритании.

* * *

Изложенные выше представления, согласно которым *реальное* вступление США и Великобритании в войну в июне 1944 года было направлено не столько против Германии, сколько против СССР-России, встретят, вполне вероятно, следующее возражение. Если дело обстояло таким образом, почему США и Великобритания все же воевали с *германской* армией вплоть до ее *капитуляции*, а не вступили в союз с ней против СССР-России?

Вопрос этот особенно существен потому, что — как давно и точно известно — глава стратегической разведки США в Ев-

ропе Аллен Даллес (в 1953-м он станет директором ЦРУ) еще с 1943 года вел тайные переговоры с представителями спецслужб Германии, — в том числе с одним из высших руководителей СС обергруппенфюрером Карлом Вольфом⁶⁹). Это вроде бы означает, что возможность союза с Германией имела место, но США все-таки отказались от него.

Однако этот отказ вовсе не являлся выражением «доброй воли»; в силу целого ряда причин союз с Германией был, строго говоря, невозможен. Едва ли не главная из этих причин заключалась в том, что США и Великобритания отнюдь не были уверены в своей способности даже и *совместно* с германскими войсками победить нашу армию. Хорошо осведомленный Алан Тейлор позднее писал о выводе, который «союзники» сделали к концу войны: «...в случае вооруженного конфликта с русскими победа маловероятна, даже если использовать на своей стороне германские силы»⁷⁰).

Далее, США были кровно заинтересованы в том, чтобы Германия потерпела полный крах и никак не могла восстановить свое первенство в Европе, ибо, отказавшись от своей традиционной «изоляционистской» геополитики, США сами имели теперь цель первенствовать и господствовать в Европе (да и в мире в целом), — из-за чего даже не раз возникали достаточно острые коллизии с Великобританией, полагавшей, что верховная роль в *Европе* после разгрома Германии достанется ей.

Нельзя не учитывать также, что к 1940-м годам приобрели очень весомую экономическую и политическую силу лидеры еврейской части (более 5 млн. человек) населения США, требовавшие полного сокрушения Германии и возмездия за ее беспрецедентные злодеяния по отношению к евреям (см. приложение «Война и евреи» в конце этой части книги). Один из ближайших и влиятельнейших сподвижников Рузвельта, министр финансов США в 1934—1945 годах Генри Моргентау*, еще в сентябре 1944-го разработал «план аграризации Германии, имевший целью превращение ее в страну «полей и пастбищ»... «Моя программа ликвидации угрозы германской агрессии, —

* В 1947 году Моргентау стал генеральным председателем организации «Объединенный еврейский призыв», а с 1951-го — председателем совета директоров «Американской корпорации по финансированию и развитию Израиля».

указывал Morgентау, — заключается в своей простейшей форме в лишении Германии всей ее тяжелой промышленности». Рузвельт и Черчилль одобрили план Morgентау⁷¹). Правда, на Крымской конференции в феврале 1945 года этот план по инициативе СССР был отвергнут, но сам факт его одобрения главами США и Великобритании многозначителен.

Можно назвать и ряд других причин невозможности союза США и Великобритании с Германией, но, надо думать, достаточно и указанных. Впрочем, несмотря на эту невозможность, экспансивный сэръ Уинстон все же готовил в конце войны своего рода «запасной вариант»: как сообщает тот же Алан Тейлор, Черчилль «приказал Монтгомери (командующий британскими войсками. — В. К.) держать в сохранности немецкое оружие на случай, если его придется применить против русских»⁷²) (цит. соч., с. 538), — разумеется, вернув это оружие сложившим его ранее немцам...

Но черчиллевский приказ являл собою скорее «жест», чем рассчитанную на практические последствия директиву. «Союзники» *вынуждены* были смириться, в сущности, со всеми «требованиями» истинного победителя в великой войне уже во время февральской Крымской (Ялтинской) конференции. Впоследствии Рузвельта и Черчилля многократно и резко обвиняли в «предательстве» Запада, совершенном в Ялте. Но если их согласие с «требованиями» СССР-России и было «предательством», то всецело, абсолютно *вынужденным*; они тогда ничего не могли поделать с победоносным соперником...

* * *

Приведенные факты, а также цитированные суждения Черчилля и других использовались в советской историографии войны главным образом для того, чтобы обличить «коварство» и прямое «предательство» Великобритании и США по отношению к СССР. Но такой подход к делу скорее мешает, чем помогает понять ход истории.

В сознании и поведении правителей США и Великобритании воплощалась не некая «безнравственность» (или, как нередко утверждалось, «классовый эгоизм»), но *геополитическая закономерность*, действовавшая в продолжение веков.

Еще в 1938 году, в канун войны, суть дела выразил в своем цитированном выше послании Рузвельту посол США в СССР, а затем во Франции Уильям Буллит, — человек, без сомнения, дальновидный. Он утверждал, что полномасштабная война *внутри* Европы, которая будет означать кардинальное взаимослабление борющихся сторон, приведет к господству над Европой СССР-России.

То же понимание ситуации выразилось в составленном 16 декабря 1941 года Черчиллем меморандуме под истинно «геополитическим» названием «Атлантика», где категорически утверждалось, что «ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать никакого участия» в начавшейся 22 июня войне (участие, имевшее место с июня 1944 года, было, по сути, дела направлено не против Германии, а против *России*...). Такую постановку вопроса следует воспринимать не как «подлость», а как геополитическую неизбежность. К сожалению, и современные, сегодняшние взаимоотношения Запада и России многие воспринимают совершенно неадекватно, — с одной стороны, питая бесосновательные надежды на «дружбу», с другой же — проклиная неких (якобы противостоящих основным устремлениям Запада) злоумышленников, требующих, например, расширения НАТО на восток...

Противостояние Запада (включая США) и России неустранимо. Притом, как признано в процитированном выше рассуждении Арнольда Тойнби, Запад, начиная с XIV века, выступал всегда в качестве агрессора; между тем Россия двигалась на Запад, по совершенно верным определениям Тойнби, либо в порядке «контрнаступления», либо в качестве «союзника одной из западных стран».

Тойнби датировал начало западного наступления на Россию серединой XIV века, но в действительности оно началось тремя с половиной столетиями ранее: в 1018 году польский князь (с 1025-го — король) Болеслав Великий, вобрав в свое войско германцев-саксонцев и венгров, а также вступив в союз с печенегами, вторгся в пределы Руси и захватил Киев, — правда, ненадолго, а в 1031 году Ярослав Мудрый восстановил границу с Польшей по Западному Бугу.

Из этого отнюдь не вытекает, что Запад являл собой хищного волка, а Русь-Россия — добрую овечку. С первых веков сво-

ей истории Русь двигалась к востоку и, дойдя в XVII веке до Тихого океана, как бы приняла в свои руки наследство Монгольской империи в целом. Согласно разработкам ряда русских идеологов, это движение Руси-России к востоку было закономерным и естественным созданием единства субконтинента «Евразия», — созданием, которое далеко не всегда было связано с завоеваниями. Но, конечно, и идеализировать это движение к востоку не следует; Россия подчас поступала так же, как покорявший мир Запад.

Вместе с тем вполне очевидно, что движение России на восток не сочеталось с движением на запад (о чем уже подробно говорилось), хотя в Европе постоянно твердили о русской опасности.

Имевшие место после 1917 года планы военной поддержки европейской и, более того, мировой революции были выражением не русской, а «коминтерновской» идеи и воли. Грешивший определенным легкомыслием Бердяев, который чуть ли не отождествил идеи Третьего Рима и Третьего Интернационала, безответственно (либо в силу неосведомленности) игнорировал тот факт, что идея Третьего Рима была принципиально *изоляционистской*, а ни в коей мере не экспансионистской.

Есть все основания полагать, что западный миф о русской опасности сложился в результате целого ряда *безуспешных* походов Запада в Россию. В течение столетий страны Запада без особо напряженной борьбы покоряли Африку, Америку, Австралию и преобладающую часть Азии (южнее границ России), то есть *все* континенты. Что же касается Евразии — России, мощные походы Польши и Швеции в начале XVII в., Франции в начале XIX в. и т. д. терпели полный крах, — хотя Запад был убежден в превосходстве своей цивилизации.

И это порождало в Европе *русофобию* — своего рода иррациональный *страх* перед таинственной страной, которая не обладает великими преимуществами западной цивилизации, но в то же время не позволяет себя подчинить. И, как ни странно, на Западе крайне мало людей, которые, подобно Арнольду Тойнби, способны «заметить», что русские войска оказывались в Европе только в двух ситуациях: либо в ответ на поход с Запада (как было и во Вторую мировую войну), либо по призыву само-

го Запада (например, отправление русского экспедиционного корпуса во Францию в 1916 году).

Те «факты», которые приводят, когда говорят о русской «агрессии» против стран Запада, в действительности представляли собой, как мы видели, военные действия, имевшие целью восстановление исконной, тысячелетней западной границы Руси-России. Тем не менее наша страна издавна воспринимается на Западе не только как чуждый, но и как враждебный континент. И это — геополитическое — убеждение, несомненно, останется незыблемым — по крайней мере в предвидимом будущем.

Глава вторая

ВНЕЗАПНОСТЬ ИЛИ НЕГОТОВНОСТЬ?

На предыдущих страницах Великая Отечественная война рассматривалась в наиболее широком — всемирном — контексте, но, конечно, необходим и взгляд на нее с точки зрения внутреннего положения в стране, — особенно если учитывать, что во многих новейших сочинениях содержатся необоснованные толкования не только внешнеполитических, но и сугубо внутренних проблем.

Начать уместно с вопроса о *внезапности* нападения врага. По мере рассекречивания относящихся к 1940—1941 гг. документов разведки СССР, в которых сообщалось о близящейся войне, — вплоть до конкретных дат ее начала — многие историки и публицисты все с большим негодованием (а подчас и с недоумением) писали о том, что правительство и прежде всего Сталин в силу чуть ли не патологической тупости «не верили» этим правдивым сообщениям. Как известно, Сталин полагал, что Германия, прежде чем она нападет на СССР, должна победить находившуюся с ней в состоянии войны с 1939 года Великобританию, ибо иначе ей придется воевать на два фронта. И игнорирование иных сообщений разведки оценивается как беспрецедентный, прямо-таки абсурдный просчет Сталина и его окружения, приведший в первые месяцы войны к тяжелейшим последствиям.

Правда, рассуждая об этом, почему-то никогда не упоминают о вполне аналогичном, но еще более разительном просчете, который несколькими месяцами *позже* допустил президент США Рузвельт и его окружение. Американская разведка, которой еще летом 1940 года удалось раскрыть японские шифры, неоднократно предупреждала о готовящемся нападении; тем не

менее мощная атака Японии 7 декабря 1941 года на военноморскую базу США Пирл-Харбор явилась полной неожиданностью, и в результате была мгновенно уничтожена очень значительная часть американского флота и морской авиации. При этом Рузвельт был уверен, что Япония *сначала* нападет на СССР. Таким образом, имела место полная аналогия с тем, что произошло пятью с половиной месяцами ранее в СССР, но, оказывается, США не извлекли из этого никакого урока!

Просчет Рузвельта представлялся совершенно необъяснимым; некоторые историки даже пытались позднее истолковать поведение президента как тайную акцию, преследовавшую цель вовлечь США в мировую войну. Поскольку в стране господствовала доктрина «изоляционизма», принципиального «невмешательства» в мировые дела, Рузвельт, — который, напротив, стремился к глобальному влиянию в мире, — будто бы сознательно ничего не сделал для подготовки отпора японской атаке, о которой ему-де было доподлинно известно, — не сделал, так как хотел потрясти американцев обилием потерь и тем самым побудить их ввязаться в мировую войну⁷³). Эта версия едва ли сколько-нибудь основательна, но само ее возникновение о многом говорит (Сталину, между прочим, подобное «обвинение» не предьявляли...).

Но если беспристрастно вдуматься, просчеты и Сталина, и Рузвельта имеют всецело убедительное объяснение. Сообщения разведки всегда в той или иной степени противоречивы, ибо она черпает их из самых разных — нередко дезинформирующих — источников. Не так давно был издан сборник документов под названием «Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март—июнь 1941 г.», из которого явствует, что в это время Сталин получал весьма различные сообщения — в том числе и дезинформирующие, — в особенности сообщения, согласно которым Германия (как и полагал Сталин) намерена, прежде нападения на СССР, захватить Великобританию⁷⁴). Один из тогдашних руководителей разведки, генерал П. А. Судоплатов, впоследствии отметил: «Особое внимание заслуживала информация трех *надежных* (выделено мною. — В. К.) источников из Германии: руководство вермахта решительно возразило против войны на два фронта»⁷⁵).

Недоверие к сообщениям разведки о германском нападении вызывала также и разногласия в содержащихся в них датировках начала войны: «...называли 14 и 15 мая, 20 и 21 мая, 15 июня и, наконец, 22 июня... Как только не подтвердились первые майские сроки вторжения, Сталин... окончательно уверовал в то, что Германия не нападет в 1941 г. на СССР...»⁷⁶⁾

В 1960-х годах и позже многие авторы с крайним возмущением писали, например, о том, что никто не поверил поступившему ровно за неделю до начала войны сообщению обретшего впоследствии всемирную известность разведчика Рихарда Зорге, в котором указывалась совершенно точная дата германского нападения — 22 июня. Однако этому и нельзя было поверить после ряда «несбывшихся» дат, сообщенных источниками, которые считались «надежными» (кстати, сам Зорге сначала сообщил, что нападение состоится в мае). И *теперешние* «аналитики», знающие — как и весь мир, — что война началась именно 22 июня, и потому негодующие на Сталина, пренебрегшего точной информацией Зорге, отправленной 15 июня, предстают как по меньшей мере наивные люди...

Впервые подобное обвинение в адрес Сталина было высказано в «сенсационном» хрущевском докладе на XX съезде КПСС, — докладе, задача которого — что вполне очевидно — заключалась не в уяснении реального хода истории, а в развенчании превозносимого в течение долгих лет вождя. Как возмущенно говорилось в этом докладе, «предостережения Сталиным не принимались во внимание» и потому «не были приняты достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и исключить момент внезапности нападения»⁷⁷⁾.

В этом обвинении Сталина в конечном счете выразился — пусть и бессознательно — все тот же комплекс «культы личности»: вот, мол, гений всех времен, а не смог разобраться в разведанных... Ведь, скажем, Рузвельт не вызывает подобного крайнего возмущения, хотя вроде бы именно из-за его «слепоты» США лишились основной части своего Тихоокеанского флота.

Помимо прочего, в хрущевском докладе утверждалось следующее: «Многочисленные факты предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну против Советского государст-

ва» (с. 42), — то есть другие люди — в том числе, очевидно, и сам Хрущев, — в отличие от Сталина, ясно понимали ситуацию, но, не обладая, мол, сталинскими полномочиями, не могли результативно действовать в плане подготовки к нападению врага.

Как ни удивительно, всего через несколько абзацев своего доклада Никита Сергеевич поистине простодушно «разоблачил» самого себя, фактически признавшись, что лично он совершенно не готовился к войне, — несмотря на упомянутые им «многочисленные факты», которые «красноречиво доказывали» ее неотвратимое приближение. Он поведал, как в первые дни войны он «позвонил из Киева т. Маленкову и сказал ему:

— Народ пришел и требует оружие. Пришлите нам оружие. На это мне Маленков ответил:

— Оружие прислать не можем... Все винтовки передаем в Ленинград, а вы вооружайтесь сами»* (с. 44).

Стремясь в 1956 году дискредитировать своего соперника в борьбе за верховную власть Маленкова, Хрущев невольно дискредитировал самого себя. Ведь к 22 июня он уже три с половиной года — с января 1938-го — был полновластным «хозяйном» в Киеве и на всей Украине (кстати, граничившей с сентябрю 1939-го с Германией!), но, оказывается, не удосужился заготовить хотя бы винтовки!.. Так что одно из двух: либо Хрущев в действительности вовсе не внимал тем «красноречивым доказательствам», о которых упомянул в 1956 году, либо никак не реагировал на эти «доказательства» в практическом плане (ведь уж винтовки-то первый секретарь ЦК Украины и член Политбюро мог бы своевременно заготовить...).

Впрочем, как уже сказано, хрущевский доклад по сути дела и не являлся сколько-нибудь объективным освещением хода истории; цель его сводилась к развенчанию Сталина, который, в частности, не смог подготовить страну к германскому нападению.

Между тем в действительности-то подготовка к войне была весьма внушительной. Так, с 1 сентября 1939 года, когда был принят закон о всеобщей воинской повинности, и до 22 июня

* В стенограмме доклада здесь пометка: «Движение в зале» (понятно, возмущенное).

1941-го численность Вооруженных Сил страны выросла с 1,5 млн. (как было в 1938 году) до 5,3 млн. человек, то есть в три с половиной раза⁷⁸⁾, а производство вооружения увеличилось с 1938 года по июнь 1941-го в четыре раза⁷⁹⁾. И что касается стрелкового оружия, — то есть главным образом столь озаботивших Хрущева винтовок, — оно накануне войны производилось в среднем за год в количестве 1 млн. 800 тыс. единиц⁸⁰⁾, и если в Киеве не нашлось летом 1941 года винтовок, то уж скорее всего из-за нерасторопности самого Хрущева...

Впрочем, суть проблемы в другом. Как ни парадоксально, Хрущев, утверждая, что причина тяжелейших поражений в начале войны состояла в неожиданности, внезапности нападения врага (которое не сумел предвидеть вождь), собственно говоря, повторил главный аргумент *самого Сталина!* Ведь тот в своем известном приказе от 23 февраля 1942 года «оправдывался»:

«В первые месяцы войны ввиду *неожиданности* и *внезапности* (выделено мною. — В. К.) немецко-фашистского нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать». Только на рубеже 1941 — 1942 года, продолжал вождь, «настало время, когда Красная Армия получила возможность перейти в наступление... Теперь (то есть в феврале 1942-го. — В. К.) уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент *внезапности* и *неожиданности*... израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то *неравенство* (выделено мною. — В. К.) в условиях войны, которое было создано *внезапностью*... При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту *внезапности*, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой... Инициатива теперь в наших руках, и потуги разболтанной ржавой машины Гитлера не могут сдержатъ напор Красной Армии. Недалек тот день, когда... на всей Советской земле снова будут победно реять красные знамена»⁸¹⁾.

Увы, всего лишь через десять недель после появления этого сталинского приказа, 8 мая 1942 года, враг начал в южной части фронта мощнейшее наступление, в результате которого к осени 1942 года фронт передвинулся на 600—800 км (!) к востоку и юго-востоку, достигнув нижнего течения Волги и Кавказского хребта (21 августа германский флаг был установлен

на вершине Эльбруса...). И 28 июля 1942 года Сталину пришлось отдать совсем иной по смыслу и тону, поистине отчаянный приказ, известный под названием «Ни шагу назад!», где говорилось уже не о «победно реющих», а о *«покрытых позором»* знаменах...⁸²⁾ Однако и после этого приказа «позорное» отступление продолжалось...

Наши поражения, испытанные в 1942 году, не уступали поражениям 1941-го, а в определенных отношениях даже превосходили их — хотя ни о какой «внезапности» теперь уже не могла идти речь... А это означает, что причина поражений отнюдь не сводилась — вопреки утверждениям Сталина в его приказе от 23 февраля 1942-го и, позднее, Хрущева в его докладе 1956 года — к «внезапности» (хотя она, конечно, влияла на ход событий).

Суть дела заключалась в том, что враг, вбивавший в себя человеческие и материальные ресурсы почти всей Европы, «был, — по приведенному выше слову Федора Глинки о наполеоновской армии, — *сильней...*». Остановленная и отброшенная назад в ходе самоотверженной битвы за Москву в конце 1941—начале 1942 года германская армия, в частности, не только быстро восстановила, но и значительно увеличила свою численность и вооруженность боевой техникой: в июне 1941-го — 5,5 млн. человек, 4200 танков, 43 000 орудий; летом 1942-го — 6,2 млн. человек, свыше 5000 танков, 52 000 орудий⁸³⁾.

Есть все основания утверждать, что ко времени появления приказа «Ни шагу назад!» страна находилась в наиболее тяжелом положении за все время войны*. Имелась вполне реальная угроза прорыва врага за Волгу с последующей атакой *с тыла* на центральные области России — и в том числе Москву, захват врагом Северного Кавказа отрезал страну от основных источников нефти и т. п.

Из этого следует, что едва ли основательно широко распространявшаяся и нередко крайне эмоционально преподносимая (начиная с хрущевского доклада) точка зрения, согласно которой поражения наших войск и их безудержное отступление

*Едва ли случайность, например, то, что генерал Власов перешел на сторону врага не в 1941-м (когда он, кстати, побывал в окружении), а именно летом 1942 года: скорее всего он был тогда убежден в неизбежности победы Германии.

вплоть до московских пригородов были обусловлены главным образом или даже исключительно внезапностью (объясняемой, в свою очередь, «слепотой» Сталина) нападения врага.

И, как уже сказано, эту точку зрения выдвинул именно Сталин, стремясь объяснить — и «оправдать» — тяжелейшие поражения первых месяцев войны, но впоследствии сталинская версия была обращена против него самого как главного виновника сей «внезапности», не сумевшего вовремя предвидеть нападение врага и подготовить к нему армию.

Между тем, исходя из факта сокрушительного германского наступления летом 1942 года, позволительно высказать убеждение, что, если бы даже Сталин и другие точно знали о должествующем совершиться 22 июня 1941 года и сделали все возможное для подготовки отпора, это не могло бы принципиально изменить ход войны... Ибо враг «был сильнее!..»

* * *

В высшей степени важно осознать, что сила врага определялась и той присущей ему мощной *геополитической волей*, о которой подробно говорилось выше, — между тем как нашим войскам и стране вообще в первое время была свойственна ослабляющая их волю *раздвоенность*. Это очень существенная и очень сложная проблема, но без ее освещения нельзя обойтись.

В предшествующей части этого сочинения* было подробно сказано о совершившемся с середины 1930-х годов преодолении «революционного» отрицания многовековой истории России и повороте к патриотической идеологии. Согласно уже цитированной работе одного из наиболее основательных нынешних исследователей истории второй половины 1930-х годов, М. М. Горинова, «в этот период происходит болезненная, мучительная трансформация «старого большевизма» в нечто иное... В области национально-государственного строительства реабилитируется сама идея государственности — идеология сильного государства сменяет традиционные марксистские представления... по всем линиям происходит естественный здо-

* См.: Кожин В. Вадим. Россия. Век XX. 1901—1939. М., 1999.

ровый процесс восстановления, возрождения тканей русского (российского) имперского социума»⁸⁴) и т. д.

В связи с этим стоит процитировать «Воспоминания солдата», принадлежащие знаменитому Гейнцу Гудериану. 3 октября 1941 года его танковая армия захватила Орел, и там состоялся разговор, явно произведший на германского военачальника очень сильное впечатление (цит. по смоленскому изданию 1998 года, с. 338): «О настроениях, господствовавших среди русского населения, можно было судить по высказываниям одного старого царского генерала, с которым мне пришлось в те дни беседовать в Орле. Он сказал: «Если бы вы пришли 20 лет назад (то есть в 1921-м. — В. К.), мы бы встретили вас с большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Мы как раз теперь снова стали оживать... Теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины»».

Восстановление государственности неизбежно означало определенное оттеснение *партии*, которая ранее была всеопределяющим средоточием власти. Это оттеснение конкретно проанализировано в недавнем исследовании О. В. Хлевнюка «Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы». В предвоенное время, подводит итог историк, нарастает «тенденция перемещения центра власти из Политбюро в Совнарком, которая была окончательно закреплена после назначения Сталина в мае 1941 г. председателем СНК... Как регулярно действующий орган политического руководства Политбюро фактически было ликвидировано, превратившись, в лучшем случае, в совещательную инстанцию при Сталине»⁸⁵).

Разумеется, то, что совершалось на самой вершине власти, имело место и на других ее этажах. Партия — воплощение революционной власти — утрачивала свою прежнюю роль, и именно в этом, в частности, заключался подспудный смысл террора 1937—1938 годов, направленного прежде всего и главным образом против партии. Вот, например, подтверждающие этот тезис совершенно точные сведения о судьбах делегатов съезда советских писателей 1934 года. Из 597 делегатов съезда 356, то есть около 60%, были членами (или кандидатами в члены) ВКП(б) и ВЛКСМ, и из них подвергся репрессиям 181 человек, — то есть более половины (!). Между тем из беспартийных — 241 делегат — пострадали 47 человек, то есть менее

чем один из пяти...⁸⁶⁾ Столь резкое количественное различие нельзя считать случайностью, и, в сущности, правы те, кто вообще трактуют «1937 год» как борьбу против *партии* с целью заменить ее порожденную Революцией власть «традиционной» по своему характеру государственной властью.

Кстати сказать, в цитируемых исследованиях М. М. Горина и О. В. Хлевнюка напрасно не обращено пристальное внимание на сталинский доклад, произнесенный 10 марта 1939 года. Тот переход власти от партии к государству, о котором говорит О. В. Хлевнюк, может все же показаться «формальным» актом, однако в докладе Сталина утверждалось — хотя и не без известной уклончивости, — что в стране происходит именно восстановление государства в его прежнем, *дореволюционном* виде и смысле.

По-своему замечательно содержащееся в этом докладе рассуждение об известной книге Ленина «Государство и революция», написанной в августе—сентябре 1917 года, то есть накануне Октябрьского переворота. Поскольку высказанные в сталинском докладе представления о значении и роли государства явно имели очень мало общего с ленинскими, вождь счел необходимым заявить, что-де «Ленин собирался написать вторую часть «Государства и революции»... Не может быть сомнения, что Ленин имел в виду во второй части своей книги разработать и развить дальше теорию государства... Но смерть помешала ему (кстати сказать, до этой смерти оставалось тогда шесть с лишним лет! — *В. К.*) выполнить эту задачу. Но чего не успел сделать Ленин, должны сделать его ученики»⁸⁷⁾, — то есть прежде всего он, Сталин.

Ленин в предисловии к своей книге действительно упомянул о том, что не дописал ее, — однако речь шла не о некой «второй части», а только о еще одной, седьмой, главе — «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов»⁸⁸⁾. И имелся в виду, понятно, опыт именно *революций*, а не проблема государственности как таковой. И даже в самых последних своих статьях, известных под названием «Завещание», Ленин рассматривал в качестве носителей безраздельной верховной власти ЦК и ЦКК (Центральная контрольная комиссия) партии, которые он призывал усовершенствовать, а не собственно государственные структуры.

Поэтому ссылка Сталина на будто бы не «успевшего» создать «теорию государства» Ленина не имела под собой реальных оснований; она преследовала цель затушевать тот факт, что предлагался кардинальный пересмотр ленинских — и вообще предшествующих — представлений о государстве в СССР.

В сталинском докладе неоднократно заходила речь о «недооценке роли и значения механизма нашего социалистического государства», о «непозволительно-беспечном отношении к вопросам теории государства» и т. п. Признавалось, что в 1917 году «необходимо было... разбить вовсе государственную машину», однако тут же оговаривалось: «...но из этого вовсе не следует, что у нового, пролетарского государства не могут сохраниться некоторые функции старого (то есть дореволюционного! — В. К.) государства» (с. 644).

Сказано это было достаточно осторожно, ибо и государство по-прежнему называлось «пролетарским», и «сохранение старого» ограничивалось только «некоторыми» функциями. Но перед нами все же явная «ревизия» прежних представлений, отразившая реальное изменение роли государства во второй половине 1930-х годов. С этим изменением нераздельно связана «чистка» руководства на всех уровнях и во всех сферах, включая (что особенно важно для нашей темы) *армию*.

В литературе о войне безусловно господствует точка зрения, согласно которой начавшееся с 1936 года смещение (и, в соответствии с «атмосферой» времени, репрессирование) огромного количества военачальников нанесло страшный ущерб и во многом обусловило поражения 1941 года; нередко в этом усматривают вообще *главную причину* поражений.

Не приходится сомневаться в том, что сама по себе широкая замена военачальников накануне великой войны не могла не привести к тяжелым последствиям. Помимо прочего, она в значительной мере подкрепляла уверенность Гитлера в победе; накануне войны он утверждал: «Россия не обладает даже той силой, которой обладала во время Первой мировой войны... Сталин уничтожил большинство русских генералов и офицеров»⁸⁹). Есть даже сведения — хотя их и оспаривают, — что сами германские спецслужбы способствовали дискредитации маршала Тухачевского и других.

Но вместе с тем известно, что «в конце войны» Гитлер много

раз повторял: «Правильно сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников» (!)⁹⁰. И это «прозрение» врага в высшей степени существенно, — особенно если учитывать, что Гитлер отнюдь не был тем дурачком, каким его подчас рисуют.

Не исключено сомнение: уместно ли прислушиваться к мнению врага? Сошлюсь поэтому и на суждения прошедшего войну офицера, позднее ставшего известным писателем, а еще позднее — ярким «антикоммунистом» — Василия Быкова. В опубликованной им в 1995 году статье, посвященной «цене» войны и крайне резко обличающей «методы» ее ведения, В. Быков вместе с тем утверждает, исходя из своего военного опыта:

«Существует распространенный *миф* (выделено мною. — В. К.) о том, что неудачи первого периода войны вызваны, кроме прочего, репрессиями среди высшего комсостава Красной Армии... Но ведь репрессировали не всех... И первые же месяцы войны показали полную неспособность прежнего командования... Очень скоро на полководческие должности по праву выдвинулись другие командиры... и, как ни странно, именно на их опыте кое-чему научился и Сталин. Может быть, впервые в советской действительности идеологические установки были отодвинуты в сторону...» (журн. «Родина», 1995, № 5, с. 34).

Гражданская — «классовая» — война 1918—1922 годов, в ходе которой выдвинулись почти все занимавшие высокое положение в армии до 1937—1938 годов военачальники СССР, была совершенно иным явлением, чем война, начавшаяся 22 июня 1941 года, для победы в которой требовались люди принципиально другого склада.

Вспомним, что Тухачевский, успешно командовавший подавлением антибольшевистских мятежей в Симбирске (1918 год), Кронштадте и на Тамбовщине (1921), потерпел сокрушительное поражение в единственной выпавшей на его долю войне с *иностранной* — польской — армией летом 1920 года. И едва ли основательно предположение, что он (вместе с другими подобными ему военачальниками) мог сыграть первостепенную роль в Отечественной войне — или даже вообще не допустить первоначальных побед врага! — хотя такие предположения безапелляционно высказывали многие авторы. Но это чисто декларативные утверждения, несостоятельность которых становится очевидной при обращении к реальному положению дел.

Примечательна с этой точки зрения изданная в 1988 году в Лондоне книга Виталия Рапопорта и Юрия Алексеева «Измена Родине. Очерки по истории Красной Армии». В общих рассуждениях этих авторов гибель Тухачевского и других военачальников предстает как едва ли не главная причина тяжких бед 1941 года. Но, в отличие от авторов множества других сочинений, эти авторы стремились изучать реальную историю Красной Армии в 1920—1930-х годах, — в частности, разработку ее стратегии и тактики. И стало непреложно ясно, что глубокое и точное предвидение характера будущей войны и основы необходимой в ней стратегии разработали вовсе не Тухачевский со товарищи, а служившие в Красной Армии выдающиеся военачальники *Первой мировой войны* — А. А. Свечин (до октября 1917-го генерал-майор, начальник штаба Северного фронта), А. Е. Снесарев (генерал-лейтенант, командующий корпусом), В. Н. Егорьев (генерал-майор, командующий корпусом) и другие. Тухачевский же в 1920-х — начале 1930-х был их непримиримым противником, обличал их как «антисоветских» и «антиреволюционных» стратегов, и все они еще в 1930 году были арестованы (см. об этом с. 160—169, 216—237 указанной книги; как это ни алогично, ее авторы в своих общих рассуждениях продолжают превозносить Тухачевского). И есть основания утверждать, что именно репрессии 1930 года (а не 1937-го) нанесли наиболее тяжкий ущерб нашей армии...

Необходимо сказать еще о следующем. Господствует мнение, что в результате репрессий 1937—1938 годов место зрелых и опытных военачальников заняли молодые и неискушенные, и это привело к тяжелейшим поражениям в начале войны. В действительности же на смену погибшим пришли в основном люди *того же поколения, но другие* — и с иным *опытом*.

Так, скажем, репрессированные Я. Б. Гамарник, В. М. Примаков, М. Н. Тухачевский, И. Ф. Федько, И. Э. Якир родились в 1893—1897 годах, и в те же самые годы, в 1894—1897-м, родились Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. К. Рокоссовский, Ф. И. Толбухин. Но первые, исключая одного только Тухачевского, провоевавшего несколько месяцев в качестве подпоручика*, *не участвовали* в Первой мировой войне, а вто-

* Он попал на фронт в сентябре 1914-го, а уже в феврале 1915-го оказался в плену, откуда вернулся на родину только в октябре 1917 года.

рые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали на ней свой боевой путь простыми солдатами.

Далее, первые оказались вскоре после Революции на наиболее высоких руководящих постах (хотя им было тогда всего от 21 до 25 лет...), — без сомнения, по «идеологическим», а не собственно «военным» соображениям, — а вторые, медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять войсками. Дабы оценить это, вспомним, что Суворов в 18 лет начал свой воинский путь унтер-офицером (тогда — капралом), а 16-летний Кутузов — прапорщиком, и лишь к сорока годам они «дослужились» до генеральского звания.

О кардинальном различии двух типов советских военачальников одного поколения можно бы еще многое сказать, но, впрочем, это различие и так очевидно.

* * *

Выше приводились высказанные в 1939 году Сталиным «ревизионистские» положения о государстве; правда, говорил он весьма осторожно и двойственно. Ибо, во-первых, не так легко было быстро изменить сознание миллионов преданных коммунистической идеологии людей, убедить их в необходимости верховной роли государства в «старом» смысле этого слова, а во-вторых, имело место сомнение в том, сможет ли восстанавливаемая «государственная» идеология (и, далее, практика) явиться *более эффективной*, чем предшествовавшая, делавшая ставку прежде всего на партию и «революционность» и легшая в основу многих, как тогда говорилось, «побед» (включая ту же коллективизацию...).

И целый ряд суждений и «указаний» Сталина в начальный период войны ясно говорит о том, что он колебался между собственно государственной и прежней, революционно-партийной, «линиями». Так, например, ликвидированный после столь прискорбной финской войны, в 1940 году институт *военных комиссаров* (то есть всевластных большевистских руководителей армии) был — в сущности, неожиданно — восстановлен менее чем через месяц после начала великой войны, 16 июля 1941 года!

В 1920 году Ленин вполне справедливо заметил: «Без военкома (то есть военного комиссара. — В. К.) мы не имели бы

Красной Армии»⁹¹). Но дело шло тогда о *классовой* войне; между тем Сталин уже в своем выступлении по радио 3 июля 1941 года дважды назвал начавшуюся войну «отечественной», хотя пока и без особого подчеркивания этого определения. Тем не менее вскоре же, через две недели, в войска были направлены «агенты» партии, имевшие, в сущности, больше полномочий, чем командиры.

Однако через год с небольшим, 9 октября 1942 года, институт комиссаров был окончательно ликвидирован, и закономерно, что это свершилось незадолго до победной стадии Сталинградской битвы, начавшейся 19 ноября. А 6 января 1943-го были восстановлены *погоны*, которые еще совсем недавно воспринимались в качестве непримиримо враждебного символа («золотопогонники»).

Словом, сознание Сталина (и, конечно, множества людей того времени) в начале войны было глубоко двойственным, в нем — подчас даже причудливо — переплеталось «революционное» и «государственное». В сталинском выступлении по радио 3 июля 1941 года ныне замечают прежде всего или даже только «православно-патриотическое» обращение «Братья и сестры!» и напоминание о победах над Наполеоном и германским кайзером Вильгельмом II. Но ведь в этом же выступлении содержится и звучащая теперь попросту наивно фраза: «В этой великой войне мы будем иметь верных союзников... в том числе в лице *германского народа* (выделено мною. — В. К.), поработанного гитлеровскими заправилками». И далее: «...германский тыл немецких войск представляет вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов». По-своему даже забавно столкновение синонимов — «*германский тыл немецких войск*» (!), которое как бы обнажает несостоятельность этого утверждения.

Но важнее другое. Даже и среди тех немцев, которые в 1944 году в самом деле пытались свергнуть Гитлера с его авантюристической, на их взгляд, стратегией, было немало «героев» войны против СССР-России, о чем уже говорилось выше. И абсолютное большинство «германского народа» отнюдь не возражало против имевшего многовековую предысторию геополитического «натиска на восток»... В 1971 году видный германский историк и публицист Себастиан Хаффнер справедливо характе-

ризовал развитие самосознания своих соотечественников в 1920—1930-х годах: «Они ничего не имели против создания Великой германской империи... Однако... они не видели пути, обещающего успех в достижении этой заветной цели. Но его видел Гитлер. И когда позже этот путь, казалось, стал реальным, в Германии не было *почти никого*, кто не был бы готов идти по нему»⁹²).

И еще один яркий образчик «раздвоенности» Сталина. В его речи 7 ноября 1941 года во время парада на Красной площади прозвучало постоянно поминаемое ныне: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского...» и т. д., — то есть Сталин как бы стирал границу между дореволюционной Россией и СССР. Однако в произнесенном днем раньше, 6 ноября, на станции метро «Маяковская», докладе утверждалось следующее:

«По сути дела, гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме... гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирали их царский режим...» и т. д. (с. 26).

Выходит, задача состояла в том, чтобы вместе с «германским народом» свергнуть установившийся в Германии режим, — и свергнуть потому, что он точно такой же («копия»!), какой был до 1917 года в России. То есть народ призывался к своего рода «революции», к «классовой» войне, — как бы к повторению совершенного в 1917 году...

В этой раздвоенности вождя выражалась в конечном счете глубинная, фундаментальная *неготовность* к той *геополитической* войне, которая обрушилась на СССР-Россию 22 июня. К концу войны Сталин уже совсем по-иному говорил о ее сущности и — что особенно характерно — о *причине* наших поражений в начальный ее период. Так, 6 ноября 1944 года он недвусмысленно заявил, что «как показывает история, агрессивные нации (речь уже идет о германской нации в целом, а не о кучке «гитлеровских авантюристов». — В. К.), как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне... Нельзя... считать случайностью такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии, Прибалтики в первый же год войны, когда Германия, как агрессивная нация, оказалась более

подготовленной к войне... это, если хотите, историческая закономерность...» (с. 146, 147). Таким образом, истинная причина поражений — не во «внезапности»...

Но главное заключалось в другом. Та раздвоенность, которая столь явно предстает в первоначальных сталинских суждениях, присутствовала — имея, правда, *противоположный* смысл — и в сознании (и, далее, поведении) тех миллионов людей — главным образом, из *крестьянских* семей, — которые должны были с оружием в руках противостоять германской армии. За что они ведут смертный бой — за свою тысячелетнюю Россию или же за установившийся в 1917 году возглавляемый партией *строй*? Не забудем, что всего восемь лет назад завершилась коллективизация, которая нанесла тяжелейший урон многим из этих людей или хотя бы их родственникам, соседям, односельчанам...

Для осознания — притом не отвлеченного, «теоретического», а воплощающегося в целостном существе людей и непосредственно переходящего в *действие* осознания, — истинного смысла войны было необходимо определенное время. Выше приводились фрагменты из «Сталинградской хроники» Юрия Кузнецова, в которых поэтически раскрыто пережитое в конце 1942 года солдатами глубокое «превращение».

Уже упомянутый германский истолкователь хода войны, Хаффнер, обоснованно писал: «С того момента, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: русские были сильнее... прежде всего потому, что для них решался вопрос *жизни и смерти*» (цит. соч., с. 59).

По мнению Хаффнера, поворотным «моментом» стал уже декабрь 1941 года, «когда контраступлением под Москвой русские доказали свою вновь обретенную волю к борьбе» (с. 59—60). Но, как мне представляется, проблема более сложна. Ведь позже, летом 1942 года, наши войска, как уже упомянуто, на южном фронте покатались на восток к Волге и Кавказу, в сущности, так же, как летом—осенью 1941-го к Москве... Ничего подобного не было и, очевидно, не могло быть *после* Сталинграда. Но взгляды пристальнее в битву под Москвой.

Глава третья

МОСКВА — РЖЕВ — БЕРЛИН

Победу на московских рубежах не без оснований называю «чудом». Казалось бы, Москва была обречена, и уже готовились к взрыву крупнейшие предприятия и даже метрополитен.

Уверенность врага в скорейшем захвате Москвы ярко выразилась в двух фактах, которые до последнего времени, в сущности, замалчиваются: прорыве колонны немецких мотоциклистов 30 ноября почти в границы Москвы, на мост через канал Москва—Волга⁹³) (вблизи нынешней станции метро «Речной вокзал»), и осуществленной тогда же, в ночь с 30 ноября на 1 декабря, дерзкой высадке на Воробьевых горах и в Нескучном саду — в четырех километрах от Кремля — авиадесанта который имел задачу выкрасть Сталина⁹⁴).

Мне об этих фактах «по секрету», полушепотом, рассказывали еще в 1960-х годах литературовед А. С. Мясников, который в 1941-м входил в руководящие партийные органы Москвы и потому был посвящен в кое-какие «тайны». Оба вражеских десанта были немедля уничтожены, но их «значимость» нельзя недооценивать.

Впрочем, гораздо важнее, конечно, тот факт, что к концу ноября сам фронт на северо-западном участке проходил менее чем в 20 (!) км от тогдашней границы Москвы (от нынешней границы — всего в 10 км) и менее чем в 30 км — от стен Кремля! Речь идет прежде всего о поселке вблизи Савеловской железной дороги, недалеко от станции Лобня (26-й километр) Красная Поляна и окрестных деревнях Горки, Киово, Катюшки (ближайшей к Москве).

Известный супердиверсант штандартенфюрер СС Отто Скорцени вспоминал в 1950 году: «Нам удалось достичь не

большой деревеньки (по всей вероятности — Катюшки. — В. К.) примерно в 15 километрах северо-западнее Москвы... В хорошую погоду с церковной колокольни была видна Москва...» А «летописец» 2-й танковой дивизии вермахта зафиксировал 2 декабря: «Из Красной Поляны можно в подзорную трубу наблюдать жизнь русской столицы (по воздушной линии до городской черты — 16 километров)» (там же, с. 185). В эту дивизию, кстати сказать, уже было завезено парадное обмундирование для победного шествия по Красной площади Москвы⁹⁵).

И 29 ноября 1941-го Гитлер объявил, что «война в целом уже выиграна»... В этом были убеждены и многие из тех, кто находился на подмосковных рубежах. Тогда же германский штабной офицер Альберт Неймген писал своему любимому родственнику:

«Дорогой дядюшка!.. Десять минут назад я вернулся из штаба нашей пехотной дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через несколько часов это наступление начнется. Я видел тяжелые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших пехотинцев, которые первыми должны пройти по Красной площади. Это конец, дядюшка, Москва наша, Россия наша... Тороплюсь. Зовет начальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы...»⁹⁶)

Небольшой поселок (менее 6 тыс. жителей) Красная Поляна обрел тогда всемирную известность и до сего дня упоминается в большинстве отечественных и зарубежных сочинений, касающихся Московской битвы.

Особенное внимание к этой малой точке на карте войны совершенно естественно. Дело не только в том, что фронт здесь наиболее близко подошел к Москве; так, захваченная врагом деревня Черная Грязь* на Ленинградском шоссе расположена ненамного дальше от границы Москвы. Но, во-первых, враг занял Черную Грязь всего на несколько часов, между тем как бои у Красной Поляны длились около двух недель, а, во-вто-

*Ей посвящена последняя главка знаменитой книги Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Далее следует: «Вот уже Всесвятское... Москва! Москва!!!»

рых, — и это главное — захват Красной Поляны, расположенной на 8 км *восточнее* Черной Грязи, был звеном генерального плана *окружения* Москвы: войска врага уже нависли здесь с севера над *центральной* частью города, являя собой зубец призванных сомкнуться к востоку от Москвы танковых клещей... Поэтому в боях у Красной Поляны есть основания видеть своего рода эпицентр Московской битвы. Как писал впоследствии один из руководителей «Московской зоны обороны», генерал К. Ф. Телегин, перелом в битве под Москвой начался именно с Красной Поляны — «рубежа, наиболее близкого и опасного для столицы»⁹⁷).

В многочисленных сочинениях, где заходит речь об ожесточенных схватках у Красной Поляны, к сожалению, имеет место путаница или по меньшей мере неясность. Причина в том, что сначала, до 29 ноября, этот участок фронта находился в полосе боевых действий 16-й армии, которой командовал К. К. Рокоссовский, а затем — 20-й армии под командой Власова (того самого — из-за чего возникли дополнительные сложности с изучением ситуации на данном участке фронта).

Основные сведения о *первом* периоде боев у Красной Поляны содержатся в воспоминаниях самого Рокоссовского и начальника артиллерии в его армии, генерал-майора (впоследствии — маршала) В. И. Казакова, а о *втором* периоде — в воспоминаниях начальника штаба 20-й армии полковника (с 1944-го — генерал-полковника) Л. М. Сандалова⁹⁸). Но пишущие ныне об этих боях произвольно смешивают два различных периода, затемняя тем самым ход событий.

Первый раз немцы захватили Красную Поляну, по свидетельству генерала Казакова, еще 24 ноября*. И, по его сообщению, «местные жители успели сообщить по телефону в Моссовет, что там (в Красной Поляне. — В. К.) устанавливаются дальнобойные орудия для обстрела столицы»**. И в штабе Рокоссовского 25 ноября «около 3 часов ночи раздался телефон-

*Правда, хорошо информированный редактор газеты «Красная звезда» утверждал, что это произошло позже, 26 ноября, — и, возможно, был прав (см.: Ортенберг Д. Июнь—декабрь сорок первого. Рассказ-хроника. М., 1984, с. 275).

**Есть и другая версия, согласно которой телефонная связь с Москвой была уже нарушена и сообщение доставила перебравшаяся через фронт женщина (см.: Молчанов В. Записка из Красной Поляны. «Правда», 1986, 4 августа, с. 3).

ный звонок. Командарма вызывала по ВЧ Ставка Верховного главнокомандования». Сам командарм в своих воспоминаниях писал, что в этом ночном разговоре с ним «Сталин особенно подчеркнул, что из Красной Поляны фашисты могут начать обстрел столицы».

Были спешно собраны и отправлены к Красной Поляне артиллерия, в том числе реактивная («катюши»), и танки. «Бой продолжался весь день, — вспоминал Казаков. — С наступлением темноты наши танки ворвались в Красную Поляну, захватили много пленных, машин и орудий». Согласно сохранившемуся в архиве тогдашнему донесению Казакова, «в Красной Поляне захвачены два 300-миллиметровых орудия, которые предназначались для обстрела города»⁹⁹⁾ (такие орудия действительно могли накрыть огнем Кремль).

Но, как упомянул сам Казаков, врагу «через некоторое время... удалось вновь вернуть оставленные позиции». К этому моменту Красная Поляна была уже в «ведении» не 16-й, а заново создаваемой 20-й армии, командующим которой стал будущий (с июля 1942-го) изменник Власов. Как известно, в ноябре 1941-го Сталин вызвал его в Москву из воронежского госпиталя. И, по воспоминаниям начальника штаба 20-й армии Л. М. Сандалова, приступившего к исполнению своих обязанностей 29 ноября, — воспоминаниям, которым нет оснований не доверять, — Власов тогда страдал (из-за контузий) тяжелым расстройством слуха и зрения и находился не на фронте, а в Москве, в гостинице Центрального Дома Красной Армии под присмотром медсестры. И только 19 декабря, когда его перешедшая 5—6 декабря в наступление 20-я армия была уже на подступах к Волоколамску, Власов появился на ее командном пункте, и «состоялась, — по словам Сандалова, — наша первая с ним встреча»¹⁰⁰⁾.

Об этом стоило упомянуть, поскольку ныне Власова подчас называют «спасителем Москвы», между тем как он не имел возможности осуществить сию миссию в силу серьезного недомогания. Кстати сказать, воспоминания Сандалова впервые появились в печати более тридцати лет назад, когда многие ветераны 20-й армии были еще живы, так что едва ли стоит подозревать этого генерала в искажении фактов.

Но вернемся к сути дела. Как сообщает Сандалов, утром

1 декабря немцы *вторично* захватили Красную Поляну и намеревались, закрепившись здесь, двинуться к Москве. Однако к этому моменту у станции Лобня уже находились артиллерия и танки 20-й армии, которые не допустили продвижения врага к Москве и готовились к контрнаступлению. 30 ноября план этого контрнаступления, разработанный командующим Западным фронтом — основным в битве за Москву — генералом армии Г. К. Жуковым, был утвержден Ставкой. В плане значилось: «20-я армия из района Красная Поляна — Белый Раст... наносит удар в общем направлении на Солнечногорск... и далее на Волоколамск». Армия должна была двинуться вперед «с утра 3—4 декабря»¹⁰¹⁾.

Но в Красной Поляне закрепились танковая и пехотная дивизии врага. Как свидетельствовал Сандалов, «за восемь дней оккупации противник превратил поселок в сильный укрепленный пункт... Дом за домом, строение за строением отвоевывали наши войска у врага»¹⁰²⁾. И только 8 декабря Красная Поляна была освобождена.

Бывший начальник отдела печати германского министерства иностранных дел Пауль Шмидт, располагавший, понятно, солидной информацией, после войны стал публиковать сочинения об ее истории под псевдонимом Пауль Карелл. В изданной в 1963 году книге «Предприятие Барбаросса» он писал: «В Горках, Катюшках и Красной Поляне... почти в 16 км от Москвы (то есть от ее тогдашней границы. — *В. К.*), вели ожесточенное сражение солдаты 2-й венской танковой дивизии... Катюшки находятся от Москвы так же близко, как Ораниенбург от Берлина (30 км к северо-западу от рейхстага. — *В. К.*). Через стереотрубу с крыши крестьянского дома на кладбище майор Бук мог наблюдать жизнь на улицах Москвы. В непосредственной близости лежало все. Но захватить его было невозможно...»¹⁰³⁾

* * *

Невозможно — вопреки всему предшествующему ходу войны! Ведь до захвата Красной Поляны, расположенной в 16 км от Москвы, германские войска двигались от Бреста со скоростью в среднем 16—17 км за день... Это вроде бы противоречит общему подсчету пройденных километров и дней войны:

1100 км за 155 дней (от 22 июня до 24 ноября) — получается в среднем 7 км за день. Однако, достигнув к концу июля — началу августа, то есть за 40 дней, 700-километрового (от границы СССР) рубежа западнее Смоленска, войска, двигавшиеся в направлении Москвы (до нее оставалось 400 км), сделали остановку — прежде всего ради наступления в южной части фронта, которое преследовало (и осуществило) цель захвата Украины: 20 сентября был взят Киев. Для этого, в частности, отправилась на Украину мощная танковая армия Гудериана, *возвратившаяся* затем на московское направление.

Наступление на Москву возобновилось в конце сентября — начале октября. 7 октября была захвачена Вязьма (240 км от Москвы), 14 октября — Тверь (Калинин, 170 км от Москвы), 19 октября Можайск (110 км от Москвы). Но в это время начались затяжные дожди, и из-за возникшего бездорожья врагу пришлось замедлить наступление и дожидаться заморозков, укрепивших грунт. Только 15 ноября германские войска вновь мощно устремились к Москве и 24-го (или 26-го) были уже в Красной Поляне; таким образом, если исключить *перерыв* в наступлении, германские войска в два приема (первая половина октября и время с 15 по 24 ноября) прошли 400 км — то есть скорость их продвижения была примерно та же, что и в начале войны. Тем не менее они не только не смогли пройти *последние 16 км* до Москвы (от Красной Поляны), но и покатались назад с той же скоростью, как и наступали: так, Тверь (170 км от Москвы) была освобождена через 10 дней после начала контрнаступления — 16 декабря.

Во множестве зарубежных сочинений утверждается, что германские войска и остановил, и погнал назад «генерал Зима». Разумеется, нельзя отрицать, что подмосковные морозы нанесли немалый ущерб врагу, рассчитывавшему на быструю — до наступления сильных морозов — победу. Однако столь же ясно, что «генерал Зима» в то же время *подгонял* наступавшую германскую армию. Командовавший походом на Москву генерал-фельдмаршал фон Бок 12 ноября совершенно верно сформулировал проблему: «...в военном и психологическом отношениях необходимо взять Москву... хуже, если мы останемся лежать в снегу на открытой местности в 50 км от манящей цели»¹⁰⁴).

И 15 ноября фон Бок объявил в приказе о заключительном наступлении на Москву: «Солдаты! Перед вами Москва! За два года все столицы континента склонились перед вами... Осталась Москва. Заставьте ее склониться... Москва — это отдых. Вперед!»¹⁰⁵⁾

Поэтому версия, согласно которой именно «русские морозы» сломали волю германских войск, остановили их у самых ворот Москвы, а затем погнали на запад, — заведомо тенденциозная версия. Она, в частности, опровергается дальнейшим ходом событий. Ведь враг, отступивший в декабре 1941-го — начале января 1942-го от Москвы до линии, проходившей восточнее городов Ржев — Гжатск (ныне Гагарин) — Вязьма, самым прочным образом закрепился на этой линии (на отдельных участках — всего в 130 км от Москвы!), пережил там — несмотря на многократные мощные атаки наших войск — остаток зимы, а потом и следующую зиму, и лишь в марте 1943 года, то есть уже после Сталинградской победы, отступил на запад. Столь долгое (14 месяцев) стойкое сопротивление врага в округе Ржева — очень существенная глава истории войны, и мы к ней еще вернемся. Сначала завершим тему «русских морозов», излюбленную немецкими и англоязычными историками.

Приписывая поражение врага этим морозам, современные авторы, в сущности, попросту повторяют то, что утверждалось зарубежными, а с их голоса и — как ни прискорбно — многими «туземными» историками о поражении Наполеона. Нет сомнения, что во второй половине ноября и декабре 1812 года наполеоновская армия потерпела тяжелейший урон от сильных морозов. Однако те, кто объясняет поражение завоевателя этими морозами, ухитряются начисто «забыть» о неоспоримом факте: армия Наполеона была полностью разгромлена еще *до начала зимы* — в битве при Малоярославце, свершившейся 24—26 (по старому стилю — 14—16-го) октября.

Ближайший сподвижник Наполеона, генерал и военный теоретик Филипп Сегюр писал в 1824 году о поле Малоярославского сражения: «...это злосчастное поле битвы, на котором *остановилось* завоевание мира, где 20 лет непрерывных побед *рассыпались в прах*... Это было 26 октября, когда началось роковое отступательное движение наших войск»¹⁰⁶⁾, — говоря точно, беспорядочное бегство этих войск на запад.

Так, всего лишь за четыре дня, с 26 по 30 октября, Наполеон удалился от Малоярославца к западу на 150 км, до Вязьмы, где 1 ноября (то есть через шесть дней после битвы при Малоярославце) другой из его ближайших сподвижников, генерал Арман де Коленкур, зафиксировал следующее:

«Погода была хорошая. Император опять несколько раз говорил, что «осень в России такая же, как в Фонтенбло»^{*}; по сегодняшней погоде он судил о том, какую она будет через 10—15 дней, и говорил князя Невшательскому (маршалу Бертье. — В. К.), что «это такая погода, какая бывает в Фонтенбло в день Св. Губерта (3 ноября), и сказками о русской зиме можно запугать только детей»...»¹⁰⁷⁾

Наполеон действительно глубоко заблуждался: дней через десять, 9—10 ноября, когда он, отступив к западу еще на 175 км, находился в Смоленске, ударили сильные морозы, губившие солдат-южан... Но дело-то ведь шло об уже потерпевшей полное военное поражение в битве 24—26 октября армии! И версия, согласно которой Наполеона победили и заставили бежать из России морозы, — это сугубо тенденциозный миф (см. об этом подробнее в моей изданной в 1997 году книге «Судьба России: вчера, сегодня, завтра», с. 334—339).

Впрочем, пора вернуться из 1812-го в 1941-й. Как уже сказано, германская армия, отброшенная от Москвы в декабре — начале января до линии Ржев — Гжатск — Вязьма, остановившись на ней, самым убедительным образом доказала (и в эту, и в следующую зиму) свою способность к мощному сопротивлению даже и в самые морозные месяцы: только 2 марта 1943 года она оставила Ржев.

Необходимо понять всю многозначительность того факта, что после Московской битвы, отбросившей германскую армию от столицы, фронт все же в течение четырнадцати месяцев (!) находился не далее 150 км от нее, и, несмотря на самое настоятельное стремление наших войск изменить эту угрожающую ситуацию, она сохранялась столь долго.

И еще один аспект вопроса о Московской битве. Главную причину нашей победы в этой битве многие — как отечественные, так и зарубежные — историки усматривают не в морозах,

^{*} Городок южнее Парижа.

а в том, что к столице были стянуты — в особенности из дальних восточных частей страны, — очень крупные военные силы. Конечно же, это сыграло свою необходимую роль, но едва ли уместно придавать *количественной* стороне дела *решающее* значение. Ведь хорошо известно, что в начале войны наши войска в *количественном* отношении *не уступали* германским, но смогли только в очень небольшой мере задерживать продвижение врага на восток.

Нередко утверждают, что «остановки» германских войск, наступавших в направлении Москвы (в конце июля и, во второй раз, в середине октября), были обусловлены непреодолимостью сопротивления наших войск. Но это едва ли верно. В августе — сентябре враг, как уже сказано, перенес центр тяжести своих сил на Украину (в частности, туда переместились танки Гудериана), а с середины октября ему пришлось пережить распутицу.

Крайне прискорбный, но, увы, реальный показатель состояния наших войск в первые месяцы войны: количество «пропавших без вести», то есть оказавшихся в германском плену или хотя бы за линией фронта, военнослужащих составило в 1941 году, согласно новейшим подсчетам, 2 млн. 335 тыс.¹⁰⁸); между тем погибли в этом году (включая умерших в госпиталях от ран) 556 тыс. человек, и, следовательно, соотношение погибших и попавших в плен — 1:4! Совершенно иная картина потерь в 1943 году: соотношение погибших и попавших в плен — 5:1¹⁰⁹). На основе этих цифр сторонний эксперт мог бы прийти к выводу, что в 1941-м — в отличие от 1943-го — имела место не столько война, сколько капитуляция наших войск...

Разумеется, и первые месяцы войны дали образцы борьбы с врагом не на жизнь, а на смерть, начиная со знаменитой обороны Брестской крепости, и все же тот факт, что в 1941-м не менее *трети* наших тогдашних вооруженных сил так или иначе «сдались», свидетельствует, увы, о мощнейшем превосходстве врага.

Широко распространено мнение, что битва под Москвой в декабре 1941—январе 1942-го явилась кардинальным переломом в ходе войны, но, как представляется, это был все же *временный* перелом, что имеет свое существенное объяснение. Тут

нельзя не вспомнить пушкинские строки, которые постоянно вспоминались в 1941-м:

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Почти через тридцать лет после битвы под Москвой генерал-полковник Л. М. Сандалов рассказал, как 2 декабря 1941 года, когда войска его 20-й армии готовились к атаке на Красную Поляну, бойцы слушали чтение передовой статьи появившегося накануне номера газеты «Красная звезда». По всей вероятности, генерал бережно хранил этот номер газеты и в своих мемуарах привел статью полностью. Вот некоторые ее фрагменты, дающие представление о целом:

«Москва! Это слово *многое говорит сердцу* (выделено мною. — В. К.)... Москва — праматерь нашего государства. Вокруг нее собиралась и строилась земля русская, вокруг нее стоял народ всякий раз, когда ему грозили иноземные пришельцы...

Древние камни Москвы овеяны славой наших предков, бесстрашно защищавших ее гордое имя. Так повелось на Руси, что самые страшные удары иностранные армии получали у стен Москвы... не раз на протяжении истории нашей страны казалось врагам, что гибнет русская земля, что не подняться ей вновь. Но вставал бессмертный народ и повергал в прах всех, кто покушался на его жизнь. Так будет и ныне»¹¹⁰).

Своего рода парадокс заключался в том, что редактором «Красной звезды», где появилась цитируемая статья, был член партии с 1922 года Д. И. Ортенберг, а читал статью бойцам военный комиссар 331-й стрелковой дивизии Т. И. Коровин, который, без сомнения, был воспитан в духе идеологии, не имевшей ничего общего с идеями прочтенной им статьи.

Известны слова А. И. Солженицына из «Письма вождям Советского Союза» (1973), призывающие отбросить чуждую России идеологию:

«Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил ее, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православ-

ную хоругвь, — и мы победили! (Лишь к концу войны и после победы снова вытащили Передовое Учение из нафталина)»¹¹¹).

Но дело обстояло сложнее. Ведь Сталин «развертывал» это «старое русское знамя» весьма осторожно, дозированно и вовсе не отказывался от «революционного» сознания; достаточно напомнить его цитированный выше доклад, произнесенный 6 ноября 1941 года, то есть совсем незадолго до Московской победы, — доклад, в котором был поставлен знак равенства между «старой» Россией и нацистской Германией!

Но еще показательнее другое. Сам Александр Исаевич во время войны, то есть за тридцать лет до своего «Письма вождам Советского Союза», был явно и резко недоволен этим самым развертыванием «старого русского знамени». Ибо, согласно его собственным словам, «было время в моей юности... когда был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины... в таком виде я пошел на войну 41-го года»¹¹²).

И в высшей степени многозначительны воспоминания первой жены писателя, Н. А. Решетовской, о разговорах с ним в мае 1944 года (достоверность этих воспоминаний подтверждается и собственными суждениями А. И. Солженицына, и опубликованными ныне материалами «суда» над ним в 1945 году):

«Он говорит о том, что видит смысл своей жизни в служении мировой революции. Не все ему нравится сегодня. Союз с Англией и США (то есть «буржуазными странами». — В. К.). Распушен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии — погоны. Во всем этом он видит отход от идеалов революции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может стать и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За все это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов»¹¹³).

Впрочем, Солженицын не дождался конца войны и в проходивших тогда цензуру письмах обвинил Сталина в отступлении от ленинизма. 9 февраля 1945 года он был арестован, и в его бумагах обнаружили портрет Троцкого, которого он считал истинным ленинцем...¹¹⁴) Впоследствии, как мы видели, писатель признал «правоту» Сталина и даже, надо сказать, сильно пре-

увеличил его патриотизм. Так, Сталин тогда вовсе не был чужд и той идеологии, которая выразилась в письме Александра Исаевича, отправленном им с рубежей Восточной Пруссии незадолго до его ареста:

«Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны отечественной и войны революционной»¹¹⁵), — то есть войны, которая призвана сделать Европу (или хотя бы ее часть) коммунистической...

Но к этой — уже, в сущности, *послевоенной* — теме мы обратимся в своем месте. Здесь же нужно решить вопрос о «старом русском знамени». Спустя тридцать лет А. И. Солженицын написал, что именно оно обеспечило победу. Однако непосредственно во время войны сознание писателя (и, конечно, многих и многих людей) было противоречивым. Нельзя сказать, что он жил только «революционной» идеологией. Так, осенью 1942 года он писал: «...уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!» (там же, с. 25).

В этом тексте подспудно выразилось масштабное осознание войны, ибо «русская» стойкость противопоставлена «*всей Европе*», то есть другому континенту. И слово «русская» уместно тут не в собственно этническом смысле, а как обозначение связующего начала континента, который ныне принято называть «евразийским».

Так, одним из выдающихся героев битвы под Москвой был казах Баурджан Момыш-улы, сподвижник славнейшего генерала Ивана Васильевича Панфилова. Уже в 1943 году подвиги командира батальона Момыш-улы были воссозданы в получившей тогда широчайшую известность повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», а впоследствии сам герой написал книгу «За нами Москва. Записки офицера» (1959).

В ней рассказывается, в частности, как в 20-х числах ноября 1941 года комиссар 73-го полка 316-й стрелковой дивизии (позднее — 8-й гвардейской имени И. В. Панфилова), входившей в 16-ю армию, П. В. Логвиненко, объясняет только что вышедшим из окружения бойцам батальона Момыш-улы смысл сражения за Москву:

«Не скрою от вас, хлопцы: мы считали вас погибшими. Но вы, товарищи, стоите здесь здоровехоньки. Как наши деды го-

ворили, слава богу... (Аплодисменты.) Нам очень туго и трудно приходится... До Москвы осталось совсем и совсем недалеко. Неужели мы, товарищи, позволим, чтобы немец, как это делали французы в 1812 году, мочился у стен древнего Кремля?!»¹¹⁶

К началу декабря батальон Момыш-улы уже находился, увы, совсем близко от Москвы — восточнее Крюкова (38-й км Ленинградской ж. д.).

«...Моим адъютантом, — рассказал впоследствии Момыш-улы, — был лейтенант Петр Сулима. Этот... юноша принадлежал к тому типу украинских красавцев, что часто встречаются на Полтавщине... Сулима принес мне новую склейку крупномасштабных топографических карт. Я развернул и увидел на юго-восточных листах карты сплошную темную массу. Мне показалось — это был неровный, но четкий оттиск старинной громадной гербовой печати...

«Москва», — прочел я слово под пятном, вздрогнул и взглянул на Сулиму. Он, бледный, упершись своими длинными сухими пальцами, молча смотрел на карту.

— Вы когда-нибудь бывали в Москве? — спросил я лейтенанта.

— Нет, не приходилось, если не считать того, что мы проезжали в эшелоне.

— Я тоже проскочил через «Москву-Товарную»...

Я всмотрелся — на темном фоне бесчисленных квадратов и крестов белой нитью проступили лдманные и кольцеобразные просветы московских улиц... В центре был обозначен Кремль.

Я взял циркуль-измеритель: расстояние от Крюкова по прямой всего лишь тридцать километров.

По привычке прежних отступательных боев я по́искал промежуточный рубеж от Крюкова до Москвы, где можно было бы зацепиться, и этого рубежа не нашел. Я представил врага на улицах Москвы... строй гитлеровцев в парадной форме во главе с очкастым сухопарым генералом в белых перчатках и с легкой усмешкой победителя.

— Что с вами, товарищ командир?..

— Дайте мне перочинный нож, — прервал я Сулиму... Я аккуратно разрезал карту и протянул половину ее Сулиме. —

Нате, сожгите. Нам больше не понадобится ориентироваться и изучать местность восточнее Крюкова...» (там же, с. 457—459). Впечатляющий жест человека Востока!

Убеждение в невозможности, немыслимости сдачи Москвы врагу определялось в данном случае не собственно «русским» сознанием: ведь перед нами — коренной казах, в детстве даже не знавший ни слова по-русски и исключительно высоко ценящий свои национальные традиции. И не «коммунистическим» сознанием — это видно из цитированного текста, да и, кстати, командир батальона Момыш-улы не был в то время членом партии. Но Москва, которую он никогда не видел, тем не менее была для него центром того геополитического мира, в котором он в 1910 году родился, вырос и стал (с 1936 года) профессиональным военным. То, что сказано в цитированном тексте о мочившихся в 1812 году у стен Кремля французах и о немецком генерале в белых перчатках, шагающем «с легкой усмешкой победителя» по улицам Москвы, предстает как безусловное неприятие власти иного *мира* (более точно — иного континента) над миром (континентом), в котором русские, казахи и другие народы уже много веков — по меньшей мере со времен Монгольской империи — имели общую в тех или иных отношениях судьбу (так, монголы и русские совместно противостояли католической агрессии с Запада) *. Центром этого мира давно уже стала Москва, и Баурджан Момыш-улы органически не может отдать ее во власть чуждого мира... Он не рассуждает об этом, он просто *не может*.

Притом речь идет именно о Москве — то есть о сердце того мира, в котором живет Момыш-улы. Вдумаемся в цитированные слова: «По привычке прежних *отступательных* боев я искал промежуточный рубеж от Крюкова до Москвы...» Но «не нашел» его...

Общеизвестно легендарное изречение, опубликованное впервые 22 января 1942 года в газете «Красная звезда», — с сообщением, что оно прозвучало два с лишним месяца назад, 16 ноября 1941-го, у разъезда Дубосеково — в 118 км от Мос-

* См. «первый том» этого сочинения — «История Руси и русского Слова». М., 1997, с. 415—422.

квы по Ржевской железной дороге: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!»

Слово всегда несет в себе больше смысла, чем в него стремились вложить, и больше, чем хотят в нем услышать. И это изречение, в сущности, подразумевает, что, если позади — не Москва, значит, *есть куда отступить*... И через несколько месяцев после Московской победы наши войска, как известно, отступили, увы, на полтысячи и более километров — но не под Москвой, а в южной части фронта...

С другой стороны, столь же многозначительно, что, будучи отброшена от Москвы, германская армия не сделала затем *ни единой* попытки двинуться еще раз непосредственно по направлению к ней, хотя более года находилась столь близко от нее, — как уже сказано, на линии, проходившей восточнее городов Ржев — Гжатск — Вязьма.

* * *

Одно из наиболее известных произведений Александра Твардовского — пространное (168 строк) стихотворение или, пожалуй, лирическая поэма «Я убит подо Ржевом». Сам поэт писал о нем: «В основе его... память поездки подо Ржев осенью 1942 года... Впечатления этой поездки были за всю войну одними из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие...»¹¹⁷⁾

Имя «Ржев» связано в памяти многих людей с тяжким и скорбным чувством, но ясное представление о том, что происходило в этих местах с января 1942 до марта 1943-го, не столь уж широко распространено.

Начавшееся в первых числах декабря 1941-го германское отступление от Москвы обращалось подчас в беспорядочное бегство, которое могло стать *неостановимым* — вплоть до самого Берлина... (в свое время это произошло с армией Наполеона). И 19 декабря Гитлер объявил себя главнокомандующим сухопутными войсками, а 3 января отдал приказ, в котором требовал от своих отступающих армий: «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты... Каждый населенный пункт должен быть превращен в опорный пункт. Сдачу его не

допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником»¹¹⁸⁾.

И приказ этот, хотя и не сразу же, германские войска выполнили целиком. Так, Ржев был именно «обойден» нашими войсками с севера и даже с запада, оказался почти в кольце, но тем не менее бои за него длились более года.

Как сказано в упомянутом стихотворении Твардовского:

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?..

Враг сопротивлялся под могущим показаться странным девизом «Ржев — ворота Берлина», ведь на деле фронт здесь проходил на отдельных участках всего в 150 км от Москвы, а от Берлина почти в 1500 км...

Поскольку наши потери под Ржевом были громадны, ныне — в соответствии с общей тенденцией — многие авторы самым резким образом осуждают Сталина за то, что он отдавал приказы о все новых атаках на этом участке фронта, увеличивая страшные потери. Но теперь, задним числом, легко решать подобные проблемы. Представим себе хотя бы, что врагу тогда требовалось всего лишь 12—15 минут (даже при малых в сравнении с нынешними авиаскоростях), дабы долететь от Ржева до Москвы...

Ясно, что Ржев (речь идет, понятно, не столько о самом этом городе, сколько об определенном рубеже войны) необходимо было отнять у врага. Однако в продолжение года с лишним это было непосильной задачей, атаки разбивались о прочнейшую оборону врага. А между тем в начале марта 1943 года враг неожиданно сам отступил на 150-200 км к западу... И об этом важно поговорить, ибо в таких поворотах хода войны проступают ее непростые, даже как бы иррациональные закономерности.

Судите сами: в декабре 1941—начале января 1942-го наши войска наносят сокрушительное поражение врагу под Москвой, а затем более чем миллионная армия в течение трех с половиной месяцев пытается освободить Ржев («Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция 8 января —

20 апреля 1942 года»), но фатально не может это сделать. От самого Ржева до Москвы — 200 км, а до Берлина — 1400 км, но получается, что девиз «Ржев — ворота Берлина» обладал чрезвычайной силой...

Находившаяся с февраля 1942 до марта 1943-го на фронте под Ржевом в качестве военного переводчика Елена Ржевская (о ней еще пойдет речь) записала тогда же:

«В немецких частях здесь каждый солдат лично подписывает клятву фюреру, что не сойдет со своего места у Ржева. Ржев отдать — это открыть дорогу на Берлин, так все время повторяет их радио». Здесь же другая запись, отражающая сознание жителей ржевских деревень: «...если немец там где-то и осилит, еще не вся беда. Но если... немец двинет на Москву и захватит ее — это же разом загорится и небо и земля».

Падение Москвы — это *конец света*, а не факт войны¹¹⁹).

Многие — и в том числе самые авторитетные — историки, рассуждая о победе под Москвой, стремятся объяснить ее тем, что в определенной географической точке — скажем, у не раз упомянутого поселка Красная Поляна, — полностью иссякли силы германских войск. Но естественно возникает вопрос: почему они иссякли именно здесь, в 16 км от границы Москвы? Почему это не произошло под Тверью (170 км), Клином (80 км), Солнечногорском (55 км), а именно там, откуда Москву можно разглядывать в бинокль, там, где уже в самом деле «отступать некуда»?

Истинный смысл, как представляется, не в том, что германские войска как раз у самой границы Москвы утратили всю свою силу, а в том, что наши войска обрели здесь «сверхсилу». Которая, в свою очередь, уже как бы не действовала в ста с небольшим километрах от Москвы, под Ржевом, где, напротив, вроде бы совершенно «обессиленные» германские войска смогли более года сдерживать нашу — поначалу более чем миллионную! — рвавшуюся на запад армию.

Чтобы убедиться в первостепенной, исключительной значимости противоборства подо Ржевом, достаточно взглядеться в один из важнейших источников по истории боевых действий в 1941—1942 годах — «Военный дневник» тогдашнего начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Франца

Гальдера: Ржев здесь буквально в центре внимания начиная с 3 января 1942-го.

Однако в сознании большинства людей — даже тех, кто размышляет о великой войне, — «ржевская» тема занимает небольшое место. Ведь гордиться тут вроде бы нечем: войска больше года, в сущности, топчутся на одном месте; в последнее же время, как уже отмечено, о Ржеве вспоминают главным образом для того, чтобы осудить Сталина за громадные и вроде бы совершенно *бесмысленные* жертвы. Да, задним числом легко выносить подобные приговоры, — особенно если учитывать, что о противоборстве под Ржевом знают немного и немногие люди; известно только, что очевидных, наглядных успехов не было, а потери были огромны.

Однако в действительности эти бои представляли собой, по существу, *единственное* безусловно *достойное* действие наших войск почти за весь 1942 год — между победой под Москвой в самом начале этого года и победой под Сталинградом в его конце. Более того: без героического — и трагедийного — противоборства под Ржевом иначе сложилась бы и ситуация под Сталинградом, что явствует из многих фактов.

Так, с 30 июля по 23 августа 1942 года наши войска приняли очередное наступление под Ржевом. Им удалось продвинуться на некоторых участках всего лишь на три-четыре десятка километров, но германский генерал Курт Типпельскирх писал позднее об этом нашем наступлении: «Прорыв удалось предотвратить только тем, что три танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на Южный фронт, были задержаны...»¹²⁰ (танковые дивизии врага потеряли во время тогдашних боев под Ржевом более 80% машин и уже не годились для переброски в направлении Сталинграда и Кавказа).

Другой германский генерал, командир сражавшейся под Ржевом 6-й пехотной дивизии Хорст Гроссман, писал в своей посвященной этому сражению книге, что очередное наступление наших войск во второй половине 1942 года под Ржевом «должно было помочь Южному фронту (нашему. — В. К.) остановить наступление немцев на Сталинград — Кавказ, во всяком случае, уничтожить немецкие военные части, которые *могли быть переброшены на юг*», притом в ходе нашего на-

ступления «возникли очень опасные моменты, которые смогли устранить только благодаря доставке (к Ржеву. — В. К.) трех танковых и еще большего числа (их было 9. — В. К.) пехотных дивизий, *предназначенных* для военных действий при группе армий «Юг»...» (выделено мною. — В. К.).

Я процитировал книгу генерала Гроссмана, озаглавленную им чрезвычайно многозначительно: «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта» (Ржев, 1996, с. 63 и 86). Нельзя не выразить удовлетворение тем, что в нынешних трудных условиях в Ржеве есть люди, которые добились издания этой книги. В предисловии к ней эти издатели — председатель клуба краеведов Ржева О. Кондратьев и председатель Ржевского книжного клуба Л. Мыльников — совершенно верно говорят, что «правда о Ржевской битве до конца не сказана... Военные историки молчат... Книга Х. Гроссмана... единственная серьезная попытка на материалах архивов и воспоминаний дать полную картину Ржевской битвы. Конечно, нужно учитывать, что книга написана немецким генералом, да еще в годы «холодной войны». При чтении ее возникает немало вопросов...» Но: «Может быть, издание этой книги в России подвигнет военных историков к глубокому изучению Ржевской битвы» (с. 4).

Сочинение генерала в самом деле достаточно тенденциозно — подчас даже комически тенденциозно; так, на первой же его странице заявлено, что-де необходимо глубоко уважать оборонявшихся под Ржевом германских солдат, «которые в мужественной борьбе за свое любимое Отечество не боялись идти в бой и пожертвовать здоровьем и жизнью» (с. 7). По меньшей мере странно, что «борьба за любимое Отечество» ведется на чужой земле, в 800 (!) км к востоку от тогдашней границы этого самого «Отечества». И все же книга Х. Гроссмана в определенной мере помогает понять, что в действительности совершалось под Ржевом в 1942-м — начале 1943 года.

Выражая признательность ее издателям, я вместе с тем не могу не сказать и об определенной тенденциозности их предисловия к ней. Они, в сущности, «осуждают» командование наших Вооруженных Сил — прежде всего, понятно, Сталина — за то, что битва под Ржевом вообще имела место... Ибо это была только, мол, «ржевская мясорубка»; потери, пишут они,

«в трех стратегических операциях под Ржевом — 1 109 149 солдат и офицеров».

Приходится сказать, что О. Кондратьев и Л. Мыльников подпали под воздействие нынешних СМИ, стремящихся всячески преувеличить количество наших погибших воинов. Цифру 1 миллион 109 тысяч 149 издатели почерпнули из уже упоминавшегося изданного в 1993 году статистического исследования под названием «Гриф секретности снят». Но они — вольно или невольно — побуждают своих читателей полагать, что эта цифра имеет в виду *убитых* в упомянутых «трех стратегических операциях». Между тем, как явствует из указанного исследования, речь идет о выбывших по той или иной причине из строя воинах, в том числе раненых, заболевших, обмороженных. Что же касается «безвозвратных потерь», то есть *погибших* либо *попавших в плен* воинов, в ржевских операциях их было не свыше миллиона, а в три с лишним раза меньше — 362 664 человека.

Конечно, и эта цифра страшная, но, говоря о наших потерях, уместно было бы поставить вопрос и о потерях врага. Тенденциозность книги генерала Гроссмана с особенной очевидностью выразилась в том, что он неоднократно называет внушительные цифры потерь противника (то есть наших потерь), — хотя обороняющийся (а не наступающий, захватывающий поле боя) враг не имеет возможности сколько-нибудь точно подсчитать потери своего соперника, — и в то же время Гроссман *ни разу* не сообщает о количествах потерь своих войск, между тем как он, без сомнения, мог узнать о них гораздо более точно, чем о наших потерях.

Правда, в ряде случаев генерал все же говорит о гибели почти всех либо преобладающей части солдат и офицеров тех или иных *подразделений* своей армии, но именно о потерях сравнительно небольших армейских единиц, а не о потерях действовавших под Ржевом войск в целом.

Так, например, он пишет: «31 октября (1942 года. — В. К.) 9-я армия образовала из дивизии «Великая Германия» (отборное соединение войск СС. — В. К.) боевую группу Казница». И на один из батальонов этой группы «обрушился чудовищный непрерывный огонь такой силы, что в течение 20 минут все

было кончено...» (с. 119). Или такое сообщение: «До второй половины дня бой бушевал так, что от роты остались только 22 человека» (с. 80), — при «норме» 120—150 человек. Или: «вследствие сильных потерь... батальон состоял только из 3 офицеров, 15 унтер-офицеров и 67 солдат» (с. 32); в другом батальоне «остались только 1 офицер и 22 солдата» (с. 6), а еще один батальон «был почти стерт с лица земли... из него вернулись в свой полк 1 офицер и 12 солдат» (с. 82) — «норма» — 500—600 человек...

Но эти отдельные сведения призваны, так сказать, передать накал борьбы, а о количестве погибших во всей огромной армии, действовавшей под Ржевом, генерал полностью умалчивает. Согласно его же сведениям, под Ржевом находилась примерно *шестая часть** (!) всех дивизий Восточного фронта — 42 дивизии (пехотных — 31, танковых — 11), то есть сотни тысяч людей, но ни слова не сказано о том, какая доля участвовавших в сражениях — пусть приблизительная — осталась здесь навсегда.

Однако тот факт, что эта доля была очень и очень значительной, явствует из своего рода эмоциональной «ноты», проходящей, все нарастая, через всю книгу генерала Гроссмана: «положение вследствие сильных потерь очень серьезное» (с. 30), «высокие потери» (с. 42), «тяжелейшие жертвы» (с. 47), «тяжелая борьба привела к большим потерям» (с. 60), «потери множились» (с. 71), «потери были высоки» (с. 75), «столь большие потери» (с. 80), «потери возрастали» (с. 81), «очень большие потери» (с. 85), «потери были очень тяжелы» (с. 86), «слишком велики были потери» (с. 87) — и так до заключительного раздела книги, озаглавленного «Отход от Ржева». В нем сообщено, что 6 февраля 1943 года «Гитлер разрешил наконец» (мы еще вернемся к этому невольному вырвавшемуся у генерала «наконец») оставить Ржев, который именно Гитлер 3 января 1942-го приказал оборонять «до последнего солдата». К вечеру 2 марта 1943 года враг покинул Ржев...

* Стоит напомнить, что под Сталинградом сражалось около четверти войск Восточного фронта — то есть всего в полтора раза больше, чем у Ржева...

* * *

В широко распространенном представлении, согласно которому продолжавшееся почти 14 месяцев и приведшее к громадным нашим потерям сопротивление под Ржевом было «бессмысленным», выражается в конечном счете глубокое непонимание хода великой войны. То, что происходило под Ржевом, сопоставляют (сознательно или бессознательно) с Московской битвой, завершившейся сокрушительным поражением врага. Но, как я стремился показать выше, это стало возможным потому, что дело шло о *Москве*. На Южном фронте враг вскоре же показал, что военное превосходство пока еще на его стороне...

Г. К. Жуков в 1965 году возмущался (кстати сказать, в беседе с упомянутой Еленой Ржевской) характерной для множества авторов сочинений о войне *недооценкой* вражеской армии: «Мы воевали против сильнейшей армии. Таких солдат и офицеров не было. И они ведь до последнего воевали...»¹²¹⁾

«Лакировочная» литература о великой войне, едва ли не господствовавшая до конца 1980-х годов (затем стала господствовать «очернительская», ничуть не менее далекая от истины), лишила многих людей объективных представлений о 1941 годе. Вот диалог военачальников, в который стоит серьезно вдуматься.

Начальник штаба 20-й армии полковник Л. М. Сандалов, который начал войну в Бресте и сыграл выдающуюся роль в Московской победе (27 декабря 1941-го он был произведен в генералы), вспоминал, как вечером 8 декабря 1941 года ему позвонил начальник Генерального штаба маршал Б. М. Шапошников:

«После моего доклада об обстановке он спросил:

— Правда, что в Красной Поляне сдались в плен сразу одиннадцать немцев?

После моего утвердительного ответа он, как бы для себя, заметил:

— Начали сдаваться в плен группами... Раньше этого не было»¹²²⁾.

При этом следует знать, что ранее, в течение 1941 года, оказались в плену *сотни тысяч* (!) наших солдат... И понять, что

такое была эта война и какое превращение должно было совершиться ко времени Сталинградской победы, когда в плен сдались около 100 тысяч вражеских военнослужащих, включая генерал-фельдмаршала Паулюса...

И необходимой главой истории этой великой войны является противоборство под Ржевом — противоборство, в котором как бы устанавливается определенное *равновесие* сил и, затем, наше *превосходство*. Но эта глава, повторяю, слишком малоизвестна. А между тем имеется целый цикл замечательных сочинений об этом противоборстве, принадлежащих уже упоминавшейся участнице событий — Елене Ржевской.

До войны она была студенткой знаменитого ИФЛИ, добровольно вступила в армию, стала фронтовой переводчицей и с февраля 1942-го до марта 1943-го находилась под Ржевом, подчас в самом пекле боев.

Елена Ржевская начала воинский путь в разведотделах 30-й армии*, которая пришла под Ржев с последнего рубежа своего первоначального отступления от Смоленска — канала Москва — Волга в районе севернее города Дмитров. Под Ржевом эта армия играла одну из главных ролей. И непосредственно здесь, на фронте, Елена Ржевская начала делать разного рода записи, на основе которых к 1947 году сложились первые ее сочинения, появлявшиеся в печати с 1951 года. Она сумела без всяких прикрас, но и без какого-либо «очернительства» воссоздать то, что происходило под Ржевом, и всецело оправдала избранное ею литературное имя — «Ржевская»...

Сама военная профессия Елены Ржевской давала ей особенное преимущество: она постоянно общалась не только со своими солдатами, офицерами, генералами, а также жителями ржевских деревень, но и с пленными немцами. Кстати сказать, лучшее из ее сочинений — «Февраль — кривые дороги» — начинается с сообщения, перекликающегося с только что цитированным фрагментом воспоминаний Л. М. Сандалова. Восхищающее всех событие, имевшее место в феврале 1942 года вблизи Ржева: «Семнадцать немцев! Семнадцать пленных! Семнадцать фрицев во главе со своим обер-лейтенантом сдались

* Командующие — в ноябре 1941 — ноябре 1942-го генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко, затем, до апреля 1943-го, — генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи.

в плен. Это известие носилось по улице...»¹²³⁾ И вот сцена допроса пленного:

«Савелов вводит немца.

— Обер-лейтенант Тиль! — отчеканил немец, откинув назад белокурую голову.

Высокий, с непокрытыми волнистыми белокурыми волосами. Настоящий ариец... Он был очень красив и молод и весь непонятно свежий... Я заметила его ногти, выпуклые, с крупными лунками, тщательно обработанные, несмотря на тяжелый быт передовой, на все невзгоды Восточного фронта. И потихоньку убрала свои руки со стола.

— Вы добровольно сдались в плен вместе с вашими солдатами?

— Мы отражали атаки русских в течение двух часов. Когда стало ясно, что наши доты отрезаны, я отдал приказ кончить сопротивление и сдаться...

— Это ведь во времена вашего Старого Фрица* война велась на истощение противника... А сейчас, когда Гитлер ведет войну на истребление, попасть в плен...

— В отношении Фридриха Великого это однобокое суждение, — сухо сказал обер-лейтенант. — Он предвосхитил тактику Наполеона, и он первый применил с великолепным успехом военные операции на уничтожение...»

Допрашивающей переводчице хочется сказать: «Прусская армия настаивает на приоритете в ведении войны на истребление? Что ж, пожалуйста». Но это «обвинение» явно не подействует на обер-лейтенанта. Он с трудом понимает, «чего я добиваюсь от него.

— Война есть война, — сказал наконец».

Далее разведка пытается «использовать немца: подсоединиться к их рации, чтобы он своим немецким, неподдельным, офицерским голосом передавал им ложные команды и сведения». Но обер-лейтенант категорически отказывается, хотя офицер разведки уже расстегивает кобуру револьвера.

«Запавшие синие глаза Тили смотрели глухо, затравленно...

— Я не хотел бы ожесточать господ русских офицеров, но иначе не могу поступить... — выдавил он».

*Имеется в виду король Пруссии в 1740—1786 годах Фридрих II Великий.

Помимо прочего, это означает, что, даже сдаваясь в плен, враги тогда, в 1942-м, были уверены в своей правоте и в конечной победе. Вот обер-лейтенанта Тиля ведут по сожженной его сотоварищами деревне. «У дотлевающих головешек убиваются, бранятся, греются бабы. Одна пестрая оборванная баба ринулась наперерез, с маху ткнулась кулаком в грудь Тиля, трясется, вопит, в глазах слезы ярости. Осатанело плюнула ему в лицо.

Он только дернул головой и пошел дальше, не утираясь».

Но один раз все-таки вроде бы что-то сдвинулось в этом «арийце». Изба в деревне Лысково, куда привели обер-лейтенанта.

«Хозяйка в измызганной кофтенке сидела притихшая напротив немца, приглядываясь к нему, скрестив руки на груди, сжав тощие плечики, покачиваясь, шмыгая носом». Затем она «сходила за печь, вынесла свою миску с остывшей давно пшенной кашей, поставила на стол и пододвинула миску немцу:

— Ты вот на, поешь. — И, скомкав горсткой пальцев губы, заплакала.

— Послушайте, — всполошённо сказал Тиль. — Чего эта старуха плачет?

— Не знаю...

Он немного поел.

— Если можно... — Он взволнованно провел рукой по волнистым расчесанным волосам и стойко сказал: — Если это можно, я предпочел бы правду. Меня расстреляют?

— С чего вы? Тетенька, вы вот плачете, вы немца пожалели и испугали насмерть.

Старуха всхлипнула, высморкалась в конец головного платка.

— Не его. Не-ет. Мне его мать жалко. Она его родила, выхаживала, вырастила такого королевича, в свет отправила. Людям и себе на мученье».

Через некоторое время переводчица спрашивает обер-лейтенанта:

« — Вот у вас на пряжке выбито: «С нами Бог»...

— Да-да. Так принято в вермахте.

— Но ведь Гитлер назвал христианское учение бесхребетным, непригодным для немцев...

— Ну это — традиция. Девиз, если хотите...

— Уж если с кем Бог, так это знаете с кем? С той старухой хозяйкой, что пожалела вас или вашу мать, уж не знаю кого.

— О, старая matka! — с чувством сказал он, едва дав мне договорить. — Это так удивительно... Русская душа...

Бедная причитавшая над ним старуха, оплакав его, отдав ему свою кашу, ошеломила его. Как знать, может, и у него есть святая святых, неведомое ему самому... Прежде, до плена, он просто не заметил бы, что эта старуха — живой человек.

Бабу, с ненавистью и отчаянием плюнувшую ему в лицо, мы обходили в нашем теологическом разговоре, хотя и у нее русская, не безбожная душа».

Впрочем, ошеломленность обер-лейтенанта — временное состояние:

«...мне-то казалось, в нем что-то сдвинулось. Нет, все при нем — незыблемый пласт стройных, крепко связанных между собой понятий. Не отягощенный сомнениями, он всякий раз определенно знает, как ему быть».

И в этом — одна из основ вроде бы непреодолимой силы германской армии. Сцена с заплакавшей старухой может показаться совершенно ненужной, даже нелепой; кстати, один из офицеров разведки зло и грубо высмеивает упоминание о матери обер-лейтенанта.

Но есть в этой сцене нечто, вдруг обнаруживающееся и в поведении самих офицеров разведки. Обер-лейтенанта уже повели на расстрел за отказ сотрудничать, но старший здесь, капитан Москалев, приказывает вернуться:

« — Вот что, пусть он идет. Пусть идет!.. Мы-то ему ничего плохого — пусть идет, покажется им — мы ж его пальцем не тронули, пусть глядят. Переводи! И чтоб передал им: пусть сдаются, а то мы их, гадов, перебьем. — И, ярься от воодушевления, хрипло: — И чтоб знали! Чтоб зарубили себе! Мы придем в их Германию!..

Свету было уже так мало, что шаг и другой, и немец скрылся от нас, растворившись за стволами деревьев...

Москалев тяжело дышал — вышел из рамок человек, решает не спрося, на свой страх и риск, как бог на душу положит».

И в плаче старухи, и в неожиданном поступке офицера (не забудем, что речь идет о времени жесточайшего противоборства под Ржевом) по-своему выразилось то зреющее *превосход-*

ство над врагом, которое в конечном счете определило нашу победу над лучшей в истории (по определению самого Жукова) армией.

Напомню цитаты из опубликованных как раз в 1942 году статей Эренбурга, которые требовали: «Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать» — и согласно которым немки — не женщины, а «мерзкие самки». Но, как видим, люди, находившиеся в 1942-м под Ржевом, думали и чувствовали иначе. И, кстати сказать, в плане войны «на уничтожение» мы едва ли бы могли «превзойти» врага... Основой победы явилось другое...

Наше превосходство над врагом было не собственно «военное»; это было превосходство самого мира, в который вторгся враг. И оно не могло осуществиться, реализоваться за краткое время, ибо дело шло о «мобилизации» не армии, а именно целого мира.

Поэтому есть основания полагать, что победа у стен Москвы (именно и только у ее стен!) была все же краткой, — хотя и мощной — вспышкой нашего превосходства, после которой страна пережила и не менее катастрофическое, чем в 1941-м, отступление на юге до Волги и Кавказского хребта, и тяжелейшие — к тому же могущие показаться «бесмысленными» — сражения под Ржевом, длившиеся четырнадцать месяцев.

В истинно объективном воссоздании противоборства под Ржевом, предстающем в сочинениях Елены Ржевской, раскрывается (именно в силу доподлинной объективности) глубокий смысл войны. Это, по своей внутренней сущности, не война большевизма с нацизмом. Хотя подчас в рассказах Ржевской появляются те или иные «реалии», связанные с этими политическими феноменами, они воспринимаются как нечто *внешнее*, как оболочка гораздо более масштабного содержания. Вот, скажем, в разговоре переводчицы и обер-лейтенанта как-то совершенно естественно возникают и прусский король XVIII века Фридрих Великий, и Наполеон, а в другом месте тема углубляется в историю еще дальше:

«Оказывается, старинный герб Ржева — лев на красном поле... Он стоял на западной окраине русских земель, и не раз на него обрушивался удар врагов, рвущихся в глубь России».

Натиск на восток особенно усилился начиная с XIV века, и

шел он тогда под знаком борьбы Католицизма с Православием*; атака нацизма на большевизм — это только исторически-конкретная «форма» многовекового натиска под разными девидами...

Вот мельчайшая и, казалось бы, совершенно незначительная деталь: у рассуждающего о «великолепных успехах» Фридриха Великого в операциях на уничтожение обер-лейтенанта — несмотря на условия фронтового быта — идеально обработанные ногти, что даже побудило переводчицу спрятать свои руки под стол. А с «запредельной» человечностью плачущая при мысли о матери жестокого врага старуха сморкается затем в кончик своего головного платка...

Словом, два несовместимых мира (выявившихся в этих вроде бы не имеющих никакой значительности деталях) — то самое *геополитическое* противостояние, о котором подробно говорилось выше. И оно, пожалуй, наиболее неоспоримо проявляется в таких вроде бы не заслуживающих серьезного внимания деталях...

Уместно предположить, что Елена Ржевская смогла и увидеть, и оценить значение таких деталей потому, что под Ржевом она *впервые* соприкоснулась не только с вражескими офицерами, но и с людьми, составляющими основу называемогося Россией мира, — ибо ранее она знала только по-своему замкнутое и как бы театральное московское бытие...

О жизни до Ржева говорится: «Я всегда жила вместе с товарищами. А теперь — одна среди невиданных раньше людей...

Подумала: если меня убьют, Агашин и Москалев (офицеры разведки. — В. К.) скажут: «Была тут переводчица-москвичка» (ничего другого, может, и не скажут, но «москвичка» — обязательно)».

Однако со временем Ржевская убеждается, что, вжившись в военное бытие этих «невиданных» ею людей, стала для них своей, а не «москвичкой».

Необходимо отметить, что тот мир, в котором зреет победа над врагом, — не только собственно *русский* мир в этническом

* См. об этом многие страницы моей книги «История Руси и русского Слова. Современный взгляд» (М., 1997).

смысле слова. Так, капитан-разведчик Агашин — «с восточной окраины нашей страны, родом из полукоочевого племени... Его отец и дед провели жизнь в седле, с табунами диких лошадей... Но, в общем-то, совершенно неважно, от кого он рожден...» Важно, что он всем существом принадлежит к атакуемому с запада миру, ради которого в марте 1942-го героически погибает...

Правда, в последнем его деянии, похоже, выразилась особенная повадка его восточного племени... Горстка людей выходит по пробитому речкой оврагу из вражеского окружения. Патроны давно кончились.

«Вдруг из-за поворота вышли немцы. Патруль. Четверо. Все. Конец. Сжалось и ткнулось куда-то сердце.

Агашин завозился, азартно, злобно оттолкнувшись, выбросил себя вперед и с поднятыми окаянно вверх руками шагнул в сторону немцев...

Это было жутко. Агашин, как в горячке, в помешательстве, спешил к ним навстречу. Сдаваться. Немцы с наведенными на него автоматами поджидали. И вдруг он оступился в снег, скобочившись. Мгновенный взмах его руки, занесенной за плечо, взрыв...

— Вперед! — выдохнул Москалев, очнувшись. Мимо убитого Агашина, упавшего ничком... Мимо убитых немцев. Торопясь, пока не подоспели на взрыв другие. По черному снегу — за поворот русла, в ложбинку, по кустам, к снежному валу — к своим...»

Вернемся теперь к книге генерала Гроссмана «Ржев — крайугольный камень Восточного фронта». В конце он подробно рассказывает, как армия оставляет Ржев, делая это словно бы совершенно «добровольно»*. Он иронизирует над цитируемой им нашей военной сводкой о происшедшем 3 марта: «Несколько дней назад наши войска, — говорилось в этой сводке, — начали решительное наступление на Ржев. Сегодня после длительных и тяжелых боев они взяли город». Неадекватность сводки видна из самого ее текста: в ней говорится, что наступление на Ржев началось всего «несколько дней назад», но тут

* Правда, он полностью умалчивает о том, что, уходя, его войска оставили за собой, как говорится, выжженную землю, о чем свидетельствует вошедшая 3 марта в Ржев Елена Ржевская.

же сказано о «длительных» боях. Верно, что бои шли в течение четырнадцати месяцев, однако наши войска все же не брали город с боем. Составители сводки, по-видимому, сочли неудобным сообщить, что враг сам отдал Ржев, хотя на деле-то в этом выразилось наше подлинное — созревшее к тому времени — *превосходство* над врагом. И всего лишь через четыре месяца начнется Курская битва, в которой это превосходство предстанет с полнейшей, абсолютной очевидностью (в частности, потому, что победа была достигнута *летом* и нельзя было сослаться на помогавшие-де нам морозы или распутицу).

Генерал Гроссман цитирует также тогдашнюю сводку своего военного командования, в которой было объявлено, в частности, что «армия без всякого вражеского давления сдала территорию, завоеванную в тяжелой борьбе... Движение прошло планомерно. Враг не смог помешать отводу войск... Наши войска понесли незначительные потери... они чувствуют себя полностью победителями».

Прямо-таки замечательно, что в этой сводке 3 марта 1943 года, в сущности, признано наше превосходство: вражеские войска «чувствуют себя полностью *победителями*», ибо им удалось с «незначительными потерями» (в ходе отступления) уйти от наших войск, а не быть ими уничтоженными!

А «точка зрения», высказанная 56 лет назад в цитированной выше *нашей* военной сводке, широко распространена по сей день, и многие люди не знают, что Ржев был отдан врагом, а не взят нашими войсками в ходе «тяжелых боев». И не исключено, что, узнав об этом, кто-либо окончательно уверится в «бессмысленности» приведших к огромным потерям сражений под Ржевом — ведь враг-то в конце концов ушел сам...

В действительности же он ушел потому, что 2 февраля сокрушительным поражением завершилась Сталинградская битва (через четыре дня, 6 февраля, Гитлер — см. выше — «разрешил» оставить Ржев), а ее исход мог бы быть иным, если бы под Ржевом враг не вынужден был держать примерно 1/6 часть войск Восточного фронта, в том числе и упомянутые выше 12 дивизий, которые ему пришлось дополнительно отправить летом 1942 года не под Сталинград, а к Ржеву!

Таким образом, был свой объективный смысл в ржевском противоборстве и у нас, и у врага — правда, кардинально различный смысл: сопротивляясь под Ржевом, враг *отдалял* свое поражение, а мы, атакуя его, *приближали* свою Победу.

И, кстати сказать, генерал Гроссман как-то сознавал безнадёжность сопротивления под Ржевом; это выразилось во вводимом слове его уже цитированной фразы: «Гитлер разрешил *наконец* 6 февраля отвести...» и т. д. Сие «наконец» означало, в сущности, что тяжелейшая борьба и «слишком большие» потери под Ржевом только *оттягивали* неизбежное поражение. И в конце концов вынужденный оставить этот город враг в самом деле открыл нам дорогу на Берлин, хотя, разумеется, дорога предстояла долгая и трудная...

Важно подчеркнуть, что во время боев под Ржевом в августе 1942 года едва ли не впервые четко проявилось созревшее превосходство наших сил над вражескими. Генерал Л. М. Сандалов, начальник штаба 20-й армии, сражавшейся на ржевском рубеже, вспоминал впоследствии о своем многозначительном разговоре с командующим армией генералом М. А. Рейтером. К 10 августа под Ржевом были разгромлены два «элитных» танковых корпуса врага, один из которых входил ранее в танковую армию Гудериана (тот был еще 26 декабря 1941 года отправлен Гитлером в резерв за свою взвешенную «отступательную» тактику).

«— Подумать только, что год тому назад (в августе 1941-го. — В. К.) два таких немецких (гудериановских. — В. К.) корпуса прорвались от Десны на юг за Ромны, — вспоминал... Рейтер. — Позже такие же силы неприятеля прорвались от Орла до Тулы (то есть уже близко к Москве. — В. К.). А теперь два полнокровных танковых корпуса разбиты относительно равными силами нашей армии и спешно переходят к обороне, зарываются в землю. Причем вражеские танковые корпуса понесли поражение летом*, когда, по уверениям немецкого командования, немцам нет равных! Нет, не тот немец стал, не тот!

— А может быть, мы не те стали? — возразил я.

*Напомним, что поражение под Москвой враг потерпел в декабре — начале января.

— Конечно, переделали немцев, протерли им глаза радикально изменившиеся за это время войска Красной Армии, — согласился Рейтер» (там же, с. 304—305).

* * *

Для более полного понимания смысла и значения боев под Ржевом необходимо рассмотреть еще одну таинственную страницу истории войны. Как уже сказано, наши войска вели наступление на ржевском рубеже в январе — апреле и, затем, в августе 1942 года, а 2 марта 1943-го враг сам оставил Ржев, после чего мы преследовали его, и это была как бы еще одна наступательная операция.

В известной энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941—1945» каждой из этих трех наступательных операций посвящена специальная статья (правда, последняя операция преподнесена там неверно — как наступление, предпринятое по нашей инициативе, а не преследование отступавшего по своей воле врага). Но, как ни странно, в этой энциклопедии вообще не упоминается еще одна весьма крупная наступательная операция наших войск под Ржевом, имевшая место в декабре 1942 года, — не упоминается, по-видимому, потому, что сама по себе она ни в коей мере не была успешной.

Однако в действительности эта операция имела необычайно существенное значение в ходе войны в целом; при этом есть основания полагать, что она и не была рассчитана на очевидный успех, то есть изгнание врага с ржевского рубежа, хотя даже командовавший ею Г. К. Жуков об этом, по-видимому, не знал...

В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Константинович писал: «Верховный предполагал, что немцы летом 1942 года будут в состоянии вести крупные наступательные операции одновременно на двух стратегических направлениях, вероятнее всего — на московском и на юге страны (то есть в направлении Сталинграда и Кавказа. — В. К.)... Из тех двух направлений... И. В. Сталин больше всего опасался за московское» (цит. соч., с. 251), — и Г. К. Жуков, как он признает, был с ним согласен: «...Я... считал, что... нам нужно обязательно... разгромить ржевско-вяземскую группировку, где немецкие войска удерживали обширный плацдарм... Конечно, — заключает Георгий Константинович, — теперь, при ретроспективной

оценке событий, этот вывод мне уже не кажется столь бесспорным» (с. 252, 253).

И, как мы знаем, в августе (точнее с 30 июля) 1942-го под командованием самого Жукова началось, по его словам, «успешное наступление с целью разгрома противника в районе Сычевка — Ржев». Однако к концу августа наступление пришлось остановить. «Если бы в нашем распоряжении, — сетовал Георгий Константинович, — были одна-две (сверх имевшихся. — В. К.) армии, можно было бы... разгромить... всю ржевско-вяземскую группу... К сожалению, эта реальная возможность Верховным Главнокомандованием была упущена. Вообще, должен сказать, Верховный понял, что неблагоприятная обстановка, сложившаяся летом 1942 года, является следствием и его личной ошибки». Правда, здесь же, на той же странице, Жуков оговаривает, что для остановки нашего наступления в районе Ржева «немецкому командованию пришлось спешно бросить туда значительное количество дивизий, предназначенных для развития наступления на сталинградском и кавказском направлениях» (с. 266).

Из этого рассказа Георгия Константиновича вроде бы следует, что отвлечение вражеских сил от Сталинграда и Кавказа не было главной целью нашего наступления под Ржевом, начавшегося 30 июля, и его остановка к концу августа являлась серьезной неудачей. Между тем есть основания полагать, что именно отвлечение войск врага с юга, где 17 июля (то есть двумя неделями ранее) он начал наступление непосредственно на Сталинград, было *главной* целью Ржевской операции.

Дело в том, что перед нашим контр наступлением под Сталинградом, начавшимся 19 ноября 1942 года, было вновь принято решение наступать и под Ржевом, и на этот раз — уж совсем явно не для разгрома там вражеских войск и овладения Ржевом, а для отвлечения сил врага с юга. Ибо, как сообщил в своих воспоминаниях один из тогдашних руководителей разведки, П. А. Судоплатов, враг был заранее информирован нами о готовящемся и начавшемся 8 декабря нашем наступлении!..* «Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окруже-

*Об этом врагу сообщил наш разведчик Александр Демьянов, которого вражеская разведка считала своим надежным агентом по кличке «Макс» (см. подробный рассказ в книге Судоплатова).

ние группировки Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью» (цит. соч., с. 188). Эта поистине редкостная по своему характеру акция может показаться выдуманной. Однако руководивший наступлением под Ржевом в декабре 1942 года Жуков, говоря о полной его неудаче, отметил прежде всего следующее: «Противник *разгадал* (выделено мною. — В. К.) наш замысел и сумел подтянуть к району действия значительные силы... перебросив их с других фронтов». А у нас «был недостаток танковых, артиллерийских, минометных и авиационных средств для обеспечения прорыва обороны противника» (с. 313, 314), — то есть, выходит, настоящей готовности к мощному наступлению не имелось...

Итак, обладавший высокой военной мудростью, Г. К. Жуков понял, что враг каким-то образом «разгадал» наш план наступления. Но Георгий Константинович, сообщает Судоплатов, «так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении, поэтому бросили туда такое количество войск» (там же).

Стоит сказать, что, несмотря на громадную группировку войск врага под Сталинградом, количественно превышавшую его ржевскую группировку, *качественно* она уступала последней, ибо под Сталинградом значительную часть вражеских войск составляли намного менее боеспособные румынские, итальянские и венгерские войска.

Выше цитировались слова Жукова о том, что Сталин считал ржевскую группу врага «более опасной», чем южную, нацеленную на Сталинград и Кавказ. Но естественно предположить, что вождь «обманывал» Георгия Константиновича, ибо оба наступления на Ржев, в августе и декабре, едва ли преследовали цель изгнать врага с ржевского рубежа.

Показательно следующее. 26 августа 1942 года, после провала наступления на Ржев, Жуков назначается заместителем Верховного Главнокомандующего (это после провала!) и 29 августа отправляется на юг, в район Сталинграда, в качестве руководителя всей операции... Однако 17 ноября — за два дня до начала контрнаступления на юге — Сталин вызывает его в Москву и отправляет в район Ржева, откуда он тем не менее 28—29 ноября (см. цит. соч., с. 310—311) передает Сталину и А. М.

Василевскому (заменившему на юге Жукова) свои соображения о том, как надо вести наступление под Сталинградом!

К тому времени враг уже хорошо знал, что Жуков командует на главных направлениях, и появление его у Ржева, надо думать, служило дополнительным подтверждением подброшенной врагу нашей разведкой версии. И по-своему даже забавно, что удочка, на которую попался в 1942-м враг, сработала и в наши дни: американский писатель и историк Дэвид Гланц, сочинения которого публикуются (возможно, из своего рода низкопоклонства) и у нас, пропагандирует сенсационную версию, согласно которой наступление под Ржевом в декабре 1942-го было *наиважнейшей* операцией, намного более важной, чем почти одновременное контрнаступление под Сталинградом, но этот факт-де замалчивается, ибо Ржевская операция не удалась, потерпела полное поражение...

Это, без сомнения, совершенно безосновательная «концепция», ибо слишком много имеется доказательств того, что Сталинградской битве с самого начала придавалось безусловно первостепенное и решающее значение. Вместе с тем, как ясно из вышеизложенного, разгром врага под Сталинградом не умаляет значения продолжавшегося четырнадцать месяцев противостояния под Ржевом...

Глава четвертая

ИТОГИ ВОЙНЫ

Предшествующее изложение сосредоточилось на событиях 1941—1942 годов, и это вполне естественно, ибо ход войны в 1943—1945 годах воссоздан в обширной литературе о ней гораздо более ясно и правдиво: победы под Курском, в Белоруссии (летом 1944 года) и т. д. незачем было «лакировать» (они и так великолепны) в «доперестроечные» времена и затруднительно «очернять» в конце 1980—1990-х годах.

Вместе с тем существует наиболее тяжкая, мучительная проблема, на основе которой (сначала в так называемых «самиздате» и «тамиздате», а с конца 1980-х и в общедоступной литературе) осуждают и попросту проклинают «методы» войны в целом — как в период наших поражений, так и в период побед. Речь идет о проблеме *человеческих потерь* 1941—1945 годов. Ныне «демократические» СМИ постоянно внушают, что «цена победы» была непомерной и потому это как бы даже и не победа...

Потери в самом деле были громадны, но суть нынешней пропаганды заключается в том, что «вину» за них возлагают не столько на врагов, сколько на «своих», — прежде всего, разумеется, на Сталина.

Опубликован, например, документ от 27 мая 1942 года — директива Сталина руководству Юго-Западного фронта (командующий — С. К. Тимошенко, член Военного совета — Н. С. Хрущев, начальник штаба — И. Х. Баграмян), начавшего с 12 мая Харьковское сражение, в ходе которого были чрезмерные потери. «Не пора ли вам научиться воевать малой кровью,

как это делают немцы? — писал Главнокомандующий. — Воевать надо не числом, а уменьем»¹²⁴).

Однако в глазах многих людей этот сталинский выговор Тимошенко и другим предстанет, без сомнения, как лицемерный (хотя дело ведь идет не о показном *публичном* требовании сократить человеческие потери, а о предназначенном для трех адресатов секретном документе).

Знакомясь с иными нынешними сочинениями о войне, читатели волей-неволей должны прийти к выводу, что Сталин, да и тогдашний режим в целом чуть ли не целенаправленно стремились уложить на полях боев как можно больше своих солдат и офицеров, патологически пренебрегая тем самым и своими собственными интересами (ибо чем слабее становится армия, тем опаснее для режима)...

И поскольку главная цель многих сочинений, затрагивающих вопрос о потерях нашей армии, заключалась, в сущности, не в исследовании реальных фактов, а в обличении Сталина и режима в целом, предлагались абсолютно фантастические цифры, — вплоть до 44 миллионов (!) погибших военнослужащих...¹²⁵)

Полнейшая абсурдность этой цифры совершенно очевидна. В начале 1941 года население СССР составляло, как выяснено в последнее время посредством тщательнейших и всецело достоверных подсчетов, 195,3 млн. человек, а в начале 1946-го людей *старше 5 лет* в стране имелось всего лишь 157,2 млн.!* Таким образом, «исчезли» 38,1 млн. человек из имевшихся в начале 1941-го¹²⁶). Утрата, конечно же, огромна — 19,5% — почти каждый пятый! — из населения 1941 года**. Но в то же время очевидна нелепость утверждения, что в 1941—1945-м погибли-де 44 млн. одних только *военнослужащих* — то есть на 6 млн. (!) больше, чем было утрачено за эти годы людей вообще, включая детей, женщин и стариков.

*Цифра эта полностью достоверна, ибо, согласно надежной переписи 1959 года, то есть через еще 13 лет, были живы 140 млн. людей, родившихся до 1941 года.

**Более значительная (хотя и ненамного) доля населения была утрачена только в катаклизме 1918—1922 годов: из 148 млн. населения начала 1918-го осталось к началу 1923-го лишь 118,5 млн. людей старше 5 лет, а 29,5 млн. исчезли — то есть 19,9%...

Однако дело не только в этом. Даже и 38,1 млн. «исчезнувших» людей нельзя отнести целиком к жертвам войны, ибо ведь и в 1941 — 1945 гг. люди продолжали уходить из жизни в силу «естественной» смертности, которая уносила в то время минимум (именно минимум) 1,3%* наличного населения за год (не считая младенческой смертности), то есть за пять лет — 6,5% — что от 195,4 млн. составляет 12,7 млн. человек (повторю: по меньшей мере столько).

Кроме того, не так давно были опубликованы сведения о весьма значительной эмиграции из западных областей СССР после 1941 года — эмиграции поляков (2,5 млн.), немцев (1,75 млн.), прибалтов (0,25 млн.) и людей других национальностей; в целом эмигранты составляли примерно 5,5 млн. человек¹²⁷).

Таким образом, при установлении количества людей, в самом деле погубленных войной, следует исключить из цифры 38,1 млн. те 18,2 млн. (12,7+5,5) человек, которые либо умерли своей смертью**, либо эмигрировали. И, значит, действительные жертвы войны — 19,9 млн. человек, не считая, правда, смерти детей, родившихся в годы войны.

Это вроде бы противоречит результату наиболее авторитетного исследования, осуществленного в 1990-х годах сотрудниками Госкомстата, — 25,3 млн. человек. Но в этом исследовании специально оговорено, что имеется в виду «общее число умерших (не считая естественной смертности. — В. К.) или оказавшихся за пределами страны»¹²⁸), а, как отмечалось выше, за пределами страны оказалось 5,5 млн. эмигрантов. 19,9+5,5 — это 25,4 млн. человек, что почти совпадает с подсчетами Госкомстата.

Стоит сообщить, что принципиальное согласие с подсчетами Госкомстата высказал уже упоминавшийся наиболее квалифицированный эмигрантский демограф С. Максудов (А. П. Ба-

* Стоит сообщить, что, например, в США смертность составляла в 1920-х годах именно 1,3%, а в 1930-х несколько меньше — 1,1% (Демографический энциклопедический словарь. М., 1985, с. 419). Даже в 1980-х годах у нас умирало за год 1% населения.

** Возможно, правда, что часть из этих людей, которые к 1946 году «должны» были умереть в силу естественной смертности, в тяжелых условиях войны ушли из жизни несколько раньше, чем это произошло бы в мирное время. Но так или иначе они «не могли» дожить до 1946 года...

бенышев), с начала 1970-х годов работающий в Гарвардском университете (США)¹²⁹).

И в связи с этой цифрой — 19,9 млн. — особенно дикое впечатление оставляет и приведенная выше цифра 44 млн., имеющая в виду *только* погибших в 1941—1945 годах *военнослужащих*, да и значительно уменьшенная цифра — 31 млн. погибших «красноармейцев», объявленная позднее, в 1995 году, тем же автором¹³⁰).

Что же касается гибели военнослужащих, то произведенное в конце 1980 — 1990-х годах скрупулезное исследование всей массы документов воинского учета 1941—1945 годов показало, что потери *армии* составляли 8,6 млн. человек¹³¹). К примерно такой же цифре пришел ранее С. Максудов, причем особенно существенно, что он исходил не из недоступной ему, эмигранту, воинской документации, а из *демографических* показателей. И, ознакомившись с опубликованными в 1993 году итогами анализа документов, он выразил удовлетворение и даже «удивление» тем, насколько «потери в военкоматском учете... близки к их демографической оценке» (указ. соч., с. 119). Таким образом, два исследования, исходящие из разных «показателей», дали, в общем, единый результат, что делает этот результат предельно убедительным.

Нельзя не отметить еще и следующее. С. Максудов в качестве профессионального демографа «упрекнул» исследователей армейских документов в игнорировании *естественной смертности*, обоснованно утверждая, что собственно *боевые* потери на самом деле были меньше 8,6 млн., так как часть военнослужащих (напомню, что в армию призывались и не очень молодые люди — до 50 лет) умерли в силу естественной смертности, и гибель от рук врага постигла, по расчетам С. Максудова, 7,8 млн. военнослужащих.

Широко распространено представление, что наибольшие боевые потери пришлось на самую молодую часть призванных в армию людей, — тех, кому было в 1941 году 18 или ненамного больше лет. И это, безусловно, вполне основательное представление, ибо не имевшие существенного жизненного — не говоря уже об армейском — опыта юноши погибали, конечно, в первую очередь; в этом возрасте к тому же нередко еще слабо развито чувство *самосохранения*.

Но боевые потери этого поколения все же крайне резко преувеличивают. Так, в печати многократно утверждалось, что воины 1921—1923 годов рождения погибли *почти все*; например, один известный ученый, членкор АН, писал не так давно: «Из прошедших фронт людей этого возраста вернулись живыми только 3 процента», то есть 97 (!) процентов погибли...

Между тем есть вполне надежные сведения, что из 8,5 млн. мужчин 1919—1923 гг. рождения, имевшихся в 1941 году, к 1949 году «уцелели» 5 млн. Выходит, таким образом, что почти *две трети* мужчин этого поколения вообще *не воевали* (что крайне неправдоподобно), ибо, как утверждается, только один из тридцати трех фронтовиков этого возраста «вернулся живым».

Нельзя не сказать и о том, что из «исчезнувших» мужчин указанного возраста далеко не всех можно считать погибшими на фронте. Дело в том, что из 8,8 млн. женщин тех же 1919—1923 гг. рождения к 1949 году осталось 7,6 млн., и, значит, 1,2 млн. из них погибли, то есть только в три раза меньше, чем мужчин. Поскольку в армии находилось менее 0,6 млн. женщин (всех возрастов)¹³³⁾ и они не ходили в штыковые атаки, ясно, что абсолютное большинство из 1,2 млн. «исчезнувших» молодых женщин погибли от вражеского террора, голода, холода, разрухи и т. п. И от тех же причин погибло, по всей вероятности, едва ли меньшее (чем женщин) количество мужчин того же возраста. Ведь в силу самой биологической природы мужчин они в экстремальных ситуациях значительно менее выносливы, чем женщины. Я убедился в этом еще в юном возрасте, в конце войны, когда узнал о том, что из моих многочисленных ленинградских родственников в годы блокады погибли *почти все* мужчины, а женщины, напротив, в большинстве своем выжили. Особенно важно отметить, что речь идет о мужчинах, не находившихся в *армии*; даже те, кто сражался на рубежах блокированного Ленинграда, получали намного большее количество продовольствия, чем гражданские лица в самом городе, и гибель для них была менее вероятной...

Определенная часть «исчезнувших» молодых мужчин оказалась в эмиграции, куда, как уже сказано, ушли 5,5 млн. человек, и естественно полагать, что доля именно молодых мужчин была среди них немалой.

Наконец, в число «исчезнувших» мужчин входят люди особой «категории», которую редко учитывают при выяснении потерь, — *гражданские* лица, оказавшиеся на оккупированных территориях, объявленные врагом *военнопленными* и заключенные в соответствующие лагеря. Сколько было таких жертв врага, трудно или вообще невозможно установить, но ясно, что дело идет о миллионах...

Эти люди разделили страшную судьбу военнопленных, которые, по сути дела, попросту уничтожались врагом... Нередко можно прочесть, что в этом, мол, виноват опять-таки Сталин, не подписавший в 1929 году Женевскую конвенцию о военнопленных. Эта версия давно и убедительно опровергнута¹³⁴⁾, но тем не менее доверчивым читателям продолжают внушать, что в уничтожении миллионов действительных и мнимых военнопленных виноваты-де не враги, а свои...

Нелепо уже само предположение о том, что Германия была готова соблюдать по отношению к нам какие-либо «принципы»; хотя бы уже из одного факта превращения в военнопленных гражданских лиц ясно: никакие «нормы» враг не соблюдал.

Вот, например, фрагмент дошедшего до нас предельно четкого приказа от 11 мая 1943 года по 2-й германской танковой армии (до декабря 1941 года ею командовал знаменитый Гудериан, снятый со своего поста за отступление под Москвой):

«При занятии отдельных населенных пунктов нужно немедленно и внезапно захватывать имеющихся мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, если они могут быть причислены к способным носить оружие... объявить, что они впредь будут считаться военнопленными и что при малейшей попытке к бегству будут расстреливаться»¹³⁵⁾.

Судьба военнопленных и тех, кого неправомерно объявили военнопленными, была настолько чудовищной, что даже некоторые *германские* руководители различных рангов пытались изменить положение, — разумеется, не из «гуманности», а по прагматическим соображениям. Так, уже на девятнадцатый день войны, 10 июля 1941 года, чиновник министерства по делам восточных территорий Дорш, пораженный увиденным, докладывал из захваченного врагом еще 28 июня Минска своему патрону Розенбергу:

«В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на территории размером с площадь Вильгельмплац*, находится приблизительно 100 тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских заключенных. Заключенные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят... живут по 6—8 дней без пищи, в состоянии вызванной голодом животной апатии...» Между тем, продолжал Дорш, «огромную работу в тылу фронта невозможно выполнить только с помощью немецкой рабочей силы, а во-вторых... изо дня в день возрастает угроза эпидемии...»¹³⁶⁾ (этими соображениями и продиктована «забота» о пленных).

Позднее, 28 февраля 1942 года, уже и сам Розенберг писал начальнику штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Кейтелю:

«Война на Востоке еще не закончена и от обращения с военнопленными в значительной мере зависит желание сражающихся красноармейцев перейти на нашу сторону... Это цель пока не достигнута. Напротив, судьба советских военнопленных в Германии стала трагедией огромного масштаба. Из 3,6 млн. (сюда, без сомнения, причислены и захваченные к тому времени гражданские лица. — В. К.) в настоящее время вполне работоспособны только несколько сот тысяч. Большая часть их умерла от голода или холода... во многих случаях, когда военнопленные не могли на марше идти вследствие голода и истощения, они расстреливались на глазах приходившего в ужас гражданского населения... В многочисленных лагерях вообще не позаботились о постройке помещений для военнопленных. В дождь и снег они находились под открытым небом. Им даже не давали инструмента, чтобы вырыть себе ямы или норы в земле... Можно было слышать рассуждения: «Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас»...»¹³⁷⁾

Тогда же, в феврале 1942-го, «Военно-экономический отдел» Верховного командования «сетовал» в официальном циркуляре: «Нынешние трудности с рабочей силой не возникли бы, если бы своевременно были введены в действие советские

* Площадь в центре Берлина, занимающая около 30 тыс. кв. м (то есть на одного пленного приходилось немногим более 1/4 кв. метра).

военнопленные. В нашем распоряжении находилось 3,9 млн. военнопленных (разумеется, вместе с гражданскими лицами. — В. К.), теперь их осталось всего 1,1 млн. Только в декабре 1941 г. погибли полмиллиона...»¹³⁸⁾

Но все подобные возражения ничего не могли изменить, так как армия была с самого начала нацелена не только на захват страны, но и на *уничтожение* ее жизненной силы и, значит, прежде всего на уничтожение тех, кто способен носить оружие.

Начальник армейской разведки и контрразведки Германии адмирал Канарис еще 15 сентября 1941 года писал о «вредных последствиях» того «обращения с военнопленными», которое господствует в германской армии и которое он определял так: «...военная служба для советских граждан отнюдь не рассматривается как выполнение воинского долга, а... характеризуется в общем и целом как преступление. Тем самым отрицается применение военно-правовых норм». И благодаря этому, предупреждал Канарис, «облегчается мобилизация и сплочение всех внутренних сил сопротивления России в единую враждебную массу»¹³⁹⁾.

Однако подобные предупреждения оставались втуне. В основе действий вражеской армии лежало «геополитическое» убеждение, согласно которому война ведется против «азиатских недочеловеков». Даже 26 октября 1943 года, то есть уже после Курской битвы, начальник по делам военнопленных при Верховном командовании генерал Греневитц объявил в своем очередном приказе:

«Слабодушные, которые будут говорить о том, что при теперешнем положении надо обеспечить себе путем мягкого обращения «друзей» среди военнопленных, являются распространителями пораженческих настроений и за разложение боеспособности привлекаются к судебной ответственности»¹⁴⁰⁾.

В обращении с военнопленными, то есть на самом деле со всеми мужчинами призывного возраста, выражалось — пусть и в особо крайней форме — отношение к завоевываемой стране в целом. И, кстати сказать, преобладающее большинство «власовцев» и других согласившихся служить Германии людей «выбирали» этот путь, без сомнения, как «альтернативу» в высшей степени вероятной гибели в лагере военнопленных. Отме-

чу еще, что в свете вышеизложенного нынешнее стремление некоторых считающих себя «патриотами» лиц как-то связывать себя (хотя бы в одной только «символике») с германским рейхом предстает по меньшей мере как дикость...

16 июля 1941 года, когда враг, увы, уже захватил огромные территории СССР, Гитлер дал недвусмысленное «указание»: «Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее замирено. Лучше всего этого можно достичь путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд» (там же, с. 56).

Два месяца спустя, 16 сентября, начальник штаба Верховного главнокомандования Кейтель издал приказ, в котором выразил возмущение «мягкостью» армии и потребовал «немедленно принять самые суровые меры». «Следует учитывать, — объяснял генерал-фельдмаршал, — что на указанных территориях (СССР. — В. К.) человеческая жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью», — например, 50—100 казненных «в качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата» («Совершенно секретно!..»), с. 396).

И, как уже было показано, только примерно треть человеческих потерь в годы войны составили *боевые* потери армии.

Не приходится уже говорить о тотальном разрушении всех условий человеческого существования — от жилищ до электростанций, от заросших бурьяном и кустарником полей до развороченных с помощью спецсредств железнодорожных путей и т. д. и т. п. Стране был нанесен поистине беспрецедентный урон и ущерб...

* * *

Но вернемся к проблеме *боевых* потерь. Как уже сказано, тщательно работающий демограф С. Максудов доказывает, что наша армия потеряла менее 8 млн. человек вместе с погибшими в плену, которых было (погибших), по его подсчетам, 1,2 млн. человек. Напомню, что С. Максудов делает поправку на естественную смертность военнослужащих (и в том числе пленных). Но в то же время он, как представляется, значитель-

но преуменьшил количество военнослужащих, погибших в плену.

Согласно германским сведениям (которым нет оснований не доверять, поскольку речь идет о ведомственных отчетах, а не о какой-либо «пропаганде»), в плену погибли около 4 млн. человек, правда, значительная часть их не принадлежала к военнослужащим, но, по-видимому, 2 с лишним миллиона из них были пленными солдатами и офицерами. И общее число потерь армии (вместе с погибшими в плену) составило от 8 до 9 млн. человек...

Конечно, это страшная цена победы, но тем прискорбнее читать сочинения, в которых и это число намного преувеличивают с помощью безосновательных и попросту несурзных «доводов». Такова, например, изданная в 1991 году книжка Бориса Соколова с широковещательным заглавием «Цена победы. Великая Отечественная: неизвестное об известном». Автор объявляет, что в 1941—1945 гг. погибли 14,7 млн. военнослужащих и «около 15 млн.» гражданских лиц.

Один из главных «источников» первой цифры — некий полковник Калинов, похитивший какой-то сугубо секретный документ, перебежавший в 1949 году на Запад и на следующий год издавший там книгу «Советские маршалы имеют слово», — то есть предшественник нынешнего Резуна-«Суворова».

Но еще «замечательнее» другое. Б. Соколов пишет: «На 1 января 1941 г. население СССР насчитывало 196,6 млн. человек, а на начало 1946 г. — всего 167 млн. Чистая убыль населения составила за военные годы 29,6 млн. человек»¹⁴¹⁾ (далее автор без особых «разысканий» делит эту убыль почти пополам — 14,7 млн. военнослужащих, «около 15 млн.» гражданских лиц).

Существует своего рода закономерность: если за решение задачи берется не имеющий для этого никаких серьезных оснований автор, его «решение» как-то нелогично оказывается одновременно и *преувеличивающим*, и *преуменьшающим* реальные потери.

Б. Соколов совершенно непонятным образом ухитрился «забыть», что, во-первых, и в 1941—1945 гг. продолжали все же рождаться дети, и по вполне достоверным сведениям к 1946 году

в стране имелось 13,3 млн. детей моложе 5 лет, а значит (о чем уже говорилось выше), «убыль» населения за годы войны была намного больше — на 8,5 млн.(!), чем он утверждает: как сказано выше, 38,1 (а не 29,6) млн. человек. А во-вторых, этот «исследователь» потерь «забыл» о том, что люди продолжали умирать в 1941—1945 годах своей смертью, и в силу тогдашнего уровня естественной смертности за пять лет должно было умереть (см. выше) минимум 12,7 млн. человек, и, следовательно, можно отнести к военным потерям не более 25,4 млн., к тому же 5,5 млн. из них не умерли, а эмигрировали.

Таким образом, «подсчет» Соколова поистине курьезен: он, как это ни нелепо, и преуменьшил человеческие потери на 8,5 млн., и преувеличил их на 9,7 млн.! Тем не менее подобная нелепица опубликована вроде бы солидным издательством...

Наиболее же возмутительна извлеченная Соколовым из этой нелепицы цифра погибших военнослужащих — 14,7 млн.: он тем самым «умертвил» по меньшей мере 6 млн. наших солдат и офицеров... К сожалению, эта цифра присутствует и в изданной годом позднее соколовского сочинения книжке профессиональных историков А. Н. Мерцалова и Л. А. Мерцаловой. Они сначала отвергают «сведения» из совсем уж смехотворных публикаций, вещающих «о 14-кратном превосходстве потерь РККА по сравнению с вермахтом... наиболее близкими к истине представляются сведения... — около 14 млн. погибших... Потери вермахта погибшими, по германским данным, составляют свыше 4 млн., в том числе на Восточном фронте — 2,8 млн. Соотношение — 5:1»¹⁴²).

Итак, на каждого убитого вражеского военнослужащего приходится пятеро наших... Есть от чего прийти в отчаяние. Однако, во-первых, 14 млн. — это не имеющее никакой реальной аргументации число. Во-вторых, цифра потерь врага в 2,8 млн. — это только точно учтенные смерти, к которым необходимо добавить «без вести пропавших», но не оказавшихся в плену. В-третьих, на Восточном фронте воевали, помимо немцев, миллионы других европейцев.

И в тщательно подготовленном коллективном исследовании о потерях, изданном в 1995 году, потери врага, включая его союзников, на Восточном фронте исчислены на основе *итоговых германских подсчетов*, сделанных в мае 1945 года: это

4,3 млн. человек, считая и 0,6 млн. умерших в плену. То есть вовсе не в 5, а в 2 раза меньше, чем потери нашей армии.

При этом необходимо учитывать, что примерно *четверть* наших армейских потерь — это не павшие в бою и не умершие от полученных в бою ран, а уничтоженные врагом беспомощные военнопленные (не считая объявленных военнопленными гражданских лиц).

Итак, враг потерял в боях с нами 3,7 млн. военнослужащих — это не считая 0,6 млн. умерших в нашем плену, а наша армия (без погибших в плену) — 6,5 млн.; именно к этой цифре пришел тщательно работающий — и «независимый» — демограф С. Максудов.

Да, наших воинов погибло в боях в 1,7 раза больше, чем вражеских, и это объясняется главным образом более высоким уровнем выучки, дисциплины и технической оснащенности (которую обеспечивала промышленность всей Европы) армии врага*.

Что же касается фантастических цифр наших боевых потерь, о которых шла речь выше, они продиктованы экстремистской идеологической тенденциозностью. Вот, например, уже упомянутые А. Н. и Л. А. Мерцаловы, говоря о крайне небольших, в сравнении с нашими, потерях войск США и Великобритании, объясняют это «*сталинским руководством*» (то есть, если бы у нас было такое руководство, как в США и Великобритании, и потери бы были во много раз меньше).

Однако, как уже было показано, Великобритания и тем более США до июня 1944 года — то есть до последних 11 месяцев великой войны — фактически *не участвовали* в ней, — кроме локальных стычек на периферии этой войны.

Пресловутая стычка английских войск с итало-германскими при Эль-Аламейне определена в трактате Черчилля «Вторая мировая война» как «*великая битва*», но на этой же странице он

*Чтобы убедиться в превосходстве германского воинского мастерства, достаточно, полагаю, знать следующее. Наши наиболее «результативные» летчики-истребители, трижды герои Советского Союза И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин сбили (соответственно) 62 и 59 вражеских самолетов, а между тем в истребительной авиации врага имелись 34 летчика, сбивших более 150... («корифей» — Эрих Хартман — сбил 352!). См.: Г р и б а н о в С. Заложники времени. М., 1992, с. 207—208.

сообщает: «Мы потеряли у Эль-Аламейна 10 тысяч человек за 12 дней» — и напоминает (это можно даже понять как скрытую иронию), что в Первую мировую войну, в июле 1916 года, «на Сомме (река в Северной Франции. — В. К.) за *первый же день* мы потеряли 60 тысяч»¹⁴³).

А ведь Эль-Аламейн — самое «значительное» сражение до высадки «союзников» во Франции 6 июня 1944 года, то есть тогда, когда мощь германской армии была уже несравнима с ее мощью 1941—1943 годов, — не говоря уже о том, что на Восточном фронте Германия воевала с гораздо большими усилиями, чем на Западном, и во второй половине 1944 — первой трети 1945-го.

Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать количество наших боевых потерь с потерями Великобритании и США.

И последнее. Поскольку война против нас в 1941—1945 годах была направлена не только (и даже не столько!) на захват территории, но и на *уничтожение* (о чем, между прочим, намекнул даже *пленный* германский офицер, о котором рассказала Елена Ржевская), гибель гражданских лиц совместно с гибелью пленных в два с лишним раза (!) превысила боевые потери армии — 6,5 млн. и 13,4 млн. Можно даже утверждать, что люди, находившиеся в армии, в воинском строю, были более «защищены» от гибели, чем те, кто находился под игом врага...

Поэтому общий урон, нанесенный стране, был чрезвычайным, трагически тяжким.

Но, сознавая все это, не следует в то же время полагать (как многим ныне свойственно), что только наша страна понесла в годы войны громадные людские потери. Как уже показано, жертвами войны можно считать 19,9 млн. наших соотечественников. Конечно, цифра колоссальна. Однако демографы Запада подсчитали, что в результате «войны на уничтожение» население их стран (в целом, включая Германию и ее союзников) потеряло 17,9 млн. человек (см. переведенный на русский язык сборник исследований: Итоги Второй мировой войны. М., 1957, с. 601), то есть в абсолютных цифрах ненамного меньше, чем население СССР, хотя *доля* погибших относительно общего предвоенного количества людей у нас (195 млн.) и в странах

Европы (300 млн.), конечно, значительно больше. Но это обусловлено силой нашего сопротивления врагу и тем, что фактически именно нам принадлежит Победа над ним, о чем еще пойдет речь далее.

* * *

Как уже говорилось, с середины 1940-х до середины 1980-х годов наша историография войны во многом «лакировала» ход событий — особенно событий 1941—1942 годов, — а кроме того, подвергала резкой критике зарубежных историков, предлагавших иную картину. Но к концу 1980-х множество авторов (очень значительная часть которых ранее публиковала вполне «официозные» сочинения) занялись не только всяческим очернением первых военных лет, но и *умалением* побед 1943 — 1945 годов. Широко издаются в последнее десятилетие на русском языке и сочинения зарубежных авторов, каковых нередко безудержно восхваляют за то, что-де благодаря им мы наконец сможем узнать и понять нашу собственную историю...

Приведу один, но весьма многозначительный пример. В изданном в Москве в 1992 году сочинении Н. Верта (в 1990-м оно было издано в Париже) «История Советского государства» утверждается следующее: «В конце 1943 г., после произошедшего под Курском перелома на советско-германском фронте, высадки англо-американского десанта в Италии и свержения режима Муссолини, началось радикальное изменение политической и военной обстановки в мире. Теперь... победа стала реальной перспективой».

Итак, под Курском произошел перелом на *советско-германском* фронте (а не перелом в ходе войны *в целом*), к которому по меньшей мере приравнивается — по своему значению — высадка десанта «союзников» в Италии, приведшая, мол, к победе над фашизмом в этой стране. Стоит сразу же напомнить, что итальянского диктатора свергло 25 июля 1943 года его *собственное окружение*, решившее, что после краха Германии под Курском самым разумным будет порвать отношения с Гитлером, — с чем не соглашался Муссолини. Но всего лишь через два месяца, 23 сентября, Муссолини вернулся к власти с помощью германских войск и правил — хотя и под их эгидой —

более полутора лет, до 27 апреля 1945 (!) года. Н. Верт умалчивает об этом явно для того, чтобы преувеличить последствия «высадки англо-американского десанта в Италии».

Я обратился именно к сочинению Н. Верта далеко не случайно. Автор предисловия к его изданию на русском языке выразил надежду, что «книга Н. Верта станет таким же незаурядным событием... каким была... книга его отца Александра Верта «Россия в войне 1941—1945 гг.», до сих пор остающаяся одной из лучших... книг о минувшей войне» (с. 4).

Отец Н. Верта, блестящий журналист, пробыл в России все военные годы, нередко находился вблизи фронта, и книге его действительно присущи честность и объективность. И он недвусмысленно писал в этой изданной в 1964 году книге, что, «выиграв Курскую битву, СССР фактически выиграл войну... Сталинград был поворотным пунктом в политико-психологическом плане, а поражение немцев под Курском и Белгородом — поворотным пунктом с чисто военной стороны...» Между тем «в чисто военном отношении значение итальянской кампании (англо-американской. — В. К.) было ничтожным» (!). Кстати сказать, выше уже цитировался секретный доклад военного министра США Стимсона (в августе 1943-го) Рузвельту, в котором высадка «союзников» в Италии определена как «булавочный укол». И, «приравнивая» Курскую битву к этой высадке, Н. Верт предал, таким образом, не только истину, но и своего родного отца Александра Верта... Тем более нельзя без возмущения и презрения читать уже цитированное «туземное» предисловие к «рекомендованному Комитетом по высшей школе Миннауки России в качестве учебного пособия» сочинению Н. Верта, — предисловие, в коем, в частности, прямо-таки лакейски заявлено, что сие сочинение — «бесспорно, наиболее основательное изложение отечественной (!) истории XX века» (с. 3)...

Высадка в Италии имела бы существенный смысл, если бы «союзники» уничтожили находившиеся там германские войска или хотя бы изгнали их с итальянской территории и двинулись дальше, к Германии. Однако германские войска в Италии капитулировали лишь 29 апреля 1945 (!) года, и вовсе не из-за победоносности «союзников», а потому, что четырьмя днями ранее,

25 апреля, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг Берлина...

Между прочим, британский историк Лиддел Гарт обоснованно сделал в свое время следующий вывод: «Результаты вторжения в Италию были весьма плачевными. За четыре месяца союзные войска продвинулись только на 70 миль» (112 км, т. е. продвижение на 0,9 км в день...). И, по мнению историка, «главная причина заключалась в порочности самой доктрины ведения войны, в которой господствовал принцип, характерный для осторожного банкира: «Ни шагу вперед без гарантии успеха»...» Однако, как было показано выше, дело обстояло сложнее: «союзники» стремились к «гарантии успеха» не в войне с Германией, а в *общем итоге* войны. И по меньшей мере со времени Курской битвы «смертельной угрозой» в глазах «союзников» являлась не Германия, а СССР-Россия. Соответствующие высказывания Черчилля приводились, но важно продемонстрировать и позицию США.

В недавнем основанном на тщательном анализе военно-политических документов (в том числе строго засекреченных ранее) исследовании американского историка войны Уоррена Кимболла показано, что уже после победы под Сталинградом руководство США «беспокоила» выявившаяся «возможность»: «Красная Армия добьется такого перелома, что сумеет победить немцев еще до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои войска в Западную Францию». И далее Кимболл — исходя опять-таки из документов того времени — пишет, что «после битвы под Курском... стало ясно, что советские войска в состоянии победить Германию *и в одиночку*» (с. 363). И именно тогда, в августе 1943-го, было принято *реальное* (а не дипломатически-пропагандистское) решение о создании «второго фронта», истинная цель которого заключалась не в разгроме германской армии (ведь он уже, по сути дела, совершился под Курском), а в том, чтобы пресечь или хотя бы существенно ограничить вторжение России в Европу.

О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует, например, «Меморандум 121», составленный Управлением стратегических служб (УСС, позднее преобразованное в ЦРУ) США в конце августа 1943 года, то есть после Курской битвы.

Директор УСС (в будущем — первый директор ЦРУ) генерал Донован представил этот «Меморандум» (кстати сказать, рассекреченный только в 1978 году!) в качестве программы действий вооруженных сил «союзников» в Европе. И вот как обосновывалась в этой программе «гарантия успеха» вторжения во Францию:

«Расстояние от предполагаемого западноевропейского фронта до Центральной Германии короче, а транспортные условия лучше, чем от Западной России до Центральной Германии. К тому же западные союзники имеют заметное превосходство над Россией (именно над Россией! — В. К.) в воздухе».

Сама «постановка вопроса» недвусмысленно говорит о том, что действительная цель «второго фронта» заключалась не в разгроме Германии, а в «недопущении» России в «Центральную Германию» и, конечно, Европу в целом.

Но разработчики программы, рассуждая о более коротком расстоянии и лучших дорогах, ошиблись, ибо *боеспособность* огромных (2,8 млн. человек) войск, вторгшихся, начиная с 6 июня 1944 года, во Францию, была весьма и весьма — если не сказать крайне — низкой. Так, только через четыре с половиной месяца — 19 с половиной недель — эти войска смогли, пройдя 550 км, достичь Германии (то есть средняя скорость движения — 4 км в день). Между тем наши войска, начав вскоре после вторжения «союзников» во Францию, 23 июня 1944 года, широкое наступление от восточной границы Белоруссии, 28 июля уже достигли Вислы около Варшавы!

Германский историк Пауль Карелл писал об этом наступлении наших войск: «За пять недель (выделено мной. — В. К.) они прошли с боями 700 километров (то есть 20 км за день! — В. К.) — темпы наступления советских войск превышали темпы продвижения танковых групп Гудериана и Гота по маршруту Брест — Смоленск — Ельня во время «блицкрига» летом 1941 года... К концу июля 1944 года линия фронта проходила у границ Восточной Пруссии и по Висле... «На Берлин!» — смеясь, кричали советские солдаты. Поднимался занавес перед последним актом войны».

Стоило бы, конечно, привести еще и сведения о том, что германские вооруженные силы на Востоке в *несколько раз* превосходили те, с которыми сталкивались «союзники» на Западе,

но в принципе эта сторона дела широко известна, и я не буду перегружать свое сочинение цифрами (которых в нем и так немало).

К тому же важнее сказать о другом. В октябре 1944 года «союзники», достигнув *границы* Германии, встретили здесь намного более сильное и упорное сопротивление, чем ранее, и в течение двух месяцев почти не двигались вперед, а 16 декабря германские войска неожиданно начали контрнаступление — так называемую Арденнскую операцию — и сумели отбросить «союзников» на 90 км к западу. Напомню, что на *нашем* фронте германская армия не имела возможности наступать уже *полтора года* — со времени Курской битвы. Как констатировал генерал Гудериан, с августа 1943 года на Восточном фронте «немецкая армия постоянно отступала».

В результате германского удара «союзники» оказались в самом критическом положении. Лиддел Гарт в трактате «История Второй мировой войны» сообщал, что германское наступление «вызвало сильнейшую панику»; о том же писал в своей «Второй мировой войне» Алан Тейлор: «...что-то вроде паники возникло на стороне союзников. В штабах за сотни миль (!) от линии фронта прекращали работу, готовясь к эвакуации...». К концу декабря «союзники» вроде бы собрались с силами, но 1 января 1945-го германские войска нанесли им новый удар южнее Арденн — в районе Страсбурга.

И 6 января Черчилль вынужден был обратиться со своего рода покорнейшей просьбой к Сталину: «На западе идут очень тяжелые бои... можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января...»

Эта просьба, казалось бы, была совершенно нелогична; выше приводились высказывания Черчилля, из которых явствует, что он более всего был озабочен «стремительным продвижением» России на запад, — и вдруг он просит именно о таком «продвижении»! Но поскольку в штабах «союзников», находившихся «за сотни миль от линии фронта», готовились к эвакуации, неожиданный поступок Черчилля вполне можно понять: он опасался — и, надо думать, не без оснований, — что германское контрнаступление способно вынудить «союзников» убраться назад через Ла-Манш в Великобританию. А если

бы это произошло, «союзники» вообще утратили бы возможность помешать России занять Европу... И Черчилль, прося Сталина о наступлении, в сущности, выбирал меньшее из двух зол: новый мощный русский удар, полагал он, окончательно ослабит Германию, и «союзники» смогут удержаться на достигнутых рубежах, а затем двинуться к востоку. И Черчилль, надо признать, рассчитал правильно.

Сталин приказал начать широкое наступление уже 12 января, всего через пять дней после просьбы Черчилля. И, как вспоминал позднее начальник оперативного отдела штаба германского Западного фронта генерал-лейтенант Циммерман, после того как 12 января 1945-го «началось большое русское наступление, Верховное командование вынуждено было перебросить войска с Западного фронта на Восточный, причем это коснулось и группировки, сражавшейся в Арденнах. 6-я танковая армия СС (а это было наиболее боеспособное соединение. — В. К.) в полном составе была выведена из боя и направлена на восток».

Правда, Сталин едва ли предпринял наступление ради помощи «союзникам»; он сам стремился (о чем еще пойдет речь) продвинуть войска достаточно далеко на запад...

Но обратим внимание на поистине разительный контраст: с 12 января по 3 февраля 1945 года — всего за *три недели* — наши войска прошли 450 км (те же 20 км за день) от Вислы до Одера, в нескольких пунктах форсировали эту последнюю водную преграду и оказались всего в 60 км от Берлина! Между тем войска «союзников» к 3 февраля еще не двинулись с места и только через четыре с половиной недели, 7 марта, пройдя несколько десятков километров, достигли Рейна, и от Берлина их отделяло не 60, а около 500 км... Уже хотя бы из этого ясно, кто был *победителем* в войне.

Важно сказать о том, что наше превосходство над «союзниками» не было только собственно военным; оно основывалось и на духовном превосходстве, выражавшемся в самых различных аспектах и явлениях. Вот своего рода символический факт, воссозданный в мемуарах маршала И. С. Конева.

5 мая 1945 года он встретился недалеко от Торгау на Эльбе с одним из главных военачальников армии США Омаром Бредли, и, помимо прочего, «предложил Бредли и его спутникам по-

слушать концерт ансамбля песни и пляски 1-го Украинского фронта... там были по-настоящему отличные музыканты, певцы и танцоры... Генерал Бредли, сидя рядом со мной, заинтересованно расспрашивал, что это за ансамбль, откуда здесь, на фронте, эти артисты. Я сказал ему, что ансамбль состоит из наших солдат... Однако, как мне показалось, он отнесся к моему ответу без особого доверия. И зря, потому что большинство участников ансамбля действительно начали войну солдатами... А через несколько дней мне пришлось выехать с ответным визитом в ставку Бредли... В конце обеда два скрипача в американской военной форме, один постарше, другой помоложе, исполнили дуэтом несколько превосходных пьес. Скажу сразу, что высочайшему классу скрипичной игры... удивляться не приходится: этими двумя солдатами были знаменитый скрипач Яша Хейфец и его сын. В перерывах между номерами Бредли несколько иронически поглядывал на меня. Видимо... он так и не поверил мне при первой встрече, что наш ансамбль песни и пляски состоял из солдат 1-го Украинского фронта. Считая данный ему концерт маленьким подвохом, он, в свою очередь, решил прибегнуть к приятельской мистификации, представив Яшу Хейфеца с сыном как американских военнослужащих» (К о н е в И. С. Сорок пятый. М., 1966, с. 222—226).

Нет никаких оснований сомневаться, что ансамбль 1-го Украинского фронта был набран, главным образом, из солдат. Но не менее существенно другое: Хейфец, как и очень многие виднейшие тогдашние музыканты США, родился в России и учился в Петербургской консерватории, в то время представлявшей собой, в частности, мировой центр скрипичного искусства... Таким образом, Бредли, стремясь «победить» своего соперника Конева, не мог сделать ничего иного, как только одеть в военную форму США скрипача, порожденного музыкальной культурой России.

* * *

Впрочем, сегодня многие ретивые авторы прямо-таки кричат, что наша победа достигнута слишком дорогой, страшной ценой, и потому она как бы и не победа... Но, во-первых, военная победа всегда бывает дорогой, а во-вторых, излюбленное

многими авторами сравнение наших потерь с потерями «союзников» — потерями, которые при этом сравнении оказываются совершенно незначительными, — представляет собой результат незнания фактов или же прямой фальсификации. Потери «союзников» действительно были микроскопическими, но лишь до того момента, когда германские войска стали упорно сражаться с ними вблизи рубежей своей страны, то есть до октября 1944 года.

Когда приводят *общую* цифру потерь «союзников» в 1939 — 1945 годах, как бы «забывают» о том, что до 1944 года они в сущности *не воевали*. Между тем в «период после сентября 1944 года», писал добросовестный историк Лиддел Гарт, «союзные армии» (в них были вовлечены, помимо американцев и англичан, солдаты из других стран, главным образом из Франции) «потеряли в боях за освобождение Европы 500 тыс.»*

Наша армия за это время (октябрь 1944-го — май 1945-го) потеряла (от всех причин, включая болезни, несчастные случаи и т. д.) 1 млн. 39 тыс. 204 человека. Цифре этой можно полностью доверять — в отличие от цифр потерь в 1941—1942 годах, когда было не до учета...

Итак, наши потери в тот период, когда «союзники» *действительно* сражались с германской армией, только в два раза больше. И, если сопоставить *свершенное* за это время (октябрь 1944 — май 1945) нашими войсками и, с другой стороны, войсками «союзников», естественно прийти к выводу, что именно потери последних были *непомерно большими*. То есть очень дорого обошлось «союзникам» их стремление продвинуться возможно дальше на восток...

И последнее. 3 февраля 1945-го — именно в тот день, когда наши войска форсировали Одер и оказались всего в 60 км от Берлина, — началась Крымская (Ялтинская) конференция, на которой Рузвельт и — с особенным сопротивлением — Черчилль *вынуждены* были согласиться по существу со всеми «требованиями» Сталина, относящимися к устройству после-

*Простой расчет показывает, что, если бы «союзники» действительно *воевали* не с октября 1944-го, а с сентября 1939-го по май 1945 года, их потери составили бы 5,6 млн. человек.

военного мира (впоследствии это, как уже сказано, назвали «предательством» интересов Запада).

В этом вынужденном согласии «предметно», неоспоримо выразилось признание СССР-России победительницей. Нельзя не добавить еще следующее: «союзники», о чем шла речь выше, признавали, что, даже присоединив к себе германские войска, они не смогут победить своего соперника...

Впрочем, в связи с этим встают уже существеннейшие проблемы *послевоенной* истории.

Приложение

ВОЙНА И ЕВРЕИ

Эта тема занимает немалое место в литературе о войне, а подчас даже оказывается в центре внимания, и потому неправильно было бы ее здесь обойти.

Очень широко распространено, почти общепринято представление об исключительности, беспрецедентности потерь, понесенных в годы войны еврейским населением, хотя на деле другим «неприемлемым» для Третьего рейха народам — восточным славянам, полякам, сербам, цыганам — был нанесен в те годы едва ли менее значительный урон.

Конечно, если считать, что погибли 6 миллионов евреев — то есть 58% предвоенного еврейского населения Европы и СССР (10,3 млн.) и 36% тогдашнего еврейства в целом (16,7 млн.), — доля потерь действительно оказывается ни с чем не сравнимой. Однако цифра 6 миллионов имеет, по существу, «символическое» значение, наглядно запечатленное, например, в созданном в Париже Мемориале, где «возложен камень на символической могиле шести миллионов мучеников. Шесть прожекторов рассекают тьму над шестью углами шестиугольного камня», то есть звезды Давида.

Одна из попыток конкретного обоснования цифры 6 миллионов сделана в вызвавшей в свое время большой резонанс книге Леона Полякова и Иосифа Вуля «Евреи и Третий рейх» (1955). По подсчетам, предложенным в этой книге, преобладающее большинство погибших — 5 миллионов из 6 — это евреи четырех восточноевропейских стран — Польши, Румынии, Литвы, Латвии — и СССР. В книге утверждалось, что в четырех названных странах было 4,4 млн. евреев, и 3,5 млн. из них погибли, а на *оккупированной* рейхом территории СССР —

2,1 млн., из которых погибли 1,5 млн. (на остальной территории Европы погиб 1 млн. из имевшихся там 1,5 млн. евреев).

Как ни странно, авторы «не заметили», что, *согласно их подсчетам*, перед войной из 10,3 млн. евреев Европы и СССР 5,9 млн. находились западнее границы СССР, а в его границах, следовательно, 4,4 млн. (10,3—5,9); однако такое количество евреев оказалось в СССР только *после* присоединения к нему в 1939—1940 годах восточных земель Польши (то есть западных территорий Украины и Белоруссии) и Румынии (Молдавия), а также Литвы и Латвии (ранее еврейское население СССР не превышало 3 млн. человек). А это значит, что после указанного присоединения в четырех восточноевропейских странах уже не имелось 4,4 млн. евреев. Так, в изданном в 1992 году в Иерусалиме сборнике документов и материалов «Уничтожение евреев в СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944)» показано, что на присоединенных в 1939 — 1940 годах к СССР землях было 2 150 000 евреев, то есть как раз столько, сколько, согласно книге Л. Полякова и И. Вуля, оказалось на *оккупированной* территории СССР, — а в Польше и Румынии осталось всего 2,3 млн. евреев. И, как утверждается в иерусалимском сборнике, «из-за стремительного захвата этих (ближайших к границе СССР. — В. К.) земель немецкой армией лишь немногие евреи сумели бежать, эвакуироваться», и *именно они* составили преобладающее большинство погибших на территории СССР евреев.

Между тем Л. Поляков и И. Вуль утверждали, что в четырех восточноевропейских странах будто бы имелось к 1941 году 4,4 млн. евреев, а на *оккупированной* территории СССР — 2,1 млн. и из этих (в сумме) 6,5 млн. погибли 5 млн. Но вполне ясно, что 2 млн. из этих 5 млн. засчитаны *дважды* — и в качестве граждан четырех восточноевропейских стран, и в качестве «новых» граждан СССР... Это, надо думать, «заметил» Г. Рейтлингер, автор книги на ту же тему под названием «Окончательное решение» (1961), и счел возможным предположить, что всего погибли не 6 млн., а 4,1 млн. евреев.

Правда, такому заключению решительно противоречит израильская статистика, утверждавшая, что к 1946 году уцелели только 11 из 16,7 млн. евреев мира; их количество сократилось, следовательно, на 5,7 млн. человек и медленно восстанавлива-

лось, достигнув к 1967 году, то есть через 20 с лишним лет, 13,3 млн. Однако затем евреи вроде бы пережили настоящий «демографический взрыв», и еще через 20 лет, к 1987 году, их количество, согласно статистике, достигло 17,9 млн., то есть выросло на 34,5%. Почти такой же прирост имел место тогда, скажем, в Азербайджане, чье население с 1969 по 1989 год увеличилось на 37,5%. Но этот прирост смог осуществиться только в силу *многодетности*: в 1989 году около 40% азербайджанских семей имели четырех и более детей!

Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что подобная многодетность присуща еврейскому населению, — исключая разве только сравнительно небольшую его часть — азиатских и африканских евреев. В основном же воспроизводство еврейского населения в послевоенный период близко к *европейскому* стандарту, а население Европы (включая европейскую часть СССР) за эти 20 лет — с 1967 по 1987-й — выросло менее чем на 9%, к тому же частично этот прирост шел за счет иммигрантов с других континентов.

Итак, прирост евреев за 1967—1986 годы почти на 35% — совершенно неправдоподобное явление, и остается прийти к выводу, что количество евреев и в 1945-м (11 млн.), и в 1967 году (13,3 млн.) было очень значительно *занижено* статистиками, дабы не колебать версию о 6 миллионах погибших. А в 1987 году еврейские статистики сочли уместным (ведь дело уже давнее), да и важным (надо же соплеменникам знать реальное положение!) опубликовать подлинную цифру. Но она ясно показывает, что потери составляли не 6 и даже не 4 миллиона.

Не исключено следующее возражение: по сведениям именно *1987 года*, в Европе (включая СССР) было 4,7 млн. евреев, между тем как перед войной — 10,3 млн., и разве не свидетельствует сокращение еврейского населения Европы на 5,6 млн. о гибели 6 млн.? Однако перед войной *за пределами Европы* имелось всего лишь 6,4 млн., а в 1987-м — 13,2 млн. евреев, то есть почти на 7 млн. больше, чем до войны! И нет сомнения, что преобладающее большинство из этих 7 млн. — переселенцы; так, даже в Израиле (где рождаемость значительно выше, чем в «диаспоре», уже хотя бы потому, что здесь немало недавних переселенцев из Африки и Азии) в 1983 году иммигранты

составляли все же намного более половины еврейского населения (примерно 2 млн. из 3,3 млн.).

Так что резкое сокращение количества евреев в Европе обусловлено в основном не потерями, а очень значительным *перемещением* еврейского населения (в абсолютном большинстве — в страны Америки и в Израиль).

* * *

Нет, разумеется, никакого сомнения в том, что потери евреев в годы войны были громадными. Но постоянно пропагандируемые цифры все же очень резко завышены ради того, чтобы превратить еврейскую трагедию в своего рода центр, главный узел мировой трагедии; подчас трагедию великой войны вообще пытаются свести к трагедии евреев...

Возможно, точные подсчеты еще будут произведены, но, исходя из вышеизложенного, уместно сделать вывод, что потери евреев едва ли столь уж значительно отличались от потерь других «неприемлемых» для Третьего рейха народов.

Так, население РСФСР, которое на 83% состояло из русских, сократилось за годы войны более чем на 15 млн. (!) человек, то есть на 14%, и поскольку оккупации подверглись, главным образом, *русские* области РСФСР, это было в основном сокращение русского народа, которое вряд ли представляло собой намного меньшую долю, чем доля погибших евреев (в целом) *.

Вполне вероятно возражение, что «расовая неприемлемость» евреев для Третьего рейха была более категорической, чем какого-либо из славянских народов. Но ведь таковым же было отношение к *цыганскому* народу, таборы которого нередко без всяких околичностей сжигались (включая детей), — однако о трагедии цыган говорится прямо-таки несопоставимо меньше, чем о еврейской трагедии, хотя, казалось бы, этот яркий народ хорошо известен во всем мире.

*Как уже сказано, воспроизводство еврейского населения близко к европейскому стандарту, а с 1946 по 1987 год население Европы выросло на 28%. Если исходить из этого, евреев к 1946 году было не 11, а 14 млн. (28% от 14 млн. — это 3,9 млн., а $14 + 3,9 = 17,9$ млн.). В таком случае в 1941—1945 годах количество евреев сократилось не на 5,7, а на 2,7 млн., то есть на 16% (русских — на 14%).

Могут напомнить, что евреи, в отличие от цыган, дали миру множество всем известных людей самых разных профессий и занятий, и поэтому еврейская трагедия находится в центре внимания. Но уместно напомнить и другое: кроме педагога и писателя Януша Корчака (Генрика Гольдшмидта), затруднительно назвать каких-либо *широко известных* до войны евреев, погибших в Третьем рейхе, что также противоречит представлению о тотальной гибели...

Словом, очень многое из того, что написано на тему «война и евреи», преследует определенные *идеологические* цели и не может восприниматься в качестве объективных исследований совершившегося, начиная со статистики погибших.

В заключение стоит затронуть еще один острый вопрос. В последнее десятилетие на Западе подвергаются резкой критике и даже судебным преследованиям так называемые ревизионисты — авторы, пытающиеся доказывать, что массовое уничтожение евреев в 1941—1945 годах *вообще не имело места*. При этом один из главных аргументов «ревизионистской» литературы — отсутствие в Третьем рейхе, как они утверждают, главного «орудия» массового уничтожения людей — *газовых камер* (ГК), в которых, согласно выводам предшествующих авторов, и погибли миллионы евреев.

Однако спор о том, реальны или легендарны ГК, как представляется, только уводит в сторону от сути дела и затемняет ее. Например, было расстреляно или сожжено в запертых амбарах все (включая детей) население почти 700 белорусских деревень, место одной из которых — Хатыни — стало общим для них и всем известным Мемориалом. И, значит, массовое уничтожение людей могло обойтись — вопреки мнению «ревизионистов» — без ГК...

Что же касается тех авторов, которые отстаивают реальность ГК, они едва ли отыщут какие-либо доказательства того, что это орудие уничтожения было направлено именно и только против евреев. Хорошо известно, что в тех концлагерях Третьего рейха, где, как утверждают оппоненты «ревизионистов», имелись ГК, содержались люди различных национальностей, а вовсе не только евреи. Словом, дискуссия вокруг ГК, развернутая «ревизионистами», только запутывает проблему.

ПОЭЗИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

(вместо заключения)

«Когда гремит оружие, музы молчат» — это восходящее к Древнему Риму изречение ни в коей мере не относится к нашей Отечественной войне. Даже самый скептический исследователь бытия страны в 1941—1945 годах неизбежно придет к выводу, что его насквозь пронизывала поэзия, — правда, в наибольшей степени в ее музыкальном, песенном воплощении, которое и очень значительно усиливает воздействие стихотворной речи на уши людей, и словно придает ей крылья, несущие ее по всей стране.

Но следует заметить, что грань между поэтом и создателем слов песни была тогда несущественной и зыбкой. Так, не связанная с песней, — скорее уж «разговорная» — поэзия Александра Твардовского воспринималась в качестве глубоко родственной творчеству Михаила Исаковского, которое пребывало как бы на рубеже стиха и песни, а профессиональный «песенник» Алексей Фатьянов был столь близок Исаковскому, что ему могли приписывать произведения последнего (скажем, всем известное «Где ж вы, где ж вы, очи карие...») и наоборот (фатьяновские «Соловьи» звучали в унисон с «В лесу прифронтовом» Исаковского) *.

Впрочем, не только песни, но и сами по себе стихи подчас

* В модернистской эстетике утвердилось представление, согласно которому стиль поэта должен быть сугубо «индивидуальным», но это именно модернистский принцип; для классики (каноны которой воскрешались в поэзии 1930—1940-х годов, что очевидно, скажем, в творческом развитии Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого) характерен стиль *эпохи*, стиль *времени*, а не заостренная индивидуализация. Так, например, ранний Тютчев весьма близок позднему Баратынскому, а поздний — раннему Фету, и нередко даже ценители их поэзии ошибаются, определяя автора...

обретали тогда широчайшую, поистине всенародную известность, как, например, главы «Василия Теркина» или симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; все это безусловно подтвердит самое придирчивое исследование бытия людей в те годы, и все это несомненно для каждого, кто жил в то время. Автору этого сочинения ко дню Победы было около пятнадцати лет, и в памяти с полной ясностью хранится впечатление о повседневной, всепроникающей и поистине могучей роли, которую играло в военные годы поэтическое слово как таковое — и тем более в его песенном воплощении; едва ли будет гиперболой утверждение, что это слово явилось очень весомым и, более того, *необходимым* «фактором» Победы...

Позволительно высказать предположение, что поэтическое слово имело в то время значение, сопоставимое, допустим, со значением всей совокупности боевых приказов и тыловых распоряжений (хотя воздействие поэзии на людей фронта и тыла было, разумеется, совершенно иным). И без конкретной характеристики участия этого слова в повседневной деятельности людей, в сущности, нельзя воссоздать реальную *историю* военных лет во всей ее полноте.

Но, отмечая этот изъян в историографии войны, следует сказать и о более, пожалуй, серьезном недостатке сочинений о поэзии той эпохи. Дело в том, что такие сочинения обычно опираются на самые общие и, по существу, чисто «информационные», «описательные» представления о войне, вместо того чтобы основываться на уяснении того основополагающего «содержания» войны 1941—1945 годов, которое *породило* именно такую поэзию (включая ее богатейшее песенное «ответвление»). Слово «породило» здесь важно, ибо употребляемые чаще всего термины «отражение», «воспроизведение» и т. п. упрощают, примитивизируют соотношение поэзии и действительности. Да, в конечном счете поэтическое слово «отражает» действительность — в данном случае действительность великой войны, — но, во-первых, «отражение» в поэзии вовсе не обязательно должно быть «прямым», воссоздающим события и явления войны как таковые, а во-вторых, достоинства, ценность этого отражения ни в коей мере не зависят от «изобразительной» конкретности поэтического слова.

Поэтому точнее — и перспективнее — понимание поэти-

ческого слова как *порождения* великой войны, ее *плода*, а не ее, выражаясь попросту, «картины». Именно потому поэтическое слово оказывается способным воплотить в себе глубокий, не явленный с очевидностью *смысл* войны.

Если составить достаточно представительную и вместе с тем учитывающую критерий ценности антологию поэзии 1941—1945 и нескольких последующих лет (когда «военные» стихи еще «дописывались»), — антологию, в которую войдет то, что так или иначе выдержало испытание временем*, станет очевидно: преобладающая часть этих стихотворений написана не столько *о войне*, сколько *войною* (используя меткое высказывание Маяковского). С «тематической» точки зрения — это стихотворения о родном доме, о братстве людей, о любви, о родной природе во всем ее многообразии и т. п. Даже в пространной поэме «Василий Теркин», имеющей к тому же подзаголовков «Книга про бойца», собственно «боевые» сцены занимают не столь уж много места.

Преобладающее большинство обретающих широкое и прочное признание стихотворений (включая «песенные») тех лет никак нельзя отнести к «батальной» поэзии; нередко в них даже вообще нет образных деталей, непосредственно связанных с боевыми действиями, — хотя в то же время ясно, что они всецело порождены войной.

Это, конечно, не значит, что вообще не сочинялись стихотворения и целые поэмы, отображающие сражения, гибель людей, разрушения и т. п., однако *не они* были в центре внимания в годы войны и не они сохранили свое значение до наших дней — спустя полстолетия с лишним после Победы.

Особенно очевидно, что в 1940-х годах «потребители» поэзии ценили стихотворения (и песни), написанные, как сказано, не о войне, а только «войною» — без стремления «живописать» ее. И это, как я буду стремиться показать, имело глубочайший смысл.

Уже отмечено, что литературоведение в принципе не должно заниматься изучением *роли* поэзии в бытии людей военного времени, — это скорее задача историка: воссоздавая бытие 1941—1945 годов в его цельности, он, строго говоря, не вправе

*Подчас это обусловлено, правда, не только «достоинствами» стихотворений (и песен), но и как бы вжившейся в них любовью к ним нескольких поколений...

упустить из своего внимания и ту его грань, ту сторону, которая воплощалась в широчайшем «потреблении» поэзии. Автор этого сочинения ясно помнит, как в 1942 году молодая школьная учительница, жених которой находился на фронте, созывает всех обитателей своего двора — несколько десятков самых разных людей — и, задыхаясь от волнения, смахивая с ресниц слезы, читает только что дошедшее до нее переписанное от руки симоновское «Жди меня», и не исключено, что в то же время где-нибудь во фронтовом блиндаже читал то же стихотворение и ее жених... Об этой пронизанности бытия своего рода поэтическим стержнем верно сказал впоследствии участник войны Александр Межиров (он, правда, имел в виду прежде всего *музыку*, но поэзия была в годы войны нераздельна с ней):

И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала...

И подобные сообщенному — бесчисленные! — факты соприкосновения людей с поэзией сыграли, несомненно, самую весомую роль в том, что страна выстояла и победила, — о чем и следовало бы аргументированно рассказать историкам великой войны.

А перед литературоведами стоит другая и, между прочим, более сложная задача: показать, *почему* поэзия тех лет смогла обрести столь существенное значение для самого бытия страны? Естественно предположить, что она так или иначе выражала в себе глубокий и истинный *смысл* великой войны — смысл, который не раскрывался во всей его глубине в газетах, листовках и радиопублицистике (доходившей тогда до большинства людей) и, более того, не раскрыт по-настоящему в позднейшей историографии войны, а во многих сочинениях историков и публицистов 1990-х годов либо игнорируется, либо объявляется пустой иллюзией старших поколений.

* * *

В «основном фонде» поэзии 1941—1945 годов война предстает как очередное проявление *многовекового* натиска иного и извечно враждебного мира, стремящегося уничтожить наш

мир: битва с врагом, как утверждает поэзия, призвана спасти не только (и даже не столько) политическую независимость и непосредственно связанные с ней стороны нашего бытия, но это бытие во всех его проявлениях — наши города и деревни с их обликом и бытом, любовь и дружбу, леса и степи, зверей и птиц, — все это так или иначе присутствует в поэзии того времени. Михаил Исаковский, не опасаясь впасть в наивность, писал в 1942 году:

Мы шли молчаливой толпою,
Прощайте, родные места!
И беженской нашей слезою
Дорога была залита.

Вздыхалось над селами пламя,
Вдали грохотали бои,
И птицы летели за нами,
Покинув гнездовья свои...

Через проникновенную поэму Твардовского «Дом у дороги» проходит заветный лейтмотив:

Коси коса,
Пока роса.
Роса долой —
И мы домой, —

и ясно, что враг вторгся к нам, дабы уничтожить и косу, и росу, и, конечно, дом...

Поэзия в сущности сознавала этот смысл войны с самого начала, и, между прочим, те авторы, которые сегодня пытаются толковать одно из проявлений извечного противостояния двух континентов как бессмысленную схватку двух тоталитарных режимов, должны, если они последовательны, отвергнуть и поэзию тех лет, — в том числе стихотворения Анны Ахматовой, написанные в 1941—1945 годах и объединенные ею впоследствии в цикл под заглавием «Ветер войны». Напомню вошедшие тогда в души людей строки, написанные 23 февраля 1942 года и опубликованные вскоре, 8 марта, в «главной» газете «Правда»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет...

На весах лежит даже *слово*:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Или перекликающиеся своим творческим простодушием с поэзией Михаила Исаковского написанные уже в победную пору, 29 апреля 1944-го, и опубликованные 17 мая в «Правде» стихи Бориса Пастернака, в которых близящаяся Победа предстает и как спасение самой нашей природы — вплоть до воробьев...

Все нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо...

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства...

* * *

Как уже сказано, *песни* во время войны были всеобщим достоянием; не менее важно, что народное самосознание выражалось в них наиболее концентрированно и заостренно. И, наконец, нельзя не отметить, что целый ряд этих песен сохраняет свое значение и сегодня: их поют теперь уже и *внуки* тех, кто застал войну, — поют, собравшись где-либо и даже перед телекамерами (имеются в виду совсем молодые певцы и певицы). Правда, последнее бывает не столь часто, но надо скорее удивляться тому, что вообще *бывает*, — если учитывать, какие персоны заправляют сейчас телевидением.

Есть основания полагать, что нынешнее молодое поколение дорожит и теми или иными стихотворениями и поэмами, созданными в годы войны, но полностью убедиться в этом не так легко, а вот тогдашние песни, звучащие сегодня из молодых уст в телестудиях, концертных залах или попросту на улице, — убеждают.

Вспомним хотя бы десяток песен, созданных в 1941—1945 годах, известных во время войны всем и каждому и продолжающих свою жизнь по сей день: «В лесу прифронтовом» («С безрез неслышен, невесом...»), «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца...») и «Враги сожгли родную хату...» Михаила Исаковского, «Соловьи» («Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»), «На солнечной поляночке...» и «Давно мы дома не были» («Горит свечи огарочек...») Алексея Фатьянова, «В землянке» («Бьет в тесной печурке огонь...») Алексея Суркова, «Дороги» («Эх, дороги, пыль да туман...») Льва Ошанина, «Случайный вальс» («Ночь коротка, спят облака...») Евгения Долматовского, «Темная ночь» Владимира Агапова (для которого эта песня, по-видимому, была *единственным* творческим взлетом...). Слова этих песен, конечно же, всецело порождены войной, но на первом плане в них — не война, а тот мир, который она призвана спасти.

Правда, есть еще одна также известная всем и тогда, и теперь песня, которая имеет иной характер, — «Священная война» («Вставай, страна огромная...») Василия Лебедева-Кумача. Но, во-первых, она — одна такая, а во-вторых, это, в сущности, не песня, а военный *гимн*. Написанные в ночь с 22 на 23 июня (24 июня текст был уже опубликован в газетах), слова этого гимна, надо прямо сказать, не очень уж выдерживают художественные критерии; у Лебедева—Кумача есть намного более «удачные» слова песен, — скажем:

Я на подвиг тебя провожала, —
 Над страной гремела гроза.
 Я тебя провожала
 И слезы сдержала,
 И были сухими глаза...

Но в «Священной войне» все же имеются своего рода опорные строки, которые находили и находят мощный отзвук в душах людей:

...Вставай на смертный бой...
 ...Идет война народная,
 Священная война...

И о противнике:

Как два различных полюса
Во всем враждебны мы...

И призыв, близкий по смыслу другим песням:

...Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую...

На эти строки, в свою очередь, оперлась героико-трагическая мелодика композитора А. В. Александрова, и родился покоряющий всех гимн. Надо иметь в виду, что гимн этот люди, в общем, не столько пели, сколько слушали, подпевая ему «в душе», и едва ли помнили его слова в целом, — только «опорные».

Как и многие обладающие высокой значимостью явления, «Священная война» обросла легендами — и позитивными, и негативными. С одной стороны, постоянно повторяли, что прославленный Ансамбль песни и пляски Красной Армии пел ее для отправлявшихся на фронт войск на Белорусском вокзале уже с 27 июня 1941 года. Между тем скрупулезный исследователь знаменитых песен Юрий Бирюков по документам установил*, что вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» была, как говорится, в опале, ибо некие предержавные власти считали, что она чрезмерно трагична, с первых строк обещает «смертный бой», а не близкое торжество победы... И только с 15 октября — после того, как враг захватил (13-го) Калугу и (14-го) Ржев и Тверь — Калинин, — «Священная война» стала ежедневно звучать по Всесоюзному радио. Сцену же, якобы имевшую место в первые дни войны на Белорусском вокзале, создал художественным воображением Константин Федин в своем романе «Костер» (1961—1965), и отсюда сцена эта была перенесена в многие будто бы документальные сочинения.

С другой стороны, с 1990 года начали публиковаться совершенно безосновательные выдумки о том, будто бы «Священная война» была написана еще в 1916 году неким обрусевшим немцем. Но это — один из характерных образчиков той кампании по дискредитации нашей великой Победы, которая столь широ-

*См.: «Родина», 1996, № 6, с. 88—91.

ко развернулась с конца 1980-х годов: вот, мол, «главная» песня сочинена за четверть века до 1941-го, да еще и немцем... Юрий Бирюков, анализируя сохранившуюся в Российском государственном архиве литературы и искусства черновую рукопись Лебедева-Кумача, в которой запечатлелись несколько последовательных вариантов многих строк песни, неоспоримо доказал, что текст принадлежит ее «официальному» автору.

Важно сказать еще, что нынешние попытки дискредитации прославленной песни лишний раз свидетельствуют о той *первостепенной роли*, которую сыграла песня (и поэзия вообще) в деле Победы! Ибо оказывается, что для «очернения» великой войны необходимо «обличить» и ее песню...

Сам Г. К. Жуков на вопрос о наиболее ценных им песнях войны ответил так: «Вставай, страна огромная...», «Дороги», «Соловьи»... Это бессмертные песни... Потому что в них отразилась *большая душа народа*, и высказал уверенность, что его мнение не расходится с мнением «многих людей»*. И в самом деле к маршалу, конечно же, присоединились бы миллионы людей, хотя и добавив, может быть, в его краткий перечень еще и «В лесу прифронтовом», «Темную ночь», «В землянке» и т. п.

Но обратим еще раз внимание на то, что собственно «боевая» песня — «Священная война» — только *одна* из вошедших в «золотой фонд»; остальные, как говорится, «чисто лирические». И вроде бы даже трудно совместить «ярость» этого гимна с просьбой к соловьям «не тревожить солдат», хотя маршал Жуков поставил и то и другое в один ряд.

Здесь представляется уместным отступление в особенную область познания прошлого, получившую в последнее время достаточно высокий статус во всем мире — «устную историю» («oral history»), которая в тех или иных отношениях способна существенно дополнить и даже скорректировать исследования, основывающиеся на письменных источниках.

Близко знакомый мне еще с 1960-х годов видный германский русист Эберхард Дикман в свое время сообщил мне о, признаюсь, весьма и весьма удивившем меня факте: в Германии во время войны не звучало *ни одной* связанной с войной лирической песни; имелись только боевые марши и «бытовые»

*Маршал Жуков. Каким мы его помним. М., 1989, с. 190. (Курсив мой. — В. К.)

песни, никак не соотнесенные с войной. Могут сказать, что устное сообщение одного человека нуждается в тщательной проверке фактами, но мой ровесник Дикман в данном случае не мог ошибиться: он жил тогда одной жизнью со своей страной, даже являлся членом тамошнего «комсомола» — гитлерюгенд, старший брат его воевал на Восточном фронте и т. п.

Эберхард Дикман рассказывал и о том, как в 1945-м кардинально изменилось его отношение к страшному восточному врагу. 7 мая в его родной Мейсен-на-Эльбе ворвались войска 1-го Украинского фронта, чего он ожидал со смертельным страхом — и из-за своего брата, и из-за своего членства в гитлерюгенд. Но его ждало настоящее потрясение: вражеские солдаты, расположившиеся в его доме, вскоре занялись благоустройством комнат и двора, добродушно подчиняясь указаниям его строгой бабушки... И хотя его отец счел за лучшее перебраться в Западную Германию, Эберхард не только остался на оккупированной нами территории страны, но и избрал своей профессией изучение русской литературы (прежде всего творчества Льва Толстого).

Но вернемся к главному: в высшей степени существен тот факт, что наша жизнь во время войны была насквозь пронизана лирическими песнями (это подтвердит, вне всякого сомнения, любой мой ровесник), между тем как в Германии их или не было вообще, или по крайней мере они играли совершенно незначительную роль (иначе мой немецкий ровесник не мог бы их «не заметить»).

И еще об одном. Эберхард Дикман очень полюбил наши военные песни и не раз просил меня напеть какую-либо из них; правда, как-то после пения фатьяновской «Давно мы дома не были», созданной в 1945-м и говорящей о парнях, которые находятя уже

В Германии, в Германии —
В проклятой* стороне... —

притом строки эти, в соответствии с построением песни, дважды повторяются, — Эберхард заметил, что, быть может, не стоило

*В послевоенных публикациях и исполнениях песни некие «блюстители» заменили «проклятой» на «далекой»...

бы повторять слово «проклятой» (мне пришлось напомнить ему известное изречение «из песни слова не выкинешь»).

Приверженность немца к нашим песням, рожденным войной, труднообъяснима; сам он не смог дать ясного ответа на вопрос о том, чем они ему дороги. Но можно, думается, ответить на этот вопрос следующим образом. Как бы ни относился тот или иной немец к Германии 1930—1940-х годов, развязавшей мировую войну, он не может не испытывать тяжелого чувства (пусть даже бессознательного) при мысли о полном *поражении* своей страны в этой войне.

Видный германский историк и публицист Себастиан Хаффнер в 1971 году писал о своих соотечественниках: «Они ничего не имели против создания Великой германской империи... И когда... этот путь, казалось, стал реальным, в Германии не было почти никого, кто не был бы готов идти по нему». Однако, заключал Хаффнер, «с того момента, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход: русские были сильнее... прежде всего потому, что для них решался вопрос *жизни и смерти*».

В конечном счете *именно это* и воплощено в поэзии военных лет и особенно очевидно в песнях, которые посвящены не столько войне, сколько спасаемой ею жизни во всей ее полноте — от родного дома до поющих соловьев, от любви к девушке или жене до желтого березового листа...

И, возможно, эти песни, «объясняя» германской душе *неизбежность* поражения его страны, тем самым «оправдывали» это поражение и, в конечном счете, *примиряли* с ним... Отсюда — выглядящее парадоксальным пристрастие моего германского друга к этим песням.

* * *

Но главное, конечно, в самом этом резком контрасте: нашу жизнь в 1941 — 1945 годах невозможно представить себе без постоянно звучащих из тогдашних радиотарелок и поющихся миллионами людей лирических песен о войне, а в Германии их нет вообще! Перед нами, несомненно, чрезвычайно многозначительное различие, которое, в частности, начисто перечерки-

вает потуги иных нынешних авторов, преследующих цель поставить знак равенства между Третьим рейхом и нашей страной.

Тот факт, что смысл войны воплощался и для маршала Жукова, и для рядового бойца в написанных в 1942 году словах:

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи... —

раскрывает ту историческую истину, о которой не говорится ни во многих несущих на себе печать «казенщины» книгах о войне, изданных в 1940—1980-х годах, ни тем более в очернительских писаниях 1990-х.

Но внуки пережившего войну поколения, поющие подобные песни сегодня, надо думать, как-то чувствуют эту воплотившуюся в них глубокую и всеобъемлющую *истину*.

Часть вторая 1946 – 1953



«НЕИЗВЕСТНОЕ» ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Глава пятая

СССР И МИРОВАЯ СИТУАЦИЯ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

В предыдущих главах этого сочинения не раз заходила речь о *загадочных* страницах истории XX века. Но едва ли будет преувеличением сказать, что один из самых *загадочных* периодов (или, пожалуй, даже самый загадочный) — *послевоенный* (1946—1953). Казалось бы, явления и события этого сравнительно недавнего времени не должны быть столь мало известными и понятными. Ведь согласно переписи населения 1989 года — когда началась «гласность» — в стране имелось около 25 млн. людей, которые к концу войны были уже взрослыми и могли свидетельствовать о том, что происходило в послевоенные годы. Однако сколько-нибудь определенные представления о том, что совершалось тогда в стране, начинают понемногу складываться лишь в самое последнее время — с середины 1990-х, то есть через полвека после Победы...

Такое положение, естественно, не могло быть беспричинным. Во-первых, обнаружившаяся уже к концу 1945 года ситуация «холодной войны» между СССР и Западом, за которой маячила угроза атомной бомбы, привела к тотальной «засекреченности». Конечно же, всякого рода закрытость была присуща и предвоенному периоду, и годам войны, но именно идущая, главным образом, подспудно, «невидимо» конфронтация послевоенных лет довела эту тенденцию до предела...

Самые серьезные тогдашние опасения со стороны СССР были, что стало ясно позднее, вполне обоснованными. Так, в 1970-х годах была рассекречена, например, осуществленная еще 3 ноября 1945 (!) года Объединенным разведывательным управлением при Объединенном комитете начальников штабов США «разработка», согласно которой атомное нападение сразу на 20 городов СССР планировалось «не только в случае предстоящего советского нападения, но и тогда, когда уровень промышленного и научного развития страны противника даст возможность (только *возможность!* — В. К.) напасть на США либо защищаться (!) от нашего нападения...»¹⁾

Я не располагаю сведениями о том, когда эта «постановка вопроса» стала известна нашей разведке, но целый ряд фактов (в частности, получение строго засекреченной информации о самом ядерном оружии США) говорит о ее успешной деятельности в то время, и уместно полагать, что об американской программе превентивной войны вскоре же стало известно в Москве. То, что эта программа ни тогда, ни позднее не была реализована (даже и после авантюристической доставки наших ракет с ядерными боеголовками в 1962 году на Кубу!) — это уже другой вопрос. И нельзя забывать, что до августа 1949 года только США имели ядерное оружие, — притом количество изготовленных бомб непрерывно и скачкообразно росло*.

Размышляя о послевоенном противостоянии Запада и СССР, необходимо учитывать одно чрезвычайно существенное изменение всей мировой ситуации в сравнении с довоенным периодом. Мало кто задумывается сейчас над тем, что в 1920—1930-х годах СССР не воспринимался как страна, представляющая *реальную угрозу* существованию Запада, — несмотря на несущиеся из Москвы проклятия капитализму и призывы к его свержению. Британский историк Алан Тейлор вполне обоснованно писал позднее:

«Советская Россия... устремленная к мировой революции, казалось, так или иначе угрожала миру капитализма... В 20-е годы многие, особенно сами коммунисты, ожидали, что... капиталистические государства набросятся на «государство рабочих»... Но эти ожидания не сбылись. Россия, в прошлом вели-

* Вот точные цифры: 1946-й — 9 бомб, 1948-й — 56, 1950-й — 298, 1952-й — 832... (Холловэй Дэвид. Сталин и бомба. Новосибирск, 1997, с. 302, 304).

кая держава, европейская и азиатская одновременно, перестала теперь ею быть и в дипломатических расчетах всерьез не принималась!»²⁾

В связи с этим вспомним еще раз о заведомо несостоятельной «концепции» (ее преподносили в последнее время многие авторы), согласно которой Гитлер-де опасался нападения СССР на Третий рейх (то есть, в сущности, почти на всю Европу!) и поэтому напал сам... На деле и Гитлер, и все правители Запада, в общем, считали СССР «колоссом на глиняных ногах» и в 1941 году были убеждены в неизбежном и быстром его поражении. Так, 22 июня военный министр США Стимсон «после совещания с командованием вооруженных сил докладывал президенту: «Для нанесения поражения Советскому Союзу немцы будут основательно заняты минимум один, а максимум, возможно, более месяца»... Большая часть правительства и высшего командования полагала, что СССР потерпит поражение через месяц... Рузвельт... продлил этот срок до 1 октября 1941 г.»³⁾

К концу войны всеобщее представление об СССР было уже совершенно иным, и Черчилль 5 марта 1946 года в своей ставшей знаменитой речи, произнесенной в присутствии президента США Трумэна в американском городе Фултон, недвусмысленно сказал о нашей стране как о реальной и роковой угрозе самому существованию Запада, для спасения от которой необходима всемерная мобилизация его сил. Утверждая, что Россия «хочет... безграничного распространения своей мощи и доктрин», Черчилль заявил: «По этой причине старая доктрина равновесия сил теперь непригодна. Мы не можем позволить себе... действовать с позиций малого перевеса» и т. д.⁴⁾

В дальнейшем изложении это глобальное противостояние Запада и СССР будет рассматриваться конкретно; сейчас необходимо установить только, что имевшая место с 1945 года ситуация как бы на грани новой мировой войны обусловила ту исключительную закрытость, которая крайне затруднила (и продолжает затруднять) понимание происходившего в стране. Вполне уместно утверждать, что *реальная* война не могла бы довести до такой степени засекреченности.

Н. С. Хрущев в своих воспоминаниях описал характерную сцену — Сталин созвал членов Политбюро и «утверждал, что через наши секретариаты идет утечка секретных материалов... Вдруг Сталин обращается ко мне: «Это у вас, через ваш секре-

тариат идет утечка». Я: «Товарищ Сталин, уверен, что такого не может быть»...» и т. д.⁵⁾

Г. М. Маленков на Пленуме ЦК КПСС 7 июля 1953 года констатировал: «Политбюро уже длительное время нормально не функционировало. Члены Политбюро... работали *по отдельным заданиям*. В отношении некоторых членов Политбюро... было посеяно политическое недоверие»⁶⁾. В этом, в частности, проявлялось стремление как можно более сузить круг людей, осведомленных о том или ином «деле», что подтвердил и Хрущев, говоря о послевоенных годах: «Никаких заседаний не созывалось. Собирались у Сталина... а он на ходу давал директивы»⁷⁾. Понятно, что при таком образе правления страной документация или вообще не велась, или была очень скудной.

Другой причиной затемненного и искаженного представления о послевоенном времени явилась мощная идеологическая кампания, предпринятая после смерти Сталина, — так называемое разоблачение культа личности. В первом томе моего сочинения* было показано, что сведение всех бед к личным качествам Сталина строилось, в сущности, по модели детской сказки об ужасном злодее, а кроме того, было по сути дела тем же культом личности, хоть и «наизнанку»... Да и вообще есть все основания заключить, что «разоблачение культа» *ни в коей мере* не ставило задачей *понимание* предшествующей истории. Оно имело сугубо «практическую» цель — утверждение и укрепление новой власти. Любой правитель, оказавшись у власти после смерти *обожествленного* вождя, в сущности, *вынужден* был в той или иной мере «принизить» его (иначе в сравнении с ним, «богом», новый правитель представал бы в качестве недееспособного)**, отмежеваться от прискорбнейших явлений предыдущего периода и, в конце концов, явить собой «спасителя» страны от вероятных злодеяний своего предшественника (если бы он продолжал править), а также и от своих соперников по борьбе за верховную власть.

Для этого новому вождю нужно было, в частности, уничтожить те или иные следы своей собственной предшествующей

*Кожин Вадим. Россия. Век XX. 1901—1939. М., 1999.

**В год смерти Сталина мне исполнилось 23 года, то есть я принадлежал уже к «взрослому» населению, и ясно помню, что большинство людей серьезно опасались краха всего и вся из-за кончины великого вождя...

деятельности. Известный историк КПСС В. П. Наумов сетовал в 1994 году, имея в виду послевоенный период: «Сейчас стало особенно ясно, что... мы не можем получить очень важные документы и свидетельства... Может быть, отсутствуют самые важные документы...»⁸⁾ В. Е. Семичастный, назначенный в 1961 году председателем КГБ, впоследствии, в 1992 году, сообщил, что, когда он занял свой пост, «многие документы уже были уничтожены или подчищены, вытравлен текст. Это мне сказали и показали архивисты»⁹⁾. Относительно «неугодных» документов есть свидетельства архивистов о том, что по воле Хрущева в 1957 году «был сформирован специальный состав (! — В. К.) с такими документами, которые затем сжигали под тщательным наблюдением»¹⁰⁾.

Впрочем, как уже отмечено выше, крайняя засекреченность, присущая послевоенному времени, привела к тому, что в верхах власти старались вообще обойтись без документов: и Маленков, и Хрущев (см. выше) вспоминали о «директивах», которые Сталин давал *устно* членам Политбюро (с 1952-го — Президиума) ЦК.

Дефицит документов, запечатлевших послевоенную историю, настолько значителен, что многие нынешние авторы, как бы заранее убежденные в отсутствии достоверных сведений, не вдумываются с должной тщательностью даже и в имеющиеся документы, а исходят из каких-либо «мнений» и «слухов».

Так, например, уже в 1990-х годах были изданы «Очерки истории Советского государства», в предисловии к которым утверждалось, что наконец-то у историков СССР есть возможность «заглянуть под покровы идеологического тумана»¹¹⁾. И вот одно из таких заглядываний «под покровы» в этих «Очерках»...

«В последний год жизни Сталин готовил новую крупную перестановку кадров в верхнем эшелоне руководства. Сначала октябрьский (1952 г.) пленум ЦК, а затем XIX съезд партии (5—14 октября 1952 года. — В. К.) приняли решение о существенном расширении состава Политбюро ЦК, которое преобразовывалось в Президиум и увеличивалось до 25 членов и 11 кандидатов (вместо 11 членов и 1 кандидата прежнего Политбюро). По предложению Сталина из вновь избранного Президиума ЦК выделилось более узкого состава Бюро Президиума, в которое вошли И. В. Сталин, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, М. Г. Первухин, М. З. Сабуров, Н. С. Хру-

щев, Н. А. Булганин. Из бывших членов Политбюро ни в Бюро, ни в Президиум ЦК не вошли А. А. Андреев, А. Н. Косыгин, В. М. Молотов, А. И. Микоян» (с. 295. Выделено мною. — В. К.).

А ведь ко времени издания цитируемого сочинения были вполне доступны документы, согласно которым почти все процитированные суждения являют собой произвольные домыслы. Начнем с того, что Молотов, Микоян и Косыгин на XIX съезде вошли в Президиум ЦК (Косыгин — в качестве кандидата в члены), хотя в самом деле не вошли в его Бюро; Андреев же выбыл из «верхнего эшелона» по нездоровью. Далее, если вдуматься, на XIX съезде произошло не столько «расширение» состава «верхнего эшелона», сколько, выражаясь модным ныне словечком, его реструктуризация.

Дело в том, что до XIX съезда «верхний эшелон» слагался из трех различных по своему персональному составу «органов» — Политбюро, Оргбюро и Секретариата, в которые с 1946 года входили (в целом) 23—24 человека (а не 12). Правда, двое из них — Сталин и Маленков — состояли во всех трех «органах», а еще три человека — в двух из них, но остальные 18—19 лиц «верхнего эшелона» числились только в одном из трех «органов»¹²).

Между тем на XIX съезде все избранные секретари ЦК вошли одновременно и в Президиум, а Оргбюро было вообще упразднено, и часть его членов вошла в Президиум вместе с 11-ю членами прежнего Политбюро, — В. М. Андрианов, В. В. Кузнецов, Н. А. Михайлов, Н. С. Патоличев (вошли в Президиум и не состоявшие ранее в Политбюро члены предшествующего Секретариата — П. К. Пономаренко и М. А. Сулов). Правда, Президиум (вместе с кандидатами в члены) включал на 12 человек больше, чем прежние Политбюро, Оргбюро и Секретариат, вместе взятые, но это все же едва ли можно определить как существенное «расширение». Ибо в связи с настоятельной потребностью радикальной модернизации экономики страны* в Президиум ЦК (то есть в «верхний эшелон») был впервые вве-

*Уже в 1947 году в одной из бесед Сталина зашла речь о том, что необходима «механизация и электрификация... использование атомной энергии в мирных целях», которое «вызовет большой переворот в производительных процессах» (Сталин И. В. Сочинения, т. 16. М., 1997, с. 62).

ден целый ряд руководителей промышленности и экономики страны в целом.

Накануне XIX съезда в «верхнем эшелоне» состоял, в сущности, только один не собственно *политический* деятель — А. Н. Косыгин; теперь же в него вошли, кроме самого Косыгина, 6 членов правительства (Совета Министров СССР), ведавших важнейшими промышленно-экономическими сферами, — А. Г. Зверев, И. Г. Кабанов, В. А. Малышев, М. Г. Первухин, М. З. Сабуров, И. Т. Тевосян. Это действительно было «расширением», но оно являлось, в сущности, «качественным», а не количественным, ибо смысл его состоял не в самом по себе увеличении численности «верхнего эшелона», а, так сказать, во всемерном повышении статуса руководителей промышленности и экономики в целом.

Далее, Президиум как бы «вынужден» был увеличиться еще и потому, что в 1948—1949 годах Хрущев и Пономаренко, руководившие ранее крупнейшими республиками — Украиной и Белоруссией, — были перемещены в Москву в качестве секретарей всесоюзного ЦК, и в Президиум следовало «добавить» *новых* руководителей этих республик — Л. Г. Мельникова, Д. С. Коротченко (предсовмина Украины)* и Н. С. Патоличева. Наконец, в Президиум был введен сменивший в 1949 году Молотова на посту министра иностранных дел А. Я. Вышинский.

Как уже сказано, верхний эшелон власти вырос в 1952 году с 24 до 36, то есть на 12 персон, но перечисленные 10 новых его членов вошли в него, так сказать, в силу необходимости, и, следовательно, «расширение», о котором столь многозначительно говорится в цитированных «Очерках истории Советского государства», — это, по сути дела, произвольный домысел. Он имеет в виду, что Сталин намеревался в ближайшее время осуществить «перестановку» — и, более того, уже начал ее, ибо якобы не включил в Президиум ЦК Молотова, Микояна и Косыгина (это уже не домысел, а вымысел). В действительности же «перестановка», вернее, «чистка» верхнего эшелона имела место *три годами ранее*, в 1949 году, когда по обвинению в

*Хрущев в 1944—1947 годах совмещал посты 1-го секретаря ЦК и предсовмина Украины.

«русском национализме» были арестованы (и в 1950 году расстреляны) член Политбюро Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК и член Оргбюро А. А. Кузнецов и член Оргбюро М. И. Родионов, а секретарь ЦК Г. М. Попов был по аналогичному обвинению «освобожден» от своего поста.

В том же году были «освобождены» — уже по иным причинам (о чем ниже) — от своих высших *правительственных* постов министр обороны Булганин, министр иностранных дел Молотов, министр внешней торговли Микоян и министр финансов Косыгин. Но они все же были введены в 1952 году в Президиум ЦК, хотя только Булганин «удостоился» введения в Бюро Президиума (обо всем этом еще будет речь в своем месте).

Итак, период с 1946 по 1953 год настолько «туманен», что даже при наличии вполне достоверных документов, зафиксировавших те или иные факты, в историографии (и тем более в публицистике) постоянно появляются разного рода домыслы и вымыслы. Не приходится уже говорить об «освещении» таких фактов и ситуаций, которые не отражены (или почти не отражены) в документах.

Такова, например, ситуация (именно *политическая ситуация*, а не сам по себе «биологический» факт) смерти Сталина, имевшая, безусловно, существеннейшее значение. Вокруг нее нагроможден ныне целый ряд «версий» — разноречивых и даже противоположных (эта противоположность сама по себе говорит об их несостоятельности).

Одни утверждают, что вождь умер нежданно-негаданно (как бы благодаря вмешательству «высшей справедливости») в ситуации, когда его деспотизм, агрессивность и жестокость дошли до немыслимых пределов, и, если бы он прожил еще хотя бы краткое время, он уничтожил бы большинство своих ближайших «соратников», депортировал всех (два с лишним миллиона!) советских евреев в Сибирь или даже перебил бы их, развязал третью мировую войну и т. д. и т. п.¹³⁾

Другие же, напротив, пытаются доказывать, что еще *за два года* до своей смерти, или даже раньше, ослабевший вождь был фактически *отстранен* от власти своим окружением и его роль являлась в последнее время чисто номинальной¹⁴⁾.

Широко распространена и версия, в которой отчасти объ-

единены две только что изложенные: Иосиф Виссарионович в последнее время стал совсем уж невыносимым, и «соратники» — или же «лично» тов. Берия — попросту прикончили его. Очередной детектив — вернее, пародию на детектив — об этом убийстве преподнес в своем изданном в 1997 году объемистом сочинении «Сталин» Э. Радзинский. И поскольку сие сочинение издано в виде солидной книги, даже фоллианта, многие его читатели, вполне возможно, принимают на веру имеющие, по существу, чисто *развлекательное* значение выдумки.

Вообще, в иных нынешних сочинениях события столь недавнего, отстоящего от сего дня всего на четыре с половиной десятилетия времени предстают в глазах читателей (в том числе и тех *миллионов* из них, которые в 1953 году уже были взрослыми!) не более ясно, чем события самых далеких эпох; так, например, в историографии предлагаются совершенно разные версии имевшей место более четырех столетий назад, в 1591 году, смерти сына Ивана Грозного, царевича Димитрия, или гибели почти тысячелетие назад, в 1015 году, сыновей Владимира Святославича — князей Бориса и Глеба. Да, многие нынешние толкования смерти Сталина и другие «сталинские сюжеты» выглядят так, как будто дело идет о событиях тысячелетней давности...

Обратимся в связи с этим к упомянутому сочинению Радзинского. Коснуться его целесообразно потому, что оно издано редкостным для наших дней массовым тиражом и могло дойти до множества читателей. К сочинению приложена обширная библиография, долженствующая показать, что автор проделал огромную работу, в том числе изучил немало документов, находящихся в самых труднодоступных архивах. Между тем на большинстве из 600 с лишним страниц этой солидной по внешнему виду книги сталкиваешься с элементарным незнанием общеизвестных фактов и, естественно, с ложным, а подчас прямотаки нелепым толкованием и хода истории, и деятельности самого Сталина. Это типично даже для раздела книги, в котором речь идет о более или менее изученном к настоящему времени периоде Отечественной войны. Приведу пару «примеров».

В популярных воспоминаниях дочери Сталина, С. И. Аллилуевой «Двадцать писем к другу» (М., 1990) сообщено, что

28 октября 1941 года она, находившаяся в эвакуации в Куйбышеве — Самаре, приехала в Москву, и в связи с этим Радзинский «размышляет» о Сталине: «Он решил отстоять город. И разрешил дочери прилететь на два дня. Было 28 октября 1941 года. Немцы уже разглядывали столицу в бинокли»¹⁵). (Курсив мой. — В. К.)

Чтобы показать невежество автора, не нужны разыскания в архивах — достаточно заглянуть в лаконичную и общедоступную энциклопедическую статью «Московская битва»: «...бои в конце октября (1941 года. — В. К.) шли в 80—100 км от Москвы... наступление врага в начале ноября было *остановлено на всех участках** западного направления» (БСЭ, т. 17, с. 24. — Выделено мною. — В. К.). И даже в самый совершенный бинокль «разглядывать» Москву с такого расстояния было немислимо; это стало возможным только *месяц* спустя, в конце ноября, когда фронт проходил на некоторых участках менее чем в 20 км от столицы.

Не исключено, что кто-нибудь усмотрит в этом несущественную ошибку: ну, перепутал Радзинский октябрь и ноябрь, описался. Однако при элементарном знании хода войны подобную ошибку допустить было невозможно, ибо *непосредственную* атаку на Москву враг начал — после двухнедельного перерыва — 15—16 ноября. И уж в совсем странном виде предстает при этом сам герой сочинения — не то как абсолютный идиот, не то как всезнающий гений: враги разглядывают Москву в бинокли, а он совершенно спокоен и даже пятнадцатилетнюю девочку-дочь приглашает погостить в столице... Между тем в общеизвестных «Воспоминаниях и размышлениях» Г. К. Жукова сообщено, что в то время, когда немцы в самом деле уже разглядывали Москву в бинокли, Сталин с отнюдь не характерной для него надрывностью спросил: «Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас это с болью в душе...»¹⁶)

Перевернув одну страницу сочинения Радзинского, мы снова обнаруживаем подобный же «перл»: оказывается, в ноябре 1941-го «Сталин делает наркомом Жукова — смелого и беспощадного, чем-то похожего на него самого» (с. 520). Автор, вероятно, слышал краем уха, что Георгий Константинович по-

*Остановлено, в сущности, по воле самого врага.

бывал наркомом — точнее, министром — обороны, но ведь это имело место почти полтора десятилетия спустя, в 1955 — 1957 годах, при Хрущеве! Но более удивительно другое: Радзинский ухитрился изложить ситуацию буквально, как говорится, с точностью до наоборот: ибо именно *по настоянию Жукова* Сталин 10 июля 1941 года стал Председателем Ставки Верховного Главнокомандования и 19 июля — наркомом обороны!¹⁷⁾ То есть более верным было бы противоположное утверждение — «Жуков делает наркомом Сталина» (правда, не в ноябре, а еще в июле)...

Словом, людям, берущим в руки сочинение Радзинского, следует отдавать себе ясный отчет в том, что читать его уместно только в развлекательных, но отнюдь не в познавательных целях. При этом еще раз отмечу, что я обратился к той части сего сочинения, в которой речь идет о более или менее *изученном* времени, — об Отечественной войне; написанное Радзинским о *послевоенном* периоде тем более нелепо; здесь, впрочем, он может сказать в свое «оправдание», что этот период вообще остается до сих пор загадочным.

* * *

Для понимания бытия страны в послевоенное время перво-степенное значение имеет тяжкое и даже жестокое *противоречие*: в результате Победы СССР-Россия обрела величие мировой державы, в определенных отношениях занявшей главенствующее положение на планете, а вместе с тем страна была тогда воистину нищей, уровень и качество жизни в ней уместно определить словом «ничтожество»... Даже в Москве преобладающее большинство населения довольствовалось, в основном, 300—600 г хлеба (то есть в среднем — 450 г) и ненамного большим количеством картофеля в день...

И, конечно, гораздо более тяжелым было положение на территориях, подвергшихся оккупации, — а на них находилось около 40% населения страны... Экономика была разрушена до предела, а большая часть жилья уничтожена. Резкое сокращение количества трудоспособных мужчин, да и женщин, крайний дефицит и какой-либо сельскохозяйственной техники, и лошадей — все это, усугубленное имевшей место на огромных

территориях засухой 1946 года, привело к настоящему голоду на этих территориях и опасному для здоровья недоеданию в стране в целом. Множество людей обитали в землянках и жалких хибарках и употребляли в пищу то, что в нормальных условиях никак не считается съедобным...

В 1996 году было издано исследование В. Ф. Зимы «Голод в СССР 1946—1947 годов: происхождение и последствия», в котором собран и так или иначе осмыслен весьма значительный материал. Историк, в частности, пишет: «Можно предположить, что в период с 1946 г. по 1948 г. умерли от голода более 1 млн. человек. Вследствие голодания переболели дизентерией, диспепсией, пневмонией и др. около 4 млн. человек, среди которых было еще около полумиллиона умерших»¹⁸⁾.

Это «предположение» вроде бы подтверждается и собственно демографическими данными. Количество людей, имевшихся в стране в начале 1946 года (то есть родившихся не позже 1945-го), 170,5 млн., к началу 1951 года сократилось до 161,3 млн., то есть на 5,3%; между тем количество населения начала 1949 года (то есть после голода) через пять лет, к началу 1954 года, сократилось всего на 4%, — то есть убыль была на 1,3% меньше. А 1,3% от населения 1946 года — это 2,2 млн. человек, то есть даже на 0,7 млн. больше, чем предложенная В. Ф. Зимой цифра умерших от голода (1,5 млн.).

Однако нельзя не учитывать две другие причины сокращения населения в первые послевоенные годы: многие люди умирали тогда от полученных ран (так, к концу войны только в госпиталях находились более миллиона раненых) и увечий, а кроме того, в это время продолжалась та эмиграция из СССР (главным образом, поляков и немцев), о которой шла речь выше и которая в целом составила 5,5 млн. человек. Поэтому «предположение» В. Ф. Зимы о 1,5 млн. человек, умерших от голода, не исходящее из каких-либо бесспорных данных, нуждается в тщательной проверке.

Но нет сомнения, что послевоенное состояние страны привело к множеству голодных смертей, и в этом с особенной — и горчайшей — остротой выразилось упомянутое выше противоречие между внешним — всемирным — величием победоносной страны и «ничтожеством» ее «внутренней» жизни, что,

кстати сказать, было еще одной причиной той крайней засекреченности, закрытости, о которой уже не раз говорилось...

Хорошо помню первую в моей жизни встречу с людьми Запада. Я был тогда учеником 9-го класса и увлекался рисованием. В тот день я зарисовывал одну из башен московского Донского монастыря, — это было 17 марта 1947 года (рисунок с точной датой сохранился в моем архиве). Неожиданно в безлюдный монастырь вошли для его осмотра несколько французов, молодых мужчин и женщин, очень живых — «живописных», роскошно (по крайней мере на мой взгляд) одетых и источающих запахи духов и одеколонов; они казались пришельцами с иной планеты...

Мне они, конечно же, были интересны, но и я — очень бедно и уродливо одетый и худой от недостатка питания (мой отец был высококвалифицированным инженером, но жизнь абсолютного большинства населения страны была тогда весьма и весьма скудной) ** заинтересовал их хотя бы тем, что был занят «искусством» в безлюдном монастыре. Одна из французенок в какой-то мере владела русским языком, и у нас начался перескакивающий с одного на другое разговор.

Узнав, что передо мной французы, приехавшие на какое-то совещание — не помню, какое именно, я — отчасти ради «эффекта» — удивил их достаточно существенным знанием их родной литературы и истории; затем разговор перешел на Москву, и я, в частности, сказал, что могу показать им те возвышенности, с которых Наполеон смотрел на Москву, вступая в нее 2(14) сентября 1812 года и покидая ее 7(19) октября. У ворот монастыря французов ждала самая шикарная тогда автомашина «ЗИС-101», а за рулем сидел довольно мрачный человек, который начал вполголоса допрашивать меня, кто я и откуда. Несмотря на юный возраст, я почувствовал некую опасность и назвал выдуманное имя и адрес. По всей вероятности, шофер этот был связан с МГБ, а я между тем всю дорогу на Поклонную (тогда

* В марте — апреле 1947 года в Москве проходила конференция министров иностранных дел СССР, США, Великобритании.

** Положение стало улучшаться только в 1948 году (14 декабря 1947 года была отменена карточная система).

еще не скрытую, как теперь) и, затем, Воробьевы горы весьма вольно говорил с французами на самые разные темы...

Мою ссылку на эпизод из собственной жизни могут воспринять как нечто несообразное — ведь речь идет об Истории, а не о личной, частной жизни отдельных людей. К сожалению, люди очень редко (или вообще не) задумываются о том, что их собственная, личная жизнь и само их сознание — неотъемлемая (пусть и очень малая) частица Истории во всем ее мощном движении и смысле. Людям кажется, что это движение и этот смысл разворачиваются где-то за пределами их индивидуальной судьбы, — или, вернее будет сказать, они именно *не задумываются* о том, что их, казалось бы, сугубо частное, «бытовое» существование насквозь пронизано Историей.

Взять хотя бы то тяжкое противоречие величия и нищеты страны, о котором шла речь. 24 июня 1945 года, в день торжественнейшего Парада Победы, я вместе с тысячами людей стоял на набережной Москвы-реки у Большого Каменного моста, и когда до нас дошли возвращавшиеся по набережной с Красной площади шеренги фронтовиков, из всех уст согласно вырвался какой-то сверхчеловеческий — никогда в жизни более мною не слышанный — ликующий вопль... И никогда больше не видел я солдат, идущих столь торжественным и вместе с тем столь *вольным* (ведь шли люди фронта, а не строя) шагом. Это было захватывающим душу и неопровержимым воплощением величия нашей Победы, нашей страны.

Но вскоре же, тем же летом 1945-го, я, тогда пятнадцатилетний, шел с ближайшим другом моей юности Евгением Скрынниковым (ныне — известный художник) по Калужской* площади, а навстречу нам брели исхудалые дети в лохмотьях, безнадежно протягивая свои грязные ладошки к не имеющим лишнего куса хлеба или рубля встречным людям. И мой вольнодумный друг ядовито процитировал общеизвестную тогда фразу: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

*Примечательно, что эту площадь, в 1922 году переименованную в честь революционного пятилетия в «Октябрьскую», в 1945-м никто так не называл, и я тогда просто не ведал о ее официальном имени; в 1992-м ей вернули исконное имя, однако все зовут ее теперь «Октябрьской»...

В то время этот «приговор» представлялся моему юному сознанию всецело справедливым, ибо слишком резко ударили по глазам картины бедствий и голода, несовместимые с громкими обещаниями и славословиями. Я даже не пожелал тогда вступить в комсомол, хотя в Москве это было почти обязательным для моих сверстников, и стал «членом ВЛКСМ» только в двадцатилетнем возрасте, в 1950 году. Но об этом — ниже, а пока отмечу только, что юношеское — в основе своей чисто эмоциональное — восприятие резкого разрыва между тем образом страны, который внедряла официальная идеология, и реальным ее состоянием обусловило своего рода отторжение от современности. Я уходил от нее в средневековую Москву, пушкинскую эпоху, мир Тютчева, поэзию начала XX века, — из-за чего, в частности, категорически не принял известный доклад А. А. Жданова в августе 1946 года, где эта поэзия поносилась.

* * *

Но взгляды в противоречие величия и нищеты. Со временем я начал сознавать, что дело обстояло гораздо сложнее, чем представлялось мне в юности. К сожалению, многие и до сего дня решают проблему и чрезвычайно просто и, так сказать, крайне сурово. В 1992 году в Париже была издана книга преподавателя истории Московского пединститута (ныне — педуниверситета) В. П. Попова (родившегося, между прочим, как раз в 1945 году) «Крестьянство и государство (1945—1953)», в которой крайне низкие «нормы» распределения хлеба в послевоенной *деревне* объясняются, по сути дела, злой волей государства. В частности, приведен документ, согласно которому в 1945 году в Пензенской области на душу сельского населения выделялось всего 82,5 кг хлеба — то есть 226 г на день...¹⁹⁾

Но ведь урожай 1945 года составил 47,3 млн. тонн²⁰⁾ — в два с лишним раза меньше, чем в 1940-м (95,6 млн. тонн), — из которых к тому же, как сообщает сам В. П. Попов, 16,9 млн. тонн было выделено в запасной фонд (с. 129), т. е. для потребления осталось всего 30,4 млн. тонн. Это значит, что на душу населения пришлось в среднем 178 кг на год, то есть всего 488 г на день. Если учесть, что сельское население так или иначе имело — в сравнении с горожанами и, тем более, с огромной армией (12,8 млн. человек в середине 1945 года) — дополнитель-

ные источники продовольствия (умело возделанные деревенские огороды, домашний скот и птица, рыбная ловля, собиранье грибов, ягод и т. п.), вполне «справедливо» было превосходство — «за счет» сельских жителей — норм распределения хлеба среди горожан и солдат (от 300 до 800 г в день).

Правда, В. П. Попов возмущается не самой по себе столь ничтожной «нормой» выдачи хлеба жителям села, а тем, что, как он пишет, «государство располагало *необходимыми* (выделено мною. — В. К.) запасами зерна, которые могло и было обязано использовать для помощи голодающим районам» (с. 129). Но это непродуманное и, прошу извинить за резкость, безответственное суждение; характерно, что в самом тексте В. П. Попова закономерно возникло «противоречие»: он сам называет запасы «*необходимыми*», но тут же настаивает, что государство-де «*могло*» отменить эту «необходимость», — хотя тогда нельзя было не думать и о явной угрозе войны с недавними «союзниками», и о каком-либо стихийном бедствии, которое и в самом деле разразилось в следующем году в виде грозной засухи, и если бы «запасы» 1945 года были к середине 1946 года «использованы», то есть проедены, голод приобрел бы, наверное, совсем уж катастрофический характер...

А в предисловии к цитированной книге В. П. Попова, написанном А. И. Солженицыным, выражено крайнее негодование именно в связи с тем, что (см. выше) «признается «норма» потребления зерна колхозником — 200 граммов в день... Да были ли в истории где-либо, когда — такая власть: неуклонно ведущая свой народ к вымиранию?...» (с. 5, 6).

Из этих слов неизбежно вытекает, что власть, стремясь «выморить» народ, не давала ему якобы имевшийся у нее в достатке хлеб... Но, во-первых, в таком случае необходимо было объяснить, почему власть стремилась уничтожить крестьянство (без которого страна — да и сама власть — не могла бы существовать), а во-вторых, показать, куда же девали не предоставляемый народу хлеб?

На первый вопрос едва ли можно найти вразумительный ответ, но по второму вопросу в «обличительной» публицистике последнего времени не раз утверждалось, что хлеб пожирала «номенклатура».

В упомянутой книге В. Ф. Зимы о голоде 1946—1947 годов

есть главка в духе этой самой публицистики — «Благополучие для номенклатуры», однако, опровергая, по сути дела, свой собственный обличительный запал, историк на основе бесспорных документов сообщает, что даже «руководящие работники... отнесенные... к 1-й группе» не очень уж объедались: «Хлеб ограничивался из расчета по 1 кг в день и не более», а «на среднем уровне управленческой пирамиды хлеб нормировался и выдавался по группам, приравненным к рабочим 1-й и 2-й категории» (с. 56. Выделено мною. — В. К.)

Притом нельзя не учитывать, что никакая власть не может допустить полуголодного состояния ее носителей, от деятельности которых зависит (хотя бы потенциально) весь ход жизни страны, а кроме того, «номенклатура» — весьма незначительная часть населения; в известном резко критическом трактате Михаила Восленского «Номенклатура» подсчитано, что она составляла максимум 0,4% населения страны²¹⁾, и, если каждый ее представитель в 1945—1947 годах получал в среднем «лишних» 500 г хлеба в день, отъятие и распределение среди населения в целом этих «излишков» дало бы совершенно микроскопический результат — примерно 2 грамма (!) хлеба в день на душу населения страны...

Да и вообще нет оснований говорить об особом «благополучии номенклатуры» в первые послевоенные годы (позднейшие времена — дело другое). Власть осуществляла, без сомнения, чрезмерные затраты на «большую политику», но, так сказать, в бытовой сфере режим строгой экономии соблюдался на всех уровнях.

В связи с этим позволю себе опять-таки сослаться на личный опыт. Незадолго до окончания мною (в июне 1948-го) 16-й московской школы рядом с ней начал заселяться жилой «спецдом» Совета Министров СССР, построенный по проекту знаменитого И. В. Жолтовского* (Большая Калужская ул. — ныне Ленинский просп., дом № 11). И в моем классе появились сыновья «номенклатуры», в том числе юноша с редким именем

*Строительство его шло еще до войны, и в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, когда был мощный налет вражеской авиации на Москву, дом этот пылал (вернее, его строительные леса) ярким пламенем на моих глазах, и завершен он был уже после войны.

Рутений (уменьшительное — Рута) Кабанов. Само его имя — деталь, так сказать, историческая, ибо в первые два десятилетия после 1917-го детей называли, в частности, «научно-техническими» именами: Рутений — это 44-й элемент менделеевской таблицы; отец Руты в год его рождения учился в Московском электромашиностроительном институте, а сей элемент имеет важное применение в электроприборах.

Этот отец моего соученика и приятеля, И. Г. Кабанов (1898—1972), в 1937-м стал одним из наркомов РСФСР, а ко времени вселения в новую квартиру на Большой Калужской был одним из главных союзных министров — электропромышленности и депутатом Верховного Совета СССР; на XIX съезде партии он стал кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, то есть вошел в совсем уж малое количество верховных правителей страны (как сказано, всего лишь 36 членов и кандидатов в члены Президиума)*.

Тем не менее я, не раз бывавший в гостях у его сына, могу засвидетельствовать, сколь скромным было жилище этого носителя высшей власти страны. Он обитал с женой, сыном, дочерью (также школьницей) и обязательной тогда в привилегированных семьях «домработницей» в *двухкомнатной* квартире с «совмещенным санузлом» (в то время, впрочем, это представлялось изысканной новинкой). Правда, одна из двух комнат квартиры была весьма просторной (рассчитанной, вероятно, на большие «приемы» у министра), и в ней имелась перегородка на колесиках, задвигавшаяся вечером, — дабы сын и дочь министра спали во вроде бы отдельных помещениях...

Помню, что мне-то, жившему в «коммуналке» на три семьи, квартира министра казалась превосходной, но сегодня нельзя не прийти к выводу, что в послевоенные годы страна экономила на всем — в том числе и на быте верховных правителей. Я не исключаю, что позднее, когда я уже не посещал Руту Кабанова, его отец получил намного более обширное жилище, но факт остается фактом: виденная мною квартира одного из верховных правителей много говорит и о послевоенном состоянии страны

*С Хрущевым И. Г. Кабанов, по-видимому (как и множество других), «не сработался» и в 1958 году был «освобожден» от поста министра, а в 1961-м и от членства в ЦК.

вообще, и о том, как тогда вела себя власть. Огромные — и, надо прямо сказать, совершенно непомерные в то время для страны — средства тратились (о чем еще будет речь) на *мировую политику*, но не на самих политиков...

В частности, определенная часть хлеба *вывозилась за границу* — в страны Восточной Европы, в том числе в Восточную Германию (!), что делалось, без сомнения, не по экономическим, а по чисто политическим соображениям. Правда, вывоз хлеба был не столь уж значителен — 1,7 млн. тонн в 1946 году. Если бы этот хлеб был распределен среди населения страны, прибавка к ежедневному пайку составила бы на одного человека всего лишь 27 г* (1,7 млрд. кг на 170 млн. населения — 10 кг в год). И все же мне, признаюсь, крайне трудно примириться с этой политикой, мне тяжело читать опубликованный в 1960 году приказ, подписанный 11 мая 1945 года самим Г. К. Жуковым:

«Во исполнение постановления ГОКО (Государственного Комитета Оборона под председательством Сталина. — В. К.) от 8 мая 1945 г. Военный совет 1-го Белорусского фронта — ПОСТАНОВЛЯЕТ:

...Исходя из установленного постановлением ГОКО количества продовольствия, подлежащего передаче с 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для снабжения населения города Берлина на 5-месячный период: зерна для выработки крупы и муки 105 000 т, мясопродуктов — 4500 т, сахара — 6000 т интенданту фронта полковнику тов. Ткачеву выделить из ресурсов фронта в счет указанных количеств в период с 15 мая по 15 июня с/г.:

Муки.....	41 000
Крупы.....	5000 т
Мяса.....	6500 т ...» и т. д. ²²⁾

Отмечу, что «нормы» выдачи продовольствия на душу берлинского населения в ряде отношений *превышали* те, которые имели место в тогдашней России...

*Выразительное соотношение: для «номенклатуры», то есть для политиков, у отдельного «среднего» потребителя изымали, как показано выше, 2 г хлеба в день, а для политики — почти в 15 раз больше — 27 г в день (впрочем, эта «добавка», конечно, не могла бы спасти население от недоедания).

При рациональном подходе к делу можно, конечно, признать, что, во-первых, нельзя было допустить голодного мора и хаоса в оккупированном нами Восточном Берлине, что, во-вторых, СССР должен был еще получить достаточно ценные репарации и, в частности, добиться работы немцев в наших интересах, для чего следовало спасти их (немцев) от вымирания...

Но вместе с тем хорошо известно, что США, чье сельское хозяйство не только не пострадало от войны, но, напротив, процветало, готовы были кормить восточных немцев, и *главная* причина изъятия продовольствия из голодной России для прокорма населения страны, еще вчера бывшей смертельным врагом, — причина сугубо политическая: дело шло об установлении и сохранении господства в Восточной Германии (как и Восточной Европе в целом).

И, повторюсь, я не могу примириться с этой политикой — несмотря на любые ее обоснования. Но к этой проблематике мы еще вернемся. Здесь же еще раз подчеркну, что вообще-то своего рода «политический налог» на население СССР, выражавшийся в вывозе хлеба за рубеж, был не столь уж громадным (10 кг в год на человека). И полуголодная или просто голодная послевоенная жизнь абсолютного большинства населения была обусловлена «объективными» причинами, а не «злодейством» властей, которым возмущаются ныне те или иные идеологи. Ведь в целом, как уже сказано, на душу населения в 1945 году имелось не более 488 г хлеба на день. При этом следует еще учитывать, что немалую часть урожая было необходимо отдавать на корм имевшимся в 1946 году 14 млн. лошадей (необходимых тогда для сельскохозяйственных работ) и 23 млн. дающим молоко коров²³), ибо без определенной зерновой прибавки к траве и сену эти существа едва ли выжили бы и животноводство в стране вообще бы *погибло*... Поэтому и 488 г хлеба в среднем на душу населения в день — существенно завышенная цифра, из которой следует вычесть зерно, потребленное домашними животными, а также птицей...

Выше была ссылка на сведения о распределении хлеба в 1945 году в Пензенской области, и в этих сведениях указано, что 3600 тонн зерна пошло на корм скоту (П о п о в В. П., цит. соч., с. 135). Особенно много зерна требовалось для прокорма свиней и домашней птицы, которые никак не могли обойтись

травяной пищей. Согласно уже упоминавшимся сведениям 1945 года по Пензенской области, одна свинья потребляла за год 80,4 кг зерна — то есть почти столько же, сколько отпускалось людям! И вот очень выразительные цифры: с 1941 по 1946 год количество питавшихся в основном травой и сеном коров сократилось не столь уж значительно: с 27,8 млн. до 22,9 млн. голов, а свиней — с 27,5 до 10,6 млн. (там же), то есть более чем в два с половиной раза, ибо невозможно было тратить потребное им значительное количество зерна (между тем количество неприхотливых коз осталось почти прежним — 11,7 млн. в 1941-м, 11,5 млн. в 1945-м). Не менее характерно и резкое сокращение количества домашней птицы, что ясно из уменьшившейся в два с половиной раза яйцепродукции: 12,2 млрд. в 1940 году и всего 4,9 млрд. в 1945-м...²⁴⁾

Возможно, найдутся читатели, которым эти подсчеты количества собранного зерна, а также свиней, коз, кур и соображения об их «рационе» представятся чем-то слишком «мелким», не соответствующим размышлению о ходе Истории; однако тогда, в 1946—1947 годах, от всего этого прямо и непосредственно зависело само существование народа, и я уверен, что те из моих читателей, которые жили в то время, ясно понимают первостепенное значение приведенных мной «прозаических» цифр и их истолкования...

* * *

Только что изложенные факты и выводы, как нетрудно предвидеть, будут восприняты в качестве попытки «обелить», «реабилитировать» правителей послевоенного времени (прежде всего, понятно, Сталина), притом одни воспримут это с недовольством или даже негодованием, а другие, напротив, одобрительно либо с восхищением, — ибо в последние годы количество «поклонников» Сталина явно растет.

Но обе эти вероятные реакции будут неоправданными, ибо я исхожу из убеждения (которое не раз высказывал на протяжении своего сочинения), что роль Сталина крайне преувеличивается как его поклонниками, так и — в равной мере — ненавистниками.

Уж если на то пошло, действительно громадное значение имел не сам Сталин, а *миф о Сталине*, который играл особенно

большую роль во время войны, ибо миллионы людей верили, что во главе страны — всезнающий и всемогущий человек, ведущий их к Победе. Это со всей ясностью выразилось, например, в *последних* словах восемнадцатилетней девушки из священнического рода Зои Космодемьянской, бесстрашно отправившейся в тыл врага и повешенной 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево, расположенной в 85 км к западу от Москвы: «Сталин придет!» И суть дела здесь, конечно же, не в самом вожде, но в вере и опиравшемся на нее поведении множества людей (разумеется, не все разделяли эту веру, но она все же была достоянием миллионов). И, повторюсь, эта жившая в людях вера, этот *миф*, «объективированный» в их действиях, имел гораздо большее значение, чем сам Сталин.

Вообще все основное, что совершалось в стране, было порождено объективным — в конечном счете, необходимым, неизбежным — *ходом истории*, а не личной мыслью и волей Сталина. И, говоря о том, что голодная жизнь послевоенного времени была обусловлена тогдашним состоянием сельского хозяйства, а не абсурдным намерением власти «выморить» крестьянство, я стремился не «оправдать» власть, а уяснить историческую реальность тех лет.

Но проблема имеет и другой — и очень существенный — аспект: в последнее время достаточно настойчиво высказывалось мнение, согласно которому Сталин и режим в целом поступили совершенно неразумно и просто преступно, заставив страну, находившуюся после войны в столь тяжелом положении, играть заведомо непосильную для нее роль на мировой арене. Утверждают даже, что не следовало переступать государственную границу СССР, удовлетворившись изгнанием врага из пределов страны.

В высшей степени характерный пример: в 1996 году широко известный литературный критик и публицист Лев Аннинский в своей тогдашней телепрограмме «Уходящая натура» беседовал с очень популярным в 1960—1970-х годах писателем Георгием Владимовым (Волосевичем), который в 1983 году эмигрировал в ФРГ, и последний заявил, что СССР надо было в конце войны остановиться на границе. Важно не само это заявление нынешнего жителя ФРГ, а тот факт, что Лев Аннинский,

как он мне сообщил, твердо возразил Владимову, однако его слова не были допущены хозяевами телеканала в передачу!

Рассуждения, согласно которым остановка на границе была бы гораздо более «позитивным» решением, — типичный образец подмены понимания *реальной* истории пресловутым «если бы... то...» и, в конечном счете, совершенно бесплодного умствования. В частности, в СССР имелось в 1945 году очень мало людей, готовых «удовлетвориться» изгнанием врага; лозунг «На Берлин!» был непререкаемым в умах и душах людей самых разных социальных слоев и убеждений.

Александр Твардовский в глубоко лирическом стихотворении, написанном в 1947 году, выразил, без сомнения, общенародное восприятие конца войны:

...Ехал я под Берлином
В сорок пятом году.
Фронт катился на запад,
Спал и ел на ходу.

В шесть рядов магистралью —
Не вмещает, узка! —
Громыхаючи сталью,
Шли на запад войска.

Шла несметная сила,
Разрастаясь в пути,
И мосты наводила
По себе впереди.

Шла, исполнена гнева,
В тот, в решающий бой...
И гудящее небо,
Точно щит, над собой

Высоко проносила...
«Погляди, какова
Мать родная, Россия,
Москва, Москва!..»

Но наиболее глубокая *суть* проблемы, которую вообще *не осознают* авторы, пытающиеся сегодня предлагать «правильное» решение (надо было, мол, в 1945 году не ввязываться в судьбы целого мира, а заботиться о своей разоренной и голодающей стране), в другом. Приверженцы «сослагательных»,

«альтернативных» рассуждений об истории основываются в конечном счете на заведомо ложном — и, в сущности, примитивном — «прогрессистском» мышлении (о котором уже неоднократно говорилось в моем сочинении). В таком мышлении, помимо прочего, «позитивные» последствия какого-либо события изолируются от его неизбежных негативных последствий, — что с особенной ясностью видно в рассуждениях, превозносящих то или иное достижение в сфере техники, но не касающихся его неизбежных негативных для природы и человека последствий.

Победа 1945 года была многогранной, слагалась из побед военной, политической, идеологической и т. д. — но каждая из этих побед вела и к определенным бедам... Начнем хотя бы с того, что после 9 мая культ вождя стал уже поистине безграничным и в количественном, ибо он охватил теперь подавляющее большинство населения, и в качественном отношении, превратившись в своего рода идолопоклонство, которое, так сказать, вполне закономерно «увенчалось» фактическим жертвоприношением идолу — гибелью множества людей в ходе сталинских похорон 9 марта 1953 года...

Но, пожалуй, еще более существенные последствия имел другой результат Победы — полное «оправдание» всего того, что свершалось в стране с 1917 года. Часто и правильно говорится о том, что Сталин и власть в целом во время войны стремились опереться не столько на советский период истории страны и коммунистическую идеологию, сколько на всю многовековую Россию и патриотизм как таковой, без конкретной политической окраски. Но почти не говорится о том, что вскоре же после Победы, 9 февраля 1946 года, Сталин произнес речь, в которой заявил:

«Война устроила нечто вроде экзамена нашему советскому строю, нашему государству, нашему правительству, нашей Коммунистической партии и подвела итоги их работы... Наша Победа означает прежде всего, что победил наш советский общественный строй...»²⁵⁾ и т. д.

И такое толкование причин Победы было чрезвычайно широко распространено в то время. Крупнейший писатель и мыслитель М. М. Пришвин 18 ноября 1941 года, после начала непосредственного наступления врага на Москву, писал: «...ближе и

ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой встанут на борьбу священную действительно все, как живые, так и мертвые. Ну-ка, ну-ка вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил». И 19 ноября: «Теперь даже один наступающий день нужно считать как *всё* время... эти дни Суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого...»²⁶⁾

Однако впоследствии, 18 марта 1951-го, Пришвин записал: «После разгрома немцев какое может быть сомнение в правоте Ленина...»²⁷⁾, — то есть, значит, победила врага не Россия, а Революция...

Между прочим, Сталин утверждал в цитированной речи 1946 года, что благодаря советскому периоду истории положение страны «перед Второй мировой войной, в 1940 году, было в *несколько раз лучше*, чем перед Первой мировой войной — в 1913 году» (с. 10. Выделено мною. — В. К.). Однако в 1914 — начале 1917 года враг не смог продвинуться далее западных — пограничных — губерний Украины и Белоруссии, а в 1941—1942-м дошел до пригородов Москвы, а затем до Сталинграда и Кавказского хребта...

Впрочем, задача состоит не в том, чтобы полемизировать со Сталиным о причинах Победы; в данном случае гораздо важнее оспорить множество нынешних сочинений, утверждающих, что и в *послевоенное* время политическая линия Сталина определялась-де «русским патриотизмом» или даже «национализмом». В 1941—1945 годах Сталин действительно не раз взывал к русскому патриотизму, но начиная с его процитированной речи начала 1946 года *ни в одном* его опубликованном тексте на это нельзя найти хотя бы намек!

Могут сказать, что Сталин после войны насаждал русский патриотизм или национализм «тайно», подспудно, — и в таком мнении есть свой резон. Но, во-первых, уже сама эта подспудность многозначительна, а во-вторых (о чем мы еще будем подробно говорить), по обвинению в «русском национализме» в 1949—1950 годах были репрессированы минимум 2000 видных партийных и государственных деятелей страны!

Контраст совершенно ясен: подспудно, «неофициально» поощряя те или иные «русские» начала (с очень существенны-

ми ограничениями, о чем ниже), Сталин вместе с тем в сентябре 1947 года фактически — и вполне «официально» — восстановил распущенный в мае 1943-го Коминтерн, называвшийся теперь, правда, Информационным бюро коммунистических и рабочих партий (в разговорном языке — Коминформ).

Выше отмечалось, что демонтаж Коминтерна был начат еще до войны. Чрезвычайно показательно, например, что сталинский «отчетный доклад» на XVII съезде партии, 26 января 1934 года, завершался следующим утверждением: «Рабочий класс СССР есть часть мирового пролетариата... наша республика — детище мирового пролетариата»²⁸); между тем его доклад на XVIII съезде, 10 марта 1939 года (до начала Второй мировой войны оставалось около шести месяцев), заключал рассуждения о Советском *государстве*, которое полновластно осуществляет «хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную работу» в стране (там же, с. 646). Что же касается «мирового пролетариата», то Сталин тогда заявил: «...буржуазии... удалось в известной мере отравить душу рабочего класса ядом сомнений и неверия». И надеяться, по его словам, можно только на то, что «успехи рабочего класса *нашей страны*... послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего класса капиталистических стран» (с. 650), — то есть на зарубежный рабочий класс *как таковой* надежд нет... Естественно, роль иностранных компартий представлялась при этом не столь уж значительной, и Коминтерн, который всего несколько лет назад находился в центре внимания правителей СССР и на который расходовались немалые средства, оказывался не очень нужным, и состоявшийся летом 1935 года VII конгресс Коминтерна стал последним...

Но созданный после войны Коминформ являл собой в определенной степени преемника Коминтерна, — правда, главное положение в нем заняли партии восточно-европейских стран, находившихся в «советской зоне».

В связи с этим необходимо разграничивать два существенно различных аспекта проблемы: «контроль» СССР над Восточной Европой и, с другой стороны, фактическое «присоединение» ее к СССР.

В уже упомянутой речи, произнесенной 5 марта 1946 года, Черчилль выразил резкий протест по поводу того, что страны

Восточной Европы «в той или иной форме подчиняются... все возрастающему контролю Москвы»²⁹). 14 марта Сталин столь же резко возразил Черчиллю на страницах «Правды». Отвергая определение «контроль», Иосиф Виссарионович вместе с тем сказал, что в восточноевропейских странах перед войной были «правительства, враждебные Советскому Союзу», и враг смог беспрепятственно «произвести вторжение через эти страны... что же может быть удивительного в том, — заключал Сталин, — что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу»³⁰).

В первом своем утверждении Сталин был не очень точен: не желая, по-видимому, напоминать о том, что к 1941 году Словакия, Венгрия, Румыния, Хорватия, даже Болгария и т. д. фактически *влились в Третий рейх*, он сказал только о «враждебности» их тогдашних правительств. Но его «оправдание» политики СССР, стремившегося «добиться» наличия в этих странах «лояльных» правительств (для чего, в сущности, был необходим определенный «контроль» над этими странами), являлось всецело обоснованным и вполне естественным, — хотя сегодня множество авторов твердит обратное.

Ведь того же самого добивались тогда США! Так, служивший в американской разведке с 1941 года и ставший позднее одним из *заместителей директора ЦРУ* Рэй Клайн с не лишеной наглости откровенностью рассказал в своем — отчасти мемуарном — сочинении о том, как, начиная с 1947 года, США предпринимали разнообразные меры для того, чтобы в Италии не пришла к власти коммунистическая партия, пользовавшаяся тогда поддержкой *широчайших слоев* итальянского населения.

Вот приведенные Клайном цитаты из тогдашних американских документов: «США никогда не поддержат запрос об экономической помощи Италии (она находилась тогда в тяжелейшем положении, ярко воссозданном в получивших всемирную известность «неореалистических» итальянских кинофильмах. — *В. К.*), если в правительстве ее будут партии, враждебные Соединенным Штатам... Если коммунисты выиграют... на выборах, то вся совокупность наших позиций в Средиземноморье, так же как и, возможно, во всей Западной Европе, будет

подорвана»³¹). И «ЦРУ занялось и доставкой денег, и оказанием различного рода технической помощи, необходимой для победы на выборах». Было предписано «начать психологическую войну» (с. 166), но не обошлось и без «поставок довольно хилым вооруженным силам Италии оружия и амуниции, а также оказания им технического содействия» (с. 164).

При этом необходимо учитывать, что Италию отделял от США Атлантический океан, а ряд восточноевропейских стран непосредственно граничил с СССР! Поэтому «контроль» США имел гораздо меньшее «оправдание», чем аналогичные действия СССР...

Принципиально иная проблема — фактическое вовлечение восточноевропейских стран в *политико-экономическую систему СССР* — то есть, в конечном счете, в геополитические границы России-Евразии, что представляло собой, строго говоря, бесперспективное дело. Весьма показательны, что ранее, в 1939 году, Сталин, возвратив в состав СССР Западные Украину и Белоруссию, отказался присоединить к нему собственно польские земли, хотя Германия, захватив западные территории Польши, предлагала установить границу с СССР по Висле.

Однако после великой Победы, которая даже в глазах Михаила Пришвина — ранее крайне или хотя бы весьма критически относившегося к происходившему в стране — представляла как победа *социалистического* строя, Сталин уверовал, что можно и должно создать растущий во все стороны «лагерь социализма», который будет теснить «лагерь капитализма». И это отнюдь не было его *личным* убеждением (хотя ныне «экспансия» СССР в Восточную Европу толкуется обычно как выражение субъективного сталинского произвола).

Выше цитировалось письмо Александра Солженицына, отправленное с границы Восточной Пруссии, — письмо, в котором с явным удовлетворением говорилось, что армия находится на границе «войны отечественной и войны революционной» — то есть войны, призванной распространить социализм-коммунизм на запад, включая и саму Германию. И эту настроенность разделяли тогда с Солженицыным множество людей в СССР (о чем ниже), хотя ныне ее пытаются свести к личному экспансионизму Сталина.

Может, впрочем, показаться нелогичным, необоснованным

тогдашнее (1944 — 1945 годов) резко критическое отношение Солженицына к Сталину, который ведь уже тогда, без сомнения, предусматривал продвижение социализма на Запад, — пусть и не в тех масштабах, о которых мечтал в то время «революционно» и «коминтерновски» настроенный Солженицын. Однако Сталин, планируя распространение социализма на страны Восточной Европы, не имел в виду каких-либо *революций* в этих странах; переход власти к тамошним партиям коммунистического характера представлял собой своего рода дворцовые перевороты, опиравшиеся на дислоцированные в этих странах войска СССР.

Ныне, после ликвидации восточноевропейского «соцлагеря», новые правители этих стран открыто и часто с негодованием высказывают убеждение, что их страны были бесосновательно «вырваны» на полвека из Европы, к которой они извечно принадлежали, — и это, надо признать, *геополитическая* истина, — хотя, вместе с тем, нельзя отрицать, что эти страны — своего рода «окраина» Европы и они никогда не имели в ней того статуса, который присущ основным европейским государствам. Тем не менее они, если прибегнуть к «недипломатическому» языку, всегда предпочитали быть «задним двором» Европы, нежели «передним крыльцом» Евразии-России, — это ясно, например, из истории Польши в прошлом столетии (отмечу, что мне не раз довелось убедиться в этом предпочтении еще в 1960-х годах, когда я часто и тесно общался со многими литераторами восточноевропейских стран, а в конце 1980-х годов я прямо сказал об этом в своих интервью польской и чехословацкой газетам).

Как уже отмечено, создание «соцлагеря» из стран Восточной Европы подразумевало не «революционные» акции в этих странах, а переход их под эгиду государственной мощи победоносного СССР. Вопреки цитированным словам Солженицына, эта мощь, двигаясь на запад от границы СССР, несла в себе вовсе не «революционность», а, напротив, определенный «консерватизм», что, в частности, выразилось в возрождении (разумеется, частичном и переосмысленном) наследия российского *славянофильства* XIX века. Уже во время войны начал издаваться популярный журнал «Славяне», а вскоре после Победы был восстановлен Институт славяноведения Академии наук; и

в журнале, и в институте так или иначе оживала славянофильская традиция. Ведь большинство стран и тем более народов, которые вошли в «соцлагерь», были славянскими и потому будто бы естественно тяготели к славянским народам СССР, составлявшим преобладающую часть его населения.

Между тем «племенная» концепция русских славянофилов прошлого столетия была заведомо поверхностной; более глубокая и более масштабная мысль Константина Леонтьева убедительно опровергла славянофильскую программу. Еще в 1873 году он писал, что «для России *завоевание* или вообще присоединение других славян было бы роковым часом ее разложения и государственной гибели*. Если одна Польша, вдобавок разделенная на три части**, стоила России столько забот и крови, то что же бы произвели *пять-шесть* Польш?»³²⁾ (курсив самого К. Н. Леонтьева). В «соцлагере» оказался десяток западно- и южнославянских народов общей численностью более 60 млн. человек (к 1990 году — более 80 млн.), а также более 40 млн. (к 1990-му — около 60 млн.) немцев, румын, албанцев, венгров (то есть к 1990 году — только в два раза меньше, чем население СССР)...

Геополитическая «несовместимость» с так или иначе присоединяемыми к СССР *европейскими* (пусть и восточными) странами со всей ясностью выразилась в том, что уже в июне 1948 года происходит весьма резкий разрыв СССР с Югославией, — хотя, казалось бы, она была наиболее близким союзником (в частности, именно Белград в 1947 году был избран в качестве местопребывания Коминформа!). В 1953-м разразилось восстание в Восточном Берлине, в 1956-м — в Польше и с особенной силой в Венгрии.

Все это в течение долгого времени объясняли происками «буржуазных» элементов и подстрекательством империалистического Запада. Отчасти такое мнение не лишено оснований, но показательно, что *первый* конфликт был с *коммунистической* властью Югославии, второй начали берлинские *рабочие*,

*В этом уместно видеть пророческий смысл, ибо недавняя гибель СССР началась именно с гибели восточноевропейского «соцлагера»...

**Между Пруссией, Австрией и Россией.

третий и четвертый были порождены расколом *внутри* «рабочих» партий и т. д.

Ныне, как уже сказано, полувековой период в истории восточноевропейских стран определяют как искусственную «вырванность» их из Европы, и рядом с этим *геополитическим* толкованием чисто политические и экономические объяснения предстают в качестве второстепенных и имеющих относительное значение.

Правда, геополитическая подоснова конфликтов между СССР и восточноевропейскими странами стала очевидной только через много лет. Первоначально эти конфликты нередко осознавались в узкополитическом плане: СССР предстал как воплощение «консерватизма», даже «реакционности», а те или иные из восточноевропейских стран — как носители «прогрессивности» и прямой «революционности». Так, известный югославский деятель Милован Джилас (позднее ставший антикоммунистом) в своих воспоминаниях «Беседы со Сталиным» поведал о том, что он «был прямо потрясен и оглушен» сталинской речью, обращенной в начале 1945 года к югославской правительственной делегации: «Он (Сталин. — В. К.) мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами...»³³⁾

В силу недостаточной осведомленности и под воздействием тенденциозных мнений многие авторы и сегодня истолковывают ситуацию в послевоенной Восточной Европе явно неправильно: СССР преподносится в качестве носителя революционно-коммунистической тенденции, а та же Югославия — либерально-демократической. Между тем не так давно были изучены сохранившиеся в архиве отчеты о состоявшемся в конце сентября 1947 года совещании Коминформа, из которых стало очевидным следующее:

«Особенно активно выступали югославы. М. Джилас дал целый обзор ошибок руководства компартии Франции, начиная еще с войны, критика носила резкий характер... Югославский представитель обвинил французов в либерализме, фетишизации парламентских методов борьбы, в постоянных уступках буржуазии. Он утверждал, что во Франции и Италии имелись условия для полного захвата власти, осудил в связи с этим рос-

пуск и разоружение по инициативе компартии партизанских отрядов. Выступление Э. Карделя (также один из высших тогдашних правителей Югославии. — В. К.) было посвящено в основном критике итальянских коммунистов: «Не могут долго сидеть вместе в одном и том же правительстве коммунисты, представители революционного рабочего класса, антиимпериалистических сил и социализма и представители финансового капитала и империализма или их лакеи, начиная с социал-демократии...» Кардель даже ставил вопрос шире, говоря о появлении в международном коммунистическом движении во время войны и после тенденции, обозначающей некоторый уклон от революционной теории марксизма-ленинизма... Эта тенденция заключалась в признании некоторыми компартиями возможностей мирного парламентского развития империализма, а не... дальнейшего обострения его внутренних противоречий и классовой борьбы...»³⁴⁾

Перешедший впоследствии на антикоммунистические позиции (такого рода «метаморфозы» вообще типичны для наиболее «радикально» настроенных людей), Джилас в своих воспоминаниях старался умолчать о собственной коммунистической агрессивности 1940-х годов. Но он все же «проговорился» об одном своем «столкновении» со Сталиным в ходе совещания в Москве в феврале 1948 года. Обсуждался текст заключенного незадолго до того югославско-болгарского договора, в котором договаривающиеся стороны обязывались «поддерживать всякую инициативу, направленную... против всех очагов агрессии...» Сталин вмешивается: «Нет, это превентивная война — самый обыкновенный комсомольский выпад! Крикливая фраза...» (Джилас, цит. соч., с. 129). В тех же воспоминаниях, кстати сказать, Джилас удостоверяет, что Сталин был категорически *против* развязывания какой-либо войны; но об этом мы еще будем говорить.

И последовавший вскоре разрыв Югославии с СССР осознавался тогда в Белграде как итог конфликта между «революционностью» югославских коммунистов и «реакционностью» Сталина и его окружения. В 1960 году автор этого сочинения побывал в Белграде, и даже в то время все югославы, с которыми довелось общаться, истолковывали конфликт 1940-х годов именно так!

Впоследствии — скажем, во время волнений в Чехословакии в 1968 году — конфликт с СССР осознавался уже по-иному — как противостояние «демократической» и «тоталитарной» или хотя бы «авторитарной» идеологии, и это было уже существенным приближением к осознанию *геополитической* несовместимости «европейского» и «евразийского». Но в 1948 году противоречие между той же Югославией и СССР толковалось в ней как противоречие подлинного марксизма, социализма, революционности и нарастающих в СССР консерватизма, традиционности, даже отказа от социализма. Разрыв Москвы и Белграда совершился после того, как Сталин познакомился с изложением речей на «закрытом» заседании Политбюро ЦК КПЮ 1 марта 1948 года (изложение это опубликовано в книге Ю. С. Гиренко «Сталин — Тито». М., 1991, с. 349, 350):

«Восстановление русских традиций — это проявление великодержавного шовинизма. Празднование 800-летия Москвы (в сентябре 1947-го. — В. К.) отражает эту линию... Недавнее постановление ЦК ВКП(б) о музыке (10 февраля 1948-го. — В. К.) — это возврат только к русскому классицизму... Такая политика Советского Союза говорит о глубоких изменениях, происходящих в стране. Об этом говорил Кардель, особенно Джилас и другие... Гошняк даже сказал так, что политика СССР — это препятствие к развитию международной революции. Тито ответил на это репликой: «Точно»... Кардель заявил: «...мы — народная демократия. Это — принципиально новое, и это в Советском Союзе не могут понять...» Кидрич, в свою очередь, ответил Карделю: «Они будут противиться строительству социализма, поскольку в СССР происходит перерождение...» Кидрич относится к Советскому Союзу исключительно высокомерно, считая, что в Советском Союзе существует малокультура...» Последнее уже ближе к истинной сути проблемы...

* * *

Итак, великая Победа породила в сознании Сталина, как и множества людей СССР, своего рода эйфорию: казалось, что мощь социалистической Державы, разгромившей гигантскую военную машину, способна целиком и полностью переделать по своему образу и подобию более чем 100-миллионное население

ние Восточной Европы, включая советскую зону оккупации Германии, превращенную в 1949 году в ГДР.

Правда, в верхнем эшелоне власти СССР нашелся человек, который вскоре после смерти Сталина, в мае 1953 года, предложил не строить социализм в Восточной Германии; это был не кто иной, как Л. П. Берия. И в последние годы появился целый ряд публикаций, авторы которых, в сущности, восхваляют Берия за эту его инициативу. В одной из таких публикаций говорится, что 27 мая 1953 года* на заседании Президиума Совета Министров СССР Берия заявил: «...нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или не будет, нам все равно...» С контрзаявлением выступил Молотов, считавший, что вопрос, по какому пути пойдет страна в самом центре Европы, очень важен. Хотя это и неполная Германия, убеждал он, но от нее многое зависит... отказ от создания социалистического государства в Германии означает дезориентацию... в целом Восточной Европы. А это, в свою очередь, открывает перспективу капитуляции восточноевропейских государств перед американцами. Молотова поддержали Хрущев, Первухин, Сабуров, Каганович и Булганин... Как утверждал потом Хрущев... он убедил Берия «окончательно отказаться от своих предложений...» «Однако, — заключает нынешний толкователь давних событий, — как показало время, прав оказался все-таки «любянский маршал». Уже в июле (на деле — в июне. — В. К.) 1953 года в ГДР начались выступления рабочих, студентов, интеллигенции. Их подавили силой». И автор — Борис Старков — выражает своего рода глубокое сожаление: «Прошло более 30 лет, прежде чем Германия воссоединилась»³⁵⁾.

Итак, Берия предлагал, мол, правильный альтернативный путь, но догматики помешали ему. Этот вывод — как, впрочем, и цитируемое рассуждение в целом, — увы, весьма легковесен. Начать с того, что Германия, строго говоря, не «воссоединилась» *до сих пор*, ибо принадлежавшая немцам еще с XIII (!) века Восточная Пруссия находится с 1945 года и по сей день в составе России и Польши...

Далее, упразднение в 1953 году социализма (в широком

*К этому времени уже назрел бунт в Восточном Берлине, разразившийся 17 июня.

смысле слова) в ГДР с неизбежностью должно было бы привести к установлению ее многосторонних взаимосвязей с остальной Германией и Западом вообще, — то есть к выходу из-под «контроля» СССР, а в тогдашней ситуации Восточная Германия никак не могла бы при этом быть «нейтральной» и «мирной», поскольку отнюдь не являлись таковыми отношения СССР и Запада в целом.

Наконец, нет сомнения, что выход Восточной Германии из-под контроля СССР послужил бы мощным стимулом для аналогичных устремлений в других восточноевропейских странах...

Правда, как уже сказано, фактическое вовлечение Восточной Германии — как и других стран Восточной Европы — в геополитическое поле России-Евразии было в конечном счете бесперспективно, — как, например, и аналогичное вовлечение в это поле Польши и Финляндии в начале XIX века. Стоит добавить, что столь же бесперспективным являлось (в том же конечном счете) присоединение странами Западной Европы огромных территорий на остальных континентах планеты (присоединение, которое было гораздо более длительным и тяжким для так называемых колоний Запада).

Но одно дело — дальняя историческая перспектива и совсем иное — конкретный исторический период. Наша Победа *не могла не привести* к контролю СССР над Восточной Европой (что, в свою очередь, закономерно привело к вовлечению ее в евразийское геополитическое поле); это, повторю, было ее, Победы, неизбежным следствием, — к тому же, так сказать, вторичным следствием, диктуемым общим состоянием мира после 1945 года, — состоянием, в основе которого была тотальная конфронтация США и СССР, обретшего статус второй великой державы.

Инициатива Берии (которую вскоре самым активным образом использовали для его разоблачения в качестве предателя социализма) была в то время совершенно безосновательной, и впоследствии, в 1970-х годах, В. М. Молотов, который в мае 1953-го оспорил Берию, определил причину этой его инициативы, в общем, верно: «...он (Берия. — В. К.) коренными вопросами политики не особенно интересовался, а думал: есть сила,

так нас никто не тронет. Примерно так. Во всяком случае, не углублялся в это дело»³⁶).

В высшей степени показательно, что даже и сын Берии, Серго Лаврентьевич, пришел к выводу о полной «утопичности» отцовской инициативы. В своей книге «Мой отец — Лаврентий Берия» (М., 1994) он стремится — что естественно — всячески реабилитировать и даже идеализировать ее героя и, в частности, продемонстрировать отцовскую прозорливость: так, он утверждает, что «отец был одним из инициаторов объединения Германии». Догматическая «правлящая верхушка» отвергла предложение Берии, однако почти через четыре десятка лет оно осуществилось. Но хорошо знающий историческую реальность сын Берии вместе с тем констатирует, что в США в 1950-х годах «просчитывали варианты дальнейшего развития событий и пришли к выводу — соответствующие документы были получены Советским Союзом по линии разведки, — что допустить объединение Германии по предложению СССР ни в коем случае нельзя... Фактически тогда Запад поддержал советскую правящую верхушку» (с. 362—363).

Серго Лаврентьевич написал об этом, по-видимому, для того, чтобы «возвысить» своего отца над правящей верхушкой не только СССР, но и США!.. Однако речь ведь идет не о политическом *мыслителе*, прозорливо рассуждающем о неизбежных грядущих воссоединении Германии и «возврате» Восточной Европы в свое геополитическое поле, а о государственном *деятеле*, призванном выдвигать *реалистические* решения в сфере *современной* политики; с этой точки зрения инициатива Берии была совершенно неадекватна реальной исторической ситуации, и приходится согласиться с Молотовым, который утверждал позднее: «Берия-то, в общем, мало интересовался коренными вопросами...»

Ныне, как уже сказано, многие — и, кстати сказать, самые *разные* по своим убеждениям — авторы придают существеннейшее значение бериевской инициативе 1953 года, хотя одни готовы превознести «прозорливого» Берию, другие, напротив, проклясть его как предтечу М. С. Горбачева, бездумно «подавившего» Западу ГДР. Но и то и другое — плоды поверхностного толкования истории. Помимо прочего, инициатива Берии, по всей вероятности, вообще не оставила бы заметных следов,

если бы он не был объявлен предателем и просто врагом. Ведь и Хрущев, и Молотов позднее — совершенно независимо друг от друга — свидетельствовали, что Берия, выдвинув на Президиуме ЦК утром 27 мая 1953 года свое предложение, касающееся ГДР, и получив отпор других членов Президиума ЦК, в *тот же день* отказался от своей инициативы!³⁷⁾ А всего через три недели именно Берия руководил беспощадным подавлением бунта в Восточном Берлине...

Но после осуществленного вскоре же ареста Берии (26 июня 1953 года) его «германская» инициатива была крайне раздута на заседавшем 2—7 июля Пленуме ЦК КПСС, и нынешнее весьма широкое обсуждение этой инициативы возникло именно поэтому. Словом, так пишется сегодня история...

* * *

Но обратимся к центральной проблеме — послевоенному противостоянию СССР и Запада во главе с США. В течение долгого времени это противостояние объясняли агрессивностью США, ныне же, в сущности, господствуют противоположные утверждения. Между тем объективное изучение фактов дает все основания для вывода, что так называемая *холодная война*, которая время от времени порождала на планете так называемые *горячие точки*, была всецело *обоюдным* делом. В своей уже цитированной книге бывший заместитель директора ЦРУ Рэй Клайн утверждает, что причиной «холодной войны» был-де «отказ Советского Союза действовать в духе достигнутого с Черчиллем и Рузвельтом взаимопонимания и согласия, захват им — с 1945 по 1948 год — политического и военного контроля над большей частью Восточной Европы и намерение добиться такого же контроля над Грецией, Турцией, Ираном, Югославией, Италией...»³⁸⁾

Но, во-первых, как было показано, Черчилль еще в октябре 1942 (!) года считал СССР-Россию главным врагом «союзников», и «второй фронт» был предназначен, по сути дела, не для разгрома Третьего рейха, а для недопущения России в Германию и Европу в целом. Так что те «взаимопонимание и согласие», которые будто бы определяли политику «союзников», крайне сомнительны.

Вот, например, как осуществлялось сразу после Победы

разделение оккупационных зон на территориях Германии и Австрии. «Черчилль, — констатировал британский историк Алан Тейлор, — и по этому поводу был воинственно настроен. Он даже предполагал использовать ВВС для «удара по коммуникациям русских армий, если те решат продвинуться дальше, чем предусмотрено соглашением». Фактически вовсе не русские, а именно западные союзники так поступили...» И затем именно «англичане и американцы постепенно отошли на согласованные границы, зачастую отойти пришлось почти на 120 миль» (с. 545; 120 миль — почти 200 км!).

Далее, «контроль» СССР был действительно установлен *только* на территориях, оказавшихся в зоне расположения его войск; характерно, что Клайн (см. только что приведенную цитату) исключил из подконтрольных СССР стран Югославию, откуда наши войска ушли сразу же после разгрома находившихся там германских войск, в конце 1944 года.

Наконец, тезис о «намерении» СССР установить свой контроль также и над Грецией, Италией и т. д. едва ли имел под собой реальные основания. Джилас поведал, что в феврале 1948 года, когда в Греции было достаточно мощное восстание, имевшее очевидную антиамериканскую и антибританскую направленность, Сталин безоговорочно заявил:

« — Следует свернуть восстание в Греции. — Он именно так и сказал: «свернуть». — Верите ли вы, — обратился он к Карделю, — в успех восстания в Греции?

Кардель отвечает:

— Если не усилится иностранная интервенция и если не будут допущены крупные политические и военные ошибки...

Но Сталин продолжает, не обращая внимания на слова Карделя:

— Если, если! Нет у них никаких шансов на успех. Что вы думаете, что Великобритания и Соединенные Штаты — Соединенные Штаты, самая мощная держава в мире — допустят разрыв своих транспортных артерий в Средиземном море? Ерунда... Восстание в Греции надо свернуть как можно скорее...»

И Джилас вполне разумно говорит о тогдашних намерениях Сталина: «В его расчеты не могло входить создание на Балканах еще одного коммунистического государства... Еще меньше могли входить в его расчеты международные осложнения,

которые приобретали угрожающие формы и могли если не втянуть его в войну, то, во всяком случае, поставить под угрозу уже занятые территории» (с. 130—131).

Показательно, что Кардель и, без сомнения, Джилас (в то время) как раз явно жаждали присоединить к «соцлагерю» и Грецию, и даже Италию с Францией, где, согласно приведенному выше утверждению Джиласа (сентябрь 1947 года), «имелись условия для полного захвата власти» — захвата компартиями...

Но прав был, без сомнения, Сталин, утверждавший, что США не допустят разрыва важнейших «артерий». Восточная Европа — дело другое. Алан Тейлор с присущей ему объективностью писал: «Когда рухнула власть немцев в Восточной Европе, в образовавшийся вакуум двинулась советская власть — это было неизбежным следствием победы. В политическом отношении русские во многом вели себя в Восточной Европе так же, как американцы и англичане на западе... Они отстраняли от власти антикоммунистов*, но англичане и американцы *такие же меры* принимали в Италии и Франции против коммунистов» (с. 539. Выделено мною. — В. К.). Впрочем, «такие же меры» сказано не вполне точно. «Меры» США нередко выражались в «тайных операциях» — подчас весьма коварных. Сам «цэрэушник», Клайн не без гордости сообщает в своей книге, что ЦРУ разработало «обширную программу тайных политических акций, включавшую и действия военизированных формирований... К 1953 году тайные операции осуществлялись ЦРУ в 48-ми (! — В. К.) странах» (с. 21. Выделено мною. — В. К.).

И вот что особенно показательно. Английский политолог Р.-У. Джонсон опубликовал в 1984 году статью, посвященную проблеме «тайных операций» послевоенного времени, в которой констатировал: «Не удалось обнаружить ни единой тайной операции КГБ**», сравнимой по масштабам с операциями ЦРУ. Ни одна разведка мира не может быть столь совершенной или настолько удачливой 40 лет кряду (то есть сохранить в тайне

*Нижне Тейлор пояснил: «Русские... желали безопасности, и лишь коммунисты или их попутчики могли ее обеспечить» (там же).

**Следует добавить к КГБ и предшествующие ему (до 1954 года) НКГБ и МГБ.

все свои операции с 1945 по 1984-й. — В. К.). Поэтому неизбежно напрашивается вывод о том, что КГБ крайне редко прибегает, если прибегает вообще, к тайным операциям»³⁹) (курсив мой. — В. К.).

Сопоставляя вывод Джонсона с горделивым сообщением Клайна о том, что ЦРУ только в 1945—1952 годах осуществляло «тайные операции» почти в 50 странах, приходится задуматься о сравнительной «агрессивности» СССР и США в те времена, — хотя сегодня господствует версия, согласно которой именно (или даже только) СССР был агрессивен.

Правда, стремление к прямой борьбе с «миром капитализма», убежденность в том, что великая Победа 1945 года открывает путь к переустройству мира — в конечном счете к победе социализма-коммунизма на планете в целом, — были присущи тогда вовсе не только зарубежным «интернационалистам» типа Джиласа и Карделя. В СССР было достаточно много людей, которые полагали, что «революционная война» (вместо «отечественной») стоит в повестке дня.

Имеет смысл процитировать здесь мало кому известное послевоенное стихотворение Бориса Слуцкого «Встреча» — о соприкосновении весной 1945 года с армией «союзников»:

Покамест полковники водку пьют,
Покуда смакуют виски,
Доколе пехотные песни поют
По-русски и по-английски —

Мы ищем друг друга глазами. На
Взгляд отвечая взглядом.
Вторая в моем поколенье война
Садится со мною рядом...

Не пьем. Не поем. Но молчим и молчим.
И ставим на памяти метку.
Разведка, наткнувшаяся на разведку,
Мечи, застучавшие о мечи.

Сегодня подписана и утверждена —
Сегодня! Девятого мая!
Вторая в моем поколенье война —
Третья мировая .

³⁹В первом томе этого сочинения говорилось о том, что Слуцкий горько сожалел о гибели его друга Михаила Кульчицкого на Второй, а не третьей мировой...

Могу свидетельствовать, что, скажем, в Московском университете, куда я пришел в 1948 году, такого рода настроенность была достаточно широко распространена, хотя, как мы видели, Сталин в том самом 1948-м резко заявил Джиласу и Карделю, что их революционная воинственность — «самый обыкновенный комсомольский выпад. Крикливая фраза» (впрочем, в Московском университете я и имел дело с комсомольцами...). И цитированное стихотворение никак не могло быть опубликовано в то время...

Ныне же постоянно говорится о том, что именно Сталин и его окружение якобы со дня на день готовили «третью мировую». Впрочем, прежде чем обсуждать этот вопрос, следует уяснить, что при сопоставлении тогдашних «позиций» СССР и США в отношении возможного военного столкновения необходимо осознать принципиальное различие самих этих «действующих лиц» Истории (в нынешних сочинениях эта сторона проблемы, в сущности, игнорируется).

СССР исходил в своих действиях главным образом из *политико-идеологических* соображений, сплошь и рядом пренебрегая ради них *прагматическими* «материальными» интересами (примером может служить вывоз хлеба в голодном 1946 году — о чем говорилось выше). Между тем в основе действий США лежали как раз чисто прагматические соображения, которые в конечном счете даже можно выразить в денежном, долларовом эквиваленте...

* * *

Последовательный и нередко ничем не прикрытый, «голый» прагматизм, присущий США, с давних пор вызывал неприятие или даже прямое негодование и в Европе, и в России. Еще в 1836 году, когда государству США исполнилось всего только 60 лет, Пушкин писал, что «несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских», и это исследование привело к «разочарованию»: «Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме... Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую —

подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)⁴⁰.

Эти слова Поэта многократно цитировались, но, как правило, «без комментариев»; однако взятые сами по себе, вне контекста пушкинской статьи, они способны вызвать оправданные сомнения. Да, конечно же, «эгоистический» прагматизм и подавляющая все остальное «страсть к довольству» (материальному) определяют бытие людей в США.

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно и трезво прочитать хотя бы в столь любимые многими поколениями русских мальчиков «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, изданные в 1876 году, то есть в год 100-летнего юбилея США, а в 1886-м уже появившиеся в русском переводе. Наши мальчики, правда, просто не замечали или, точнее, не осознавали (и это вполне закономерно), что в глазах очаровавшего их юного героя верховной ценностью являются *деньги*... Это можно обнаружить в целом ряде эпизодов марктвеновского повествования, а завершается оно своего рода апофеозом — герой обретает солидный счет в банке с «шестью процентами годовых»... Особенно существенно, что речь идет о *мальчике*, — то есть американское представление об «идеале» складывается уже в самом раннем возрасте...

Но, во-первых, марктвеновский герой все же обладает несомненным обаянием, и, значит, чуждый нам американский прагматизм способен чем-то уравновешиваться в исповедующих его людях... Далее, следует отдавать себе отчет в том, что качество, которое мы не принимаем в своем, родном мире, имеет существенно иное значение в ином мире, и вообще этот иной мир, объективно говоря, не «хуже» (впрочем, и не «лучше») нашего: он *другой*.

Наконец, рядом с Томом Сойером предстает Гек Финн (ставший также героем другого, целиком посвященного ему, повествования Марка Твена^{*}). «Разбогатец» вместе с Томом, Гек испытывает предельный восторг (он ведь все же американец!), но, как оказывается, не хочет и просто *не может воспользоваться своим богатством* и остается тем же, чем был, — «бродягой», скитающимся по стране вместе с негром

^{*}Издано в 1885 году и уже в 1888-м появилось в русском переводе.

Джимом (а в те времена негры являлись в США, в сущности, «недочеловеками»). Однако «прагматический» Том продолжает дружить с Гекком...

Попросту говоря, жизнь в США (как и везде) сложнее, чем может показаться. И многозначительно суждение влиятельнейшего американского писателя XX века Хемингуэя: «Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн»...»⁴¹⁾ (стоило бы, впрочем, уточнить: наиболее значительная часть этой литературы).

Но как же быть тогда с процитированным пушкинским «приговором» США? Приговор этот вынесен в статье Поэта, посвященной книге «Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера» (1830; Поэт читал ее во французском переводе, изданном в 1835-м), где была правдиво воссоздана судьба индейцев в США. «Отношения Штатов к индейским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, — писал Пушкин, — подверглись... строгому разбору... явная несправедливость, ябеда* и бесчеловечие американского Конгресса осуждены с негодованием» (там же).

Таким образом, если «неумолимый эгоизм» и «страсть к доволъству» *внутри* самого американского общества имеют те или иные противовесы (иначе оно, вероятней всего, самоуничтожилось бы...), то при соприкосновении США с каким-либо другим, чужим миром никаких сдерживающих начал нет и быть не может... Любое действие всецело определяется голым прагматизмом, основанным в конечном счете на долларовом эквиваленте. Поэтому, например, США сегодня имеют вполне «приличные» отношения с враждебной им по своей политическо-идеологической сути КНР и вкладывают в ее экономику сотни миллиардов долларов, а в то же время организуют блокаду и даже бомбардировки СФРЮ...

* * *

Но обратимся к 1940-м годам. Наиболее «впечатляющая» тогдашняя акция США — сбрасывание атомных бомб на Японию 6 и 9 августа 1945 года. И главный руководитель атомного

*Клеветнические обвинения (уст.).

проекта генерал Лесли Гровс в своей книге под названием «Теперь об этом можно рассказать» (1962) вольно или невольно поведал об истинной причине этой акции:

«Когда мы только приступали к работам в области атомной энергии, Соединенные Штаты Америки еще не планировали применения атомного оружия против какой бы то ни было державы... С течением времени, наблюдая, как проект пожирает гигантские средства, правительство все более склонялось к мысли о применении атомной бомбы»⁴²). Далее рассказано о том, как адмирал Пернелл, напутствуя перед самым вылетом для бомбардировки Нагасаки пилота Суини, спрашивает его: «Молодой человек, ты знаешь, сколько стоит эта бомба?» — и дает четкое указание: «Так вот, постарайся, чтобы эти деньги не пропали зря» (с. 284).

Поистине впечатляет то, что точно такой же подход к делу определял и выбор объектов для бомбардировок. Первоначально одним из утвержденных объектов была древняя столица Японии Киото. Однако это вызвало категорическое возражение военного министра Стимсона, который в свое время, как сообщает Гровс, «побывал там... и этот город потряс его своими памятниками древней культуры» (с. 231)*.

Жители Киото — как и Хиросимы и Нагасаки — не имели, так сказать, эквивалента в долларах, но храмы и дворцы Киото, созданные в VIII — XVII веках, этого рода эквивалентом обладали (их, в частности, можно было переместить в США, как это делалось, например, со многими памятниками архитектуры Великобритании).

В это даже нелегко поверить, но Стимсон, запретивший уничтожить Киото, молчаливо согласился с решением сбросить бомбу на Нагасаки, — несмотря на то, что при этом, сообщает Гровс, попадали «в зону непосредственного действия взрыва» несколько сотен находившихся здесь в лагере военнопленных солдат и офицеров США и Великобритании (с. 260—261)! «Несколько сотен...» Есть все основания усомниться в этом указанном Гровсом количестве погибших военнопленных в Нагасаки, ибо точно установлено, что всего в японском плену находились тогда 99 324 военнослужащих «союзников», и 25 855 из них не

*Я также был потрясен, побывав в 1988 году в Киото.

вернулись после войны⁴³). Едва ли на небольшой территории Японии были многочисленные лагеря, рассчитанные всего на несколько сотен военнопленных (ведь если в одном лагере содержались 500 человек, пришлось бы создать 200 лагерей...).

Гровс утверждает, что *правота* бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вполне доказана, «если учитывать *ценность* спасенных жизней американцев» (с. 225. Выделено мною. — В. К.), — речь идет о солдатах, которые *могли бы* погибнуть, если бы Япония через семь дней после бомбардировки Нагасаки, 16 августа, не прекратила бы боевые действия против США; однако «ценность жизней» американских военнопленных, которые неизбежно должны были погибнуть в Нагасаки, не учитывалась, так как, очевидно, была менее значительной, чем ценность тех же памятников древней культуры в Киото...

Все это, между прочим, достаточно широко известно (хотя в смысл этих событий редко вдумываются); гораздо менее осведомлены люди об истинной причине сбрасывания *второй* бомбы, — на Нагасаки. Гровс утверждает, что-де была необходимость, по его определению, «повторного доказательства» мощи нового оружия, — но это, конечно, заведомо сомнительный довод. Причина *второй* бомбардировки была позднее выявлена в книге Дж. Варбурга «Соединенные Штаты в послевоенном мире» (Нью-Йорк, 1966):

«Первая, сброшенная на Хиросиму, была урановой бомбой. В ней были относительно уверены, но, чтобы изготовить ее, потребовался *весь запас урана*, имеющийся в распоряжении Соединенных Штатов Америки. Вторая бомба, сброшенная на Нагасаки, была плутониевой бомбой, которую стремились испытать по особым соображениям: если она сработает, мог быть изготовлен *большой запас* таких бомб. И для того чтобы доказать это, примерно 100 000 японцев были убиты в Нагасаки»⁴⁴ (вместе с ними и американские солдаты).

Если *первую* бомбардировку еще можно объяснить стремлением добиться скорейшей капитуляции врага (хотя сам Гровс признал, что *главное* было в «оправдании» гигантских финансовых затрат)*, то вторая была призвана доказать эффектив-

*Атомный проект обошелся в 2 млрд. долларов, которые тогда были во много раз дороже, чем ныне.

ность плутониевой — значительно менее *дорогостоящей* — бомбы...

То, что достаточно четко проявилось в истории, связанной с атомными бомбардировками, можно обнаружить в действиях США на мировой арене вообще. Сам «принцип» поведения США на мировой арене был сформулирован еще на заре их существования. Так, один из отцов-основателей и третий по счету президент США, Томас Джефферсон, писал 1 июня 1822 года о назревавшей тогда войне в Европе: «Создается впечатление, что европейские варвары вновь собираются истреблять друг друга... Истребление безумцев в одной части света способствует благосостоянию в других его частях. Пусть это будет нашей заботой и давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки — за хвост».

Под коровой, как естественно предположить, имелась в виду Европа в целом, которая тогда была гораздо богаче, чем США, и Джефферсон, надо думать, испытал горькое разочарование, поскольку так и не дождался чаемой им войны: он умер в 1826-м, а лишь в следующем, 1827 году объединенный флот России, Великобритании и Франции разгромил в Наваринской бухте флот Турции, не желавшей дать независимость Греции.

Но стремление «доить корову», то есть сугубо материальные интересы, всегда было и остается определяющим для внешнеполитических акций США, — в том числе, как мы видели, даже в применении ядерного оружия. И следует осознать в связи с этим неадекватность прямого сопоставления действий США и СССР в их противостоянии в послевоенные годы, ибо СССР, напротив, нередко пренебрегал или даже жертвовал материальными интересами ради политико-идеологических целей, и попытки мерить действия двух держав одной мерой могут напомнить старинную поговорку о пудах и аршинах...

Естественно возникает вопрос о том, что «лучше» и что

*Эрудированные читатели могут возразить, что плутониевую бомбу, мол, зачем было испытывать, так как бомба, взорванная на полигоне в США ранее, 16 июля 1945 года, была именно плутониевой. Однако сам Гровс упомянул в своей книге (хотя и кратко), что транспортировка плутониевой бомбы (в отличие от урановой) к месту ее сбрасывания имела свои немалые трудности и даже опасности, результат этой операции нельзя было точно предвидеть, и потому была настоятельная потребность в испытании бомбы в условиях боевого применения (с. 283).

«хуже». С чисто фактической точки зрения на этот вопрос едва ли можно ответить, ибо для людей, подвергающихся насилиям и тем более погибающих в ходе какой-либо «акции», в сущности, безразлично, предпринималась ли эта акция ради создания более совершенного (с точки зрения тех, кто ее осуществлял) общества либо в чьих-то чисто материальных интересах. Но с *этической* точки зрения можно, пожалуй, утверждать, что первое имеет преимущество над вторым, — если даже признать полную *иллюзорность* замысла о совершенном обществе: ведь все-таки те, кто осуществлял акцию, могли верить (и верили!), что несут *благо* другим людям (пусть даже последние так вовсе не считали). Яркий образец иной постановки вопроса — приведенное выше напутствие пилоту, обязывающее его нанести *как можно больший урон* Нагасаки (где находятся к тому же пленные американцы...), ибо на бомбу затрачены колоссальные деньги!..

Дабы не было сомнений в том, что именно материальные интересы определяли мировую политику США, обращусь еще к знаменитому «плану Маршалла», выдвинутому государственным секретарем (то есть министром иностранных дел) США Дж. Маршаллом в июне 1947 года. Официальный его смысл заключался в «помощи» разоренной войной Европе, но, конечно, «план» давал возможность США во многом контролировать экономику, а в той или иной мере и политику стран, участвующих в этом предприятии. Однако редко говорится о кардинальной *экономической выгоде*, которую получали сами США, хотя особого секрета здесь нет.

Современный историк раскрывает наиболее существенную причину принятия решения о «плане». В мае 1947 года заместитель госсекретаря Маршалла, Клейтон, совершил поездку по Европе и в своем докладе о ней нарисовал впечатляющую картину бедственного положения европейцев... Отмечая колоссальный платежный дефицит основных стран капиталистической Европы, он предостерегал: «Крушение Европы неминуемо и катастрофически отразится на американской экономике». Вскоре после опубликования «плана», 24 июня 1947 года, видный экономист СССР академик Е. С. Варга констатировал: «Решающее значение при выдвижении плана Маршалла имело экономическое положение США», которым необходима «про-

даже излишних (в условиях капитализма) товаров за границей, не покупая одновременно на соответствующие суммы товаров из-за границы... США в собственных интересах должны дать гораздо больше кредитов, чем они давали до сих пор, чтобы освободиться от лишних товаров внутри страны...»⁴⁵) (выделено Варгой).

Как видим, эксперты США и СССР одинаково истолковали истинную цель плана Маршалла, что делает это толкование особенно убедительным. Собственные сугубо «эгоистические» интересы играют определяющую роль во всех акциях США на мировой арене; это ясно и в наши дни.

Но, даже твердо установив это, мы еще не решаем тем самым вопрос, что (говоря попросту) «лучше»: действия на мировой арене ради «выгоды» или ради какого-либо «идеала»? Об этом речь пойдет в дальнейшем.

Глава шестая

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ, ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ, СТАЛИНСКИЙ КУЛЬТ...

Как уже не раз говорилось, первые послевоенные годы — едва ли не самый загадочный период нашей истории, что, в частности, дает возможность тем или иным нынешним авторам сочинять любые небылицы об этом времени. Так, в популярном (увы) детективе Э. Радзинского «Сталин» (1997) после сообщения о двух арестованных в 1946-м и 1947 году людях автор преподносит следующее «разъяснение»:

«Вся Москва с ужасом говорила об этих арестах: неужели снова начинается 1937 год? А он уже *начался...*» (с. 568) (Выделено мною. — В. К.).

Итак, предлагается зловещая переключка: 1937—1947... Однако ведь 26 марта того самого 1947 года был издан указ об отмене в победной стране смертной казни... И есть всецело достоверные документы, свидетельствующие, что в 1948—1949 годах в стране не было вынесено *ни одного* смертного приговора. Правда, 12 января 1950 года последовал указ, восстановивший смертную казнь, — по-видимому, в связи с готовившимся тогда процессом по так называемому Ленинградскому делу (о котором еще будет речь). И в течение 1950—1953 годов имели место 3894 смертных приговора¹⁾. Конечно же, цифра страшная — в среднем около тысячи приговоров за год... Но если сопоставить ее с соответствующей цифрой 1937—1938 годов, когда было вынесено 681 692 смертных приговора, то есть около 1000 *за день* (а не за год!) — утверждение Радзинского о начавшемся в 1947 году новом «1937-м» предстает как совершенно безответственная выдумка; в сопоставленных только что цифрах, если воспользоваться модной в свое время

формулой, «количество переходит в качество». К сожалению, подобного рода выдумки внедряются в сознание людей уже более сорока лет, с 1956 года.

Нет сомнения, что в 1946—1953 годах было достаточно много всяческих жестокостей, несправедливостей, насилий. Но, как явствует из фактов, «политический климат» в стране стал значительно менее жестоким, чем в предвоенное время — не говоря уже о времени коллективизации и самой Революции.

Правителей, которые начали во второй половине 1950 годов внушать самые мрачные представления о *последних* годах жизни Сталина, еще можно при большом желании понять и «оправдать». Они стремились предстать в глазах людей в качестве спасителей страны от предшествующего — чудовищного по своим масштабам и беспощадности — *сталинско-бериевского* (как тогда утверждалось) политического террора, который к тому же с течением времени якобы все более возрастал, и если бы, мол, Иосиф Виссарионович прожил еще хотя бы год-другой или если бы власть после его смерти захватил Лаврентий Павлович, террор этот привел бы к совсем уж тотальной гибели населения...

Наиболее тщательный и вместе с тем наиболее объективный — отнюдь не закрывающий глаза на произвол и жестокость — исследователь ГУЛАГа, В. Н. Земсков, отметил, что Н. С. Хрущев «с целью помасштабнее представить собственную роль освободителя жертв сталинских репрессий написал: «...Когда Сталин умер, в лагерях находились до 10 млн. человек». В действительности же 1 января 1953 года в ГУЛАГе содержались 2 468 524 заключенных^{*}. И, сообщает В. Н. Земсков, сохранились «копии докладных записок руководства МВД СССР на имя Н. С. Хрущева с указанием точного числа заключенных, в том числе и на момент смерти И. В. Сталина. Следовательно, Н. С. Хрущев был прекрасно информирован о подлинной численности гулаговских заключенных и преувеличил ее в четыре раза преднамеренно»²⁾.

К этому суждению В. Н. Земскова необходимо добавить следующее. Хрущев, называя способную потрясти цифру «10 млн.»,

^{*} Имеются в виду «исправительно-трудовые лагеря» (ИТЛ) и «исправительно-трудовые колонии» (ИТК) в целом.

стремился к тому же внушить, что речь идет главным образом о *политических* заключенных. Правда, опасаясь, надо думать, совсем уж завратиться, Никита Сергеевич вслед за цитированной фразой о «10 млн.» оговорил: «Там (то есть в десятиmillionном ГУЛАГе. — В. К.), конечно, были и уголовники*...»³⁾, но явно хотел, чтобы это «были» понималось в том смысле, что «уголовники» составляли скромное меньшинство заключенных. Между тем в действительности доля *политических* заключенных в начале 1953 года, как это непреложно явствует из исследования В. Н. Земскова, составляла в начале 1953 года 21 процент от общего числа заключенных (ИТЛ и ИТК), — то есть немногим более 1/5... И, значит, Хрущев, который, называя цифру 10 млн. заключенных ко времени смерти Сталина, конечно же, «подразумевал», что это, главным образом, жертвы сталинско-бериевского *политического* террора, преувеличивал не в четыре, а в *двадцать* раз!

Но о политических репрессиях 1946—1953 годов мы еще будем говорить. Прежде целесообразно обратить внимание на своего рода *иронию истории*. Дело в том, что *инициатором* обличения послевоенного сталинского террора и практической ликвидации его последствий был не кто иной, как Л. П. Берия, которого затем объявили главным исполнителем злодейской воли Сталина, а во многом даже и «вдохновителем» этой воли.

После смерти Сталина Лаврентий Павлович занял второе (первое — Г. М. Маленков) место в правящей иерархии, а также возглавил новое Министерство внутренних дел, в котором соединились два ранее (с 1943 года) самостоятельных ведомства — государственной безопасности (НКГБ — МГБ) и внутренних дел (НКВД — МВД).

В наше время был опубликован ряд исследований (и, надо сказать, самых различных авторов), в которых на основе непреложных фактов показано, что именно Берия был наиболее решительным и последовательным сторонником «разоблачения культа» Сталина, для чего у него, в частности, имелись личные мотивы: в 1951—1952 годах развертывалось следствие по так называемому мегрельскому (мегрелы или, иначе, мингрелы — одно из грузинских племен) делу, которое представляло гроз-

*Которые есть в местах заключения в любой стране и при любом режиме.

ную опасность для самого Берии, принадлежавшего к мегрелам⁴). И именно он первым публично констатировал, что в стране нарушаются «права граждан», упомянув об этом в своей речи, произнесенной непосредственно над гробом Сталина 9 марта 1953 года!

Берия был официально утвержден на посту министра ВД 15 марта, но уже через десять дней, 26 марта, этот, без сомнения, энергичнейший деятель представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около *половины* людей, находившихся тогда в заключении. 27 марта проект был утвержден Президиумом ЦК и, в общем, реализован уже к августу 1953 года⁵).

Стоит сразу же сказать, что государственные амнистии отнюдь не обязательно обусловлены «гуманными» соображениями; это практикуемый с древнейших времен способ привлечения симпатий населения на сторону власти*. И, конечно же, Лаврентий Павлович ни в коей мере не являл собой «гуманиста». К тому же многие люди, в чье сознание внедрена предложенная в 1956 году картина последних лет правления Сталина, скажут, по всей вероятности, что Берия в 1953 году лицемерно освобождал тех, кого он сам же и посадил ранее...

Однако версия, согласно которой именно Берия руководил политическими репрессиями *послевоенного* периода или по крайней мере играл в них очень большую роль, совершенно не соответствует действительности, — хотя до сего дня эта версия преподносится во множестве сочинений, в том числе и в детективе Радзинского, изданном в 1997 году, когда, казалось бы, не так уж трудно было убедиться в ее вымышленности.

Имевшие место в 1953 году арест и казнь Берии, который являлся вторым лицом в государственной власти, нуждались в «оправдании», а кроме того, крайне выгодно было превратить

*Так, например, задолго до начала нашей эры царь эллинистического Египта Птолемей VIII провозгласил (цитирую) «амнистию всем за заблуждения и преступления по обвинениям, приговорам и искам всех видов вплоть до девятого числа фармути (месяц египетского календаря, соответствующий марту, — то есть имелось в виду 9 марта — как бы день сталинских похорон! — В. К.) пятьдесят второго года (почти 53-го! — В. К.), исключая лиц, виновных в предумышленном убийстве или святотатстве» (цит. по кн.: Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1964, с. 585—586). Я сознательно привел пример, в котором «даты» почти совпадают с амнистией 1953 года, чтобы показать «типичность» амнистий вообще.

его в козла отпущения, — отсюда и объявление Берии своего рода сверхпалачом, который, мол, не только выполнял, но и намного перевыполнял сталинские указания по части политических репрессий.

Дабы яснее представить себе суть дела, следует вспомнить, что после Октября 1917 года были созданы два различных ведомства — Наркомат внутренних дел (НКВД) и Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), превращенная в 1922 году в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). НКВД, в сущности, не занимался политическими репрессиями; характерно, что имена наркомов внутренних дел конца 1910-х — начала 1930-х годов — А. И. Рыков, Г. И. Петровский, В. Н. Толмачев — не несут в себе ничего «пугающего»; правда, ныне вызывает негативную реакцию имя наркома в 1923—1927 годах А. Г. Белобородова, но это обусловлено не его деятельностью на посту главы НКВД, а тем, что ранее, в 1918 году, он играл одну из главных ролей в уничтожении царской семьи.

Аббревиатура «НКВД» приобрела зловещий ореол лишь после того, как 10 июля 1934 года в НКВД влилось ОГПУ, названное теперь «Главным управлением государственной безопасности — ГУГБ»*. Во главе нового НКВД с июля 1934 года находился Г. Г. Ягода, а с 1 октября 1936-го до 7 декабря 1938-го — Н. И. Ежов, — то есть примерно по два года с четвертью каждый, после чего оба были отрешены от своих постов и затем арестованы и казнены. Берия, сменивший Ежова, призван был, как это точно известно, решительно укротить поток репрессий. Это ясно уже хотя бы из того, что в 1937 году было вынесено 353 074 смертных приговора по политическим обвинениям, в 1938-м — 328 618 таких приговоров, а в 1939-м — всего лишь 2552 и в 1940-м — 1649; к тому же значительная часть приговоренных к смерти в 1939—1940-м принадлежала к «людям Ежова» — во главе с ним самим... И их уничтожение было, очевидно, неизбежным итогом осуществлявшихся ими массовых репрессий...

Берия играл иную, в значительной мере противоположную

*Странные вещи происходят в языке: надо же было возникнуть такой дикой аббревиатуре — ГУГБ!

роль, и казнь настигла его только через пятнадцать лет после того, как он возглавил НКВД (и вовсе не за «палачество»; в 1953 году о его роли в репрессиях не было речи — эту тему выдвинули и широко развернули только в 1956 году!). Но во главе репрессивного аппарата Берия пробыл не дольше, чем Ежов: 3 февраля 1941 года, то есть спустя именно два года с четвертью после занятия Берией поста наркома, единый НКВД был опять разделен на два ведомства (таким образом, восстановился тот порядок, который имел место до июля 1934 года) — собственно НКВД, возглавленный Берией, и НКГБ, во главе которого стал бывший первый заместитель Берии В. Н. Меркулов.

Правда, разразившаяся менее чем через пять месяцев Отечественная война заставила приостановить «раздел» наркомата, но 14 апреля 1943 года, после победного перелома в Сталинградской битве и вынужденного бегства врага на запад с Ржевского рубежа, НКВД был окончательно поделен на наркоматы внутренних дел и государственной безопасности (лишь в марте 1953-го они были ненадолго воссоединены по предложению того же Берии).

Между прочим, в ходе «разоблачения» Берии в июле 1953 года А. И. Микоян, который в годы войны занимал одно из высших мест в государственной иерархии* и был, естественно, осведомлен о происходившем, засвидетельствовал: «Во время войны товарищ Сталин разделил МВД (вернее, НКВД. — В. К.) и Госбезопасность», и это «было сделано из недоверия к Берии»⁷⁾.

Мне представляется, что дело было не столько в недоверии к самой личности Берии, сколько в нежелании Сталина доверять госбезопасность на длительное время одному человеку. Сменивший Берию Меркулов был отстранен (если учитывать его первое назначение на пост наркома ГБ в феврале 1941-го) через пять лет, в мае 1946-го; те же пять лет «продержался» и его преемник — В. С. Абакумов, который, правда, был в 1951 году не только снят со своего поста, но и арестован.

Итак, еще с апреля 1943 года Берия не руководил аппаратом политических репрессий — НКГБ (с 1946-го — МГБ); до

*Он в 1942—1945 гг. входил в верховный орган — Государственный Комитет Обороны (ГОКО или ГКО), состоявший из всего восьми человек.

29 декабря 1945 года он оставался наркомом ВД, а затем покинул и этот пост, сосредоточившись на деятельности в качестве главы (с 20 августа 1945-го) «Спецкомитета» по атомной энергии.

Могут возразить, что во главе Госбезопасности с апреля 1943-го до мая 1946 года стоял его бывший заместитель (и вообще «человек Берии») Меркулов; однако теперь нарком ГБ непосредственно подчинялся не своему прежнему патрону, а «куратору» НКГБ — секретарю ЦК и начальнику Управления кадров ЦК Г. М. Маленкову. И известно, что у Меркулова сразу же возникли конфликты с Берией, которые имели весьма выразительный финал: когда Берия в марте 1953 года, после смерти Сталина, встал во главе вновь объединенного МВД-МГБ, он назначил на ответственные посты почти всех своих ближайших соратников конца 1930-х — начала 1940-х годов, однако Меркулова (несмотря на его просьбу)⁸) отверг*.

Не приходится уже говорить о последующих годах (май 1946 года — март 1953-го), когда во главе Госбезопасности стояли люди, чуждые или даже враждебные Берии, — В. С. Абакумов и, затем, С. Д. Игнатьев (о них еще будет речь). Следует также отметить, что почти все ближайшие «люди Берии» (Б. З. Кобулов, Л. Е. Влодзимирский, П. Я. Мешик и другие), занимавшие при нем высокие посты в НКГБ, в 1946 году были переведены в иные сферы деятельности.

Превращение Берии (в различных заявлениях Хрущева и других) в виновника всех политических репрессий с конца 1930-х до начала 1950-х годов, а также общая атмосфера засекреченности привели к тому, что даже, казалось бы, хорошо осведомленные авторы усматривали в Лаврентии Павловиче главного палача. Так, знаменитый писатель Константин Симонов, который в 1952—1956 годах был кандидатом в члены самого ЦК КПСС, писал в 1979 году, — притом обращаясь скорее к потомкам, чем к современникам (его мемуары были опубли-

*Особенно знаменателен следующий факт: Меркулов, устранившийся в 1946-м с поста министра ГБ, в 1950—1953 годах был министром Госконтроля СССР, а должность начальника управления кадров в его министерстве занимал другой «человек Берии» — генерал-лейтенант ГБ Л. Е. Влодзимирский. И в 1953-м, отвергнув Меркулова, Берия назначил Влодзимирского начальником следственной части по особо важным делам МВД.

ликованы через десять лет после его кончины, в 1989 году): «Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности*, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать министерства государственной безопасности и внутренних дел»⁹⁾.

Можно допустить, что Берия как-то влиял на «практику» МВД, главой которого с конца 1945 года до марта 1953-го был его бывший первый заместитель (по НКВД) С. Н. Круглов. Но нет никаких оснований полагать, что Берия в 1946—1952 годах имел возможность влиять на практику МГБ. Об этом ясно говорит, например, тот факт, что в 1951 году были арестованы по обвинению в «сионистском заговоре» оставшиеся и после 1946 года на службе в МГБ близкие Берии люди — генерал-лейтенант Л. Я. Райхман, генерал-майор Н. И. Эйтингон, полковник А. Я. Свердлов и другие — но, только став главой объединенного МВД в марте 1953 года, Берия смог освободить их из заключения и назначить на ответственные посты в своем министерстве...

Один из тех очень и очень немногих людей, которые занимали высокие должности в НКГБ — МГБ с конца 1930-х до 1953 года и вместе с тем дожили до поры широкой «гласности», генерал-лейтенант ГБ П. А. Судоплатов (1907—1996), безоговорочно утверждал, что в послевоенные годы Берия был «отстранен от курирования любых дел, связанных с Госбезопасностью»¹⁰⁾, — отметив, правда, что, поскольку Лаврентий Павлович руководил «Спецкомитетом» по атомной бомбе, он все же имел дело с МГБ — но *только* по линии внешней разведки, добывавшей сведения об атомной программе Запада (там же, с. 503).

Многое из того, что известно о Л. П. Берии, не дает основной видеть в нем (а некоторые нынешние авторы к этому склонны) «позитивную» фигуру, хотя в огромной энергии и организаторских способностях ему не отказывали подчас даже те, кто проклинал его, — как, например, академик А. Д. Сахаров, работавший восемь лет под его руководством. Но независимо

*Выражение «какое-то время» означает, очевидно, весьма недолгий период; между тем Берия, как мы видели, «не находился на посту министра ГБ» уже с апреля 1943 года, то есть за 10 лет «перед смертью Сталина»!

от личных качеств Берии сами *исторические обстоятельства* складывались так, что, будучи дважды — в декабре 1938 года и в марте 1953-го — назначаем главой Госбезопасности, он оба раза имел задачу не раздуть пламя репрессий, а, напротив, пригасить его. А между апрелем 1943 года и мартом 1953-го Берия, как уже сказано, вообще не был причастен к политическим репрессиям.

Тем не менее — и в этом со всей очевидностью выражается загадочность или, скажем так, туманность нашей истории *послевоенных лет* — о Берии и по сей день пишут как о своего рода суперпалаче того времени, прямом виновнике гибели миллионов или хотя бы сотен тысяч (это, как еще будет показано, совершенно непомерные гиперболы) политических обвиняемых, — хотя при этом обычно добавляют, что Берия выполнял — или, вернее, «перевыполнял» — указания Сталина.

О Берии как о главном палаче послевоенного времени многократно говорится в сочинении небезызвестного Волкогонова, и наиболее странен и даже курьезен тот факт, что этот автор, ранее других получивший доступ к секретным архивам, вместе с тем цитирует сохранившееся в них письмо начальника охраны Сталина, генерал-лейтенанта ГБ Н. С. Власика. В качестве одной из главных фигур ГБ он не мог не знать истинного положения вещей. А он писал, что Сталин, «находясь на юге после войны... (в ноябре — декабре 1945-го. — В. К.) дал указание отстранить Берию от руководства в МГБ»¹¹⁾ (вернее, в НКВД: официально Берия был освобожден от поста наркома ВД 29 декабря 1945 года). Тем не менее Волкогонов приписал Берии чуть ли не все политические «дела» 1946-го — начала 1953 годов!

Уже сам по себе тот факт, что главная (или, скажем, вторая по важности) роль в послевоенных политических репрессиях приписывается лицу, которое этой «деятельностью» вообще с 1943 года не занималось, неоспоримо говорит о несостоятельности множества нынешних сочинений о том времени. Вот, скажем, уже не раз упоминавшийся изданный в 1997-м опус Радзинского «Сталин», автор которого, беспардонно заявляя о своем доскональном изучении даже малодоступных архивных документов, вместе с тем утверждает, что в *послевоенные годы* «МГБ и МВД» были будто бы «ведомствами Берии» (с. 571),

между тем как Лаврентий Павлович не «ведал» МГБ (точнее, НКГБ) с апреля 1943-го, а МВД (НКВД) с декабря 1945-го!

Кто-либо может подумать о несущественности обсуждаемого вопроса и сказать примерно так: ну, допустим, репрессиями после войны заправлял не Берия, а некие другие «соратники» Сталина, но разве это столь уж важно? Дело в том, однако, что само по себе приписывание Берии главной роли в послевоенных репрессиях, к которым он непричастен, ясно говорит о заведомой *неизученности* проблемы в целом. Если имеет место столь бесосновательное представление о руководителе репрессивного аппарата послевоенных лет, вполне естественно полагать, что столь же неадекватны и нынешние представления о *самом этом аппарате* и его деятельности. Впрочем, прежде чем обратиться к этой деятельности, целесообразно прояснить вопрос о ее руководителях.

* * *

В период с середины марта до начала мая 1946 года была осуществлена кардинальная *замена* руководства Госбезопасности. Почти все «люди Берии», занимавшие ранее высшие посты в НКГБ—МГБ, получили тогда другие назначения. Более того, был освобожден от постов секретаря ЦК и начальника Управления кадров (которое «курировало» ГБ) ЦК Г. М. Маленков, занимавший эти посты с 1939 года. Нередко этот факт толкуется как «опала» Маленкова*, однако, если проанализировать ситуацию в целом, становится ясно, что дело шло прежде всего о замене руководства ГБ, а не о «гонении» на самого Маленкова. Во-первых, *именно тогда* его возвысили из кандидатов в члены Политбюро в полноправные члены, а утрата титула секретаря ЦК была через несколько месяцев (8 октября 1946 года) как бы компенсирована назначением Георгия Максимилиановича заместителем председателя Совета Министров СССР (то есть Сталина); эту честь разделяли с ним тогда всего лишь восемь лиц. Во-вторых, спустя сравнительно недол-

*В постановлении Политбюро от 4 мая 1946 года Маленков был обвинен в том, что он «не сигнализировал» о «безобразиях» в авиационной промышленности, надзор над которой был ему также поручен, но это, по существу, был только повод для отстранения его с поста секретаря «по кадрам».

гое время, 1 июля 1948 года, Маленков был вновь утвержден секретарем ЦК, — хотя и без «кураторства» над МГБ.

Вместо Маленкова курирование МГБ было поручено новому (с 18 марта 1946 года) секретарю и начальнику Управления кадров ЦК А. А. Кузнецову, который ранее был 1-м секретарем Ленинградского обкома партии. Далее, 4 мая 1946-го, был смещен со своего поста министр ГБ В. Н. Меркулов, а также переведены в другие ведомства главные его сослуживцы.

Новый (с 1946-го по 1951 год) министр ГБ, В. С. Абакумов, до 1943 года служил в НКВД под руководством Берии, но 14 апреля этого года он был назначен начальником Главного управления контрразведки (ГУКР), более известного под названием СМЕРШ («Смерть шпионам»), которое входило не в НКВД или НКГБ, а в Наркомат обороны (НКО) СССР и подчинялось непосредственно Сталину как наркому обороны; Абакумов стал тогда и заместителем наркома обороны (то есть Сталина). И закономерно возникли отразившиеся в целом ряде документов и свидетельств соперничество и даже прямая вражда Абакумова и Берии. Между тем до сего дня в сочинениях иных «историков» говорится о неизменном сотрудничестве Берии и Абакумова, — хотя давно известно, что, став снова в марте 1953 года министром внутренних дел, Берия не только не освободил из заключения (как он освободил ряд своих бывших сослуживцев) арестованного в июле 1951 года Абакумова, но, напротив, предъявил ему новое тяжкое обвинение (о чем ниже).

А после ареста Берии в конце июня 1953 года Хрущев и другие в своекорыстных целях без всяких оснований зачислили Абакумова в «сподвижники» Берии, который, как уже сказано, еще с декабря 1945 года не имел отношения к так называемым «органам». Но Хрущеву и другим, превратившим Берию в козла отпущения, очень выгодно было присоединить к нему Абакумова, дабы получилось так, что и в 1946—1951 годах всеми репрессиями заправлял Берия, — пусть и с помощью Абакумова. На деле же в репрессивном аппарате была такая верховная иерархия (вполне ясная из сохранившихся документов): министр Абакумов, секретарь ЦК Кузнецов и непосредственно над ним — сам Сталин.

Однако не прошло и трех лет, и 28 января 1949 года Кузнецов был снят с поста секретаря ЦК, 27 октября арестован и,

позднее, 1 октября 1950-го, расстрелян. МГБ вроде бы осталось без «куратора» в Секретариате ЦК. И это по меньшей мере странно. Правда, авторов многих сочинений проблема не волнует, ибо они по-прежнему считают, что МГБ бесценно «курировал» Берия.

Между тем есть достаточные основания полагать, что с декабря 1949-го до марта 1953 года «куратором» МГБ в ЦК являлся не кто иной, как Никита Сергеевич Хрущев!

Правда, прямых документальных подтверждений этого нет (или по крайней мере документы пока не обнаружены). Но, как уже отмечалось, масса документов была по указанию Хрущева уничтожена; кроме того (о чем также шла речь), в последние свои годы Сталин в особо «секретных» делах стремился обойтись вообще без документов, ограничиваясь устными директивами; наконец, разного рода косвенные подтверждения этой роли Хрущева имеются в немалом количестве.

Как известно, Хрущев с января 1938 года управлял Украиной. Но почти через двенадцать лет, в декабре 1949-го, Сталин неожиданно вызывает его в Москву, и он становится одним из пяти (Сталин, Маленков, Пономаренко, Сулов, Хрущев) тогдашних секретарей ЦК (и, одновременно, 1-м секретарем МК). Свершившееся, конечно же, было очень важной для Хрущева переменной, и в своих устных воспоминаниях, записанных в конце 1960-х — начале 1970-х годов на магнитофон, он несколько раз возвращался к этому сюжету.

По его словам, Сталин так объяснил причину и смысл его нового назначения: «У нас плохо обстоят дела в Москве и очень плохо — в Ленинграде, где мы провели аресты заговорщиков. Оказались заговорщики и в Москве...»¹²⁾ И далее: «Когда я стал секретарем ЦК ВКП(б)... Ленинградская парторганизация всю громилась. Сталин, сказав, что мне нужно перейти в Москву, сослался тогда на то, что в Ленинграде раскрыт заговор» (там же, с. 216). И в другом месте: «Сталин говорит: «Мы хотим перевести вас в Москву. У нас неблагополучно в Ленинграде, выявлены заговоры. Неблагополучно и в Москве...» (там же, с. 260) и т. п.

Едва ли есть основания истолковать все это иначе, как решение Сталина поручить Хрущеву борьбу с этими самыми «за-

говорами», для чего, понятно, Никита Сергеевич должен был опираться на МГБ, — то есть быть его «куратором».

Но Хрущев в тех же воспоминаниях утверждает, что у МГБ был тогда *тайный* куратор. Он признает, что Абакумова «Сталин назначил в Госбезопасность тогда, когда Берия был освобожден от этой работы». Но, по его словам, «Сталин мог и не знать», что «Абакумов не ставил ни одного вопроса перед Сталиным, не спросив у Берии... Берия давал директивы, а потом Абакумов докладывал, не ссылаясь на Берию» (с. 224).

И Хрущев уверяет, что «тайный куратор» Берия осуществил Ленинградское дело; сам же он ни в коей мере не был к нему причастен. Ко времени суда над «ленинградцами» Хрущев уже около десяти месяцев был секретарем ЦК, но, если верить его воспоминаниям, он не только не участвовал в этом деле, но и почти ничего о нем не знал: «...обвинили «группу Кузнецова» в Ленинграде, будто там проявили «русский национализм» и противопоставили себя общесоюзному ЦК. Что-то в этом духе, точно не помню, а документов я не видел... Со мной о «ленинградском деле» Сталин никогда не говорил» (с. 219, 225).

Итак, Сталин, призвав Хрущева в Москву для борьбы с «заговорами», или вдруг забыл об этом, или же отказался от своего намерения; правда, ни о каких иных сталинских поручениях себе как секретарю ЦК Хрущев не сообщает. Более того: он не называет и какого-либо другого секретаря ЦК, которому Сталин поручил тогда руководить расследованием «заговоров» (ведь Берия якобы занимался этим делом *тайно* от Сталина).

В своем тщательном анализе дела Абакумова, основанном на имеющихся документах, К. А. Столяров упоминает, что в декабре 1949 года Хрущев «возглавил кадровую работу в ЦК»¹³⁾, — то есть стал исполнять те функции, которые исполняли в 1939-м — начале 1946 года Маленков, а в 1946-м — начале 1949-го А. А. Кузнецов. По-видимому, из-за отсутствия точных документальных сведений К. А. Столяров не конкретизирует эту «кадровую работу» Хрущева. Вместе с тем он упоминает, что в 1951 году Сталин «создал комиссию для проверки работы МГБ в следующем составе: Маленков, Берия, Шкирятов и Игнатьев» (там же, с. 63). Но в ком-либо из членов этой временной комиссии едва ли уместно видеть *постоянного* кура-

тора МГБ; естественно как раз полагать, что комиссия так или иначе «проверяла» и «работу» куратора (то есть Хрущева).

И в высшей степени многозначительно то место книги К. А. Столярова, в котором речь идет о суде над Абакумовым* в декабре 1954 года, когда Хрущеву фактически уже принадлежала вся власть в стране. Абакумов, констатирует К. А. Столяров, «был одним из немногих, кто знал обо всех злодеяниях власти имущих, в том числе и Хрущева... я основываюсь на том, что торопил следствие и пытался форсировать события генерал-полковник Серов, человек Хрущева... Хрущев стремился как можно быстрее разделаться с Абакумовым — его расстреляли через час с четвертью после оглашения приговора... Сразу же по окончании процесса над Абакумовым Генеральный прокурор СССР Руденко позвонил из Ленинграда в Москву, рубленной фразой доложил Хрущеву о выполнении задания и спросил, можно ли закругляться... Во время этого телефонного разговора рядом с Руденко стоял Н. М. Поляков, тогда секретарь Военной коллегии Верховного суда СССР, у которого я и узнал подробности... Почему Хрущев так энергично спровадил Абакумова на тот свет? Чего он опасался? Определенно ответить на эти вопросы крайне сложно, — находясь у власти, Хрущев позаботился о том, чтобы изобличавшие его документы были уничтожены... Противозаконные действия Хрущева — тропане торная, она ждет своего исследования» (там же, с. 120, 121, 122).

Выше приводились хрущевские уверения, согласно которым он не имел ровно никакого отношения к Ленинградскому делу, даже и «документов не видел». Но на всякий случай Никита Сергеевич все же сделал следующую оговорку: «Не зная подробностей этого дела, допускаю, что в следственных материалах по нему может иметься среди других и моя подпись»¹⁴).

Как же так? «Документов не видел», а подпись под ними, «допускаю», поставил?! Или другое противоречие: Сталин переводит Хрущева (по его же признанию) в Москву секретарем ЦК из-за Ленинградского дела, но затем-де не говорит ему об этом деле ни словечка!

* Главным образом за Ленинградское дело, которое в апреле 1953 года было по инициативе Берии признано необоснованным.

Сию нескладницу можно объяснить тем, что Никита Сергеевич диктовал цитируемые фразы в возрасте около (или даже более) 75 лет, уже затрудняясь свести концы с концами, и невольно кое в чем «проговорился» об истинном положении вещей. Вот еще один вероятный «проговор» в хрущевских воспоминаниях, касающийся известного «дела врачей»: «Начались допросы «виновных», — поведал Хрущев. — Я лично слышал, как Сталин *не раз* (выделено мною. — В. К.) звонил Игнатьеву. Тогда министром Госбезопасности был Игнатьев. Я знал его... Я к нему относился очень хорошо...^{*} Сталин звонит ему... выходит из себя, орет, угрожает» и т. п. («Вопросы истории», 1991, № 12, с. 72). Естественно встает вопрос, почему Сталин неоднократно звонил министру ГБ именно в присутствии Хрущева? Не мог выбрать другое время или же специально вел эти разговоры с Игнатьевым при участии куратора МГБ?

Еще раз повторяю, что документы, которые дали бы возможность бесспорно показать «кураторство» Хрущева над МГБ в последние годы жизни Сталина, либо были уничтожены, либо вообще не существовали: сам Хрущев свидетельствовал о стремлении Сталина ограничиваться устными директивами членам Политбюро (Президиума) ЦК, и поручение Хрущеву шефствовать над ГБ, вполне возможно, никак не фиксировалось.

Выше цитировалось утверждение, согласно которому Хрущев *официально* ведал «кадровой работой», — как Маленков и, затем, Кузнецов. Но историк Ю. Н. Жуков уверяет, что еще 10 июля 1948 года Политбюро приняло решение о реорганизации ЦК, в результате чего, в частности, «Управление кадров раздробили на семь самостоятельных производственно-отраслевых отделов» (см. кн.: Н. С. Хрущев (1894—1971). М., 1994, с. 149). Не исключено, что дело обстояло именно так и Хрущев в конце 1949-го — начале 1953 года курировал ГБ не по «должности», а по личному указанию Сталина; впрочем, Никита Сергеевич мог весть тем из семи отделов, которому была поручена «отрасль» Госбезопасности...

^{*}Это, надо сказать, странно, ибо именно при министре ГБ (с августа 1951 года) С. Д. Игнатьеве «развертывались» и дело врачей, и вообще основная часть дела о «сионистском заговоре»...

На известном Пленуме ЦК в июне 1957 года, «разоблачавшем» Молотова, Маленкова и Кагановича, Генеральный прокурор Р. А. Руденко утверждал, что Абакумов организовывал Ленинградское дело «с ведома» Маленкова, но тот резонно возразил: «Почему с моего ведома, когда Абакумов не был мне подчинен?»¹⁵⁾ На том же пленуме Маленкова обвинили в том, что он однажды в «особой тюрьме» допрашивал арестованных по Ленинградскому делу людей. Маленков признал, что «выезжал в тюрьму по поручению тов. Сталина в присутствии товарищей, которые сидят здесь» (то есть других членов Политбюро 1949 года). На что последовала реплика:

«Хрущев. Я тоже здесь сижу, но я не выезжал и не знаю, кто туда выезжал».

Маленков. Ты у нас чист совершенно, тов. Хрущев» (там же, с. 48).

Маленков на этом пленуме явно опасался окончательно разгневать Хрущева**, но все же, кажется, не удержался и, как можно предположить, намекнул, что не ему, а именно Хрущеву был с декабря 1949 года «подчинен» Абакумов; при этом фраза «ты у нас чист совершенно, тов. Хрущев» явно имела противоположный смысл. Впоследствии за Маленкова (конечно, с его слов) договорил его сын Андрей Георгиевич, который писал:

«В конце сороковых годов... Хрущев занимал пост секретаря ЦК по кадрам*** и, по долгу службы контролируя деятельность репрессивных органов, нес личную вину за гибель А. Кузнецова и других ленинградских руководителей. Боясь, как бы на готовящемся судилище (в 1957 году. — В. К.) над Маленковым не всплыла его собственная неприглядная роль в «ленинградском деле», Хрущев должен был... всю вину свалить на Маленкова»¹⁶⁾.

Определенным подтверждением хрущевского кураторства над МГБ является рассказ очевидца, П. Дерябина, о том, как

*Это вполне правдоподобно, ибо А. А. Кузнецов, П. С. Попков и другие были арестованы 13 августа 1949 года, а Хрущев водворился в Москве только в декабре этого года, и члены Политбюро, в числе которых был Маленков, выезжали в «особую тюрьму» без него.

**Ведь тот вполне мог бы добиться такой же расправы над Маленковым, как в 1953—1954 годах над Берией и Абакумовым.

***Это, как уже сказано, проблематично.

после ареста Абакумова именно Хрущев объяснял, почему это произошло, сотрудникам министерства и назвал одной из основных причин «запоздалое обнаружение ленинградского заговора» (Абакумовым)¹⁷). При этом важно отметить, что Дерябин в своем рассказе преследовал цель не «обличать» Хрущева, а только сообщить его версию краха Абакумова.

В высшей степени показателен и тот факт, что после ареста Абакумова и многих его сослуживцев «освободившиеся» руководящие посты в МГБ занял, как установил первоклассный историк Г. В. Костырченко, целый ряд «людей Хрущева», переведенных в Москву с Украины (где он, как мы помним, был 1-м секретарем ЦК с января 1938 года до декабря 1949-го), — секретарь Винницкого обкома партии В. А. Голик, Херсонского — В. И. Алидин, Кировоградского — Н. Р. Миронов, Ворошиловградского — Н. Г. Ермолов, Одесского — А. А. Епишев¹⁸). Особенно многозначительна в этом отношении фигура Епишева, который с 1940 года был 1-м секретарем Харьковского обкома, а с 1943-го — членом Военного совета 40-й армии, входившей в 1-й Украинский фронт, членом Военного совета коего являлся Хрущев; после войны Епишев стал секретарем ЦК Украины по кадрам, а после перевода Хрущева в Москву, побыв краткое время 1-м секретарем Одесского обкома, отправился в столицу, — то есть двигался за Хрущевым как нитка за иголкой. И 26 августа 1951 года Епишев занял один из важнейших постов в МГБ — заместителя министра по кадрам. Не менее характерно, что в 1953-м, после того как главой МВД стал Берия, Епишев был возвращен на пост 1-го секретаря Одесского обкома (позднее Хрущев назначит его начальником Главного политического управления армии и флота). Едва ли Хрущев смог бы внедрить в 1951 году на высокие посты в МГБ такое количество «своих людей», если бы он не курировал это министерство.

Об этом свидетельствовал и П. А. Судоплатов: «Во время последних лет сталинского правления Хрущев... умудрился... внедрить четырех своих ставленников в руководство МГБ-МВД: заместителями министра стали Серов, Савченко, Рясной и Епишев. Первые трое работали с ним на Украине». Четвертый

¹⁷И. А. Серов был наркомом ВД Украины в 1939—1941 годах, В. С. Рясной — в 1943—1946-м, С. Р. Савченко — замнаркома в 1941—1949-м.

служил под его началом секретарем обкома в Одессе и Харькове» (цит. соч., с. 543—544).

Стоит еще привести хрущевскую реплику на Июльском пленуме ЦК 1953 года, посвященном «разоблачению» Берии. На нем, в частности, выступал Н. Н. Шаталин*, который с 1938 года состоял в аппарате ЦК партии и так или иначе ведал МГБ, побывав даже 1-м заместителем начальника Управления кадров ЦК. Он, очевидно, был слишком замешан в репрессивных делах, и четыре года спустя, на Июньском пленуме ЦК 1957-го, когда «разоблачались» Молотов, Маленков и Каганович, А. А. Громыко заявил, что «если бы взяла руководство в свои руки тройка (вышепоименованная. — В. К.) и их сообщники, то, наверное, опять появилась бы тень Шаталина или какого-либо его эквивалента. А этих людей не надо учить, как расправляться с кадрами»¹⁹⁾.

Но в июле 1953-го Шаталин еще не считался вершителем «расправ с кадрами» и всячески обличал на Пленуме Берию. Он заявил, в частности: «Мы в аппарате Центрального Комитета чувствовали явную ненормальность в отношениях с Министерством внутренних дел (во главе которого с марта 1953-го — то есть в течение предыдущих трех с половиной месяцев — стоял Берия. — В. К.), в особенности по работе с кадрами. Берия в последнее время настолько обнаглел, что... во многих случаях назначал и смещал людей без решения Центрального Комитета... Я пытался роптать, выражая недовольство...

Хрущев. Было это.

Шаталин. Но Никита Сергеевич мне говорил, что в *данных условиях* проявление недовольства в такой форме — это ни больше ни меньше как махание руками с оставлением их в воздухе...»²⁰⁾ (Выделено мною. — В. К.)

Шаталин в этом тексте явно сопоставлял характер контроля ЦК (вернее, соответствующего его подразделения) над «органами» до Берии и при Берии, когда он, Шаталин, и стоявший над ним Хрущев, в сущности, вообще утратили сей контроль. А из этого уместно сделать вывод, что и Хрущев, и подчинен-

*Между прочим, родной дядя С. С. Шаталина — известного «реформатора» экономики и патрона Е. Гайдара в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

ный ему Шаталин курировали (и надежно!) МГБ до марта 1953 года.

Конечно, проблема нуждается в дальнейшем исследовании, но все же есть существенные основания заключить из вышеизложенного, что с декабря 1949-го именно секретарь ЦК Хрущев — разумеется, под руководством Сталина — ведал делами МГБ, и, приписывая эту роль Берии или Маленкову, как говорится, навел тень на плетень.

Видный государственный деятель, с 1944-го по 1985 год игравший первостепенную роль в развитии экономики страны, Н. К. Байбаков, — человек, понятно, о многом осведомленный, — впоследствии писал: «Кляня и понося Сталина... кликушески разоблачая его культ, Хрущев... отводил обвинения прежде всего от самого себя... Именно он известен массовыми «московскими (1936—1937 годов. — В. К.) процессами» над «врагами народа», разоблачениями и расстрелами, в которых он был одной из самых ответственных инициативных фигур. Это он — главный зачинщик массового террора на Украине... громче всех и яростней всех разоблачал, арестовывал и казнил людей... на Украине, а потом (с декабря 1949-го. — В. К.) в Москве... Нужно было отвлечь внимание людей от себя, от личной причастности к произволу... и Хрущев... поспешил стать в позу некоего верховного судьи всего «сталинского времени»...»²¹⁾

И если это так, Хрущев всецело разделяет со Сталиным ответственность за репрессии начиная с декабря 1949-го, в том числе за Ленинградское дело и «многоплановое» дело о «сионистском заговоре». Поскольку Никита Сергеевич был склонен ко всякого рода «импровизациям», он, например, 29 августа 1956 года — то есть через полгода после зачитанного им на XX съезде КПСС резко «антисталинского» доклада, — беседуя с прокоммунистическими гостями из Канады, неожиданно выразил свое полное согласие со Сталиным по одному из главных обвинений в адрес «сионистов»:

«Когда из Крыма выселили татар, — заявил Хрущев, — тогда некоторые евреи начали развивать идею о переселении туда евреев, чтобы создать в Крыму еврейское государство. А что это было бы за государство? Это был бы американский плацдарм на юге нашей страны. Я был против этой идеи и пол-

ностью соглашался в этом вопросе со Сталиным»²²⁾ (выделено мною. — В. К.).

Впоследствии Хрущев в своих надиктованных воспоминаниях утверждал нечто прямо противоположное. Речь шла об одном из ответвлений «сионистского заговора» — группе евреев, работавших на Московском автозаводе имени Сталина (ЗИС), главой которой считался помощник директора завода А. Ф. Эйдинов. «Дело» этой группы исследовано Г. В. Костырченко, в книге которого приводятся, в частности, «зафиксированные» МГБ слова главного ревизора ЗИСа, Е. А. Соколовской: «Советским евреям не нужен маленький неблагоустроенный Биробиджан. Это унижительно для евреев. Нужно создать союзную еврейскую республику в Крыму...»²³⁾

Хрущев в своих воспоминаниях поведал: «Когда я вернулся в Москву (в декабре 1949-го. — В. К.), были проведены большие аресты среди работников ЗИСа (автомобильного завода имени Сталина). Возглавлял «заговорщическую организацию американских шпионов» помощник директора ЗИСа Лихачева. Не помню сейчас его фамилии (Эйдинов. — В. К.), но я лично знал этого паренька — шупленького, худенького еврея... Я и не знал, что он является, как его потом обозвали, главой американских сионистов... Но с зисовцами расправились. Абакумов, то есть нарком (министр. — В. К.) Госбезопасности, сам вел дознание... И все они были расстреляны*. Вот какая существовала в Москве атмосфера в то время, когда я вторично приехал туда с Украины»²⁴⁾.

Бедный Никита Сергеевич, вынужденный жить в Москве, где такая мрачнейшая атмосфера! Впрочем, он запомнил, что она, как явствует из сохранившихся все же документов, не помешала ему действовать очень энергично и в хорошем темпе:

«В феврале 1950 года (то есть вскоре же после перевода в Москву. — В. К.) Сталин назначил Хрущева председателем комиссии по расследованию положения дел на ЗИСе. Оперативно была проведена проверка и подготовлена итоговая записка, в

*В действительности из 48 человек (42 из них — евреи), арестованных по делу ЗИСа, были расстреляны 10 человек; многие были приговорены к длительным срокам заключения (см. Костырченко Г. В., цит. соч., с. 264, 266).

которой предлагались самые радикальные и суровые меры. И тогда Сталин приказал МГБ действовать. 18 марта 1950 года забрали на Лубянку Эйдинова... Потом в течение нескольких месяцев арестовали десятки других работников завода»²⁵), и в ноябре того же года были вынесены «самые суровые» приговоры*.

И многозначительно, что даже еще в августе 1956 года (см. выше цитату из беседы с канадцами) Хрущев был «полностью согласен» с обвинениями по адресу «некоторых евреев», желавших создать свое государство в Крыму, — согласен, видимо, потому, что шестью годами ранее сам принимал решения по делу о «сионистском заговоре».

Версия о главной (помимо Сталина) роли Хрущева в репрессиях 1950-го — начала 1953-го годов, как нетрудно предвидеть, может многим показаться неубедительной, — тем более что она высказана здесь с такой определенностью впервые. В частности, в массовом сознании еще присутствует (и выражается в целом ряде нынешних сочинений) представление, согласно которому решающее значение в этих репрессиях имели действия (пусть хотя бы «тайные») Берия; но не следует забывать, что данную версию выдвинул именно Хрущев, и в связи с этим уместно вспомнить об известной уловке — громком крике «держите вора!».

В последнее время истинная роль Хрущева в «деятельности» МГБ в 1950 — начале 1953 года начинает осознаваться в историографии. Так, автор ряда серьезных исследований О. В. Хлевнюк писал в 1996 году о том, как вел себя Берия после назначения его в марте 1953-го министром объединенного МГБ-МВД: «Гласное и даже демонстративное прекращение «дела врачей» (по инициативе, как подчеркивалось в газетных сообщениях, МВД) не только позволяло рассчитывать на сочувствие интеллигенции, но было хорошим поводом для кадровой чистки МВД от «чужих людей». Автоматически под удар попадал Хрущев, сторонники которого занимали многие ключевые посты в МГБ в период фабрикации «дела врачей». (Не

*Сопоставление фрагментов воспоминания Хрущева о деле ЗИСа и реального хода дела, ясного из документов, обнажает беспардонную лживость Никиты Сергеевича, полагавшего, очевидно, что все документы уничтожены.

случайно Хрущев сделал все возможное для оправдания прежнего министра Госбезопасности С. Д. Игнатьева)»²⁶⁾

Нельзя не сказать об еще одном многозначительном факте. В своих очень пространных воспоминаниях Хрущев подробно рассказывает о своей деятельности до декабря 1949 года и после марта 1953 года, повествуя об этом трехлетнем периоде, так же подробно характеризует действия целого ряда лиц, но о своих собственных почти не упоминает, представляя скорее в качестве «созерцателя», чем деятеля. Весьма показательны с этой точки зрения названия глав, посвященных времени конца 1949-го — начала 1953 годов: «Вокруг известных личностей», «Берия и другие», «Семья Сталина», «Мои размышления о Сталине», «Еще раз о Берии» и т. п. Все это по меньшей мере странно...

Подробное обсуждение роли Хрущева в репрессиях начала 1950-х годов имеет важный смысл вовсе не потому, что дает основания для дискредитации этого деятеля; оно необходимо для верного понимания всей исторической ситуации в период с конца 1940-х и до начала 1960-х годов.

Дело в том, что Хрущев, стремясь представить себя спасителем страны от чудовищной по масштабам послевоенной репрессивной политики Сталина и якобы «помогавшего» ему (и даже превосходившего его по жестокости) Берии, крайне *преувеличил* политический террор того времени, утверждая, например, что к моменту смерти Сталина имелись 10 миллионов заключенных, — притом в основном политических. В действительности их было, как уже сказано, в 20 раз меньше, а тех из них, кто был приговорен к длительным срокам заключения, — в 45 раз меньше! В строго секретном документе МВД, составленном в марте 1953 года, констатировалось, что «из общего числа заключенных количество особо опасных государственных преступников... составляет всего 221 435 человек»²⁷⁾, притом большинство из них были осуждены не в последние годы жизни Сталина, а еще в конце 1930-х, или во время войны, или же сразу после ее окончания (об этом — ниже).

Поэтому версия, согласно которой с конца 1949-го и до смерти Сталина «работой» МГБ руководил Хрущев, вовсе не означает, что при его участии было репрессировано по политическим обвинениям огромное количество людей, ведь 10 мил-

лионов заключенных (в основном политических) — это его, Хрущева, вымысел, призванный показать, от какого безмерного ужаса он избавил страну...

Словом, изложенные выше соображения о том, что именно Хрущев с конца 1949 года до начала 1953 года играл в репрессивном аппарате ту роль, которую он без всяких оснований приписывал (для этих лет) Берии, не превращает его в «сверхпалача», каким сам Хрущев изображал Берию.

Но причины этого отнюдь не в личных качествах Хрущева, а в изменении самого «политического климата», совершившемся в послевоенные годы. В 1946 году по политическим обвинениям были осуждены 123 294 человека, в 1947 году количество политических приговоров снизилось более чем в полтора раза (78 810), а в 1952-м (по сравнению с 1946-м) более чем в четыре раза (28 800)²⁸.

Между тем до сего дня многие сочинения так или иначе внушают читателям, что Сталин в последние свои годы становился все более свирепым. Сразу же следует сказать, что причины сокращения политических репрессий вовсе не в «смягчении» самого Сталина (*лично он, как явствует из ряда фактов, отнюдь не «смягчился» в свои предсмертные годы*), но в эволюции режима в целом, в конечном счете — в ходе самой истории. Попытки объяснить этот ход теми или иными «изменениями» в индивидуальном сознании и поведении Сталина — все тот же культ личности...

Поскольку этот культ Сталина «наизнанку» все еще тяготеет над сознанием людей, послевоенное время предстает в нынешних сочинениях как чуть ли не «апогей» политических репрессий.

* * *

Обращусь в связи с этим к недавней (1997 года) обширной статье под названием «ГУЛАГ: государство в государстве», посвященной в основном именно послевоенному периоду и принадлежащей перу профессионального историка — кандидата исторических наук Г. М. Ивановой. Смущает уже хотя бы тот факт, что она ссылается как на якобы достоверный «источник» на очень популярные лет десять назад сочинения Антона Антонова-Овсеенко, сына известнейшего революционного деятеля,

сыгравшего, кстати сказать, немалую роль в репрессиях 1920—1930-х годов, а затем расстрелянного; сын его оказался в ГУЛАГе в качестве ЧСИР («член семьи изменника родины»).

Между прочим, в кратком предисловии к одному из сочинений А. Антонова-Овсеенко доктор исторических наук В. Логинов справедливо заявил, что в это сочинение, кроме изложения реальных фактов, вошел (цитирую) «целый пласт изустных рассказов и преданий», характерных «для сталинских времен», — хотя и сей «пласт» представляет «ценность как отражение эпохи в сознании ее современников»²⁹⁾.

Несомненно, что это «сознание современников», эти «изустные предания» заслуживают и внимания, и изучения, но вместе с тем необходимо все же принципиально разграничивать историческую реальность и то или иное ее «отражение в сознании современников», и В. Логинов совершенно правильно счел для себя обязательным ввести процитированные слова в свое предельно лаконичное (полстраницы) предисловие к сочинению Антонова-Овсеенко.

Среди современников «сталинской эпохи» были люди, воспринимавшие всю ее как эпоху тотального «уничтожения народа», и Антонов-Овсеенко утверждал в сочинении, о котором идет речь, что Сталин-де сумел «уничтожить» в 1929—1933-м (то есть в годы коллективизации) 22 миллиона человек, сталинский террор 1937-го и соседних годов «унес еще 20 миллионов... А впереди — война, с десятками миллионов н а п р а с н ы х (выделено Антоновым. — В. К.) жертв, и новая полоса репрессий»³⁰⁾ (то есть уже послевоенных).

Цифры эти — плод безудержной фантазии. Согласно всецело достоверным новейшим подсчетам³¹⁾, в начале 1929 года население СССР составляло 154,6 млн. человек, а в начале 1939-го людей старше 10 лет было 129 млн.; таким образом, за десять лет умерли от *всех* возможных причин 25,6 млн. человек, и, если бы даже никто из них не умер «своей смертью», все равно 42 млн. не получается.

Из этого вроде бы ясно, что нет смысла опираться на сочинения Антонова-Овсеенко как на сколько-нибудь достоверный «источник». Однако, как ни странно, профессиональный историк Г. М. Иванова находит возможным ссылаться на «сведения» Антонова-Овсеенко. Он утверждал, например, что «враги

народа», которых в послевоенные годы отправлял в ГУЛАГ, по убеждению Антонова, конечно же, не кто иной, как Берия*, могли прожить в созданных там условиях «не более трех (выделено самим Антоновым. — В. К.) месяцев»³²). Цитируя это «свидетельство», Г. М. Иванова делает из него следующий вывод:

«Видимо**», именно этим обстоятельством в первую очередь можно объяснить большую текучесть лагерных кадров. Например, в 1947 году ГУЛАГ принял 1 490 959 вновь осужденных, выбыли из ГУЛАГа за тот же период 1 012 967 заключенных... Примерно та же картина наблюдалась и в другие годы...»³³) (то есть в 1948—1952-м).

«Картина», конечно же, чудовищная, способная сокрушить душу, — особенно если учитывать, что в той же статье, признавая факт наличия заключенных не только в СССР, но и «в каждой стране», историк Г. М. Иванова говорит о специфической роли наших мест заключения, которые, по ее словам, имели целью «уничтожать в зародыше... ростки инакомыслия и вольнодумства» (с. 216). Из этого суждения читатель, вполне естественно, сделает вывод, что ГУЛАГ заполняли в 1947-м, 1948-м и последующих годах *политические* заключенные, которые в силу специально созданных лагерных условий за три месяца превращались в трупы...

Итак, если верить Ивановой, в послевоенном ГУЛАГе погибал примерно миллион заключенных за год... Вопиющая абсурдность сей «картины» неопровержимо обнаруживается в том, что, согласно всецело достоверным подсчетам, к 1948 году в СССР имелось 121 млн. 141 тыс. людей старше 14 лет, а через пять лет, к началу 1953-го, их осталось 115 млн. 33 тысячи³⁴), то есть за эти пять лет в стране умерли 6 млн. 108 тысяч человек (не считая детских смертей), но, если верить Ивановой, примерно 5 млн. из них умерли не «своей» смертью, а были фактически *убиты* в местах заключения.

Абсурдность в данном случае очевидна, ибо получается,

*Говоря о (по его определению) «истребительной войне против собственного народа», одним из «пиков» которой был, по его мнению, «1948 год», А. Антонов-Овсеенко подчеркивает: «Главным экзекутором Сталин избрал именно его, Лаврентия Берия» (Берия: конец карьеры. М., 1991, с. 104), между тем как тот уже пять лет не имел отношения к репрессиям.

**Это словечко (и на том, как говорится, спасибо) выражает определенное сомнение...

что, если бы 5 млн. людей не были погублены в ГУЛАГе, за пять лет (1948—1952) из 121,1 млн. людей умерли бы всего лишь 1,1 млн. человек, — в среднем за один год 220 тысяч, то есть 0,18 процента... Между тем в современных США, например, умирает в течение одного года в среднем 0,9 процента населения — то есть в пять раз большая доля! И, конечно же, из 6,1 млн. умерших в СССР в 1948—1952 годах людей только очень незначительная часть умерла в заключении, ибо в действительности слово «выбыли» по отношению к заключенным вовсе не означало «умерли». В 1947 году (о чем подробнее ниже) умерли не 1 012 967 заключенных, а 35 668 — почти в 30 раз (!) меньше³⁵). Люди «выбывали» — что вполне естественно — по истечении срока заключения. Во многих нынешних сочинениях утверждается, что для послевоенного времени был типичен почти «вечный» срок заключения — 25 лет. Но вот рассекреченные сведения о заключенных, относящиеся к 1951 году: имели сроки свыше 20 лет всего 4,8 процента заключенных, а сроки от 1 до 10 лет — 81,9 процента³⁶). Кстати сказать, в 1947 году заканчивались десятилетние сроки многих из тех, кто был репрессирован в 1937 году, и поэтому нет оснований удивляться множеству «выбывших» в 1947-м из ГУЛАГа.

Правда, в 1948 году в связи с общим обострением (о чем ниже) политической ситуации некоторые из уже отбывших свои сроки заключения людей были возвращены в ГУЛАГ; в литературе нередко употребляется возникшее тогда слово «повторники». Но количество этих людей склонны очень сильно преувеличивать: речь идет чуть ли не о миллионах... Между тем, согласно точным сведениям, количество политических заключенных к 1949 году увеличилось, в сравнении с началом 1948-го, всего на 4540 человек³⁷).

Но вернемся к статье Г. М. Ивановой — и не потому, что это какая-нибудь оригинальная статья, а как раз из-за ее типичности для нынешней историографии послевоенного периода*.

*Вполне вероятно недоумение в связи с тем, что я не обращаюсь к широко известному трехтомнику А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», изданному у нас в 1989 году. Но нельзя не оценить, что сам Александр Исаевич дал этому трехтомнику многозначительный подзаголовок: «Опыт художественного исследования», и нелегко, да и как-то неловко выявлять и отделять «художественное» от «исследовательского» в его «Архипелаге». Между тем Иванова претендует именно и только на исследование.

К сожалению, уже процитированные и многие другие положения этой статьи не выдерживают элементарной проверки фактами — и, как говорится, по всем параметрам.

В самом начале своей статьи Г. М. Иванова говорит о премуществвах «современного историка»: «Сегодня в его распоряжении огромный корпус ранее засекреченных документов» (с. 207). Однако сама она этим «корпусом» почти не пользуется, а подчас ссылается на «сведения», подобные процитированному ею «преданию» из сочинений Антонова-Овсеенко... И вот ряд безосновательных положений ее статьи (что характерно и для многих других нынешних авторов).

1) Сообщая, что в 1947 году были осуждены 1 490 959 человек, Г. М. Иванова явно стремится внушить, что речь идет о *политических* обвиняемых (например, по ее словам, об «инакомыслящих и вольнодумцах»). На самом деле, как очевидно из уже пять лет назад рассекреченных документов МГБ (а в этом ведомстве велся строжайший учет), по политическим обвинениям в 1947 году были осуждены 78 тыс. 810 человек — то есть всего лишь 5,2 процента от общего количества осужденных в этом году³⁸). Обилие осужденных в целом объясняется тем, что в 1947 году был принят «Закон об усилении ответственности за имущественные преступления», — закон, без сомнения, очень жестокий: даже за мелкие хищения государственной, общественной и личной собственности предусматривалось заключение — нередко весьма длительное — в лагерях и колониях. Дело в том, что война, которая довела миллионы людей до крайней нищеты и даже ставила их на грань голодной смерти, а кроме того, подрывала в их сознании элементарные моральные нормы, породила чрезвычайно широкую волну всякого рода хищений, и государство стремилось подавить эту волну, правда, — что нельзя отрицать — нередко поистине беспощадными мерами. И, скажем, в январе 1951 года в местах заключения находились 1 млн. 466 тыс. 492 человека, осужденных за всякого рода «имущественные» (а вовсе не политические!) преступления.

Нельзя не заметить, что Иванова, явно противореча своей собственной — сугубо тенденциозной — *общей* постановке вопроса, упомянула все же, что начиная с 1947 года «колхозник, укравший мешок картошки, стал... едва ли не *главной* фигурой ГУЛАГа» (с. 224); то есть в лагерь отправлялись, в абсолютном

большинстве, не политические обвиняемые (они составляли в 1947 году, как сказано, всего только *пять* с небольшим процентов осужденных), а разного рода расхитители, — правда, нередко слишком жестоко караемые...

К 1959 году — то есть через двенадцать лет после принятия закона 1947 года и через шесть лет после смерти Сталина — количество заключенных по этого рода обвинениям сильно сократилось, но все же составляло 536 тыс. 839 человек!³⁹⁾

Тем, кто незнаком с криминальной статистикой, приведенные цифры могут показаться слишком грандиозными, но, согласно опубликованным в 1990 году сведениям, количество осужденных, скажем, в 1985 году, когда не было государственного «беспредела», составляло 1 млн. 269 тыс. 493 человека⁴⁰⁾, — то есть ненамного меньше, чем в 1947 году, который Г. М. Иванова пытается представить как своего рода беспрецедентный по обилию оказавшихся осужденными людей.

2) Самое нелепое и, надо прямо сказать, постыдное в статье Ивановой (о чем уже шла речь) — попытка внушить читателям, что в 1947-м и последующих годах в ГУЛАГе-де умирало по миллиону человек. Ибо известны точные сведения: в 1947-м умерли 35 668 лагерных заключенных⁴¹⁾, то есть 2,3 процента от тех 1 490 599 людей, которые были отправлены в 1947 году в ГУЛАГ. Напомню, что именно в том году страна пережила наиболее тяжкий голод, который, вполне понятно, не мог не повлиять и на судьбу заключенных; так, в течение 1946 года (голод в стране достиг высшей точки только в его конце) в ГУЛАГе умерло почти в два раза меньше людей, чем в 1947-м, — 18 154 заключенных*.

3) Г. М. Иванова определяет послевоенный ГУЛАГ как «символ массового беззакония», «преступного нарушения прав человека», «чудовищную по своей жестокости и масштабам политику» и т. п. (с. 209). Нет сомнения, что эти определения уместны по отношению к тем или иным конкретным фактам из «практики» МГБ и МВД 1946—1953 годов. Но объективное изучение реального положения дел показывает, что по сравне-

*Поскольку в 1948—1952 годах голода не было, уместно предположить, что в эти пять лет умирали не более 18 тысяч заключенных за год, — то есть в целом 90 тысяч, а не те 5 миллионов, на которые «намекнула» Иванова, увеличив тем самым количество лагерных смертей в 55 раз!

нию с непосредственным временем революции и гражданской войны, коллективизацией и тем, что называют обычно «тридцать седьмым», в послевоенные годы была уже совершенно иная ситуация.

Кстати сказать, это признает в некоторых фразах своей статьи сама Иванова, правда, делая это как бы сквозь зубы или даже тенденциозно перетолковывая сообщаемые ею факты. Так, например, она говорит об указе 1947 года об отмене смертной казни, но тут же утверждает, что указ этот-де только «ухудшил» положение: «...отмена смертной казни развязала руки уголовному миру» (с. 227). Далее, сказав о восстановлении смертной казни 12 января 1950 года, она сообщает, что за следующие четыре года «были расстреляны около четырех тысяч человек, осужденных за контрреволюционные и государственные преступления» (с. 231), но не считает нужным напомнить читателю, что в иные довоенные годы выносилась не одна тысяча, а по три сотни тысяч смертных приговоров!

Но важнее всего другое. По сути дела, абсолютное большинство заключенных послевоенных лет предстает в статье Ивановой как абсолютно безвинные жертвы «массового беззакония», «преступного нарушения прав человека» и т. п., к тому же само их количество, по ее определению, — «чудовищное по масштабам» (хотя, как уже сказано, количество осужденных в 1985 году при Горбачеве было почти таким же, как в 1947-м при Сталине...). И вообще сами лагеря существовали в 1946—1953 годах для того, чтобы, по словам Ивановой, «уничтожать» в стране «инакомыслие и вольнодумство». Правда, в одной уже цитированной беглой фразе она сообщает, что с 1947 года «главной фигурой ГУЛАГа» был не кто иной, как расхититель, но это сообщение, в сущности, полностью заглушается громогласными общими положениями о «массовом беззаконии», «преступном нарушении прав» и т. п.

Да, хищения карались нередко слишком жестоко, и это понятно: «революционная» беспощадность еще не была изжита*.

*Она давала о себе знать даже и в начале 1960-х годов, когда, например, были вынесены смертные приговоры за валютные махинации, к тому же соответствующий указ приняли задним числом (ранее за спекуляцию валютой «полагалось» всего три года заключения), то есть приговоры являлись вопиющими проявлениями беззакония.

Но жестокий закон о хищениях, принятый в 1947 году, был все же законом, последствия нарушения которого были доведены до сведения населения, и поэтому многие сотни тысяч осужденных расхитителей некорректно называть жертвами «преступного нарушения прав человека».

4) Но обратимся к *политическим* заключенным. Всего за семь лет (1946—1952) по политическим обвинениям были осуждены 490 714 человек, из которых 7697 (1,5 процента) получили (в 1946-м — начале 1947-го и в 1950—1952-м) смертные приговоры, 461 017 человек отправлены в заключение, остальные — в ссылку⁴²).

Цифры, конечно же, страшные*, но следует знать, что большинство этих людей были репрессированы за *сотрудничество с врагом* во время войны; характерно, что более 40 процентов из этого количества были осуждены за первые два года из семи (1946-й и 1947-й). Об этом (поскольку невозможно отрицать бесспорные факты) говорит в своей статье и Иванова, но говорит весьма «специфически»: «...в первые послевоенные годы наметилось явное ужесточение карательной политики, острее которой репрессивные органы направили в *первую очередь* против тех, кто по разным причинам общались или сотрудничали с неприятелем» (с. 217. Выделено мною. — В. К.).

Здесь особенно фальшиво слово «общались», ибо оно, в сущности, внушает, что за любое «общение с неприятелем» жестоко карают. Заведомая фальшь состоит в том, что ведь так или иначе «общались с неприятелем» *десятки миллионов* людей, оказавшихся на оккупированных территориях...

Но хуже всего то, что Иванова определяет репрессии в отношении сотрудничавших с неприятелем людей как «ужесточение карательной политики», присущее, мол, только нашей ужасной стране. Ведь она вроде бы не может не знать, что после войны и в европейских странах жестоко карали так называемых *коллаборационистов* (от франц. слова «сотрудничест-

*Вместе с тем ясно, что совершенно не соответствуют исторической реальности многие сочинения, так или иначе внушающие читателям представление, согласно которому ко времени смерти Сталина *политические* заключенные являли собой огромную долю населения страны; в действительности в начале 1953 года они составляли всего лишь 0,3 процента населения СССР.

во»), хотя, если вдуматься, для этого на Западе было гораздо меньше оснований, чем в нашей стране. Так, например, во Франции были приговорены к смертной казни даже глава государства в 1940—1944 годах Петен* и премьер-министр в 1942—1944-м Лаваль, хотя ведь страна официально капитулировала 22 июня 1940 года и в основном вошла в Третий рейх.

Принципиально иное значение имело сотрудничество с врагом тех или иных людей в нашей стране, которая четыре года сражалась с этим врагом не на жизнь, а на смерть. Поэтому усматривать (как это делает Иванова) некое уникально бесчеловечное «ужесточение карательной политики» в том, что в нашей стране пособников врага отправляли в заключение, можно только с заведомо тенденциозной точки зрения, которая, по сути дела, продиктована стремлением в наибольшей степени очернить жизнь страны в те времена. Еще раз повторю: репрессии в отношении пособников врага в СССР были, если угодно, гораздо «законнее», чем подобные репрессии в той же Франции, которая ведь в целом покорилась в 1940 году новой европейской империи.

Нельзя отрицать, что репрессии в отношении пособников врага были в СССР нередко чрезмерно жестокими, но порожденная мировой войной жестокость имела место, как видим, вовсе не только в нашей стране, и попросту безнравственно применять пресловутый *двойной счет* (как поступают многие и «туземные», и зарубежные авторы), — счет, по которому то, что делается на Западе, — как бы «нормально», а то, что у нас, — ничем не оправдываемая жестокость.

Как уже сказано, по политическим обвинениям были осуждены в 1946 — 1952 годах 490 тысяч человек, преобладающее большинство которых обвинялось в сотрудничестве с врагом; не исключено, что такое количество пособников врага (а даже Г. М. Иванова признала — хотя и в одной беглой фразе, — что политические репрессии были тогда направлены «в первую очередь» против тех, кто «сотрудничал с неприятелем») предстает слишком уж громадным.

* Правда, поскольку Петену было уже 89 лет, казнь заменили пожизненным заключением, и этот коллаборационист прожил еще шесть лет в тюрьме.

Но, как ни прискорбно, одна только «численность воевавших на стороне гитлеровских войск национальных формирований из числа народов СССР была свыше 1 млн. человек» (по разным подсчетам — от 1,2 до 1,6 млн.)⁴³), притом именно непосредственно *воевавших* на стороне врага, а не просто «сотрудничавших» с ним. Так что большое количество репрессированных за сотрудничество с врагом вполне объяснимо...

Скрупулезный и истинно объективный исследователь ГУЛАГа В. Н. Земсков показал, что едва ли не большинство политических заключенных послевоенных лет принадлежали к тем народам, которые надолго оказались на *оккупированной* врагом территории страны (украинцы, прибалты, молдаване и др.)⁴⁴) и имели, так сказать, полную свободу сотрудничества с врагом...

Это не значит, что в те годы вообще не было иных политических репрессий (и ниже о них еще пойдет речь), но по сравнению с довоенным временем масштабы таких репрессий очень значительно сократились, а кроме того (о чем уже сказано), кардинально сократилось количество смертных приговоров. Притом значительная часть этих приговоров приходится на действительных преступников, перешедших на сторону врага в годы войны. Расследование их дел нередко затягивалось, так, например, не столь давно были опубликованы материалы дела двух агентов врага, П. И. Гаврина и Л. Я. Шиловой, которые были переброшены через линию фронта 5 сентября 1944 года, тут же арестованы, но приговорены к смертной казни только 1 февраля 1952 года, поскольку наша контрразведка стремилась выявить их связи с другими агентами⁴⁵). И этого рода затянувшихся дел было много, так что из общего числа 1612 лиц, которым в 1952 году были вынесены смертные приговоры по политическим обвинениям, немалую долю составляли доподлинные враги.

* * *

В связи с вышеизложенным нельзя не затронуть еще одну острую проблему — *переселение* («депортацию») на восток страны ряда народов, обвиненных в сотрудничестве с врагом, — начиная с издавна живших в России немцев, которые после 1917 года создали «Автономную советскую республику

немцев Поволжья». Здесь опять-таки встает вопрос о «двойном счете».

Скажем, в изданном массовым тиражом в 1993 году трехтомнике под названием «Так это было. Национальные репрессии в СССР. 1919—1952 годы» Указ от 28 августа 1941 года о переселении немцев Поволжья толкуется как совершенно беспрецедентная акция, возможная лишь в нашей чудовищной стране и к тому же направленная-де именно против *нации*, то есть имеющая смысл геноцида*. Особенно неслыханно, мол, следующее (цитирую указанное издание «Так это было»): «Задолго до прихода оккупантов были приняты срочные ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ (так и набрано — заглавными буквами. — В. К.) меры в отношении советских немцев Поволжья... Всех — на восток». Такова «грань нашей советской истории». (Указ. изд., т. 1, с. 12, 19).

И ведь в самом деле враг подошел близко к Республике немцев Поволжья лишь спустя год, и «предупредительная» репрессия вроде бы может быть истолкована в плане «дикости» нашей «ненормальной» истории. Однако ведь после нападения Японии 7 декабря 1941 года на военно-морскую базу США на Гавайских островах, расположенных в 3500 км (!) от берегов Америки, было обращено сугубое внимание на лиц японского происхождения, живших в этой многоэтнической стране:

«19 февраля 1942 г. президент отдал распоряжение о водворении 112 тыс. таких лиц (имелись в виду все находившиеся в США. — В. К.) в специальные концентрационные лагеря (а не переселение их на запад страны! — В. К.). Официально это объяснялось угрозой японского десанта на Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов. Солдаты американской армии при содействии местных властей быстро провели эту операцию. В лагерях был установлен жесткий режим»⁴⁶).

Предположение о японском десанте на территорию США было совершенно безосновательным, а в СССР враг за два месяца, к 28 августа 1941 года (когда был издан указ о поволжских немцах), уже продвинулся на 600 — 700 км в глубь стра-

*Отсутствие геноцида ясно из того, что к 1939 году в СССР жили 1,2 млн. немцев, а к 1959-му — 1,6 млн.

ны, и ему оставалось пройти примерно столько же до Поволжья... И ясно, что акция властей США была *гораздо менее оправданной*, чем аналогичная акция властей СССР.

Я отнюдь не хочу сказать, что не следует скорбеть по поводу страданий, испытанных немцами Поволжья, а также, разумеется, и другими переселенными на восток в ходе войны народами страны; речь идет лишь о том, что неверно (и бессовестно!) толковать эти акции как выражения не тогдашнего *состояния мира* вообще, а «злодейской» сущности нашей страны.

Могут возразить, что в США отправили в концлагерь японцев, а не представителей какой-либо другой нации, не напавшей прямо и непосредственно на США, а в СССР были переселены на восток, например, четыре кавказских народа — балкарцы, ингуши, карачаевцы и чеченцы. В уже цитированном издании «Так это было...» поставлена задача категорически отвергнуть «концепцию мотивированности этого переселения, «обоснованность» сталинской акции» (с. 10).

Но вот датированный 6 ноября 1942 года (то есть в разгар битв за Сталинград и Кавказ) документ германской службы безопасности «Общее положение и настроение в оперативном районе Северного Кавказа», составленный на основе донесений из западной части этого «района». Констатируя «неопределенность» поведения *адыгейцев* и *черкесов*, документ вместе с тем подчеркивает (выделяя ряд слов) следующее:

«Когда немецкие вооруженные силы вошли в Карачаевскую область, они были встречены *всеобщим ликованием*. В готовности помочь немцам они превзошли самих себя. Так, например, айнзацкоманда полиции безопасности и СД, прибывшая в начале сентября в расположенную южнее Кисловодска *карачаевскую* деревню, была принята с воодушевлением, сравнимым с днями присоединения Судетской области^{*}. Сотрудники команды обнимали и поднимали на плечи. Предлагали подарки и произносились речи, которые заканчивались здравицей в честь фюрера... К этим предложениям присоединились также представители *балкарцев*... Примечательным является стремление примерно 60 000 балкарцев отделиться от *кабардинцев* и присоединиться к карачаевцам, насчитывающим 120 000 жите-

^{*}Часть Чехии со значительным (до 1945 года) немецким населением.

лей. Обе племенные группы выразили свое единение с Великой германской империей». Упомянут также и совсем иной «опыт, полученный... в населенном кабардинцами месте Баксан... жители все больше *отстранялись* и в конце концов творили с вражескими силами (вражескими для немцев. — В. К.) общее дело⁴⁷).

Особенно выразительно здесь разграничение балкарцев и карачаевцев и, с другой стороны, адыгейцев, черкесов и кабардинцев, которые явно не имели намерения «объединиться с германской империей» и, естественно, не подверглись позднее переселению, — как и осетины. И еще следует вспомнить, что с ноября 1943-го до марта 1944-го, когда было предпринято переселение на восток балкарцев, карачаевцев, ингушей и чеченцев, фронт проходил сравнительно недалеко от Кавказа...

Еще раз повторю, что испытаниям, выпавшим на долю переселяемых народов, нельзя не сострадать, но едва ли уместно говорить о полной «необоснованности» этой акции в условиях смертельной борьбы с врагом.

Вместе с тем должен признаться, что до недавнего времени *характер* этой акции представлялся и мне самому необоснованным и не могущим быть оправданным, ибо переселяли *народы в целом*, включая детей и женщин, хотя вполне ясно, что в реальном сотрудничестве с врагом могли быть повинны только мужчины.

Не надо забывать, правда, что в США в феврале 1942 года отправили в концлагеря также всех живших в стране японцев вместе с детьми (не говоря уже о чисто потенциальной «вине» даже и тех мужчин, которые *могли-де* стать пособниками явно невероятного военного десанта Японии).

Повторю еще раз, что я долго считал своего рода дикостью и беспределом переселение народов в целом. Но сравнительно недавно я обсуждал эту тему с выдающимся современным политологом и публицистом С. Г. Кара-Мурзой, и неожиданно он решительно возразил мне. Сергей Георгиевич с юных лет знал от своих крымских родственников, что переселение в 1944 году татарского народа в целом воспринималось многими в самом народе как «мудрое» и даже «счастливое» решение (*позднейшее* отношение крымских татар к акции 1944 года — дело другое). Ибо очень значительная часть мужчин действительно так

или иначе сотрудничало с врагом. По немецким сведениям от 14 января 1945 года, в вооруженных силах врага еще служили тогда 10 тысяч крымских татар⁴⁸⁾, — то есть весьма и весьма значительная доля; ведь крымских татар к 1941 году насчитывалось немногим более 200 тысяч человек, и, следовательно, имелось не более 50 тысяч мужчин призывных возрастов. И, значит, каждый *пятый* из таких мужчин в январе 1945-го находился во вражеской армии!

Едва ли уместно отрицать, что этот факт характеризует «ориентацию» народа в целом. И по постановлению от 11 мая 1944 года*, находившиеся в Крыму мужчины вместе с женщинами и детьми были без какого-либо «расследования» переселены (в основном в Узбекистан).

В уже упомянутой беседе С. Г. Кара-Мурза сообщил, что в среде крымских татар тогда имело место осознание переселения народа в целом как «меньшей» беды, ибо при какой-либо «изоляции» от него молодых и зрелых мужчин прекратился бы прирост народа, то есть фактически наступил бы конец его естественного бытия... А у переселенного крымско-татарского народа к 1951 году уже родились 18 830 детей, — то есть 10 процентов от общей численности переселенцев⁴⁹⁾. Чтобы оценить эту цифру, следует знать, что к 1951 году в СССР было 20,9 млн. детей моложе пяти лет, то есть 12 процентов от населения страны начала 1946 года, — ненамного больше, чем у переселенных крымских татар...

Есть основания полагать, что переселение народов в целом объяснялось не чьей-либо «мудростью» (как думали в 1944-м те или иные крымские татары), а стремлением одним махом «решить проблему» (не забудем, что продолжалась тяжелейшая война). Но, так сказать, объективно сие решение, утвержденное лично Сталиным, было не самым губительным...

Как известно, в 1956—1957 годах переселенные народы были «прощены» и возвращены на их территории. В связи с этим до сего дня восхваляют находившегося тогда у власти Хрущева, противопоставляя его злодею Сталину. Однако Хрущев в данном случае вовсе не был «гуманнее» Сталина.

Дело в том, что пребывание переселенных народов на

*Следует напомнить, что фронт проходил тогда менее чем в 200 км от Крыма.

«чужих» землях создавало свои немалые трудности и коллизии, а с другой стороны, возвращение в родные места почти всех этих народов к 1957 году уже не было чревато какими-либо существенными опасностями. Реальную опасность мог представлять возврат только двух народов — тех же крымских татар и турок-месхетинцев, поскольку возвращать их надо было в *пограничные* зоны страны. И «гуманист» Хрущев оставил эти народы в «изгнании» (судьба крымских татар зависела еще и от того, что Хрущев в 1954 году «подарил» Крым Украине, а возврат татар в значительной мере «обесценил» бы этот подарок).

Впрочем, о Хрущеве речь впереди; обратимся теперь к Сталину.

* * *

Многое из того, что сказано на предыдущих страницах о положении в стране в 1946—1953 годах наверняка будет воспринято, помимо прочего, как «обеление» Сталина (в последний период его жизни), притом одни останутся этим удовлетворены, а другие — возмущены. Но я, повторяю еще раз, усматриваю *главный порок* преобладающей части сочинений, характеризующих «сталинскую эпоху», не в том, как *оценивается* Сталин, а в том, что его личная роль в бытии страны крайне преувеличивается; в положительном или отрицательном смысле — это уже второй, менее существенный вопрос.

Констатируя, что «политический климат» в стране в 1946—1953 годах «смягчался», что *гибель* людей уже не имела *массового* характера, присущего периодам 1918—1922, 1929—1933 и (правда, уже в гораздо меньшей мере) 1936—1938 годов, я стремился показать постепенное рассеивание «революционной» атмосферы, которая откровенно и начисто отвергала любые *правовые и моральные нормы* (как это присуще каждой революции) и диктовала беспощадность по отношению не только к тем, кто считался «вредным», но даже и к тем, кто рассматривался как «лишний».

В первом томе моего сочинения цитировалось написанное в мае 1943 года послание Корнея Чуковского Сталину, настоятельно предлагавшее создать «трудколонию с суровым воен-

ным режимом» для «социально-опасных» детей, начиная с *семилетнего* (!) возраста... Однако в конце 1940-х — начале 1950-х знаменитый «друг детей» едва ли стал бы писать нечто подобное, ибо, повторю еще раз, изменялся сам политический климат.

И дело здесь вовсе не в самом Сталине, который в конце жизни, напротив, «изменился» в тех или иных отношениях, как говорится, не в лучшую сторону. Уже отмечалось, что многие положения известного хрущевского доклада на XX съезде КПСС в 1956 году явно не соответствовали действительности, но, исходя из фактов, есть все основания признать справедливым следующее утверждение из этого доклада: «...в послевоенный период Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его подозрительность...» и т. п.⁵⁰⁾

Причины здесь, очевидно, и в том, что после Победы культ вождя стал поистине беспредельным, и сам он окончательно уверовал в свое всемогущество и всезнание, а также в том, что в 1948 году Иосиф Виссарионович разменял восьмой десяток (как недавно установлено, он родился на год раньше, чем до сих пор считалось), за плечами была крайне напряженная жизнь, и прискорбные сдвиги в его сознании и поведении, так сказать, закономерны.

Все это проявилось в так называемом Ленинградском деле (1949—1950), в результате которого погибли Н. А. Вознесенский и А. А. Кузнецов, — люди, которых Сталин еще совсем недавно исключительно высоко ценил* и которые, в частности, не имели отношения к какой-либо антисталинской «оппозиции» (уже хотя бы в силу своей сравнительной молодости). Столь же резко выразились эти «сдвиги» и в многоплановом деле о «сионистском заговоре» (1948-й — начало 1953 года), который угнездился-де в самом МГБ (!), а также в кремлевском ведомстве, включая медицинское обслуживание и охрану; 15 декабря 1952 года по этому «делу» был арестован даже начальник личной охраны Сталина генерал-лейтенант ГБ Н. С. Власик, состоявший при вожде долгие годы. На этих двух «делах» и со-

*Есть даже сведения (правда, не подтверждаемые документами), что Сталин после войны предполагал уйти в отставку, назначив Вознесенского главой правительства, а Кузнецова — руководителем партии.

средоточиваются сочинения, касающиеся сталинского террора послевоенного периода, ибо других крупных «дел» тогда и не было.

Оба «дела» инициировал непосредственно сам Сталин, и в них ясно выразились те предсмертные «сдвиги» в его сознании и поведении, о которых шла речь. Правда, это были все же, так сказать, «дворцовые», «придворные» дела, не затрагивающие сколько-нибудь широкие массы людей.

Могут решительно возразить, что присоединенное в 1951—1952 годах к делу о «сионистском заговоре» как его составная часть дело *кремлевских врачей* превратилось бы, если бы не умер «вовремя» Сталин, чуть ли не в уничтожение всех евреев СССР, которых было тогда (по паспортным данным) более двух миллионов человек.

Однако это всего-навсего идеологический миф, не имеющий абсолютно никаких реальных оснований. Еще будет подробно сказано о деле кремлевских врачей (как и о других «ответвлениях» дела о «сионистском заговоре»), но целесообразно сразу же привести характерный образчик «обоснования» активно пропагандируемого мифа о якобы запланированной Сталиным поголовной депортации или даже ликвидации евреев СССР.

Один из привлеченных в 1951 году к делу о кремлевских врачах (в будущем — доктор исторических наук), Я. Я. Этингер*, опубликовал в 1993 году свое исследование этого дела, и, что касается изложения хода *реальных* событий, исследование неплохо документированное. Но его эпилог под заглавием «Признания Николая Булганина» способен прямо-таки поразить полнейшей несостоятельностью буквально *всех* содержащихся в нем «сведений» (они для наглядности мною пронумерованы). Я. Я. Этингер «сообщает»:

«Николай Булганин подтвердил ходившие в течение многих лет слухи о намечавшейся массовой депортации евреев в Сибирь и на Дальний Восток. 1) Были подготовлены соответствующие документы. 2) Булганин, тогда министр обороны, получил указание от Сталина подогнать к Москве и другим крупнейшим центрам страны несколько сотен военных железнодоро-

*Урожденный Ситерман; приемный сын врача Я. Г. Этингера.

рожных составов для организации высылки евреев. 3) При этом, по его словам, планировалось организовать крушения железнодорожных составов. 4) Булганин считал, что главными организаторами намечаемых антиеврейских акций были Сталин, Маленков и Сулов, которым, как он выразился, «помогала» группа других ответственных партийно-государственных деятелей. Я спросил, кто конкретно. Он усмехнулся и ответил: «Вы хотите, чтобы я назвал ряд нынешних руководителей страны? (Разговор состоялся в 1970 году. — Я. Э.). Многие из людей 1953 года и сейчас играют ключевую роль. Я хочу спокойно умереть»⁵¹).

Рассмотрим эти «сведения» по порядку.

1) Абсолютно никаких следов «соответствующих документов» не обнаружено, между тем как о *реальном* «деле врачей» документы имеются в очень большом количестве.

2) Н. А. Булганин был снят с поста министра обороны (точнее, вооруженных сил) четырьмя годами ранее, в марте 1949 года, и пост министра обороны в 1953 году занимал А. М. Василевский.

3) *Несколько сотен* железнодорожных крушений означали бы *экономический крах* страны, поскольку в 1953 году по железным дорогам осуществлялась (кроме периода летней навигации на водных путях) почти вся транспортировка и средств производства, и средств потребления. Кроме того, тяжелейший ущерб стране нанес бы выход из строя нескольких сотен локомотивов и десятков тысяч вагонов. Наконец, хорошо известно, что при железнодорожных крушениях погибает, как правило, не столь уж большая доля находящихся в вагонах людей (не то что в авиационных катастрофах...).

4) Булганин отказался упомянуть среди «организаторов» акции 1953 года тех людей, которые и в 1970 году продолжали играть «ключевую роль» во власти. Но он ведь назвал имя М. А. Сулова, который был в 1970-м *вторым* (после Л. И. Брежнева) лицом в партийной иерархии, и оставался им еще двенадцать лет, до своей смерти в 1982 году!

Словом, *все без исключения* «сведения» оказываются, пользуясь современным словечком, *виртуальными*. Я не имею намерения обвинить Я. Я. Этингера во лжи; быть может, он вполне точно воспроизвел утверждения Н. А. Булганина, которому

в 1970 году исполнилось 75 лет и который к тому же десятью годами ранее был лишен всех своих постов и, как сообщалось в последнее время в печати, страдал тяжелым алкоголизмом.

Но нельзя не возмутиться тем, что процитированная чепуха была опубликована во вроде бы имевшем солидную репутацию журнале «Новое время», сотрудники которого не удосужились проверить сообщаемые на журнальных страницах «факты». Это уже своего рода маразм... Журнал, основанный в 1943 году, нередко публиковал заведомо тенденциозные материалы, однако подобной ерунды все же в «доперестроечное» время своим читателям не преподносил...

* * *

В предыдущей главе моего сочинения уже говорилось, что *миф* о Сталине играл гораздо более значительную роль, чем сам Сталин. И, конечно, освобождение от так называемого *культа* было поистине необходимым делом. Однако то, как оно осуществлялось после смерти вождя, превращаемого теперь из героя в столь же всемогущего антигероя (что продолжается и до сего дня), имело (и имеет) прискорбные последствия.

Новая власть, в сущности, никак не могла не выступить против культа Сталина, ибо миллионам людей казалось, что без умершего человекобога жизнь страны как бы вообще немислима. К. Симонов вспоминал позднее крайнее негодование, вызванное на верхах его опубликованной 19 марта 1953 года в редактируемой им «Литературной газете» статьей, согласно которой «самая важная» задача литературы состояла «в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть... образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». За эту статью Симонов, по его рассказу, едва не был тут же снят со своего поста⁵²); несколько позже, в августе 1953-го, его действительно отправили в отставку.

Александр Твардовский вряд ли не был осведомлен о случившемся с Симоновым, но тем не менее в следующем, 1954 году, в мартовском номере (то есть к первой годовщине смерти Сталина) возглавляемого им журнала «Новый мир» опубликовал новый фрагмент из своей, сочинявшейся с 1950 года,

поэмы «За далью даль», в котором, по сути дела, выступил *против* линии тогдашней верховной власти⁶:

...И все одной причастны славе,
Мы были сердцем с ним в Кремле.
Тут ни убавить, ни прибавить —
Так это было на земле.

И пусть тех дней минувших память
Запечатлела нам черты
Его нелегкой временами,
Крутой и властной правоты.

Всего иного, может, боле
Была нам в жизни дорога
Та правота его и воля,
Когда под танками врага

Земля родимая гудела,
Неся огня ревущий вал,
Когда всей жизни нашей дело
Он правым коротко назвал.

Ему, кто вел нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам.

Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле.

Вскоре же, с начала июня 1954-го, была развернута громкая критическая кампания против Твардовского, и в августе он был снят с поста главного редактора «Нового мира» и заменен... Симоновым, который после наказания за «сталинскую» статью более о вожде не заикался.

Правда, публично осуждали Твардовского не за его цитированные строфы, а за появившиеся в редактируемом им журнале «вольнодумные» в том или ином отношении статьи В. Померанцева (декабрьский номер 1953-го), М. Лифшица (февральский 1954-го) и др., подвергавшиеся критике в печати с самого

⁶ Публикация к тому же «демонстративно» открывала номер журнала.

начала 1954 года. Но есть достоверные основания полагать, что «сталинские» стихи поэта сыграли главную роль в его отставке. Дело в том, что «Новый мир» уже подвергался не менее резкой критике ранее, в феврале — марте 1953 года, за публикацию также отмеченных «вольнодумством» романа В. Гроссманна «За правое дело», повести Э. Казакевича «Сердце друга», статей А. Гурвича, В. Огнева и т. п., но вопрос об отставке Твардовского тогда даже не возникал. А «оправдание» Сталина в его стихах затрагивало в тот момент насущнейшие интересы самых *верхов* власти, и Твардовский был в начале августа 1954 года отстранен и заменен... Симоновым, который к тому моменту «исправился» (правда, позднее Симонов «переборщил» как раз в резкой критике «сталинской эпохи» и четыре года спустя, в июне 1958-го, его сменил в «Новом мире» тот же Твардовский...).

Вдумываясь в эти факты, можно многое понять в тогдашней ситуации. Твардовский и Симонов принадлежали, в общем, к одному поколению, вступившему в литературу в начальный период безраздельной власти Сталина, и являли собой не только литературных деятелей, были причастны идеологии и даже политике (оба они, кстати, побывали в составе ЦК КПСС), то есть являлись в прямом смысле слова деятелями *истории* страны. Но между ними было коренное различие, которое, правда, не выражалось резко и открыто. Твардовский в конечном счете исходил из своих собственных глубоких убеждений (насколько они были истинными — это уже другой вопрос), а Симонов — из господствующей в данный момент идеологии; в его сочинениях (а также поступках) выражалось не *убеждение*, а та или иная *позиция*, которая менялась в зависимости от изменений в господствующей идеологии.

Автор этого сочинения писал еще в 1966 году, ровно треть столетия назад, о публиковавшейся с 1943-го по 1964 год серии симоновских романов об Отечественной войне, что «каждый новый роман критикует те представления о войне... которые выразились так или иначе в предыдущем романе самого автора... Он изменяется вместе с изменением общественного мнения* и... становится на новую позицию». И я упрекал тогдаш-

*Я подразумевал точку зрения *власти*, но сказать это открыто в печати было тогда невозможно.

нюю литературную критику в том, что она «нередко выдвигает этого рода произведения на первый план, видит в них чуть ли не основу литературы. Правда, лет через десять, а то и через пять, критика зачастую даже и не помнит тех произведений, которые были ее кумирами...»⁵³⁾

Твардовский же опирался на свои убеждения и именно поэтому в 1954 году — вопреки линии верховной власти — «оправдал» Сталина. Могут возразить, что позднее, после хрущевского доклада 1956 года, Твардовский иначе писал о Сталине. В 1960 году он действительно переписал заново тот фрагмент из поэмы «За далью даль», который цитировался выше, и опубликовал в качестве главы под названием «Так это было», упомянув в ней и о репрессиях сталинских времен, и о прискорбной чрезмерности «культа».

Но определенная основа прежнего текста все же сохранилась и в новом варианте:

Не зря, должно быть, сын Востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты*
И правоты...

Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага...

Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять,
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Ты помнишь все, отчизна-мать.

Ему, кто все, казалось** , ведал,
Наметив курс грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам.

*Вот очевидное «уточнение».

**Ранее этой «оговорки» не было.

Особенно существенна тема «отца»:

Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле.

В «стране-семье»... Здесь нельзя не сослаться на недавнее сочинение С. Г. Кара-Мурзы, глубоко анализирующее два вида цивилизации: «Если сказать коротко, то страна может устроить жизнь своего народа как *семью* — или как *рынок*. Что лучше — дело вкуса, спорить бесполезно. Ведь в семье бывает отец-тиран... Какие уж тут права человека. На рынке же все свободны, никто ничем никому не обязан...»⁵⁴) Вовсе не утверждая, что «семья» — нечто «лучшее», чем «рынок», Сергей Георгиевич очень убедительно доказывает, что наша страна просто не могла не быть «семьей»...

Твардовский утверждал то же самое поэтически; не менее существенно его поэтическое осознание того, что дело было не в Сталине, а в мифе о Сталине:

...Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?..

Кому пенять!
Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых...

Следует отметить, что цитированные только что строки Твардовский переиздавал до самой своей кончины (последнее прижизненное издание вышло в 1970 году). Убеждения поэта, конечно, развивались, но не представляли собой легко заменяемую в зависимости от изменения идеологического курса «позицию»...

* * *

Уже было сказано, что культ Сталина после Победы 1945 года стал поистине беспредельным, и это имело тяжелые последствия во многих сферах жизни страны, — в частности, в ли-

тературе, притом наиболее прискорбным было воздействие безмерного культа на сознание и поведение тех, кто тогда только еще вступал на литературный путь.

Ярким образчиком может служить в этом отношении фигура Евгения Евтушенко, достигшего чрезвычайной популярности, в силу чего он стал достаточно значительным явлением самой *истории* 1950—1970 годов (другой вопрос — как *оценивать* сие явление), хотя никак нельзя причислить сочиненное им к значительным явлениям поэзии.

Недавно был опубликован посвященный Евтушенко раздел из «Книги воспоминаний и размышлений» Станислава Куняева⁵⁵). Я согласен со всеми его суждениями, но считаю уместным добавить, что с объективно-исторической точки зрения Евтушенко являет собой своего рода «жертву» культа Сталина». Это, как станет ясно из дальнейшего, отнюдь не «оправдывает» его, но многое объясняет в его сочинениях и поступках.

Станислав Куняев процитировал евтушенковские строки, восхваляющие Сталина и выделившиеся из многоголосого хора своей «задушевностью», благодаря чему их автор был за свою первую же, вышедшую в 1952 году, тонкую книжку немедленно принят в члены Союза писателей СССР, минуя тогдашнюю ступень «кандидата в члены СП», и стал, не имея аттестата зрелости (уникальный случай!), студентом Литературного института СП. Стоит привести его прямо-таки «интимные» строчки о Сталине (см. также другие строчки, приведенные Станиславом Куняевым):

...В бессонной ночной тишине
Он думает о стране, о мире,
Он думает обо мне.
Подходит к окну. Любуясь солнцем,
Тепло улыбается он.
А я засыпаю, и мне приснится
Самый хороший сон.

Итак, даже хорошими снами мы обязаны вождю! Ныне Евтушенко «оправдывается»: «...я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли (то есть могли в 1949—1952 году попасть в печать. — В. К.), в них должны быть строчки о Сталине»⁵⁶). Но это беспардонная ложь; так, истинный поэт Владимир Соколов, начавший печататься почти одновременно с Евтушенко, в

1948-м, о Сталине не писал. И не потому, что был «антисталинистом», а не желая добиваться «успеха» не имеющими отношения к *творчеству* «достижениями». Позволю себе сослаться и на свой литературный путь: выступая в печати с 1946 года, я при жизни Сталина ни разу не упомянул о нем, и опять-таки не потому, что в те времена «отрицал» вождя, но потому, что считал воспевание его чем-то недостойным...

Евтушенко, «задушевно» превознося Сталина, конечно же, сознавал, что это способ добиться громкого «успеха» без подлинного творческого труда... И он сразу же обрел статус «ведущего молодого поэта», начал выступать «в одном ряду» с тогдашними «мэтрами», — например, на считавшейся наиважнейшей дискуссии о Маяковском в январе 1953 года, где ему предоставили слово единственному из его поколения, — стихи его стали публиковаться в газетах рядом со стихами самых «маститых» (разумеется, с официальной точки зрения) и т. д. В частности, будучи «незаконно» (без аттестата) принят в Литинститут, он не считал нужным в нем учиться, ибо сам уже стал, в сущности, «маститым».

Я назвал Евтушенко «жертвой культа Сталина», имея в виду, что именно этот культ создал условия, в которых громкий «успех» мог быть достигнут предельно легким путем. Это, повторю, нисколько не оправдывает Евтушенко, ибо пуститься или нет на такой «путь» — каждый человек решал сам.

Могут напомнить, что до Евтушенко многие подлинно значительные поэты воспевали Сталина: в 1935 году это сделал (кстати, первым из русских поэтов) Пастернак, в 1945-м — Исаковский, в 1949-м — Твардовский. Но тут есть принципиальное различие, ибо эти поэты уже имели к тому моменту бесспорное признание, достигнутое на пути творчества. Совсем иное дело — превознесение вождя автором, еще ровно ничего не сотворившим: такой «дебют» затруднял или вообще преграждал путь к подлинному творчеству...

Выше шла речь о том, что Твардовский и после «разоблачения» Сталина, не опасаясь гонений, воплощал в поэзии свои убеждения, — и это обнажает все ничтожество Евтушенко, ибо, когда он позднее стал самым резким образом «разоблачать» Сталина, это было столь же конъюнктурным делом (кстати, тот же Владимир Соколов этим не занимался), как и прежде-

ние его восхваления. Вернее, даже *более недостойным*, ибо Евтушенко теперь добивался нового успеха, отвергая как раз то, что обеспечило ему прежний! Сейчас Евтушенко рассказывает* о том, как его «антисталинские» стишки (определение вполне адекватное, ибо с точки зрения художественной ценности они ничтожны) были напечатаны в главном органе ЦК КПСС «Правда» по распоряжению самого Хрущева⁵⁷). Привыкнув к своему «пути», он попросту не отдает себе отчета в том, что хвастаться таким оборотом дела по меньшей мере неприлично. Особенно если учесть, что в этом же своем мемуарном сочинении он с совсем уж наглой лживостью заявляет: «...я написал и чудом пробил сквозь цензуру «Наследников Сталина» (там же, с. 9. Выделено мною. — В. К.). Ведь это все равно что похвальба зайца, победившего-де лису, ибо на его стороне выступил медведь!

Вероятно, следующее мое суждение будет воспринято как парадокс, но, если вдуматься, Евтушенко проявил больше «смелости» не при сочинении своих «антисталинских» стихов в 1962 году, — то есть после окончательно «заклеймившего» Сталина XXII съезда КПСС, — а во второй половине января — феврале 1953 года, когда он сочинил стишки о «врачах-убийцах». Как он в ироническом тоне объясняет теперь, «я... поверил тому, что врачи хотели-таки отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи» (с. 434); одна-

*Я ссылаюсь на его изданную в 1998 году книгу «Волчий паспорт» — книгу, уникальную по своей очевидной лживости, сочетающейся с дремучим невежеством. Чтобы показать это в целом, пришлось бы составить книгу такого же объема (то есть около 600 страниц). Приведу только один пример. Евтушенко упрекает автора знаменитого «Одного дня Ивана Денисовича»: «Солженицын взял в герои не либерала-интеллигента, какими были набиты тогдашние (то есть 1940-х годов. — В. К.) лагеря» и т. д. (с. 450). Между тем, согласно точным данным, люди с высшим образованием составляли в 1940-х годах только 2 процента от общего числа лагерных заключенных (см. «Социологические исследования», 1991, № 6, с. 18). Это, между прочим, не так уж мало, если учитывать, что высшее образование имело тогда не более 1 процента населения страны; то есть количество интеллигентов в лагерях в два раза превышало их долю в населении. Но утверждать, что лагеря были «набиты» интеллигентами (то есть что последние составляли большинство заключенных) может только полнейший невежда. Вместе с тем ясно, что, объявляя «либералов-интеллигентов» главными насельниками лагерей, Евтушенко не исходил из каких-либо известных ему цифр, а попросту повторял лживую «либеральную» версию.

ко, сообщает он, добрые друзья отговорили его отдавать их в печать.

Рассказывая ныне об этом, Евтушенко явно хочет покрасоваться своей «покаянной» искренностью. Однако в профессиональной литературной среде этот факт стал известен тогда же, в 1953-м*, ибо на деле Евтушенко таки отдал свое сочинение о врачах в печать, но редакторы не решались его опубликовать, а уже 5 марта Сталин умер, и 4 апреля врачи были объявлены невиновными...

Дело в том, что после сообщения в печати (13 января 1953 года) о кремлевских «врачах-убийцах» атмосфера в Москве (я это хорошо помню) была крайне тревожной и неясной, и работники печати опасались резких жестов. Евтушенковское же сочинение было не без резкости; так, о кремлевских врачах в нем говорилось:

Пусть Горький другими был убит,
убили, кажется, эти же, —

то есть выходило, что врачи-убийцы безнаказанно творили свое черное дело уже в продолжении семнадцати лет!.. По-своему «замечательно», что в действительности-то пятеро из двадцати восьми находившихся в 1953 году под «следствием» врачей, к тому же принадлежавшие к наиболее «важным» — В. Н. Виноградов, М. С. Вовси, Э. М. Гельштейн, В. Ф. Зеленин и Б. Б. Коган, — в 1937 году обвинили видного врача Д. Д. Плетнева во «вредительских методах» лечения Горького, и Дмитрий Дмитриевич был приговорен к заключению сроком на 25 лет, а 11 сентября 1941 года расстрелян в Орле⁵⁸⁾ (3 октября в город вошли танки Гудериана).

Один уже факт, что под следствием находились врачи-убийцы, которые ранее сами разоблачали врачей-убийц, показывает всю остроту и запутанность ситуации. И, между прочим, сам Евтушенко в нынешних своих мемуарах обнаруживает знание сложности положения в 1949-м — начале 1953 года. «...По рукам ходила, — вспоминает он, — пародийная поэма Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо» — настоль-

*Лично я, правда, узнал об этом много позже, ибо вошел в эту среду только к середине 1960-х годов (принят в СП в 1965-м).

ко откровенно антисемитская, что ее даже не решились напечатать» (с. 433). Вот именно не решились, так же как и стишки Евтушенко о врачах!..

Не приходится уже говорить о том, что общая политическая ситуация 1953 года была гораздо более «суровой», чем 1962-го. И, повторю, Евтушенко проявил значительно большие смелость и рисковость, сочинив стихи о врачах, нежели при сочинении им стихов против Сталина, чьи останки незадолго до того, в 1961 году, были выброшены из Мавзолея. Правда, евтушенковская «смелость» в 1953 году диктовалась его еще довольно ограниченными понятиями о политической конъюнктуре; в 1962-м он на подобный риск едва ли бы решился...

Много лет спустя после 1953 года я оказался в кафе Центрального Дома литераторов за одним столом с давним близким приятелем Евтушенко Евгением Винокуровым, который известен написанным им в 1957 году текстом песни «В полях за Вислой сонной...», — текстом, если вдуматься, очень странноватым*. Он выпил лишнего, к тому же был тогда, вероятно, за что-то зол на давнего приятеля и неожиданно выразил сожаление, что те самые стихи о врачах-отравителях не решились в начале 1953 года опубликовать.

— Пожил бы Сталин еще немного — глядишь, стихи о врачах напечатали бы, и тогда никакого Евтушенко не было бы! — не без едкости объявил Винокуров. И был, вероятно, прав...

Нельзя не учитывать, что непомерно падкий на легкие успехи Евтушенко, как явствует из ряда свидетельств, не позднее начала 1960-х годов был тесно связан с КГБ, играя роль своего рода «агента влияния» — не исключаю, что в какой-то мере и до какого-то момента делая это не вполне «сознательно». Генерал-лейтенант ГБ П. А. Судоплатов в 1990-х годах рассказал в своих воспоминаниях, что в 1962 году известный ему подполковник ГБ Рябов решил «использовать популярность, связи и

*Один из героев песни — «Витька с Моховой», то есть с московской улицы, на которой давно уже не имелось ни одного жилого дома; «одни в густой квартире их матери не спят» — в Москве почти не было тогда отдельных квартир, и к тому же одиноких матерей в таких квартирах наверняка бы «уплотнили»; «девчонки, их подружки все замужем давно», — спрашивается, каким же образом, если в поколении, которому было от двадцати до тридцати лет в 1946 году, имелось 15,6 млн. женщин и всего 10,8 млн. мужчин, то есть на 4,8 млн. меньше?

знакомства Евгения Евтушенко в оперативных целях и во внешнеполитической пропаганде», и вскоре тот был направлен «в сопровождении Рябова на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию»⁵⁹). Не приходится удивляться поэтому, что, как хвастливо сообщает теперь Евтушенко, он «побывал в 94 (!) странах» (с. 9), — никто, пожалуй, из его современников не может в этом отношении с ним сравниться, а ведь в вопросе о выезде за рубеж решающую роль в «доперестроечные» времена играл КГБ...

Стоит рассказать о том, что на фестивале в Хельсинки (28 июля — 6 августа 1962 года) имел место неприятный эпизод: какие-то молодые финны — как тогда сообщалось, потомки погибших на советско-финской войне — бросали камни в автобус с делегацией СССР. Вернувшись в Москву, Евтушенко опубликовал об этом стишки под названием «Сопливый фашизм». Встретив его в Доме литераторов, я сказал, что стыдно писать подобное; вспомни, что Твардовский назвал ту войну «незнаменитой», то есть недостойной славы... Но мой упрек был, конечно, тщетным.

Весьма осведомленный публицист Рой Медведев сообщил в 1993 году: «Андропов (председатель КГБ в 1967—1982 годах. — В. К.) помогал поэту Евтушенко в организации его многочисленных поездок за рубеж. Поэт получил от шефа КГБ прямой телефон и разрешение звонить в необходимых случаях. Еще в 1968 году Евтушенко сделал резкое заявление с протестом против ввода советских войск в Чехословакию... В 1974 году такая же ситуация повторилась, когда Евтушенко публично высказался против высылки из СССР А. И. Солженицына... Евтушенко признался, что в обоих случаях он сначала звонил Андропову»⁶⁰).

То есть «дерзкие» протесты Евтушенко в действительности представляли собой санкционированные КГБ акции, призванные внушить миру, что в СССР есть свобода слова (вот, мол: Евтушенко протестует, а никакие репрессии в отношении его не применяются, и он по-прежнему путешествует по всем странам!) *.

*Ср. сообщение Судоплатова о том, что еще в начале 1960-х годов *подполковник* Рябов решил «использовать» Евтушенко «во внешнеполитической пропаганде»; позднее этим занимался уже *генерал армии* Андропов!

Конечно, подобные факты стали известны много позже, но и в 1960-х годах можно было догадываться о них. В 1965 году я выступал на дискуссии о современной поэзии, стенограмма которой — правда, к сожалению, сильно урезанная, — была опубликована в начале 1966 года. В частности, при публикации выбросили мои слова о том, что Евтушенко, несмотря на ту или иную критику в его адрес, являет собой «официального певца хрущевского режима», как ранее был сталинского.

Из зала, в котором я выступал, мне тут же задали вопрос:

— А кто же тогда Николай Грибачев?

Этот автор, по тогдашней «терминологии», был крайне «правым».

— Разумеется, оппозиционный режиму автор, — ответил я.

В опубликованном тексте остался лишь намек (но все же достаточно прозрачный) на это мое суждение:

«История литературы, я уверен, «снимет» с Евтушенко и его соратников надуманное обвинение в том, что в их стихах были некие грубые «ошибки». Они выразили именно то, что нужно было выразить во второй половине пятидесятых — первой половине шестидесятых годов»⁶¹).

Имелось в виду: нужно власти. И Евтушенко был определен в моем опубликованном тексте как представитель «легкой поэзии», коренным образом отличающейся от «серьезной» — то есть истинной поэзии, к которой в евтушенковском поколении я причислил тогда Владимира Соколова, Николая Рубцова, Анатолия Передреева. Подлинная поэзия «рождается, когда слово становится как бы поведением цельной человеческой личности, узнавшей и оберегающей свою цельность» (там же, с. 36).

Выше было сказано об «уникальной лживости» нынешних евтушенковских мемуаров. Это определение может кое-кому показаться преувеличением. Однако, чтобы убедиться в правоте такого «приговора», даже не нужно сопоставлять эти мемуары с какими-либо документами. Лживость ясно обнаруживается в *самых* мемуарах. Евтушенко утверждает, что после своего заявления, протестующего против введения в августе 1968 года советских войск в Чехословакию (как уже говорилось, этот протест был санкционирован председателем КГБ Андропо-

вым), «разбили матрицы» его готовых к печати книг, и он был уверен: «меня арестуют» (с. 301). Однако как бы «по недосмотру» Евтушенко в той же книге хвастается, что вскоре же побывал (продолжая двигаться к «рекорду» в 94 страны) в Бирме (с. 246) и Чили (с. 364), а в следующем, 1969 году издал свой объемистый «однотомник» (с. 247).

Возвращаясь к тому, с чего я начал, следует сделать вывод, что Евтушенко не смог или не захотел оберечь в себе «творческое поведение», соблазнившись «легкими» успехами; это в равной мере выразилось и в его восхвалении Сталина, и в позднейших проклятиях в его адрес, причем второе, в сущности, вытекало из первого: добившись один раз легкого успеха, Евтушенко был вполне готов сделать то же самое еще раз... Это, конечно, представляло собой его собственный «выбор», но все же сама возможность выбора «легкого» пути коренилась в том, что называли «культом», и потому с определенной точки зрения Евтушенко, как сказано, его «жертва». Позднейшее его сотрудничество с КГБ — закономерное следствие начала его «пути»...

* * *

...Для того чтобы яснее понять период 1946—1953 годов, мне пришлось забежать далеко — может быть, даже слишком далеко — вперед, в будущее. Но следующая глава этого сочинения возвратится к тем послевоенным годам, когда (это, надеюсь, ясно из только что изложенного) завязывались своего рода *исторические узлы*, которые затем очень долго развязывались, — да и, пожалуй, не развязаны до конца и по сей день...

Глава седьмая

БОРЬБА С «АНТИПАТРИОТИЗМОМ» И «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС»

Обратимся вновь к послевоенным внешнеполитическим проблемам страны. Ныне в моде представления, согласно которым СССР в последние годы жизни Сталина вел себя на всемирной арене крайне агрессивно или даже чуть ли не ставил человечество на грань третьей мировой войны. Но, если исходить из реальных фактов, такого рода оценки значительно более уместны по отношению к *послесталинскому* периоду. Если «бунт» 1948 года в Югославии против СССР не вызвал военного вмешательства, то волнения в июне 1953-го (то есть уже после смерти Сталина) в Восточном Берлине были подавлены с использованием двух танковых дивизий, а при попытке Венгрии выйти из-под эгиды СССР была проведена крупномасштабная военная операция (ноябрь 1956 года — всего через несколько месяцев после считающегося поворотом к «либерализму» XX съезда КПСС!). Не приходится уже говорить о доставке в 1962 году немалого количества войск СССР — да еще и с ядерным оружием! — на Кубу, то есть почти на морскую границу США.

Дело в том, что при Хрущеве совершается многосторонняя «реанимация» идеологической и политической «революционности», которая, в частности, противопоставлялась «консерватизму» сталинского правления (подробнее об этом — далее). Очень характерным выражением сей тенденции является соответствующая «критика» Сталина в хрущевских воспоминаниях.

Рассказывая о *единственном* имевшем место в 1946—1952 годах факте перерастания «холодной войны» в «горячую» — о начавшемся летом 1950 года противоборстве тесно связанной

с СССР КНДР и армии США, Хрущев подчеркнул: «Должен четко заявить, что эта акция была предложена не Сталиным, а Ким Ир Сен¹⁾» («вождь» Северной Кореи). И Никита Сергеевич с недоумением и даже негодованием поведал, что Сталин был категорически *против* действительного ввязывания в Корейскую войну, допустив только, чтобы «наша авиация прикрывала Пхеньян» (столицу КНДР) и делала это к тому же глубоко тайно. «Мне осталось совершенно непонятным, — признался Хрущев, — почему, когда Ким Ир Сен готовился к походу, Сталин отозвал наших советников... Ведь он (Ким Ир Сен. — В. К.), размышлял я, революционер, который хочет драться за свой народ... Если бы мы оказали помощь... то, безусловно, Северная Корея победила бы» (с. 68).

Хрущев утверждал даже (впрочем, возможно, выдумывая), что он дважды решительно *спорил* со Сталиным, призывая его принять действенное участие в Корейской войне, но тот «враждебно» и «очень остро реагировал» на эти хрущевские предложения (с. 67, 68).

Словом, нынешняя версия об особенной агрессивности Сталина в 1946 — начале 1953 года по меньшей мере сомнительна. Хотя СССР, конечно же, противостоял США (и Западу в целом), реальные *действия* заокеанского соперника были гораздо более агрессивными, — что столь очевидно выразилось в Корейской войне. Ведь СССР *граничит* с Кореей, а США отделяют от нее ни много ни мало 8 тысяч км, и тем не менее американская армия, насчитывавшая несколько сот тысяч (!) военнослужащих, сражалась на корейской земле, потеряв более 54 тысяч человек убитыми...

Могут, конечно, возразить, что Сталин в данном случае предпочел воевать «чужими руками» — главным образом, китайскими (Хрущев, в частности, не без огорчения упомянул о том, что в ходе Корейской войны «погиб китайский генерал, сын Мао Цзэдуна»; с. 69). Но факт остается фактом: после завершения Второй мировой и до смерти Сталина *боевых* действий СССР не предпринимал, хотя при этом рисковал отдать под эгиду США Северную Корею (Хрущев, между прочим, привел такие сталинские слова: «Ну, что ж, пусть теперь на Дальнем Востоке будут нашими соседями Соединенные Шта-

ты Америки. Они туда придут...» — там же, с. 68), а ранее, в 1948-м, утратил свое влияние в Югославии...

Поэтому совершенно безосновательна точка зрения уже упоминавшегося Радзинского, который в конце своего опуса «Сталин» утверждает, что, если бы Иосиф Виссарионович не скончался 5 марта 1953 года, он вскоре же развязал бы новую мировую войну. В предыдущей главе моего сочинения сообщалось о тщетных попытках «революционно» настроенных югославских лидеров побудить Сталина поддержать антизападное восстание в Греции. Хотя Иосиф Виссарионович, будучи марксистом, полагал, что в конечном счете весь мир станет социалистически — коммунистическим, он все же не имел планов расширения военным путем той «советской зоны», которая создалась в результате Победы 1945 года, и даже не предпринял в 1948 году «силовой» акции против отколовшейся Югославии, — что представляет явный контраст с действиями Хрущева в 1956 году в отношении Венгрии.

При этом важно учитывать, что в 1948 году в компартии Югославии, в том числе в ее высшем руководстве, имелось весьма значительное количество людей, которые в разразившемся конфликте были на стороне СССР. Достаточно сказать, что в течение 1948 года более 55 тысяч членов КПЮ (в том числе — что многозначительно — 1722 сотрудника органов внутренних дел) пришлось исключить из нее, 16 312 из них были брошены в концлагеря (среди них — два члена Политбюро ЦК КПЮ — С. Жуйович и А. Хербанг), а некоторые деятели были просто убиты — в частности, начальник Верховного штаба югославской армии А. Йованович; наконец, тысячи югославских коммунистов стали эмигрантами²⁾.

В Москве хорошо знали о положении дел в Югославии (так, например, член Политбюро и генеральный секретарь Народного фронта СФРЮ Жуйович тайно информировал посла СССР о самых «секретных» обстоятельствах; там же, с. 347), и естественно было прийти к выводу, что военное вмешательство может получить достаточно существенную поддержку внутри самой Югославии. Тем не менее нет никаких сведений хотя бы о *планировании* подобного вмешательства. Правда, Хрущев привел в докладе на XX съезде слова Сталина: «Вот шевельну мизинцем — и не будет Тито. Он слетит...» — и прокомменти-

ровал их так: «Сколько ни шевелил Сталин не только мизинцем, но и всем, чем мог, Тито не слетел»³). Можно допустить, что Иосиф Виссарионович действительно высказался в этом духе, но вместе с тем как раз Хрущев «шевелил, чем мог», в Венгрии в ноябре 1956 года — спустя всего девять месяцев после его цитированного доклада, — а в 1948 году ничего подобного не произошло.

Из этого, разумеется, отнюдь не вытекает, что Сталин был «человечнее» Хрущева; его отказ от военной акции против Югославии уместно объяснить преодолением «революционизма», который, напротив, стал реанимировать, придя к власти, Хрущев. В предыдущей главе сообщалось, что 1 марта 1948 года вождь Югославии выразил полное согласие с тезисом: «...политика СССР — это препятствие к развитию международной революции». И «примирение» с Югославией, первый шаг к которому Хрущев сделал уже в июне 1954 года, направив соответствующее послание ЦК КПСС в Белград, основывалось именно на своего рода восстановлении в СССР «революционного» духа.

Для Сталина же СССР был прежде всего и главным образом *государством*, одной из двух великих держав, действовавшей на мировой арене на основе (при всех возможных отступлениях и искажениях) правового статуса, установленного Ялтинской и Потсдамской конференциями 1945 года, — что с очевидностью выразилось и в крайне минимальном участии СССР в Корейской войне, и в отказе от военной акции в отношении «предательской» Югославии.

Современный американский историк Дэвид Холловэй, объективно исследовав развитие событий в послевоенный период, пришел к уверенному выводу: «Сталин хотел использовать давление для достижения своих целей, но он не хотел развязать войну. Хотя его политика вызывала тревогу на Западе — к чему он и стремился, — в ретроспективе ясно, что Сталин вел себя осторожно и в конце концов он отказался бы от своих целей, чтобы избежать войны»⁴).

Другое дело, что в руководстве СССР — в частности, военном — были люди, настроенные иначе. Не могу забыть, как в 1975 году один из прославленных полководцев Второй мировой войны, Главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротми-

стров в присутствии множества людей гневно воскликнул, прервав мою речь: «Проморгали Константинополь, проморгали!!» Это «агрессивное» заявление прозвучало на вечере, посвященном Ф. И. Тютчеву, участниками которого были знаменитый певец И. С. Козловский, столь же знаменитый артист М. И. Царев, литературовед, правнук поэта К. В. Пигарев. Я, которому было поручено вести этот вечер, имел «неосторожность» заметить, что, по убеждению (я, правда, оговорил — утопическому) Тютчева, Константинополь в будущем станет одной из столиц Российской державы. А, как известно, в конце сентября 1944 года наши танки, вышедшие на южную границу Болгарии, находились на расстоянии одного броска от древнего средоточия Православия, и, вполне вероятно, что Павел Алексеевич, бывший тогда заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками страны, предлагал Верховному Главнокомандованию осуществить этот несложный в ту пору бросок, но получил категорический отказ; напомним, что Сталин позднее резко возразил югославским лидерам, предлагавшим поддержать восстание в Греции, ибо, как он сказал, Великобритания и США «не допустят разрыва своих транспортных артерий».

Словом, мнение, согласно которому Сталин планировал развязать третью мировую войну, является заведомым вымыслом. Это, в частности, подтверждается следующим фактом. 4 апреля 1949 года был создан военно-политический союз — Организация североатлантического договора (НАТО), в который вошли США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, Италия, Португалия, Норвегия, Дания, Исландия и, позднее, в 1952-м, Греция и Турция. Между тем противостоявший НАТО союз, известный под названием *Варшавского договора*, был создан только через шесть лет, 14 мая 1955 года, когда Хрущев, сместив 8 февраля с поста председателя правительства Маленкова, стал уже полновластным «вождем».

Конечно, противостояние Запада и «соцлагеря» было непримиримым и до заключения Варшавского договора, но все же достаточно существенно, что *официальное утверждение* этого противостояния реализовал не Сталин, а Хрущев. Речь при этом идет вовсе не о каком-либо «осуждении» Никиты

Сергеевича, а об адекватном понимании и мировой политической ситуации, и внешней политики СССР.

Во-первых, Запад выступил инициатором (и далеко опередил СССР!) создания военного блока, с очевидностью заостренного против нашей страны, а, во-вторых, через шесть лет именно Хрущев с его «революционистским» сознанием сделал ответный ход, «оправдываемый», впрочем, тем фактом, что 27 февраля 1955 года, то есть за два с половиной месяца до заключения Варшавского договора, в НАТО вступила ФРГ, — а это было, если прибегнуть к «недипломатическому» выражению, *наглым* актом Запада (в части 1-й этой книги, посвященной Второй мировой войне, сообщалось, что Черчилль в 1945 году мечтал о войне против нас вместе с германской армией — и вот через десять лет его мечта потенциально реализовалась...). Было поэтому естественно, что Варшавский договор 1955 года объединил с войсками СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии также и армию ГДР...

Не исключено такого рода возражение: Сталин не проявлял той «воинственности», которая выразилась в ряде акций Хрущева, потому, что страна в первое время после Второй мировой войны была слишком ослабленной. Правда, к тому моменту, когда *послесталинская* власть бросила в атаку на берлинское население — в двух шагах от расположения оккупационных войск США, Великобритании и Франции! — две танковые дивизии, миновало всего три с половиной месяца со дня смерти Сталина, и военная мощь страны не могла сколько-нибудь значительно вырасти. И даже если принять во внимание это возражение, нельзя отрицать, что воинственность СССР на мировой арене в *послесталинское* время с очевидностью увеличилась (а не наоборот).

* * *

Вышеизложенное наверняка будет воспринято теми или иными читателями как своего рода апология Сталина — в противовес Хрущеву (и опять-таки одни будут этим возмущаться, а другие радоваться). Однако, как мне уже не раз представлялось необходимым подчеркнуть, суть дела вовсе не в *личных*

качествах Сталина и Хрущева, но в объективном ходе истории. Поведение Сталина на внешнеполитической сцене диктовалось не каким-либо его «миролюбием», а тем, что он в определенной мере осознавал тогдашнюю геополитическую ситуацию (что ясно выразилось в его решительном отказе от попытки присоединить имевшую важное значение в Средиземноморском бассейне Грецию к «соцлагерю»). Но вместе с тем (об этом уже шла речь в предыдущей главе) Сталин, очевидно, не осознавал *бесперспективность* вовлечения в геополитическое поле России-Евразии оккупированных в ходе войны стран Восточной Европы. Сам по себе тот факт, что эти страны в результате Победы оказались под контролем СССР, был естествен и, в сущности, неизбежен — что признавали позднее и некоторые способные к беспристрастным суждениям западные историки. Но в геополитическом плане «присоединение» европейских стран к Евразии не имело сколько-нибудь надежного будущего.

Ф. М. Достоевский сто двадцать с лишним лет назад очень едко, но и столь же метко писал о будущем европейских славян (все им сказанное тем более относится к другим восточноевропейским народам). Он констатировал, что, по их убеждению, «они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс... Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства... славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными». Поэтому, заключал Достоевский, у России «и мысли... быть не должно никогда, чтобы расширить за счет славян свою территорию, присоединить их к себе политически...»⁵⁾

Но не забудем, что это присоединение было неизбежным последствием Победы 1945 года — ее оборотной *бедой*... Да, именно бедой, ибо позднейший откол «соцлагеря» с его 140-миллионным населением явился *первотолчком* распада самого СССР...

Из изложенного выше естественно сделать вывод, что нынешнее преувеличение агрессивности внешней политики СССР

имеет сугубо тенденциозный характер. Запад, и прежде всего США, был намного более агрессивен; достаточно указать на тот общеизвестный факт, что по всему периметру границ СССР были, начиная с 1946 года, созданы их мощные военные базы. И эта западная агрессивность вполне объяснима. Уже к середине XV века Западная Европа «обогнала» остальной мир в плане динамичности и технологического развития и, начав покорение других континентов, за сравнительно короткий срок так или иначе подчинила себе обе Америки, Африку, Австралию и преобладающую часть Азии. Только Евразия-Россия, несмотря на ее соседство с Западом и отсутствие отделяющих ее от него океана или хотя бы горного хребта, не была покорена — несмотря на то, что натиск на Россию с запада начался еще в XI веке! Эта «непокоряемость» в конечном счете породила *русофобию* — в буквальном смысле страх перед Россией, — хотя последняя никогда не предпринимала агрессивных походов на Запад*. С 1812 года и до наших дней на Западе имеет хождение фальшивка — так называемое «Завещание Петра Великого», в котором грядущей целью России объявлено завоевание Европы и мира в целом. В 1946 году историк Е. Н. Данилова опубликовала подробнейшее исследование о многократном использовании этого «документа» в западной пропаганде⁶⁾. И вполне закономерно, что после Победы 1945 года русофобия Запада чрезвычайно резко возросла.

Никуда не деться от того факта, что первым очевидным, откровенным выражением так называемой холодной войны Запада и СССР явилась уже упомянутая русофобская речь Черчилля 5 марта 1946 года, на которую не мог не ответить Сталин. В изданном в 1991 году широком по замыслу и вместе с тем скрупулезном исследовании А. М. Филитова об истории холодной войны, комментирующем множество западных исследований на эту тему, показано, в частности, что эта война сразу же весьма существенно сказалась на *внутренней* жизни США. Речь идет о кампании борьбы с «антиамериканизмом»^{**}: «...эта

*См. об этом мою статью об известном маркизе де Кюстине в журнале «Москва» (1999, № 3).

**«Антиамериканизм» фактически означал «просоветскую» настроенность тех или иных граждан США.

кампания *предшествовала* (курсив А. М. Филитова. — В. К.) той, что развернулась в СССР в виде «ждановщины»* — гонений на писателей и ученых, на «безродных космополитов». Разумеется, это вовсе не означает, что Сталин «имитировал» Трумэна или что американская «охота на ведьм» явилась причиной соответствующих явлений в СССР... Скорее можно говорить о параллелизме, о сходстве «трумэнизма» (если употребить новообразование Дж. Гэддиса)** со сталинизмом — по крайней мере в том, что касается манипуляций фактами, апелляции к инстинктам толпы, нагнетания атмосферы страха...»⁷⁾

Следует, ради истины, добавить к этому, что в СССР, где еще сохраняла свою силу «революционная» беспощадность, аналогичная «кампания» привела к более прискорбным последствиям, чем в США. Но те или иные гонения 1946—1954 годов на «антиамериканизм» в США, — в стране, которая со времен Гражданской войны 1861—1865 годов не знала захватывающих общество в целом острых конфликтов, — воспринимались многими как нечто кошмарное.

Исследователь перипетий президентской политики в США констатирует: «В ноябре 1946 г. Трумэн издал указ № 9806, согласно которому учреждалась временная президентская комиссия по проверке «лояльности» государственных служащих. Через несколько месяцев временная комиссия была преобразована в постоянное управление, вплотную занявшееся проверкой политической благонадежности *более двух с половиной миллионов* американцев... были уволены тысячи людей, обвиненных в «антиамериканизме»... С легкой руки президента Трумэна началась пресловутая «охота на ведьм», наложившая мрачный отпечаток на всю послевоенную историю Соединенных Штатов»⁸⁾.

Чрезвычайно активизировалась тогда же и существовавшая с 1938 года при конгрессе (то есть представительной власти) США *Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности*, которая предъявляла обвинения не только государственным служащим, но и любым гражданам страны. Чтобы показать результаты ее «работы», достаточно, полагаю, вспом-

*Это слово в данном случае неуместно, о чем см. ниже.

**Американский историк.

нить, что был подвергнут суровым допросам и лишен ответственных постов «отец» атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, а «корифей» кинематографа Чарли Чаплин вынужден был эмигрировать из США. Ряду менее знаменитых «антиамериканцев» пришлось побывать в тюремном заключении (о чем еще будет речь), а общеизвестные супруги Розенберги были в 1950 году арестованы и окончили жизнь на электрическом стуле 19 июня 1953 года.

Правда, эти супруги обвинялись в тяжком преступлении — атомном шпионаже в пользу СССР, но в последнее время и у нас, и за рубежом публикуются сведения, согласно которым Розенберги, хотя и были повинны в «антиамериканизме», не совершали того, за что они были казнены (см., например, воспоминания одного из главных руководителей «атомной разведки» СССР Павла Судоплатова⁹) и исследование англичанина Филиппа Найтли о шпионаже в XX веке, где Розенберги предстают в качестве «козлов отпущения»¹⁰). А это означает, что казненные супруги — жертвы царившей в США в 1946—1954 годах «атмосферы».

Обсуждаемая проблема важна потому, что борьба против «антипатриотизма» в СССР в послевоенные годы преподносится ныне чаще всего в качестве присущих только нашей стране политической истерии и злодейства. Как уже сказано, в СССР, где еще не столь уж давно разразился катаклизм Революции (включая «вторую революцию» в деревне 1929—1933 годов), борьба против «антипатриотизма» привела к более тяжелым последствиям, нежели борьба против «антиамериканизма» в США, но прямое *соответствие* тогдашней ситуации в обеих странах очевидно.

* * *

Как отметил А. М. Филитов, кампания борьбы против «антиамериканизма» (то есть, в сущности, «антипатриотизма») началась в США *раньше*, чем в СССР, уже в 1946 году, — хотя исследователь допустил тут же неточность, неоправданно упомянув о «ждановщине», которая имела место как раз в 1946 году. Дело в том, что Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» и посвященный

ему доклад (вернее, два доклада — 15 и 16 августа) секретаря ЦК А. А. Жданова едва ли есть основания считать направленными против «антипатриотизма».

В тексте Постановления *ни разу* не употреблено слово «антипатриотизм» (и, равным образом, «патриотизм»), зато всего на трех с половиной его страницах около *тридцати* раз встречаются различные образования от слова «советский», — в том числе «несоветский», «чуждый советскому» и даже «анти-советский». Правда, употреблено и выражение «не свойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой», однако и здесь противопоставлено именно «советское» и «буржуазное», а не «патриотическое» и «антипатриотическое». И о поэзии Анны Ахматовой сказано как о «буржуазно-аристократической», а не «антипатриотической»¹¹).

В собственно ждановском тексте наиболее «выразительны» слова, которые и тогда цитировались чаще всего: «Мы уже не те русские, какими были до 1917 года... Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые *в корне* (выделено мною. — В. К.) изменили облик нашей страны»¹²). Именно такой смысл и такую направленность Постановления ЦК 1946 года выявил в опубликованной в 1995 году обстоятельной статье Сергей Куняев¹³).

Что же касается борьбы против антипатриотизма, — она началась в следующем, 1947 году. Это может показаться странным и даже абсурдным: в августе 1946 года атака направлена в одну сторону, а всего через девять месяцев, в мае 1947-го, — по сути дела, в прямо противоположную. Но, как уже не раз говорилось в моем сочинении, — особенно в первом его томе, — в СССР сосуществовали (на различных этапах в совершенно разных соотношениях) и нередко вступали в открытую борьбу и антипатриотическое, и патриотическое начала.

Во время войны «патриотами» стали даже те, от кого, казалось бы, никак нельзя было этого ожидать... Но в своей уже цитированной речи, произнесенной через девять месяцев после 9 мая, — 9 февраля 1946 года, — Сталин, ни разу не употребив слова «патриотизм» (не говоря уже о словах «Россия» и «русский»), всячески подчеркивал, что победил «советский строй», «Коммунистическая партия», «Красная Армия» и т. п. И такое

решение проблемы легло в основу принятого спустя полгода, 14 августа 1946-го, Постановления ЦК о ленинградских журналах. Они подверглись атаке не за «антипатриотизм», а за их «несоветский» — а отчасти даже «антисоветский» — характер (другой вопрос — насколько справедливо было обвинение).

В «общем мнении», которое в период «гласности» выразилось открыто и резко, то, что произошло в августе 1946 года, толковалось как злодейская акция секретаря ЦК А. А. Жданова — своего рода сатанинской фигуры, стремившейся задавить все, так сказать, живые и подлинные литературные силы, которые еще сохранились — несмотря на предшествующие «чистки» — в Ленинграде с его культурными традициями и его — пусть и относительной — самостоятельностью, неполной подчиненностью центральной власти, чьи руки не всегда доходили до «вольнодумного» города на Неве.

Но это представление — миф, подобный тому мифу о главном палаче Берии, о котором шла речь выше. Безосновательность мнения о Жданове как уникальном душителе культуры ясна из того, что с конца 1934-го до конца 1944 года именно он был «хозяином» Ленинграда — 1-м секретарем обкома и горкома партии, — и, значит, именно *под его эгидой* и смогли сохраниться те самые литературные силы, которые подверглись атаке в августе 1946 года! К тому же после переезда Жданова в Москву его сменил в Ленинграде его ближайший сподвижник, еще с 1938 года являвшийся 2-м секретарем Ленинградского обкома и горкома, А. А. Кузнецов, а когда последний в марте 1946-го вслед за своим патроном перебрался в Москву, его место занял П. С. Попков, который с 1939 года был председателем Ленгорсовета.

В 1988 году было трехмиллионным тиражом опубликовано вздорное сочинение Юрия Карякина «Ждановская жидкость», или Против очернительства¹⁴⁾. Определение «вздорное» уместно уже хотя бы из-за данного автором своему сочинению заглавия. Ибо эта самая «жидкость», изобретенная в прошлом веке инженером Н. И. Ждановым, — превосходное средство для уничтожения зловония и вредоносных бактерий. А это значит, что озаглавить свое сочинение подобным образом имел основания только автор, всецело одобряющий А. А. Жданова, а не проклинаящий его!.. Карякинская статья представляла

собой выражение в печати давно и широко распространенных домыслов и слухов, связанных прежде всего с драматическими судьбами подвергшихся атаке в августе 1946-го виднейших писателей-ленинградцев — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Но обратимся не к слухам, а к фактам.

В мае 1940 года — то есть на шестом году правления Жданова в Ленинграде, — после семнадцатилетнего (с 1923-го) перерыва было издано весьма большим для того времени тиражом 10 тыс. экз. самое солидное собрание произведений Ахматовой «Из шести книг». Это «воскрешение» поэта, без сомнения, не могло осуществиться без ведома Жданова.

Правда, несколько членов Комитета по Сталинским премиям — среди них и член ЦК ВКП(б) А. А. Фадеев, — явно слишком увлекшись, тут же выдвинули ахматовскую книгу на эту верховную премию. И нашелся идеологически «бдительный» доносчик, который в сентябре, то есть четыре месяца спустя после издания книги, отправил соответствующую записку на имя Жданова. И, надо думать, именно потому, что книга вышла в его епархии, он, опасаясь последствий для самого себя, распорядился 29 октября об «изъятии» книги (хотя, как известно из ряда свидетельств, она к тому моменту давно разошлась...). Из этого факта многие авторы делают вывод, что Жданов уже в 1940 году напрочь «запретил» Ахматову. Однако в *следующем* же 1941 году в журнале «Ленинград» публикуется цикл ее стихотворений!

А в 1942 году, когда Анна Андреевна находилась в эвакуации в Ташкенте, Жданов, позвонив 2-му секретарю (по идеологии) ЦК КП(б) Узбекистана Н. А. Ломакину, дал указание позаботиться о бытовых условиях Ахматовой и помочь изданию ее произведений (весной 1943 года, в тогдашних труднейших обстоятельствах, «Избранное» поэтессы вышло в Ташкенте, да еще и 10-тысячным тиражом). Об этом есть позднейшие сообщения двух свидетельниц, которые, следует сказать, крайне негативно относились к Жданову, но все же сочли нужным упомянуть о его «жесте»¹⁵⁾ (надо учитывать, впрочем, что 8 марта 1942 года стихи Ахматовой появились на страницах «Правды» — возможно, без ведома Жданова, — а в начале мая даже вошли в юбилейный сборник, изданный к 30-летию «главной» газеты).

Наконец, вскоре же после возвращения (31 мая 1944 года) Анны Андреевны в Ленинград, в июльско-августовском (сдвоенном по условиям времени) номере журнала «Звезда» и в № 10—11 журнала «Ленинград» публикуются ее стихотворения. И за два года, к августу 1946-го, только в ленинградских журналах появилось около сорока ахматовских стихотворений (что по тогдашним временам весьма немало) и десяти тысячным тиражом вышла ее объемистая книга «Стихотворения. 1909—1945», — вышла, увы, как раз в канун Постановления ЦК, и тираж книги был тут же уничтожен; то же самое произошло и с изданной тогда же в Москве (где Жданов уже полтора года ведал идеологией) 100-тысячным тиражом небольшой книжкой Анны Ахматовой «Избранное». И если исходить из фактов (а не слухов), этот прискорбный итог был, в сущности, совершенно *неожиданным*...

Обратимся к судьбе Михаила Зощенко. С 1935 года (то есть с начала правления Жданова в Ленинграде) до середины 1946-го было издано *полтора десятка* его книг, не говоря уже о многочисленнейших публикациях в периодике. В 1939 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, — что едва ли могло осуществиться без согласия Жданова. В 1945 году преемник Жданова, А. А. Кузнецов, после просмотра спектакля по одной из пьес Зощенко сделал в книге отзывов одобрительную запись (в 1947 году супруга писателя в своем послании Сталину, сообщая, что она была «буквально потрясена» атакой на Зощенко, упомянула, в частности, о том, что А. А. Кузнецов его «любил» и «признавал»¹⁶). 26 июня 1946 года — то есть всего за полтора месяца до постановления, — 2-й секретарь Ленинградского горкома, опять-таки ближайший сподвижник Жданова с 1940 года, когда он, Я. Ф. Капустин, стал секретарем (пока еще не 2-м) горкома, утвердил М. М. Зощенко одним из восьми членов редколлегии «Звезды», которая являлась главным ленинградским «литературно-художественным и общественно-политическим журналом»¹⁷). Стоит еще сказать, что именно в 1946 году были изданы *три (!)* книги писателя. Словом, грозу, разразившуюся над Михаилом Михайловичем в августе этого года, было невозможно предвидеть...

Тем не менее в ряде сочинений, посвященных судьбе Зощенко, утверждается, что гроза собиралась задолго до августа

1946 года, ибо писатель не раз подвергался и суровой критике, и вниманию «органов» Госбезопасности. Но авторы этих сочинений демонстрируют тем самым свое незнание (или же нежелание знать) общего характера эпохи. «Критика и самокритика» были обязательным и постоянным явлением всей идеологической жизни, и весьма сокрушительной критике подвергались даже такие несомненные «любимцы» Сталина, как Фадеев, Симонов и Эренбург. Неизбежным было и внимание НКВД-НКГБ-МГБ. Так, например, в записке, приложенной к проекту Указа о награждении писателей орденами, направленной в июле 1939 года Сталину, сообщалось, что «в распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы» на целый ряд представленных к орденам писателей, среди которых названы «Инбер В. М., Светлов (Шейнман*) М. А., Асеев Н. Н., Катаев В. П., Маршак С. Я., Павленко П. А., Погодин (Стукалов) Н. Ф., Тихонов Н. С., Лавренев Б. А., Леонов Л. М., Панферов Ф. И., Толстой А. Н., Федин К. А., Шагинян М. С., Шкловский В. Б., Сурков А. А. (!)¹⁸). Но все они свои ордена получили и ничего подобного пережитому Зошенко М. М. не испытали. И, между прочим, Михаил Михайлович вместе с перечисленными получивший тогда орден, в перечне тех, «на кого» в НКВД «имеются компрометирующие в той или иной степени материалы», не значился...

Словом, попытки многих авторов представить Зошенко изначально «крамольным» и потому особенно «гонимым» писателем, жестокая расправа с которым в августе 1946 года явилась естественным итогом всего предшествующего, явно несостоятельны, — о чем, в частности, свидетельствует издание в 1946 году (вернее, в первой его половине) трех зошенковских книг сразу (как и двух ахматовских книг в то же время).

Со временем становится все более очевидным, что, выражаясь попросту, дело было не в самих Михаиле Зошенко и Анне Ахматовой; они представляли собой только более или менее «подходящий материал» для осуществления весьма далекой от них «задачи». Особенно весомым аргументом в пользу такого решения проблемы является тот факт, что всего *через девять*

*Это опечатка: надо «Шейнкман», — то есть, на идише, «трактирщик», «шинкарь».

месяцев после столь разгромного постановления, 13 мая 1947 года, Сталин «разрешил» публиковать произведения ужаснейшего антисоветчика Зошенко, и уже в сентябрьском номере самого солидного журнала «Новый мир» появился десяток его рассказов! Константин Симонов, который вскоре после постановления был назначен главным редактором «Нового мира», уже в апреле 1947-го обратился к самому Жданову за разрешением опубликовать зошенковские рассказы. Правда, Жданов не отважился дать какой-либо ответ — и это, как мы увидим, весьма многозначительный факт. Но 13 мая Симонов вместе со Ждановым был на совещании у Сталина, задал последнему тот же вопрос и немедля получил положительный ответ¹⁹⁾.

Вращаясь в «верхах», Симонов к тому времени, когда он «дерзнул» поставить вопрос о возвращении в печать Зошенко, так или иначе сознавал, что, — как он впоследствии писал, — «выбор прицела для удара по Ахматовой и Зошенко был связан не столько с ними самими», сколько с феноменом «Ленинград» вообще, ибо «к Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрения» (там же, с. 109, 110).

«Вторая столица» страны как бы претендовала — по крайней мере в глазах Сталина — на определенную независимость от центральной, московской власти. И суть дела была аргументированно выявлена не так давно в исследовании молодого историка Д. Л. Бабиченко²⁰⁾. На заседании Оргбюро ЦК 9 августа 1946 года, на котором и было «выработано» пресловутое постановление, *главным* нападкам подвергся тот факт, что по воле Ленинградского горкома журнал «Звезда» был в начале 1946 года превращен из общесоюзного в *собственно ленинградский*, 26 июня Зошенко утвердили членом его редколлегии; притом, поскольку журнал стал ленинградским, это утверждение уже не требовало санкции Москвы...

Чтобы яснее представить себе ход событий, следует сказать о роли Г. М. Маленкова. Как установлено Д. Л. Бабиченко и другими историками, между Маленковым и Ждановым в это время шла острая борьба за «второе» место в партийной иерархии. И после того как 13 апреля 1946 года Сталин на заседании Политбюро подверг критике т. н. «толстые журналы», назвав при этом «самым худшим» из них московский «Новый мир», Маленков сумел к августу переориентировать внимание вождя

на журналы Ленинграда, которые еще не столь давно находились под эгидой Жданова (до 1945 года) и его ближайшего сподвижника А. А. Кузнецова (до марта 1946-го). И на заседании Оргбюро 9 августа 1946 года 1-му секретарю Ленинградских обкома и горкома П. С. Попкову (то есть преемнику Жданова и Кузнецова) пришлось под нажимом Маленкова признать, что его непосредственный подчиненный, 2-й секретарь ленинградского горкома Я. Ф. Капустин, «самовольно» превратил «Звезду» в свою вотчину и утвердил Зошенко членом ее редколлекции.

Пожалуй, особенно «опасным» фактом явилось то, что, как вынужден был признаться Попков, об изменении статуса «Звезды» было сообщено в Москву секретарю ЦК А. А. Кузнецову, но этот вчерашний ленинградец, по-видимому, никак на это не отреагировал, вроде бы «покрывая» самовольщиков... (Бабиченко, цит. соч., с. 130).

В результате 2-й секретарь Ленинградского горкома Я. Ф. Капустин «заработал» тогда партийный выговор, а секретарь Ленинградского горкома по пропаганде И. М. Широков, который непосредственно нес ответственность за печать, был снят с работы*.

Д. Л. Бабиченко с полным основанием заключил, что после постановления «пройдет менее трех лет и, уже после смерти Жданова, обвинительные формулировки 1946 г. отчетливо прозвучат в документах ЦК в преддверии «ленинградского дела»» (цит. соч., с. 142. Выделено мною. — В. К.) и что «Жданов и Кузнецов... понимали: постановление направлено... против ленинградских руководителей, с которыми сами были тесно связаны» (там же, с. 133). И, действительно, дальней, но наиболее «важной» мишенью постановления был Жданов, а также его ближайший сподвижник Кузнецов.

И произнесенные 14—15 августа 1946 года предельно резкие доклады Жданова имели своей истинной — хотя и подспудной — задачей как-то «реабилитировать» самого себя, долго правившего Ленинградом и «воспитавшего» его руково-

*Однако тот факт, что его политическая карьера прервалась и он занялся преподавательской деятельностью, обернулся для него благом: Кузнецов, Попков и Капустин были в 1950 году расстреляны, а Широков дожил до 1984 года...

дителей, а не «изничтожить» Ахматову и Зощенко, которым, о чем подробно говорилось выше, и он сам, и его сподвижники не раз выказывали благоволение. Уже сообщалось, что Жданов в апреле 1947 года не ответил ни «нет», ни «да» на вопрос Симонова о возможности публикации рассказов Зощенко. Естественно полагать, что, если бы его произнесенные всего девять месяцев назад доклады, поносящие писателя, были, так сказать, «искренними», он должен был ответить решительным «нет». Но Жданов, конечно, знал, что дело было не в Зощенко, а в ударе по ленинградским властям. Однако и «да» он не мог ответить, ибо точно так же знал, что постановление имеет отношение и к нему самому как патрону ленинградцев. Поэтому он промолчал и дождался положительного ответа Сталина.

Но зерно подозрений было посеяно; не прошло и двух лет, и в начале июля 1948 года Жданов был отстранен от своего поста, который занял не кто иной, как Маленков... Вскоре же, 31 августа, Жданов умер от инфаркта, и это, надо думать, «спасло» его от более тяжкого конца, ибо всего через несколько месяцев началось Ленинградское дело, в результате которого все его ближайшие сподвижники были казнены...

Характерно позднейшее показание одного из главных следователей по Ленинградскому делу, завершившемуся 29—30 сентября 1950 года судом: «... Абакумов (министр ГБ. — В. К.) меня строго предупредил, чтобы на суде не было упомянуто имя Жданова. «Головой отвечаешь», — сказал он»²¹). Едва ли будет натяжкой заключение, что Жданова числили в «обвиняемых», но решили, поскольку он умер, изъять его имя из дела...

Правда, в 1951—1952 годах вопрос о смерти Жданова приобрел совсем иной оборот... Но об этом еще пойдет речь; здесь же необходимо вернуться к началу нашего разговора о знаменитом постановлении, — к утверждению, что оно вовсе не было исходным пунктом борьбы с «антипатриотизмом», хотя до сих пор многие бездумно придерживаются этой версии. В ряде исследований основательно доказано, что атака на ленинградские журналы явилась первой стадией именно Ленинградского дела, которое, по свидетельствам Молотова и Хрущева, было жестокой акцией против того, что разоблачалось как «русский национализм»²²) (а отнюдь не «антипатриотизм»).

В иных сочинениях можно прочитать, что Зощенко и Ахма-

това неким чудом-де избежали ареста; в действительности они представляли собой скорее своего рода «дымовую завесу», заслоняющую истинное направление удара. В постановлении и в ждановских докладах были употреблены по отношению к ним предельно резкие выражения, но не прошло и года — и Зощенко получил возможность печататься. А что касается Ахматовой, реальное положение вещей раскрывает ее рассказ о выступлении видного переводчика М. Л. Лозинского: «...когда на собрании (1950) Правления (Союза писателей. — В. К.) при восстановлении меня в Союзе ему было поручено сказать речь, все вздрогнули, когда он припомнил слова Ломоносова о том, что скорее можно отставить Академию от него, чем наоборот. А про мои стихи сказал, что они будут жить столько же, как язык, на котором они написаны. Я с ужасом смотрела на потупленные глаза «великих писателей Земли Русской», когда звучала эта речь. Время было серьезное...»²³⁾

Время в самом деле было серьезное, но, несмотря на то, что Лозинский, в сущности, начисто *отверг* все сказанное в 1946 году об Ахматовой, никаких репрессий в отношении него не последовало, а Анна Андреевна 14 февраля 1951 года получила официальный документ о своем восстановлении в Союзе писателей. А ведь незадолго до того состоялись *казни* обвиняемых по Ленинградскому делу... Контраст впечатляющий, и он обнаруживает, против кого в действительности была направлена атака в 1946-м...

И если бы Жданов не умер в 1948 году, он, вполне вероятно, оказался бы в числе казненных «заговорщиков» — вместе с членом Политбюро Н. А. Вознесенским и секретарем ЦК А. А. Кузнецовым. Весьма выразительную сцену, имевшую место во время перерыва в заседании Оргбюро ЦК 9 августа 1946 года, описал один из его участников. К группе ленинградцев «подошел секретарь ЦК по кадрам Алексей Кузнецов... подошли секретари Ленинградского горкома, а потом присоединился и Жданов, решивший, видимо, нас подбодрить:

— Не теряйтесь, держитесь по-ленинградски, мы не такое выдержали.

В дверях показался Сталин. Видя толпящихся ленинградцев, шутовливо удивился:

— Чего это ленинградцы жмутся друг к дружке?..

Жданов отошел от нас...»²⁴⁾

Через два с половиной года Сталин будет уже полностью уверен, что «ленинградцы» — опаснейшие «заговорщики», но естественно видеть зарождение этой уверенности в описанной сцене...

* * *

Выше только намечена связь между постановлением 1946 года и Ленинградским делом 1949-го, ибо тема эта, в сущности, до сих пор мало исследована; имеются только скудные сведения вроде: «Кузнецов и Попков вынашивали идею создания компартии России» и, по словам самого Кузнецова, «считали, что права народа, на который прежде всего легло бремя войны, в настоящее время ущемлены...»²⁵⁾

В отличие от Ленинградского дела о «русском национализме», тогдашняя борьба с «антипатриотизмом» тщательно и объективно проанализирована в трактате Г. В. Костырченко. А немногочисленные сочинения, так или иначе касающиеся Ленинградского дела, основаны в большей мере на слухах и домыслах, чем на изучении реальных фактов. П. А. Судоплатов писал в 1990-х годах: «Ленинградское дело» оставалось тайной и после смерти Сталина», — даже несмотря на то, что он, Судоплатов, «был начальником самостоятельной службы МГБ»²⁶⁾, и сегодня это «дело» по-прежнему во многом остается «тайной».

Гораздо более ясна история начавшейся в 1947 году «борьбы с антипатриотизмом», — в частности, потому, что о ней написано несоизмеримо больше, чем о развертывавшейся в те же годы борьбы с «русским национализмом» (это, конечно, «заостренное» обозначение). Нельзя не сказать, что подавляющее большинство сочинений, в которых речь идет об атаках на «антипатриотизм», как еще будет показано, заведомо тенденциозно, но даже и такие сочинения при трезвом, корректирующем содержании в них домыслы и вымыслы взгляде способны помочь пониманию происходившего в 1947—1953 годах.

Во время войны проблема решалась «просто»: люди, которые рассматривались как хотя бы потенциальные «антипатриот-

ты», подвергались превентивным гонениям; так, в СССР были депортированы в восточные регионы страны этнические немцы, а в США даже заключены в концлагеря японцы (это, конечно, только наиболее очевидные «примеры»).

Борьба с «антипатриотами» возобновилась после того, как стала несомненным фактом *холодная война*, — причем, как уже сказано, в США борьба с «антиамериканизмом» (то есть «антипатриотизмом») началась раньше, чем в СССР, — в 1946 году (в ноябре была уже создана специальная президентская комиссия, призванная выявить приверженцев «антиамериканизма» среди двух с половиной миллионов государственных служащих).

В СССР кампания борьбы с «антипатриотизмом» стала очевидной 28 марта 1947 года, когда при министерствах и ведомствах были учреждены «суды чести», долженствующие, согласно их уставу, «повести непримиримую борьбу с низкопоклонством и раболепием перед западной культурой, ликвидировать недооценку значения деятелей русской науки и культуры в развитии мировой цивилизации»²⁷).

Следует со всей определенностью сказать, что очень значительная, подчас даже колоссальная «недооценка» русской науки и культуры действительно имела место в нашей стране и до 1917 года, и, тем более, после него. Многие либеральные (и революционные) идеологи задолго до Революции всячески принижали отечественную науку и культуру, объясняя ее безнадежное «отставание» от Запада негодным политическим и социальным строем России. Они всегда были готовы закрыть глаза на тот факт, что, скажем, Менделеев и Иван Павлов, Толстой и Чехов являли собой наидостоинейших корифеев мировой науки и литературы. Их «недооценке» способствовало и отношение к России со стороны Запада: из названных великих деятелей только Павлову была присуждена (в 1904 году) считающаяся наивысшей наградой Нобелевская премия, Толстого отвергли, а Чехова и Менделеева как бы «не заметили» (они получили высочайшее признание во всем мире много позднее).

После 1917 года недооценка русского творчества сама собой вытекала из господствующей принципиально «интернационалистской» идеологии. В этом отношении типично опубликованное в 1932 году заявление Сталина: «Мы бы хотели,

чтобы люди науки и техники в Америке были нашими учителями, а мы их учениками»²⁸).

В первом томе этого сочинения подробно говорилось о решительном воздействии на Сталина одного (именно только одного) из многочисленных писем к нему, отправленного (в 1946 году) выдающимся ученым П. Л. Капицей, который утверждал, что «один из главных» недостатков положения в отечественной науке — «недооценка своих и переоценка зарубежных сил... необходимо осознать наши творческие силы и возможности... Успешно мы можем это делать только... когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других и на него можно смело положиться». Петр Леонидович напомнил, помимо прочего, что именно в России явились «такие чрезвычайно крупные инженеры-электрики, как Попов (радио), Яблочков (вольтова дуга), Лодыгин (лампочка накаливания), Доливо-Добровольский (переменный ток) и другие»²⁹).

Сталин в первый (и последний) раз ответил постоянно (с 1936 года) обращавшему к нему послания Капице благодарным письмом, и вскоре в печати началось широкое и громкое прославление отечественной науки и техники, — в том числе и тех деятелей, которых назвал в своем послании П. Л. Капица. Следует признать, что в этой «кампании» имели место преувеличения и перегибы, но в целом она была и насущно необходимой, и плодотворной. Есть все основания полагать, что, если бы тогда не свершилось, по выражению Капицы, «осознание отечественных творческих сил», едва ли спустя семь лет, в 1954 году, в СССР была бы создана *первая* в истории атомная электростанция, а в 1957-м страна *первой* осуществила выход в космическое пространство. Между тем во множестве нынешних сочинений борьба с «низкопоклонством», начатая по инициативе П. Л. Капицы, преподносится как вздорное и вредное дело.

Нельзя отрицать, что борьба эта в ряде отношений привела к прискорбным последствиям, но, как не раз напоминалось, любая деятельность имеет свою оборотную сторону, порождая и позитивные, и негативные результаты. Вместе с тем невозможно переоценить создание АЭС и выход в космос, ибо тем

самым Россия *впервые* в своей истории (именно так!) «обогнала» другие страны в грандиозных технологических свершениях.

Но вернемся в 1947 год. К его середине борьба с «низкопоклонством» перед заграницей, то есть, иначе говоря, с «антипатриотизмом», стала одним из главных идеологических направлений. 13 мая Сталин, приняв по их просьбе руководителей Союза писателей — генерального секретаря Фадеева, его 1-го заместителя Симонова и секретаря партийной организации Правления СП Б. Л. Горбатова, — неожиданно для них решительно заявил, что в широких кругах интеллигенции «не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия... Надо бороться с духом самоуничужения у многих наших интеллигентов» и т. д. Эти слова записал тогда же Симонов, а впоследствии, в 1979 году, отметил, что (цитирую) «в самой идее о необходимости борьбы с самоуничужением... с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здоровое зерно тогда, весной сорок седьмого, разумеется, было... возникшая духовная опасность не была выдумкой»³⁰).

В нынешних сочинениях начатая в 1947-м борьба с «антипатриотизмом» чаще всего истолковывается как направленная главным образом или даже исключительно против *евреев*. Но это, как еще будет показано, явно не соответствует действительности: «еврейский вопрос» приобрел остроту только к концу 1948 года в нераздельной связи с созданием в мае этого года государства Израиль. Чтобы доказать обратное, нередко ссылаются на тот факт, что *секретные* документы, в которых речь шла о «проявлениях еврейского национализма» либо о чрезмерном «еврейском засилье» в тех или иных сферах жизни СССР, составлялись и ранее. Но, во-первых, это были именно сугубо *секретные* документы, а во-вторых, нет оснований считать, что в них выражалась *практическая* линия властей; дело шло о «бдительности» НКГБ-МГБ и других государственных и партийных ведомств. Реальные «противоеврейские» акции начались только в конце 1948 года.

Но к этой теме мы еще вернемся; прежде необходимо рассмотреть внимательнее ситуацию 1947 года. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что среди трех главных руководителей Союза писателей СССР, перед которыми Сталин выдвинул

программу борьбы с «низкопоклонством», был и еврей Борис Горбатов, притом К. Симонов сообщил: «...назначение Горбатова партгоргом Правления (СП. — В. К.) шло от Сталина... в Горбатове как секретаре партгруппы предполагалось некое критическое начало», — то есть Горбатов призван был в тех или иных случаях «поправить» генсека Фадеева (там же, с. 114). Зная об этом, странно было бы считать, что тогда, весной 1947-го, Сталин «не доверял» деятелям еврейского происхождения.

Фадеев, не мешкая, стал реализовывать указания Сталина и на состоявшемся в июне 1947-го пленуме Правления СП резко выступил против «низкопоклонства», объявив при этом его «родоначальником» великого русского филолога Александра Веселовского (1838—1906)... И эту инициативу Фадеева *первыми* подхватили в своих обличительных статьях два чиновных литератора *еврейского* происхождения — и. о. директора Института русской литературы («Пушкинский Дом») Л. А. Плоткин и зам. директора Института мировой литературы В. Я. Кирпотин³¹⁾. Статью Кирпотина подверг основательной критике виднейший филолог академик В. Ф. Шишмарев³²⁾, автор изданной в 1946 году книги «А. Н. Веселовский и русская литература», однако в следующем же номере журнала «Октябрь» (1948, № 1, с. 3—27) Кирпотин выступил с совсем уж разгромной статьей под длиннейшим заглавием «О низкопоклонстве перед капиталистическим Западом, об Александре Веселовском и его последователях и о самом главном» (тогда же В. Ф. Шишмарев был снят с поста директора Института мировой литературы). Но, согласно библейским словам, кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и спустя год, в 1949-м, оба обличителя, Кирпотин и Плоткин, сами подверглись суровому осуждению именно за «низкопоклонство»...

И, что касается 1947—1948 годов, можно привести множество подобных фактов. Как известно, одной из мишеней позднейшей — 1949 года — атаки на «низкопоклонство» и «антипатриотизм» были театральные критики еврейского происхождения, — в том числе весьма влиятельный И. Л. Альтман. Он — *единственный* из «обличаемых» по этому «делу» — был исключен из Союза писателей и, более того, с 5 марта (то есть со дня смерти Сталина!) до 29 мая 1953 года находился под арестом³³⁾. Но именно этот самый Альтман 25 февраля 1948 го-

да опубликовал в «Литературной газете» крайне «разоблачительную» статью о книге выдающегося русского театрального деятеля Василия Сахновского «Мысли о режиссуре». Василий Григорьевич был до революции одним из руководителей знаменитого театра В. Ф. Комиссаржевской, а с 1926 года — режиссером Московского Художественного театра. И вот что писал о его книге И. Л. Альтман:

«Широкое обсуждение книги В. Г. Сахновского «Мысли о режиссуре» во Всероссийском театральном обществе и Государственном институте театрального искусства привлекло к себе внимание нашей театральной общественности... Задача режиссеров, театроведов и педагогов ГИТИСа (Государственный институт театрального искусства. — В. К.) заключалась прежде всего в том, чтобы дать правильную оценку глубоко ошибочной, вредной книге. Этого, к сожалению, не произошло... в выступлениях режиссеров и театроведов не было серьезной попытки проанализировать «Мысли о режиссуре» с принципиальных позиций марксистско-ленинской эстетики. За исключением А. Мацкина и Е. Холодова (оба в следующем, 1949 году будут обвинены в «антипатриотизме»! — В. К.), никто не постарался вскрыть порочную методологию режиссера, историка, театроведа, автора многих работ В. Г. Сахновского... Книга «Мысли о режиссуре» — характерный пример рабского подражательства, экзальтированного и буквально самозабвенного преклонения перед реакционной, формалистской эстетикой буржуазного Запада». И характернейшее «обвинение»: «Не случайно поэтому Сахновский игнорирует искусство великих русских мастеров...» (!)

Иоганн Львович завершил свою статью следующим грозным приговором: «Многие наши театроведы... пробавляются эклектической окрошкой из декадентских театральных теорий... Редакция газеты «Советское искусство» не занимается вопросами эстетики театра. Решение ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. отмечало крупнейшие недостатки театральной печати и особенно «Советского искусства». Положение за это время не улучшилось. Яркий образец — вредные статьи «Советского искусства» в защиту реакционной книги В. Г. Сахновского»³⁴).

Кстати сказать, в *той же* самом номере «ЛГ» от 25 февраля 1948 года выступил имевший впоследствии широкую попу-

лярность, а тогда еще, в сущности, начинающий литератор еврейского происхождения З. С. Паперный, воспитанник известного ИФЛИ. Одобрив в целом работы деятелей литературной науки Н. К. Пиксанова, С. П. Бычкова, Н. Л. Бродского и Я. Е. Эльсберга (двое последних — евреи), он обрушился с крайне резкими обвинениями на В. И. Чичерова, С. М. Петрова и А. Г. Цейтлина (еврея). По его словам, в работе Чичерова нет анализа «самобытного русского эпоса, связанного с развитием русской жизни и государственности... Верный и последовательный ученик А. Н. Веселовского, В. Чичеров превзошел даже своего учителя; сам Веселовский не заходил так далеко в безоговорочном и бесцеремонном отрицании своеобразия русского фольклора!»

Далее в сочинении З. С. Паперного читаем: «Давая блестящую и сокрушительную отповедь кадетскому сборнику «Ве-хи»... Ленин писал о *«полнейшем разрыве... с русским освободительным движением... со всеми его коренными традициями»*. Эти ленинские слова невольно вспоминаешь, читая статью А. Цейтлина о русском общественно-психологическом романе, написанную, правда, сорок лет спустя после появления «позорно знаменитой книги», но по духу своему вполне продолжающую ее антидемократические традиции...» и т. д.

Словом, начатая весной 1947 года борьба с «антипатриотизмом» до определенного времени — до последних месяцев 1948-го — явно не имела *противоеврейского* характера. Это очевидно как из того факта, что самым суровым нападкам по этой линии подвергались деятели культуры и науки *русского* происхождения, так и из того, что среди застрельщиков борьбы с «низкопоклонством» было множество людей еврейского происхождения, которые «обличали» и русских, и своих соплеменников.

В 1948 году я поступал на филологический факультет Московского университета и потому еще в последних классах школы достаточно внимательно следил за ходом дискуссий и «кампаний» в сфере литературы и культуры (до сих пор у меня сохранились многочисленные вырезки из газет и журналов 1946-го и последующих лет) и могу свидетельствовать, что вплоть до 1949 года нападкам подвергались *главным образом* деятели науки и культуры русского происхождения — уже упо-

мянутый академик В. Ф. Шишмарев, академики В. В. Виноградов, А. С. Орлов, действительный член Украинской Академии наук А. И. Белецкий, профессора В. А. Десницкий, И. П. Еремин, Г. Н. Поспелов, И. Н. Розанов, А. Н. Соколов и многие другие. В этом нетрудно убедиться, обратившись к прессе 1947—1948 годов. Евреи начали преобладать в перечнях облачаемых «низкопоклонников» и «антипатриотов» только с начала 1949 года, что имело свою существенную и вполне очевидную причину — ту ситуацию, которая сложилась и в СССР, и в мире в целом через несколько месяцев после создания (в мае 1948-го) государства Израиль.

* * *

Правда, мощное возрождение русского самосознания в годы Отечественной войны привело к тому, что даже среди вчерашних незыблемых «интернационалистов» (в том числе и занимавших высокие посты) распространяется мнение о «ненормальности» очевидного обилия и, выражаясь резче, «засилья» евреев в тех или иных областях жизни общества. Как было показано в первом томе этого сочинения, в собственно *революционный* период обилие «инородцев» и иностранцев (поляки, прибалты и т. д.) во власти и в сфере культуры (в самом широком смысле слова) было закономерным и даже неизбежным явлением, что подтверждает и опыт других революций, — в особенности Французской XVIII века. Но когда после революционного катаклизма жизнь постепенно начала входить в берега, совершенно естественным было все более широкое выдвижение на первый план представителей основного населения страны. Этот ход дела, между прочим, достаточно объективно и убедительно охарактеризован в трактате израильского политолога М. С. Агурского «Идеология национал-большевизма» (Paris, 1980).

Ранее всего уменьшение доли евреев произошло на наивысшем уровне власти — в Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б). Если к концу гражданской войны, в 1921 году, евреи занимали почти 2/3 состава Политбюро, то в 1923-м — 2/5, а в начале 1926-го, после пяти «нэповских» лет, их доля сократилась до 1/3, затем и до 1/10. Страстный борец против «антисемитизма» критик и

писатель А. М. Борщаговский (о книгах которого еще будет речь) возмущенно заявил в 1994 году, что Сталин «оставил» в Политбюро одного-единственного еврея — Кагановича*.

Для сочинений этого автора характерно какое-то необычайное простодушие, даже наивность: сообщая о каком-либо факте, он нередко поистине странным образом не замечает, что сей факт имеет, в сущности, совсем не тот смысл, не то значение, которое Борщаговский в нем усматривает. Так, например, он пишет, что «в 1937 году меня не бог уберег, а... упрямая, абсолютная отдельность моей жизни от начальства. Тогда, в возрасте 24 лет я, комсомолец, исполнял обязанности начальника Главреперткома Украины, был заместителем редактора, а с лета 1937 года фактически редактором ежемесячного журнала «Театр». Аресты буквально опустошили республиканский Комитет по делам искусств...»³⁵⁾

Неужели человек, занимающий посты начальника театральной цензуры и одновременно редактора одного из главных журналов второй по статусу республики СССР, являет собой нечто «абсолютно отдельное» от начальства?! И вполне понятно, что 24-летний комсомолец смог получить столь высокие должности, которые, несомненно, входили в «номенклатуру» Политбюро ЦК КП(б) Украины, именно в силу арестов его предшественников, — то есть он восседал на, так сказать, залитых кровью начальственных креслах... Речь идет, разумеется, отнюдь не о какой-либо «вине» Борщаговского, а только о его прямо-таки удивительном простодушии...

Но не менее удивительно и его возмущение тем, что всего лишь 1 из 11 членов Политбюро конца 1940-х годов был евреем. Любопытно было бы узнать, сколько же членов верховного органа власти страны, еврейское население которой составляло тогда немногим более 1%, должны были являться евреями, чтобы А. М. Борщаговский не считал порядки в СССР «антисемитскими»?

Стоит еще процитировать сочинение другого столь же пламенного борца с «антисемитизмом» — Евгении Альбац. Она

*Кстати, он вошел в состав Политбюро уже в период господства Сталина; с конца 1926 года (когда Сталин еще не был полновластным «хозяином») до середины 1930-го евреев в Политбюро вообще не имелось.

стремится опровергнуть мнение, что евреи в СССР начали испытывать притеснения только много лет спустя после октября 1917 года: «Существует миф о невероятном благоденствии евреев в постреволюционном Советском Союзе. Это неправда... Вот факты. 1923—1924 годы — в 150 городах России арестовываются три тысячи сионистов. 1928-й — в СССР запрещается публикация книг на иврите, начинаются аресты еврейских писателей*»³⁶⁾ и т. д. Но вот выводы другого автора, который специально исследовал эту проблему, — уже упомянутого израильского политолога М. С. Агурского: «...вплоть до тридцатых годов *главными и почти исключительными* (выделено мною. — В. К.) врагами сионизма в СССР были сами же евреи... сионисты как внутри СССР, так и в Палестине видели главными виновниками этих преследований не саму советскую политическую систему, а т. н. Евсекцию** и вообще коммунистов еврейского происхождения»³⁷⁾. Так что та борьба против сионизма, которая имела место в послереволюционный период и которую Е. Альбац (возможно, в силу невежества) объявляет выражением антисемитизма, была, по существу, *внутриеврейским* делом.

Обратимся теперь к возникшему во время войны недовольству сложившимся после 1917 года «еврейским засильем» во многих областях жизни страны. Например, 17 августа 1942 года в Секретариат ЦК поступила записка, информирующая о том, что из 12 руководителей Большого театра (директор, дирижеры, режиссеры и т. п.) 10 человек — евреи и только 1 русский...³⁸⁾ В 1943 году секретарь парткома МГУ В. Ф. Ноздрев направил в ЦК письмо, в котором сообщал, что в предшествующем, 1942-м, «пропорция» окончивших физический факультет университета евреев и русских составила 98% и 2% (!; там же, с. 286).

Впоследствии великий математик Л. С. Понтрягин (1908—1988) вспоминал, как перед войной он в Воронеже «познакомился с очень милой студенткой Асей Гуревич. По окончании Воронежского университета я взял ее в аспирантуру в Мос-

*Стоит напомнить, что аресты русских писателей начались с 1918 года...

**Стоит сообщить, что отец Агурского был одним из главных деятелей «Еврейской секции» ВКП(б); эта тема (отец — борец с сионизмом, а сын — сионист) заслуживает особого внимания.

кву... Ася в течение нашего знакомства неоднократно обращалась ко мне с просьбой помочь кому-нибудь из ее друзей в каком-то смысле. Это были всегда евреи. Мне это не казалось странным, поскольку сама она была еврейкой... Но уже после войны она меня *совершенно поразила* одним своим заявлением. Она жаловалась мне, что в текущем году в аспирантуру принято совсем мало евреев, не более четверти всех принятых. А ведь раньше, сказала она, принимали всегда не меньше половины...»³⁹⁾ (!)

Конечно, многие объявят упомянутые «записки» в ЦК «антисемитскими». Но если подойти к ним с истинной беспристрастностью, их нельзя не признать констатацией явно «ненормального» положения вещей. Кроме того, записка в ЦК о ситуации в Большом театре не имела последствий. Правда, в 1943 году вместо С. А. Самосуда главным режиссером и дирижером Большого театра стал А. М. Пазовский, но он также был евреем, и лишь через пять лет, к концу 1948 года, его сменил русский — великий музыкант Н. С. Голованов. Что же касается сообщившего о положении в Московском университете В. Ф. Ноздрева, он продолжал «бить тревогу» и далее, в 1944—1945 годах, и в мае 1946-го был за это снят с поста секретаря парткома.

Едва ли есть основания считать упомянутые «заявления» противоеврейскими; дело шло, говоря попросту, не о том, что евреи — это «плохо», а о том, что их слишком «много»... Ведь евреев, которых было чрезмерно «много» на руководящих постах в Большом театре, высоко ценили и тогда, и впоследствии: дирижер С. А. Самосуд получил Сталинские премии в 1947 и в 1952 годах; дирижер Ю. Ф. Файер — в 1946, 1947 и 1950-м, а в 1951-м стал народным артистом СССР; балетмейстер А. М. Мессерер был удостоен Сталинской премии в 1947-м, а в 1951-м обрел звание народного артиста РСФСР и т. д. А ведь эти годы преподносятся множеством авторов как время тотальной и воинствующей политики «антисемитизма», проводимой к тому же по личной воле самого Сталина.

Да, множество нынешних авторов утверждают, что Сталин был чуть ли ни врожденным «антисемитом» или по крайней мере стал таковым уже в 1920-х годах и только до поры до времени не проявлял это свое «качество» открыто и агрессивно.

И, между прочим, опровержение сей, как я постараюсь доказать, безосновательной версии самые разные люди воспринимают с одинаковым недовольством, ибо «антисемитизм» Иосифа Виссарионовича в глазах одних предстает как едва ли не главный его «порок», а в глазах других, напротив, как перво-степенное «достоинство».

Однако при объективном исследовании существа дела выясняется, что нет никаких сколько-нибудь достоверных сведений, дающих основания для причисления вождя к антисемитам, — то есть к людям, которые негативно относятся к евреям как таковым, то есть как к национальности, к этносу.

Попытки зачислить Сталина в антисемиты нередко приводят к настоящим курьезам. Так, например, приобретший лет десять назад широкую популярность эмигрантский публицист А. Авторханов безоговорочно объявил Сталина «антисемитом», каковым он был, по его уверению, по меньшей мере с двадцатых годов, — потому, мол, и боролся с Троцким (хотя хорошо известно, что Бухарин вел борьбу с Троцким еще более активно)!⁴⁰⁾ Однако тот же Авторханов написал, что в конце 1940—начале 1950-х годов, «когда Сталин... стал разбирать членов Политбюро по косточкам, копаясь в их исторических, политических и генеалогических грехах, то выяснилось: из 10 членов Политбюро 5 оказались еврейскими родственниками (Молотов, Маленков, Ворошилов, Хрущев, Андреев), один — евреем (Каганович), один «полуевреем» (Берия) *...»⁴¹⁾ Но ведь эти 7 из 10 ближайших сподвижников без воли Сталина ни в коем случае не могли бы обрести свое верховное положение! И разве не является в свете этого полностью абсурдной версия об «антисемитизме» Иосифа Виссарионовича? Неужто он, будучи антисемитом, мог не заметить, какие люди «пробираются» в его Политбюро?

И другая сторона дела. Сложилась прочная «традиция», в соответствии с которой любая отставка с высокого поста и, тем более, какие-нибудь репрессии в отношении любого еврея истолковываются во множестве сочинений о сталинских време-

*Это, впрочем, оспаривают, хотя мать Берии, портниха по имени Марта, жившая в селении Меркулки Кутаисской губернии, могла быть еврейкой (в этой губернии в конце XIX века насчитывалось около 10 тысяч евреев).

нах как следствия «антисемитизма». Так, например, Зиновий Шейнис в изданной в 1992 году книжке «Провокация века» (редкостной, надо сказать, по своей лживости в целом) утверждал, что замена в 1939 году М. М. Литвинова (Валлаха) В. М. Молотовым на посту наркома иностранных дел являла собой «расовую чистку». Шейниса, в частности, совершенно не смущает тот факт (он, впрочем, умалчивает о нем), что тогда же, в 1939 и 1940-м, на более высокие посты заместителей председателя Совнаркома были назначены евреи Р. С. Землячка (Залкинд) и Л. З. Мехлис. Шейнис заявил тут же, что причиной снятия Литвинова был «курс на сближение с нацистской Германией»⁴²⁾, — имея в виду «сближение» и в «еврейском вопросе». На деле Сталин, всячески старавшийся оттянуть войну и готовившийся к переговорам с Берлином, не мог — это было бы своего рода вызовом, обрекающим все дело на неуспех, — послать туда наркоминдела-еврея.

Заявление о «расовой чистке» — поистине наглая ложь, ибо *во время переговоров* с Германией заместителем наркома иностранных дел стал еврей С. А. Лозовский (Дридзо), послом в США был еврей К. А. Уманский, послом в Великобритании — еврей И. М. Майский (Ляховецкий), во Франции — еврей Я. З. Суриц (который, кстати, ранее был послом в Германии), — то есть евреи и после якобы имевшей место «расовой чистки» занимали важнейшие посты во внешнеполитическом ведомстве! А вскоре же после начала войны Литвинов стал одновременно и заместителем наркома иностранных дел (до 1946 года), и послом в США (вместо Уманского). Из этого ясно, что Литвинов был в 1939-м снят с поста наркоминдела вовсе не по «расовым», а по конкретным *политическим* соображениям.

Правда, в иных сочинениях напоминают, что в 1943 году Литвинов перестал быть послом в США. Однако в этом повинен вовсе не Сталин, а Рузвельт (да и сам Литвинов). Хорошо осведомленный дипломатический работник В. М. Бережков в своей изданной в 1993 году книге «Как я стал переводчиком Сталина» (кстати, отнюдь не «просталинской», а совсем даже наоборот) сообщил, что в 1943 году Литвинов, выступая на митингах в США, участники которых требовали немедленного открытия «второго фронта», «критиковал поведение правитель-

ства США. В одной из бесед со Сталиным посол США Гарриман дал понять, что президент Рузвельт недоволен подобными выступлениями советского посла. Посол, добавил Гарриман, не должен допускать нападков на правительство страны, при котором он аккредитован. Это выглядело как объявление Литвинова персоной нон грата... Сталин ощутил себя уязвленным... решил щелкнуть Америку по носу и пошел на беспрецедентную акцию: попросту передвинул на кресло Литвинова советника посольства Андрея Громыко», — вместо того чтобы прислать «какого-либо высокопоставленного деятеля»⁴³). А Литвинов — как бы в порядке компенсации — стал в 1946 году депутатом Верховного Совета СССР, хотя, будучи тяжело болен (ему уже, кстати, шел восьмой десяток), даже не мог встречаться с избирателями⁴⁴).

* * *

Исходя из вышеизложенного, естественно заключить, что Сталин до конца 1940-х годов, как говорится, не имел ровно ничего против евреев, ибо иначе, например, немислим был бы «факт», отмеченный Авторхановым: к 1949 году 7 из 10 самых близких сталинских сподвижников были так или иначе связаны с евреями...

Нельзя не сказать еще и о том, что во множестве сочинений в качестве вроде бы бесспорного доказательства сталинского «антисемитизма» приводится история первого замужества дочери вождя, Светланы Иосифовны, весной 1944 года избравшей своим супругом еврея Г. И. Морозова. При этом ссылаются прежде всего на слова Сталина, воспроизведенные в воспоминаниях дочери. Говоря ей о «происках сионистов», он добавил: «Сионисты подбросили и тебе твоего первого муженька»⁴⁵). Слова эти преподносятся так, как будто Сталин уже в 1944 году думал нечто подобное и, хотя по тем или иным причинам не воспрепятствовал тому, что его восемнадцатилетняя дочь попала на удочку «сионистов», спустя три года, весной 1947-го, все же будто бы заставил ее порвать с Морозовым.

Однако перед нами заведомая фальсификация, ибо Светлана Иосифовна со всей определенностью сообщила, что приведенные слова Сталин произнес «некоторое время спустя» после

ареста жены Молотова П. С. Жемчужиной (Карповской) 21 января и С. А. Лозовского 26 января 1949 года, а вовсе не весной 1947-го (и, тем более, не 1944-го). К январю 1949-го политическая ситуация была уже совершенно иной.

Характерна «версия», преподнесенная в воспоминаниях Хрущева, стремившегося всячески «дискредитировать» Сталина, а себя представить беззаветным «юдофилом». Он говорил о муже Светланы Иосифовны: «Некоторое время Сталин его терпел... Потом разгорелся приступ антисемитизма у Сталина, и она была вынуждена развестись с Морозовым. Он умный человек, хороший специалист, имеет ученую степень доктора экономических наук, настоящий советский человек»⁴⁶).

Слухи подобного рода распространялись и ранее, и Светлана Иосифовна в сочинении, написанном в 1963 году и опубликованном в 1967-м, сообщив, что отец не возражал против ее брака, вместе с тем добавила: «Он ни разу не встретился с моим первым мужем и твердо сказал, что этого не будет. «Слишком он расчетлив, твой молодой человек...» — говорил он мне. «Смотри-ка, на фронте ведь страшно, там стреляют, — а он, видишь, в тылу окопался...»» (цит. сөч., с. 174, 175), — то есть дело вовсе не в национальности Морозова.

При этом не следует забывать, что оба сталинских сына не уклонялись от фронта, а ведь Морозов был одноклассником Василия Сталина (отсюда и сближение с сестрой последнего), ему исполнилось в 1941-м 20 лет, но вместо армии он сумел устроиться в московскую милицию, точнее в ГАИ, что давало так называемую броню⁴⁷). Двоюродный брат (по линии матери) Светланы Иосифовны, В. Ф. Аллилуев, свидетельствовал впоследствии: «Опасения Сталина о «расчетливости» (Морозова. — В. К.) стали подтверждаться. Светланину квартиру заполнили родственники мужа, они докучали ей своими просьбами и требованиями... В итоге отношения между супругами стали охлаждаться» (там же, с. 178).

«Расчетливость» в самом деле была неординарной. Автор популярного сочинения «Номенклатура», перебежчик М. Восленский, который сам принадлежал до бегства из СССР к номенклатуре и был о многом осведомлен (кстати, он ни в коей мере не антисемит, а совсем даже наоборот), констатировал, что «с завидным упорством рвался в номенклатуру Григорий

Морозов — первый муж Светланы Сталиной, безуспешно пытавшийся потом, уже 45-летним мужчиной, жениться на дочери Громыко. Женился на ней профессор Пирадов, которого называют «профессиональным мужем»: первой его женой была дочь Орджоникидзе, благодаря браку с которой он был откомандирован с весьма не нравившегося ему советско-германского фронта и направлен в Высшую дипломатическую школу»⁴⁸⁾ (многозначительный намек, ибо и Морозов вместо фронта поступил в Московский институт международных отношений).

Тем не менее едва ли не в каждом сочинении, где заходит речь о пресловутом «антисемитизме» Сталина, «сообщается» — причем в качестве одного из *важнейших* «доводов» — о том, что вождь заставил свою дочь порвать с евреем Морозовым. И делается это, несмотря на то, что сама дочь Сталина категорически опровергла подобные слухи в изданном еще в 1967 году тексте: «Мы расстались весной 1947 года — прожив три года — по причинам личного порядка, и тем удивительнее было мне слышать позже, будто отец настоял на разводе, будто он этого потребовал» (цит. соч., с. 176). В. Ф. Аллилуев поведал, как одна из родственниц, которой Светлана Иосифовна сообщила в начале 1947 года о своем близящемся разводе с Морозовым, предположив, что «за этим стоит воля отца, неосторожно воскликнула, намекая на перенесенный (в 1946 году. — В.К.) Сталиным инсульт: «Что, твой папочка совсем выжил из ума?» — «Да нет, отец тут ни при чем, он еще ничего не знает об этом. Так решила я»»⁴⁹⁾.

Если вдуматься, уже сам по себе тот факт, что едва ли не все сочинения, в которых говорится об «антисемитизме» Сталина, используют такой шаткий, такой сомнительный «аргумент» как очерченная выше история первого замужества его дочери, ясно говорит о сомнительности подобных сочинений в целом.

И, кстати сказать, евреями были не только муж Светланы Иосифовны, но и *все* руководившие ее образованием профессора-историки — И. С. Звавич, Л. И. Зубок и А. С. Ерусалимский. Допустим, Сталин не захотел препятствовать браку дочери с человеком, которого она полюбила. Но уж внушить ей, что необходимо избрать других преподавателей, ему, если бы он в самом деле был антисемитом, ничего не стоило.

Вместе с тем в 1949 году наставники «августейшей» дочери

Звавич и Зубок подверглись суровым гонениям, и именно тогда Сталин сказал и о Морозове, что его-де «подбросили сионисты». И для понимания такого оборота дела необходимо уяснить, что рубеж 1948—1949 годов был очень существенным рубежом в политике и идеологии.

* * *

Этот рубеж нераздельно связан с созданием в мае 1948 года государства Израиль, можно даже сказать, всецело порожденным этим событием, имевшим чрезвычайно значительные последствия для мировой политики в целом. Во многих сочинениях утверждается, что возникновение Израиля и его роль на международной арене явились всего лишь *поводом* для тех или иных «противоеврейских» акций в СССР, которые готовились-де еще в годы войны или даже раньше, но в силу каких-то причин не были реализованы вплоть до конца 1948 года, — когда стала ясной истинная направленность созданного в Палестине еврейского государства. Речь при этом идет главным образом о различных *секретных* документах 1943 — начала 1948 годов, в которых более или менее негативно характеризовалась деятельность каких-либо людей еврейского происхождения, — особенно в рамках Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), начало которому было положено на состоявшемся в Москве 24 августа 1941 года транслировавшемся по радио митинге; к весне 1942 года ЕАК оформился как весьма влиятельная организация.

Однако всякого рода слежка, постоянная «бдительность» и даже «планирование» репрессивных акций против «подозреваемых» были неотъемлемыми «особенностями» послереволюционных десятилетий, и далеко не все подобного рода «инициативы» имели практические последствия. И нет оснований полагать, что тот или иной «компромат» на деятелей ЕАК представлял для них *реальную* угрозу до конца 1948 года; перед нами своего рода рутинное занятие органов НКГБ-МГБ, а также ЦК ВКП(б).

Этому вроде бы противоречит тот факт, что уже в 1946 году ставился (и весьма решительно) вопрос о ликвидации ЕАК, — о чем многозначительно говорится в ряде сочинений. Но данный факт, если разобраться, имеет как раз *противоположное* значение. Дело в том, что наряду с ЕАК во время вой-

ны были созданы и другие «антифашистские комитеты» — Всеславянский, Советских ученых, Женщин и др., — но не позже 1947 года они были или распущены, или существенно преобразованы. Между тем ЕАК продолжал свою деятельность до конца 1948 года, и, если бы взаимоотношения СССР и Израиля сложились иначе, он, вполне вероятно, не был бы ликвидирован.

Как ни странно (да и даже нелепо!), изрекаемые множеством авторов «обвинения» Сталина в «антисемитизме» начисто игнорируют тот бесспорный факт, что он в качестве полномочного «хозяина» СССР сыграл безусловно *решающую* роль в создании еврейского государства в Палестине! Разумеется, Сталин — как и любой государственный деятель — руководствовался при этом прежде всего интересами собственной страны, а не тех евреев, которые стремились создать свое государство. Он полагал, в частности, что уже хотя бы благодаря всемерной поддержке со стороны СССР новое государство станет его союзником и тем самым будет обеспечено более или менее весомое советское присутствие в исключительно важном с геополитической и экономической точек зрения ближневосточном регионе, откуда при этом будет в значительной мере вытеснена господствовавшая там Великобритания (что и в самом деле произошло).

Но есть ведь и другая сторона проблемы: Сталин — чего нельзя оспорить — полагал, что на *еврейское* государство можно рассчитывать как на верного *союзника*, и это, надо признать, самое сокрушительное *опровержение* якобы присущего Сталину антисемитизма!

Израильский политолог и дипломат (он побывал в 1960-х годах 1-м секретарем посольства Израиля в СССР) Йосеф Говрин, которого нельзя заподозрить в преувеличении сталинских заслуг перед еврейским государством, показал в своем исследовании истории израильско-советских отношений, что СССР сыграл главную роль в создании Израиля: «Позиция Советского Союза, высказанная в решительной форме, оказала *определяющее* (выделено мною. — В. К.) влияние на формирование решения... которое привело к прекращению действия британского мандата на Палестину* и провозглашению 15 мая 1948

*После Первой мировой войны Великобритания получила право (утвержденное Лигой Наций) на управление Палестиной.

года государства Израиль... Советский Союз признал Израиль де-юре 17 мая 1948 года. Он был первой страной, полностью признавшей Израиль...^{*} В те судьбоносные дни Советский Союз... действовал как через ООН, где он резко осудил вторжение арабских армий на территорию Израиля и призвал к их немедленному выводу (прения в Совете Безопасности ООН от 27—28 мая), так и оказывая Израилю через Чехословакию военную помощь, жизненно необходимую для отражения вторгшихся армий. Советский Союз ожидал, что в ответ на политическую и военную помощь Израиль встанет на его сторону в конфронтации между блоками»⁵⁰⁾ (то есть прежде всего в противостоянии СССР — США; но Израиль встал на сторону США...).

При этом важно знать, что вплоть до дня провозглашения государства Израиль США отстаивали совсем иную программу, согласно которой Палестина должна была стать особой территорией под опекой ООН и «управляться назначаемым ООН генерал-губернатором. Учитывая используемую США в тот период машину голосования, генерал-губернатором вполне мог стать американский ставленник»⁵¹⁾.

Стоит еще процитировать воспоминания непосредственной участницы событий 1947—1948 годов — Голды Меир, которая была первым послом Израиля в СССР, затем министром иностранных дел и, наконец, премьер-министром. Четверть века спустя, в 1973 году, она писала: «Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам (т. е. к Израилю. — В. К.) за последующие двадцать пять лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии?... Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток... Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него не похоже, и факт остается фактом: несмотря на то, что Советский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля... имело для нас огромное** значение»⁵²⁾.

^{*}США полностью (то есть де-юре) признали Израиль лишь восемь месяцев спустя, в январе 1949 года, когда стало ясно, что это новое государство является их союзником.

^{**}Йосеф Говрин выразился более точно: не «огромное», а «определяющее» — то есть решающее.

Уже упоминавшийся израильский политолог М. С. Агурский констатировал, что поначалу в Израиле «были исключительно сильные симпатии к СССР как к государству, которое, во-первых, спасло еврейский народ от уничтожения во время Второй мировой войны, а во-вторых, оказало огромную политическую и военную помощь Израилю в его борьбе за независимость. Огромной популярностью пользовался А. А. Громыко за его речи в ООН в поддержку еврейского государства. В Израиле установилось даже идеализированное представление об СССР и его тогдашнем вожде, и подавляющее большинство израильтян просто не хотели слышать никакой критики в адрес СССР»⁵³).

Другой автор, сын знаменитого разведчика Э. Бройде-Треппер, сообщал, что «многие израильтяне боготворили Сталина... Даже после доклада Хрущева на XX съезде портреты Сталина продолжали украшать многие государственные учреждения, не говоря уже о кибуцах»⁵⁴) (то есть израильских «колхозах»). Тем не менее с осени 1948 года, то есть всего через несколько месяцев после создания Израиля (который, кстати сказать, официально объявил о своей внешнеполитической «независимости»), стала все более ясно обнаруживаться приверженность нового государства к союзу с США, — что, вполне естественно, вызывало крайнее недовольство в СССР.

В связи с этим встает вопрос о недальновидности или даже полной слепоте правящих кругов СССР и лично Сталина. Но предвидеть решительный «поворот» Израиля в сторону США было вовсе не так легко, как может казаться сегодня. Прежде всего — о чем уже говорилось — США ведь были *против* создания суверенного (а не «подопечного») государства Израиль до самого момента его провозглашения. Кроме того, начатая в 1946 году в США кампания против «антиамериканизма», о которой шла речь выше, во многом была направлена против людей *еврейского* происхождения (что ныне замалчивается); в частности, отстраненный от ответственных постов «отец атомной бомбы» Оппенгеймер и казненные супруги Розенберг были евреями.

Всеобщее внимание привлекла борьба с «антиамериканистами» в цитадели кинематографии США — Голливуде, о чем, например, рассказал в своей изданной в 1964 году книге «Ин-

квизиция в раю» широко известный тогда американский кинодеятель и писатель Алва Бесси. Вот хотя бы один выразительный эпизод из этой книги, воссоздающий события 1947 года (то есть до каких-либо «противоеврейских» акций в СССР). В Вашингтоне собрались, писал А. Бесси, «девятнадцать человек, вызванных в Комиссию палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности... Тринадцать из девятнадцати — евреи... Их интересы представляют шесть адвокатов, один из которых (Бартли Крам) ведет напряженный телефонный разговор с Голливудом».

А. Бесси почему-то не захотел поведать, с каким именно голливудским продюсером беседовал адвокат; он назвал только его имя — Дэвид. Адвокат Крам призывал Дэвида возглавить Комитет в защиту обвиняемых в «антиамериканской» деятельности:

«Крам: Но, Дэвид, вам необходимо быть председателем Комитета... Знаю, что вы еврей. *(Длинная пауза. Крам страшно взволнован.)* Послушайте меня, Дэвид! Я был в Германии после войны. Они делали то же самое... Видел я и такого, как вы, в Германии. Он тоже был независимым продюсером. И евреем. И либералом. И он тоже не хотел вмешиваться. *(Пауза.)* Вы слушаете, Дэвид? Знаете, что стало с этим человеком, который не хотел бороться? *(Пауза, переходит на крик.)* Я видел это, Дэвид! Он стал куском мыла!»⁵⁵

Сам А. Бесси (также еврей) за свой «антиамериканизм» отсидел год в тюрьме — вместе с другими его коллегами. В своей книге он говорит и о самом себе, и о десятках знакомых ему людей, — в преобладающем большинстве евреев, — которые были так или иначе подвергнуты преследованиям (в частности, вынуждены были зарабатывать на жизнь под чужими именами и т. п.). Несколько из них покончили с собой, другие безвременно скончались и т. д.

Подобные и еще более тяжкие преследования испытали люди еврейского происхождения и в СССР, но они начались позже, чем в США, — уже после создания Израиля, и это весьма многозначительное различие, которое выразилось и в том факте, что СССР сыграл решающую роль в создании еврейского государства и сразу же полностью признал его, а США по

сути дела препятствовали созданию этого государства и окончательно признали его лишь тогда, когда стало вполне очевидным «союзническое» поведение Израиля.

* * *

Могут возразить, что жестокая противоеврейская акция состоялась уже в начале 1948 года — за десять месяцев до того, как стал совершенно очевидным конфликт СССР и Израиля: в ночь с 12 на 13 января в Минске был убит художественный руководитель Государственного еврейского театра (ГОСЕТ), член Комитета по Сталинским премиям (он и приехал в Минск для ознакомления с театральными спектаклями на предмет выдвижения их на премии) С. М. Михоэлс.

Но, во-первых, господствующая ныне версия, согласно которой Михоэлс был убит по заданию Сталина сотрудниками МГБ, не обладает, как будет показано ниже, полной достоверностью. А во-вторых, если даже эта версия является истинной, необходимо еще и верное понимание того, *почему* или, как говорится, «за что» был убит Михоэлс.

Уже цитированный выше автор, А. М. Борщаговский, не раз писал о гибели Михоэлса и в своей изданной в 1991 году книге «Записки баловня судьбы» справедливо констатировал: «Открылся неограниченный простор для слухов, домыслов и легенд... И любой слух, любая, даже самая недостоверная, легенда основывалась на свидетельствах, полученных якобы из первых рук...»⁵⁶) Но тремя годами позднее он так подвел итог: «Версии минского убийства с течением времени множились, писавшие о нем вступали в обидчивые споры, и только 44 года спустя газетная публикация, небольшая заметка «Ордена за убийство», положила конец спорам»⁵⁷). Речь шла о ставшей известной в 1992 году* «совершенно секретной» записке Л. П. Берии, адресованной «в Президиум ЦК КПСС тов. Маленкову Г. М.» с датой «2 апреля 1953 года».

В цитируемом сочинении Борщаговский привел эту сохра-

* Стоит сообщить, что в изданном одновременно, в 1992 году, биографическом справочнике «Знаменитые евреи» (автор-составитель Эммануил Бройтман) было сказано, что Михоэлс «погиб... при не выясненных до конца обстоятельствах». Автор-составитель поступил честно, ибо об убийстве Михоэлса сотрудниками МГБ говорилось до 1992 года только на основе «слухов».

нившуюся в архиве записку целиком и подверг ее определенному анализу. Выше говорилось о «странностях» хода мысли этого автора; они прямо-таки разительно проявились в данном случае. Ибо, с одной стороны, Борщаговский полностью принимает изложенную в записке версию гибели Михоэlsa, а с другой — говорит о «лжи, которой пропитаны *едва ли не все строки* (выделено мною. — В. К.) этого письма в Президиум ЦК КПСС» (цит. соч., с. 8).

Далее Борщаговский напоминает, что «известно, как стряпались и «редактировались» показания... на Лубянке, как следователи искажали протоколы допросов» и т. п., и даже констатирует, что то или иное слово, встречавшееся в «показаниях», излагаемых в бериевской записке, «никак не могло быть употреблено» теми лицами, которые будто бы дали эти показания⁵⁸).

Итак, утверждая, что записка от 2 апреля явно «состряпана», Борщаговский вместе с тем — вопреки логике — выражает полное согласие с основным ее «содержанием».

Я не отрицаю версию, согласно которой Михоэлс был убит сотрудниками МГБ, но, поскольку *единственный* подтверждающий ее документ имеет весьма сомнительный характер, эта версия, как представляется, не обладает стопроцентной достоверностью. Но наиболее существенно для обсуждаемой проблемы другое — в чем был «повинен» Михоэлс? Из целого ряда документов явствует, что крайнее недовольство вызывали его взаимоотношения с семьей Аллилуевых — родственников второй жены Сталина, Н. С. Аллилуевой, которые и при ее жизни, и долгое время после ее смерти были близки с вождем, хотя все более критически к нему относились. В декабре 1947 — январе 1948 года (то есть как раз тогда, когда погиб Михоэлс) сестра жены Сталина А. С. Аллилуева, вдова брата сталинской супруги Е. А. Аллилуева и ее дочь К. П. Аллилуева были арестованы и в мае осуждены за «распространение гнусной клеветы» на Сталина. Одним из тех, кто, по мнению следователей, слушал и распространял эту клевету далее — якобы даже в США! — был познакомившийся с Аллилуевыми еще в 1946 году Михоэлс.

О «деле» Аллилуевых подробно говорит в своей книге осознанно осведомленный В. Ф. Аллилуев — сын А. С. Аллилуе-

вой. И характерно, что он отрицает версию убийства Михоэlsa сотрудниками МГБ, видя в его гибели не столь редко имеющее место в судьбах людей *совпадение* двух событий — случайного и целенаправленного, ибо, по его мнению, Михоэlsa, если бы он не погиб, ждал арест⁵⁹). Но важно заметить, что «вина» Михоэlsa в январе 1948 года заключалась не в создании «сионистского центра», а в распространении «клеветы» на Сталина. Имело место, по определению Г. В. Костырченко (цит. соч., с. 95) «дело Михоэlsa — Аллилуевых», а не, скажем, «дело ЕАК».

Только почти год спустя начались аресты участников «сионистского центра», прежде всего членов ЕАК. И подосновой возникшего тогда «дела», без сомнения, было резкое изменение взаимоотношений с Израилем, о чем теперь и пойдет речь.

* * *

Как уже сказано, в 1947—первой половине 1948 года очень трудно было предвидеть грядущую «проамериканскую» политику возникавшего государства, в котором было широко распространено вполне позитивное или даже восторженное восприятие СССР. После провозглашения еврейского государства борьба за места в кнессете (израильском парламенте), который был избран только 25 января 1949 года, вели двадцать с лишним различных политических партий, но наиболее влиятельными были две из них, получившие совместно *более половины* голосов избирателей, — «Палестинская рабочая партия» (аббревиатура на иврите — «МАПАЙ») и «Объединенная рабочая партия» («МАПАМ»). Обе эти партии были социалистическими и так или иначе опирались на марксизм, — в особенности МАПАМ, которая тогда выдвигала программу «национализации частнокапиталистических предприятий, отказа от политики подчинения национальных интересов страны монополистическому капиталу США» и т. п.⁶⁰) МАПАМ даже открыто декларировала, что она является «неотъемлемой частью мирового революционного лагеря, возглавляемого СССР»⁶¹). Ставился вопрос и о ее коалиции с коммунистической партией Израиля, и закономерно, что позднее, в 1954 году, «левое крыло» МАПАМ откололось от нее и влилось в компартию.

М. С. Агурский, объясняя нежелание США допустить создание Израиля, сослался на источники, согласно которым «в США высказывались серьезные опасения, что еврейское государство окажется прокоммунистическим советским сателлитом и создаст прямую угрозу Западу» (цит. соч., с. 129), и подобный прогноз не был беспочвенным.

Хотя партия МАПАЙ, несмотря на социалистическую программу, все более очевидно проявляла свою проамериканскую ориентацию и ее лидеры для успешности избирательной кампании «получили от США крупный заем в 100 млн. долл.» (а тогдашний доллар был гораздо более весомым, чем нынешний), ее победа над МАПАМ на выборах в январе 1949 года не была столь уж грандиозной: МАПАЙ получила 35,7% голосов, а МАПАМ вместе с компартией — 18,2%. Притом МАПАМ как бы доказала свою тогдашнюю непримиримую антиамериканскую направленность, ибо, поскольку МАПАЙ заняла в результате выборов доминирующее место в правительстве, ее соперница МАПАМ вообще *отказалась* от участия в правительстве, заявив о неприемлемости для нее именно его *внешнеполитического курса*⁶².

И уже само по себе наличие в Израиле весьма влиятельной партии с просоветской направленностью до определенного момента позволяло рассчитывать на союз Израиля с СССР. Но еврейское государство пошло все же по иному пути, и это привело к прискорбным последствиям для многих советских евреев, — хотя вовсе не только евреев.

Редко обращают внимание на тот факт, что в марте 1949 года были сняты со своих постов министр (с 1939 года) иностранных дел Молотов, министр (с 1947 года) вооруженных сил Булганин и министр (с 1938 года) внешней торговли Микоян, которые, кстати сказать, снова заняли эти посты сразу же после смерти Сталина. При этом важно знать, что Молотов с 30 мая 1947 года возглавлял не только МИД, но и КИ (Комитет информации), представлявший собой управление внешней разведки, в ведение которого были переданы ПГУ (Первое главное управление МГБ) и армейское ГРУ (Главное разведывательное управление). В середине 1948 года Булганин (можно сказать,

себе на несчастье) добился возврата ГРУ в свое министерство. Наконец, Микоян ведал продажей оружия Израилю.

Таким образом, эти три министра были обязаны так или иначе «отслеживать» положение дел в Израиле, для чего, между прочим, в Палестину было направлено множество советских агентов (выразительный факт: агент СССР, известный под именем Израиль Бер, сумел стать начальником оперативного отдела Генштаба израильской армии и был раскрыт и осужден на 15-летнее заключение только в 1961 году)⁶³).

Тем не менее решительный поворот Израиля в сторону США, ставший очевидным к концу 1948 года, был в значительной мере неожиданностью для Москвы. И отставка трех принадлежавших к важнейшим министров СССР была, надо думать, связана с провалом планов союза с Израилем, — провалом, который они не смогли не только предотвратить, но и предвидеть, несмотря на работу разведок.

«Виноватым» стал, конечно, и восторженно встретивший создание еврейского государства ЕАК. Хотя и ранее он не раз подвергался суровой критике в секретных документах НКВД-МГБ и ЦК за «национализм» и т. п., все же именно и только после крушения надежд на союз СССР с Израилем ЕАК был ликвидирован, а ряд его деятелей арестован и подвергнут жестоким допросам. Ситуацию крайне усугублял тот факт, что среди деятелей ЕАК было немало людей, причастных к НКВД-МГБ. Хорошо известно, что ЕАК создавался при прямом участии самого Берии, который в то время (конец 1941—1942 год) еще возглавлял объединенный НКВД. Один из тогдашних руководителей разведки, П. А. Судоплатов, свидетельствовал, что ответственный секретарь ЕАК с 1945 года, И. С. Фефер, был «крупным агентом НКВД»: «Случалось, что Фефера принимал на явочной квартире сам Берия» (цит. соч., с. 470). В беседе со мной, состоявшейся в начале 1990-х годов, Павел Анатольевич сказал, что С. М. Михоэлс был намного более важным, чем Фефер, агентом НКВД. Правда, в своей книге он написал об этом — по-видимому, не желая «компрометировать» Михоэлса в глазах тех или иных читателей, — не вполне определенно: «Сам Михоэлс находился в агентурной разработке НКВД с 1935 года. Причем одной из главных задач работы

с ним было создание прикрытия для выхода на руководящие круги американской сионистской организации «Джойнт»...» (там же, с. 466; этот текст, конечно, можно толковать по-разному, — в частности, считать, что «разработка» Михозлса совершалась без его ведома)*.

Сотрудниками НКВД были и умерший в 1945 году Ш. Эпштейн, который занимал пост ответственного секретаря ЕАК до Фефера, и заместитель ответственного секретаря, а также член Президиума ЕАК Г. М. Хейфец, — то есть фактически все руководящие лица Комитета. Г. В. Костырченко по документам установил, что давними сотрудниками НКВД были и другие влиятельные деятели ЕАК — член его Президиума И. С. Юзефович (агент с 1938 года), И. С. Ватенберг (с 1934 года), Ч. С. Ватенберг-Островская (с 1934 года) и т. п. (цит. соч., с. 42, 108).

Таким образом, из деятелей ЕАК, приговоренных в 1952 году к смертной казни, почти каждый третий был сотрудником НКВД-МГБ... Нетрудно понять, что принадлежность к «органам» усугубляла их «вину», ибо дело шло, так сказать, о наиболее коварном «предательстве». В действительности казненные члены ЕАК были, конечно же, всецело «советскими» людьми (о чем свидетельствует и сотрудничество четырех из них в НКВД-МГБ). В частности, они сами готовы были обличать любых «предателей»...

Так, 29 января 1937 года во время судебного процесса (еще до приговора!) над «врагами народа» Ю. Г. Пятаковым, Г. Я. Сокольниковым (Бриллиантом), К. Б. Радеком (Собельсоном), Л. П. Серебряковым, Я. А. Лифшицем, Н. И. Мураловым, Я. Н. Дробнисом и еще десятью людьми в газете «Известия» было опубликовано в переводе на русский (весьма неудачном — вероятно, из-за спешки) стихотворение еврейского поэта Переца Маркиша, в котором, в частности, говорилось:

На бойни гнать бы вас с веревками на шеях,
 Чтоб вас орлиный взор** с презреньем провожал
 Того, кто Родину, как сердце, выстрадал в траншеях,
 Того, кто Родиной в сердцах народов стал⁶⁴).

*Характерно, что цитированная фраза содержится только в одном из двух изданий книги Судоплатова.

**Взор самого Сталина.

Что и говорить, предельно жестокое, беспощадное было время, и, между прочим, суд 1937 года был более «милостив», чем поэт, желавший «на бойни гнать» всех без исключения: из 17 обвиняемых, о которых шла речь в его стихах, четверо получили не смертный приговор, а по восемь-десять лет тюрьмы (в том числе Сокольников и Радек). Почти ровно через двенадцать лет, 28 января 1949 года, сам П. Д. Маркиш был арестован и в 1952-м расстрелян...

Правда, то был, в сущности, уже только слабый отзвук 1937 года, ибо тогда было вынесено 353 074 смертных приговора по политическим обвинениям, а в 1952-м — 1612, что составляет всего лишь 0,4% от количества приговоров 1937-го. Между тем в сознание многих людей внедрен миф о тотальном терроре последних лет жизни Сталина, направленном к тому же главным образом или даже исключительно против евреев, — притом именно как этноса, как «расы». Так, в опубликованной в 1990 году статье Евгения Сатановского, который был рекомендован редакцией как «ученый секретарь Еврейского исторического общества», утверждалось следующее:

«Сороковые — годы фашистского геноцида, обошедшегося евреям СССР в 2 миллиона мертвых — почти половина всего народа! — и процессы «космополитов», довершившие то, что начали гитлеровцы... Расстрел Антифашистского еврейского комитета дал начало Дню убитых поэтов и подвел черту под еврейской культурой... Ее некому больше было создавать»⁶⁵).

Итак, «процессы космополитов» *довершили* начатое гитлеровцами — то есть, надо понимать, уничтожили вторую половину еврейского народа?! О «космополитах» еще пойдет речь, пока же напомним только, что преобладающее большинство из тех, кого объявили «космополитами», даже не были исключены из Союза писателей СССР, и, конечно же, совершенно нелепо говорить об убийстве этих людей.

Вторая же часть приведенной цитаты, в сущности, оскорбительна для самих еврейских писателей, которых будто бы вообще не имелось после 1952 года (еврейскую культуру «некому больше было создавать»). В статье БСЭ «Еврейская литература» (т. 9, с. 12; 1972 год) названы имена свыше *сорока* более или менее значительных еврейских писателей, вошедших в литературу до 1948 года и продолжавших свою деятельность

после смерти Сталина*. А Сатановский почему-то решил всех их «умертвить», — в частности, замечательного поэта Овсея Дриза (1908—1971; первую книгу издал в 1930-м), с которым у меня были дружеские отношения (он, между прочим, проникновенно исполнял свои стихи, затем пересказывал их по-русски, и они полноценно воспринимались).

Конечно, тяжело вспоминать об убийстве шести еврейских писателей в 1950—1952 годах**. Но трактовать это прискорбнейшее событие как тотальное уничтожение носителей еврейской культуры по меньшей мере безответственно.

Нельзя не коснуться еще одной стороны проблемы. Как уже сказано, более сорока еврейских писателей, удостоенных места в энциклопедии, продолжали свою деятельность после 1952 года. Но ясно, что эта деятельность не очень уж заметна, и есть основания говорить о «закате» еврейской литературы в СССР, — то есть вроде бы согласиться с цитированным выше Сатановским. Однако, если вдуматься, «повинен» в этом не СССР, а... Израиль, отвергнувший (даже не без презрения) язык *идиш* ради модернизированного древнего *иврита*. Абсолютное большинство еврейских писателей в дореволюционной России и СССР и, кстати сказать, в США (а там еще несколько десятилетий назад активно развивалась еврейская литература) писали на идише, — хотя бы уже потому, что иврит был тогда почти исключительно языком иудейской *религии* (как для Православия — церковнославянский язык). И поскольку позднее «настоящие» евреи, живущие в Израиле, отвергли идиш, он потерял свое значение и для евреев диаспоры. «Закат» литературы на идише совершился не только в СССР, но и, равным образом, в США. Присужденная в 1978 году жившему с 1935 года в США и писавшему на идише Айзеку Зингеру (1904—1991) Нобелевская премия явилась, в сущности, как бы надгробным памятником

*М. Альтман, Р. Баумволь, И. Борухович, И. Бухбиндер, Х. Вайнерман, А. Вергелис, С. Галкин, Т. Ген, И. Гордон, С. Гордон, А. Гонтарь, Ш. Горшман, М. Грубиан, А. Губерман, А. Губницкий, Г. Добин, О. Дриз, Н. Забара, А. Каган, Э. Каган, И. Кипнис, И. Котляр, М. Лев, Х. Левина, Н. Лурье, Х. Мальтинский, Б. Миллер, Г. Полянкер, И. Рабин, Г. Ременик, Ш. Ройтман, Р. Рубина, М. Сацкиер, И. Серебряный, М. Талалаевский, М. Тейф, И. Фаликман, И. Шехтман, Я. Штернберг, М. Штурман и др.

**Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, Л. Квитко, П. Маркиш, С. Персов, И. Фефер.

ком литературе на идише... А перейти на иврит еврейские писатели СССР и США тоже не могли, так как слишком уж значительное количество евреев в обеих странах владели ивритом.

* * *

Уже говорилось, что масштабы репрессий конца 1948—1952 годов против людей еврейского происхождения крайне, даже фантастически преувеличены в множестве сочинений. В основанном на документах совместном израильско-российском издании доказано, что по обвинению в «еврейском национализме» всего «с 1948 по 1952 г. были арестованы и преданы суду более ста (но не более, чем «более ста». — В. К.) ученых, писателей, поэтов, журналистов, артистов, государственных, партийных и хозяйственных работников»⁶⁶).

В изданной в 1993 году книге А. И. Ваксберга «Раскрытые тайны», вроде бы претендующей на документированный анализ «дела» о «еврейском национализме», сообщается, что по этому делу «были отправлены в лагеря или прямо на тот свет десятки (а не более сотни. — В. К.) людей», — то есть автор не дал себе труда изучить документы во всем объеме и ограничил количество репрессированных «десятками». Однако это не мешало ему тут же ошарашить читателей утверждением, что-де к 1949 году «наверху уже было принято не какое-то частное решение, относящееся к одному «делу», а разработан план сталинского (видоизмененного гитлеровского) решения «еврейского вопроса»*, для чего, мол, уже начались «массовые аресты»⁶⁷). «Методология» А. И. Ваксберга удивительна: в одном месте книги он сообщает, что репрессии затронули всего лишь «десятки» евреев, а в другом, отделенном от первого всего пятью страницами, заявляет о «массовых арестах», — хотя «десятки» вроде бы никак не соответствуют представлению о «массовости».

Ваксберг может возразить, что Сталин, разработав план «окончательного решения» (дабы довершить дело Гитлера!), по тем или причинам откладывал реализацию сего плана, хотя, как утверждал другой небезызвестный «обличитель», чеченец-

* На с. 209 книги эта «формула» дана в полном виде: «окончательное решение еврейского вопроса в СССР».

эмигрант Абдурахман Авторханов (его полудетективные «исследования» издавались у нас большими тиражами в начале 1990-х годов), в последние годы жизни «Сталину всюду мерещились сионистские заговорщики. Таким заговорщиком в его глазах был каждый еврей, независимо от того, коммунист он или нет»⁶⁸).

Но как это совместить с тем, что на XIX съезде партии, 14 октября 1952 года, менее чем за пять месяцев до смерти Сталина, в состав ЦК (то есть высшей власти) вошли 4 еврея* (и, надо сказать, «доля» евреев в ЦК тем самым в три раза превышала их долю в населении СССР...). Могут возразить, что это было исключением, объясняющимся уже давним пребыванием названных лиц в составе ЦК. Однако на том же съезде впервые стал кандидатом в члены ЦК (в партийной иерархии и «кандидат» занимал исключительно высокое положение) еврей Д. Я. Райзер. Как это понять «в свете» уже принятого, по утверждению Ваксберга, «окончательного решения»? Или «в свете» утверждения Авторханова, что в глазах Сталина «каждый еврей» был «сионистским заговорщиком»?!

Недавно было опубликовано высказывание Сталина на заседании Президиума ЦК КПСС 1 декабря 1952 года, то есть за три с небольшим месяца до его смерти:

«Любой еврей-националист — это агент американской разведки. Еврей-националисты считают, что их нацию спасли США»⁶⁹). Из этого высказывания прежде всего явствует, что в глазах Сталина «еврейский вопрос» приобрел остроту в неразрывной связи с созданием Израиля, который, вопреки сталинским предположениям, стал союзником США, находившихся в острейшей конфронтации с СССР.

До того момента даже и сугубо «национальные» еврейские деятели не только не подвергались гонениям, но и щедро награждались. Так, актер Государственного еврейского театра (ГОСЕТ) В. Л. Зускин был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена Трудового Красного Знамени и Сталинской премии 1-й степени (в 1946 году), но 24 декабря 1948 года его арестовали как «еврея-националиста» и, значит, агента США.

И следует со всей определенностью сказать, что в основе этого прискорбнейшего события лежала именно конфронтация

*Б. Л. Ванников, Л. М. Каганович, А. З. Мехлис и М. Б. Митин.

СССР и США; дабы убедиться в этом, надо вспомнить о начавшихся в США даже еще ранее, с 1946—1947 годов, гонениях на евреев, которых объявляли *агентами СССР*. Правда, в США репрессии против этих евреев не были (за исключением казни супругов Розенберг)* столь жестокими, как в СССР, но это объяснялось еще сохранившимся в СССР «революционным» западом. Тем не менее имела место «зеркальная» ситуация: некоторые евреи в США объявляются агентами СССР, а затем некоторые евреи в СССР — агентами США.

Антисемитизм в собственном смысле слова, — то есть враждебное или хотя бы негативное отношение к евреям как таковым, в конечном счете к каждому еврею, — без сомнения, выражался тогда (ниже об этом еще пойдет речь) в высказываниях и действиях тех или иных лиц; впрочем, антисемиты есть во всех странах, где есть евреи. Но нет реальных оснований усматривать антисемитизм как таковой в поведении власти и в ее верховном носителе Сталине.

Так, хорошо известно, что Сталин сам решал вопрос о присуждении тому или иному деятелю премий своего имени, — премий, обеспечивавших в то время их лауреатам очень высокий статус и всевозможные льготы. Менее известно (это замалчивается), что в последние годы жизни вождя лауреатами стало великое множество людей еврейского происхождения. Впрочем, нередко говорится о том, что Сталин-де просто «не мог обойтись» без евреев, достигавших немалых успехов в тех или иных областях техники — в частности военной, — и, так сказать, скрепя сердце увенчивал высшей премией ненавидимых им евреев. Но ведь этими высшими премиями весьма щедро награждались тогда, например, и писатели, критики, литературоведы еврейского происхождения, и едва ли уместно утверждать, что без их превознесения никак нельзя было обойтись...

В 1949—1952 годах — то есть вроде бы во время разгула «антисемитизма» — лауреатами Сталинской премии по литературе стали евреи А. Л. Барто, Б. Я. Брайнина, М. Д. Вольпин, Б. Л. Горбатов, Е. А. Долматовский, Э. Г. Казакевич, Л. А. Касиль, С. И. Кирсанов (Корчик), П. Г. Маляревский, С. Я. Маршак, Л. В. Никулин, В. Н. Орлов (Шапино), М. Л. Поляновский, А. Н. Рыбаков (Аронов), П. Л. Рыжей, Л. Д. Тубельский, И. А. Ха-

*Их «вина», о чем шла речь выше, представляется ныне весьма сомнительной.

лифман, А. Б. Чаковский, Л. Р. Шейнин, А. П. Штейн, Я. Е. Эльсберг, — притом они составляли около *трети* общего числа удостоенных Сталинских премий в эти годы авторов, пишущих на русском языке!* Не слишком ли много высоко превознесенных литераторов-евреев для диктатора-«антисемита»?!. Притом дело ведь шло отнюдь не о каких-либо действительных корифеях литературы, чьи творения, мол, просто неловко, неприлично было бы не увенчать званием лауреата; напротив, ряд выдающихся писателей и поэтов, таких, как Михаил Пришвин, Андрей Платонов, Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, премий «не удостоились»...

Мне, конечно же, напомним, что Заболоцкий и Смеляков ранее были репрессированы и потому их замечательные поэтические книги, изданные в 1948—1950-м (хотя сам факт издания означал, в сущности, «реабилитацию» авторов), не могли быть удостоены премий. Однако еврей Рыбаков также был ранее репрессирован, однако премию за изданную в 1950-м книгу получил! Получил ее в 1951 году и сын репрессированных отца и матери-еврейки Ю. В. Трифонов.

И вполне ясно, что присуждение Сталинских премий основывалось на *политико-идеологических*, а не «национальных» принципах; не имеется сведений о том, что какой-либо писатель не был удостоен Сталинской премии по причине своего еврейского происхождения.

Стоит привести в связи с этим весьма выразительный факт. В 1952 году борьба с «сионистскими заговорщиками» достигла предела: состоялась жестокая расправа с бывшими деятелями Еврейского антифашистского комитета (распущенного еще в конце 1948 года) и развернулось «дело врачей», считавшееся непосредственно связанным к тому же с «сионистским заговором» в самом МГБ. Но именно в 1952 году имела место история, со всей очевидностью демонстрирующая, что евреям, стоявшим, по мнению Сталина, на «правильных» идеологических позициях, вождь готов был оказать всемерную, способную даже удивить поддержку.

Драматург А. П. Штейн поведал в 1990 году: «Михаил Ильич Ромм снимал (в 1952 году. — В. К.) на Мосфильме по

*Немало было евреев и среди лауреатов 1949—1952 годов, писавших на других языках СССР.

моему сценарию двухсерийную эпопею — «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы»... Две серии — это было тогда настрого запрещено... (Сталиным. — В. К.). Но вот беда — нам с Михаилом Ильичом никак нельзя было уложиться в одну серию. Художественный совет министерства (он был создан по инициативе Сталина...) не позволял делать две серии, несмотря на все высказанные нами с Михаилом Ильичом упорные возражения... Мы были в полном отчаянии. Министр... понизив голос, сказал:

— Напишите письмо Сталину...»

Спустя неделю телефонный звонок:

«— Товарищ Штейн, — сказал министр. — Письмо передано. До свидания.

Я уехал в Кисловодск, сокращать и портить сценарий. Приехал туда знакомый кинорежиссер, сообщил невеселую весть. Все двухсерийные сценарии порублены...

А еще через два дня пришла «молния»:

«Разрешены две серии. Ромм...»⁷⁰⁾

Правда, очередные Сталинские премии Ромм и Штейн, увы, не получили, так как их двухсерийный кинофильм вышел на экраны уже после смерти Сталина...

Недостаточно информированные читатели могут подумать, что кинорежиссер Ромм был неким уникальным «любимцем» вождя (известна шутка, что, мол, у каждого антисемита есть один любимый еврей) и потому пользовался таким благоволением с его стороны — вплоть до отмены его собственного запрета! Однако в 1949—1952 годах Сталинских премий удостоился вместе с Роммом целый ряд кинорежиссеров еврейского происхождения — Р. Л. Кармен, Л. Д. Луков, Ю. Я. Райзман, А. М. Роом, Г. Л. Рошаль, А. Б. Столпер, А. М. Файнциммер, Ф. М. Эрмлер, которым, между прочим, предоставлялись к тому же огромные государственные средства для их кинематографической деятельности, и взгляд на них как на «исключения» из якобы проводимой тогда «расовой» политики, как говорится, не выдерживает критики. Напротив, это были *самые прославляемые* деятели кино. Притом рядом с ними работали намного более значительные Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн (последнего подчас ошибочно считают евреем), но их критиковали гораздо больше и суровее, нежели перечисленных кинорежиссеров еврейского происхождения! И, в конце концов,

показателен тот факт, что эти трое, наиболее выдающиеся, получили за все время их деятельности всего по 2 Сталинские премии, между тем как Эрмлер — 4, Ромм — 5, Райзман — 6! Как можно, зная это, говорить о притеснении евреев как евреев? Ведь выходит, что «великие» — украинец Довженко, русский Пудовкин и обрусевший прибалтийский немец Эйзенштейн — были менее поощряемы, чем их коллеги-евреи...

Впрочем, и невзгоды тех или иных людей еврейского происхождения далеко не всегда были связаны с этим самым происхождением. Между тем сложилась прочная «традиция», в соответствии с которой любые неприятности любого еврея — особенно если речь идет о 1949—1952 годах (точнее — конце 1948—начале 1953-го) объясняют «государственным антисемитизмом». В свое время был популярен характерный анекдот:

— Что ты такой грустный, Абрам?

— П-п-поступал н-н-на работу, и н-н-не взяли к-к-как еврея...

— А куда ты поступал?

— Д-д-диктором н-н-на радио*.

Выше были названы несколько десятков евреев, которые в 1949—1952 годах получили высокие звания и награды, — и это, конечно, только незначительная часть из тех, кого можно было бы назвать, — особенно из области науки, техники, исполнительских искусств (музыка, театр и т. п.). И есть все основания утверждать, что количество людей еврейского происхождения, удостоившихся тех или иных почестей в указанные годы, намного *превышает* количество испытавших гонения и репрессии по обвинению в «национализме». И Сталин, говоря 1 декабря 1952 года о заслуживающих, по его мнению, осуждения «евреях-националистах», конечно же, имел в виду очень малочисленную часть еврейского населения страны.

Не менее существенно другое. Непосредственно по «делу» Еврейского антифашистского комитета, естественно, обвинялись люди еврейского происхождения. Но последующие стадии борьбы с «сионистским заговором» — «дело» заговорщи-

*Напомню, что «главным», известным каждому человеку диктором сталинских времен был еврей Ю. Б. Левитан.

ков в МГБ и «дело» врачей — отнюдь не были собственно «еврейскими». Более того, *главой* «заговорщиков» и в том и в другом «деле» считался русский — министр В. С. Абакумов! Ведущей фигурой «заговорщиков»-врачей был личный врач Сталина — русский В. Н. Виноградов, и, между прочим, по этому «делу» было арестовано *меньше* евреев, чем русских.

Правда, по «делу» МГБ арестовали больше генералов и офицеров еврейского происхождения, чем русского, но среди них были лица, о коих едва ли кто — нибудь станет сожалеть — генерал-лейтенант ГБ Л. Ф. Райхман, полковники ГБ Я. М. Броверман, А. Я. Свердлов, Л. Л. Шварцман и др., принимавшие *такое* участие в предшествующих репрессиях, что в их аресте в 1951 году уместно видеть заслуженное возмездие. Кстати сказать, в 1955 году полковник Шварцман был приговорен к смертной казни — прежде всего за зверское обращение с теми, чьи «дела» он в свое время вел, — И. Э. Бабелем, М. Е. Кольцовым (Фридляндом), В. Э. Мейерхольдом и другими.

* * *

Уже не раз заходила речь о *смягчении* «политического климата» в послевоенные годы; это имело место и в практике МГБ, что находит подтверждение в действиях министра В. С. Абакумова. Могут возразить, что именно под его руководством было начато «дело» ЕАК. Но характерно, что это «дело» странно затянулось — за два с половиной года, в течение которых оно находилось в ведении Абакумова (до его отстранения в июле 1951-го), не было принято никаких решений. По основательному предположению Г. В. Костырченко, «собранные «доказательства» их (членов ЕАК. — В. К.) вины даже по тем временам не могли считаться серьезными» (цит. соч., с. 139), но следует добавить, что именно «по тем временам» — *послевоенным*; в 1937 году «серьезных» доказательств, по сути дела, не требовалось...

Изменение характера деятельности послевоенного министра ГБ подтверждается точно документированными фактами. В начале 1951 года была арестована группа юношей и девушек — главным образом, детей репрессированных евреев, — в августе 1950-го основавших «Союз борьбы за дело революции», в который вошли 16 человек. Было точно известно, что в

их среде предлагалось убить Маленкова, которого они считали антисемитом. Однако Абакумов счел, что арестованы юнцы, «способные только на болтовню... Серьезных террористических намерений у них не было»⁷¹).

И другой факт. 18 ноября 1950 года за резкие «антисоветские» высказывания был арестован врач Я. Г. Этингер. Допрашивавший его старший следователь по особо важным делам подполковник М. Д. Рюмин обвинил его в убийстве в 1945 году секретаря ЦК А. С. Щербакова, а также других высокопоставленных пациентов. Но Абакумов, к которому был затем доставлен Этингер, после допроса заявил, что «ничего, совершенно ничего, связанного с террором, здесь нет» (там же, с. 17).

Можно привести и другие подобные факты, но и из приведенных ясно, что Абакумов был против фальсифицированных «дел», и есть все основания полагать, что именно поэтому застопорилось «дело» ЕАК.

Но эти и другие подобные действия Абакумова, увы, сыграли роковую роль в его судьбе. 2 июля 1951 года Рюмин сумел каким-то образом (это остается не вполне ясным) передать Сталину донос на Абакумова, который-де прикрывает «террористов», 4 июля тот был отстранен от должности и 12 июля арестован. А Рюмин 20 октября 1951-го был назначен заместителем министра ГБ и начальником следственной части по особо важным делам. И тут все пошло стремительно: всего через три месяца, в начале 1952 года, был вынесен приговор юным членам «Союза борьбы за дело революции» (троих из них расстреляли...), а еще через шесть месяцев, 18 июля, жесточайшим приговором завершилось «дело» ЕАК. Рюмину оставалось довести до конца «дело» о «сионистских заговорщиках» во главе с Абакумовым в самом МГБ и связанное с ним в один узел «дело» врачей-убийц, которое он, в сущности, инициировал еще в конце 1950 года, допрашивая Этингера; в 1952 году начались аресты врачей.

Однако Рюмин не смог реализовать эти замыслы, ибо 14 ноября 1952-го он по личному указанию Сталина был снят со своего поста и вообще уволен из МГБ. «Дела» Абакумова и врачей, правда, не были закрыты, допросы и даже аресты продолжались, — что предстает как нечто алогичное и даже абсурдное, ибо ведь именно изгнанный из МГБ Рюмин иницииро-

вал оба «дела»... Из этого естественно сделать вывод, что в сознании Сталина к тому времени произошли очень значительные отклонения от нормы, почему и стала возможной «деятельность» Рюмина.

Этот поистине чудовищный субъект, как точно известно, стремился решить свои личные проблемы. Годом ранее своего доноса на Абакумова он утерял секретные документы, и его положение пошатнулось. Кроме того, он был заподозрен в сокрытии сведений о своих родственниках (отец его был скототорговцем, тесть служил офицером у Колчака, брат и сестра были осуждены как уголовники). И чтобы спасти свое положение и сделать карьеру, Рюмин готов был погубить около двух десятков своих коллег по МГБ, не говоря уже о членах ЕАК и врачах.

То, что Сталин поверил в 1951 году доносу Рюмина, имеет, впрочем, свое объяснение (хотя, конечно, не может иметь оправдания). Политическая ситуация была тогда крайне напряженной. С 25 июня 1950-го шла война в Корее, подосновой которой была конфронтация СССР и США*, притом в Вашингтоне обсуждался вопрос о применении атомного оружия... Нельзя не сказать также, что *Израиль* не раз выражал поддержку США в этой войне. В конце 1950 года Великобритания и Франция выдвинули программу вооружения Западной Германии, что вызвало резкий протест СССР, и т. д. и т. п.

Закономерно, что в это время особое внимание было обращено на МГБ, и по постановлению Политбюро от 31 декабря 1950 года там произошли существенные кадровые и иные перемены. И вот рюминский донос о «сионистском заговоре» в МГБ, — разумеется, «управляемом» из США... Особенно «убеждающим» был тот факт, что вскоре после рюминского «разоблачения» врача-террориста Этингера обвиняемый умер в камере; Рюмин утверждал, что его-де довел до смерти Абакумов, дабы не вышла наружу правда о возглавляемом им самим «заговоре». Позднее Рюмин сумел докопаться до составленной почти пять лет назад, 29 августа 1948 года, записке врача Л. Ф. Тимашук, в которой она сообщала о выявленном ею при снятии электрокардиограммы заведомо неправильном диагнозе, поставленном ее коллегами А. А. Жданову (который через

*То есть «холодная война» перерастала в «горячую».

день, 31 августа, умер). Сталин тогда, в 1948-м, не придавал никакого значения записке Тимашук и собственноручно начертил на ней: «В архив». Вполне вероятно, что это было обусловлено, в частности, его возникшим незадолго до того недовольством или даже недоверием по отношению к Жданову. Но теперь, в связи с рюминскими «материалами» о «заговоре» врачей, давняя записка была воспринята Сталиным совершенно иначе — как убедительнейшее доказательство.

Поскольку записка была направлена на имя генерал-лейтенанта ГБ Н. С. Власика, бывшего руководителя личной охраны Сталина, а тот, по совету начальника Лечебно-санитарного управления Кремля П. И. Егорова*, не принял никаких мер, он был 29 апреля 1952 года отстранен от должности и 15 декабря арестован. Ранее, 18 октября, арестовали П. И. Егорова, а 4 ноября — личного врача Сталина В. Н. Виноградова. Таким образом, в сталинском сознании окончательно сомкнулись «заговорщики» из МГБ и из кремлевского Лечсанупра...

Следует сказать в связи с этим, что широко распространенные до сего времени представления об Л. Ф. Тимашук как о злобной и коварной «антисемитке», которая будто бы и положила начало делу «врачей-убийц», абсолютно не соответствуют действительности; перед нами один из множества *мифов*, столь характерных для «общепринятых» представлений о послевоенном периоде. Во-первых, диагноз Тимашук был совершенно верен, его подтвердило патологоанатомическое вскрытие. Во-вторых, среди врачей, диагноз которых Тимашук оспаривала в своей записке, не было евреев! **

Правда, для Рюмина в записке была «зацепка» по еврейской линии: до появления Тимашук электрокардиограммами Жданова занималась еврейка С. Е. Карпай. Но она ушла в августе в отпуск, и ее сменила Тимашук. Совершенно ясно, что, если бы врачи-«заговорщики» действительно хотели погубить Жданова на основе ложного диагноза, они никак не могли бы

* П. И. Егоров был одним из тех врачей, которых Л. Ф. Тимашук обвинила в неправильном диагнозе в отношении Жданова... Крайне «подозрителен» был и тот факт, что ленинградец Егоров являлся «выдвиженцем» казненного в 1950 году А. А. Кузнецова и именно по его рекомендации попал в Кремль.

** Это были арестованные в 1952 году В. Н. Виноградов, В. Х. Василенко, П. И. Егоров и Г. И. Майоров. Кстати сказать, все материалы, относящиеся к записке Л. Ф. Тимашук, не так давно опубликованы («Источник», 1997, № 1, с. 3—17).

согласиться с заменой Карпай на другого специалиста! Но Рюмин эту несообразность игнорировал.

И в сущности точно так же, как Рюмин, игнорируя несообразности, уже упоминавшийся публицист А. И. Ваксберг в 1993 году (!) пишет о Тимашук: «Донос заурядной стукачки, утверждавшей, что Жданова умертвили лечащие врачи (в действительности Тимашук направила свою записку еще при жизни Жданова! — В. К.)... Вряд ли когда-нибудь мы узнаем, была ли Тимашук подсутившейся одиночкой... или выполняла нечто секретное поручение (напомню, что диагноз Тимашук был полностью подтвержден вскрытием. — В. К.). Так или иначе... схема будущих событий... — продолжает Ваксберг, — разработана и утверждена: пропагандистская кампания завершается публичным процессом, где выносятся, разумеется, всем без исключения смертные приговоры. Казнь совершается на Красной площади. Осужденных вешают на Лобном месте. Немедленно вслед за этим повсеместно начинаются еврейские погромы... радио передает обращение знаменитостей еврейского происхождения Сталину — просьбу спасти их соплеменников от справедливого народного гнева депортацией в безлюдные районы Дальнего Востока... Процесс намечался на март, но уже в феврале были наспех сколочены на Дальнем Востоке тысячи непригодных даже для хлеба барачков (есть непроверенная версия, будто они были подготовлены еще раньше), запасные пути под Москвой забили товарными вагонами без нар, в отделениях милиции крупных городов составлялись списки подлежащих депортации...» (цит. соч., с. 293, 294).

Выше цитировалось сочинение Я. Я. Этингера, в котором нарисована примерно такая же картина, как и в сочинении Ваксберга, но первый — в отличие от второго — рисовал ее не сам, а со слов Булганина. Между тем Ваксберг «сообщает» обо всем от себя лично, как будто он сам, например, удостоверился в наличии на Дальнем Востоке в феврале 1953 года «тысяч барачков» для двух с лишним миллионов евреев СССР, — хотя почему-то не сумел «проверить» версию, согласно которой бараки были «сколочены» ранее февраля... И это, скажу без обиняков, попросту непристойно. Ведь, как говорится, ребенку понятно, что для реализации намеченной на март (и не состоявшейся-де только из-за смерти Сталина) грандиозной акции по переселе-

нию на расстояния в несколько тысяч километров двух с лишним миллионов людей была совершенно необходима заблаговременная и очень существенная подготовка. А ведь абсолютно никаких сведений о подобной подготовке не имеется.

Выше упоминалось о редкостной по своей лживости книжке З. С. Шейниса «Провокация века». Между прочим, этот субъект в 1958 году в соавторстве с членом Ревизионной комиссии ЦК КПСС В. М. Семеновым* сочинил самую первую по времени книжку, разоблачавшую пороки государства Израиль, а через тридцать с небольшим лет заявил, «оправдываясь», что эта книга-де «принесла пользу»: «Она рассеяла в Израиле иллюзии о политике советских правящих кругов»⁷²). Вот так вот!

Однако даже Шейнис — в отличие от Ваксберга — все-таки не стал «сообщать» о пресловутой «депортации» от себя лично. У него был «информатор» — «Николай Николаевич Поляков, работавший в аппарате ЦК ВКП(б), а до того сотрудник службы безопасности. Последние годы жизни, — сообщает Шейнис, — Н. Н. Поляков тяжело болел. Перед кончиной он решил облегчить душу. Два человека** записали его показания:

— В конце 40-х — начале 50-х годов было принято решение о полной депортации евреев. Для руководства этой акцией была создана комиссия... секретарем был я, Поляков. Для приемки депортируемых в Биробиджане форсированно строились барачные комплексы по типу концлагерей... Одновременно составлялись по всей стране списки (отделами кадров — по месту работы, домоуправлениями — по месту жительства) всех лиц еврейской национальности, чтобы никого не пропустить. Было два вида списков — на чистокровных евреев и на полукровок... Операцию было намечено осуществить во вторую половину февраля. Но вышла задержка... со списками — требовалось больше времени; для этого Сталин установил жесткие сроки: суд над врачами 5—7 марта, казнь (на Лобном месте) 11—12 марта» (указ. соч., с. 122—123).

Я готов допустить, что «показания» Полякова действительно были записаны. Ведь Шейнис — может быть, подсознатель-

*Он выступал под псевдонимом «К. Иванов».

**Почему-то анонимных, хотя книжка вышла в 1992 году, когда этим людям не могло что-либо угрожать.

но готовя алиби себе самому, — счел необходимым сообщить, что Поляков в «последние годы жизни тяжело болел». Болезнь его могла быть и *психической*, и в этом случае объяснимо принадлежащее ему абсолютно нелепое «сообщение» о том, что-де в бесчисленных домоуправлениях и отделах кадров предприятий и учреждений страны* лихорадочно составлялись списки евреев и полуевреев, но страна узнала об этом только в 1992 году от Шейниса!

И все же повторю, что Шейнис более пристойный автор, чем Ваксберг, ибо он счел нужным «прикрыться» неким Поляковым. Между прочим, хорошо помню мою встречу с Ваксбергом в том самом 1949 году, когда началась «антиеврейская кампания». Мы шли с моей будущей (с 1950 года) женой, Л. А. Рускол, мимо юридического факультета Московского университета, где она училась вместе с Ваксбергом. Людмила Александровна предложила зайти на факультет, так как ей нужно было обсудить что-то с Ваксбергом. Но разговор не получился, ибо, как оказалось, на факультете только что закончилась лекция самого А. Я. Вышинского. Когда мы вошли, он спускался по лестнице, вдоль которой выстроились восторженные слушатели, стремясь поближе взглянуть на легендарного человека. Среди них стоял с сияющим лицом и Ваксберг, который просто *не смог* говорить с Рускол из-за владевшего им восторга. Он только непонимающе улыбался, и меня крайне удивил столь беспредельный культ Вышинского. А через сорок лет Ваксберг опубликовал сочинение, в котором с проклятиями и презрением писал об Андрее Януарьевиче, ни словом, разумеется, не обмолвившись о том, что в молодости боготворил этого деятеля. Ныне же Ваксберг утверждает, что Вышинский, который в то уже давнее время был его кумиром, «готовился теоретически обосновать» акт «растерзания» евреев⁷³).

Я привел, конечно, только некоторые образчики сочинений, голословно утверждающих, что, если бы не умер вовремя Сталин, миллионы евреев и полуевреев СССР были бы отправлены на страдания и гибель неведь куда, — в тот же Биробид-

*При этом очень многие евреи и полуевреи неизбежно попадали бы в списки дважды: по месту жительства и по месту работы, а многие не попадали вообще, так как в документах они значились как русские, украинцы и т. п.

жан (население которого, между прочим, составляло менее 30 тыс. человек...). И *обилие* подобных сочинений кажется многим людям — особенно за рубежом — неким удостоверением правоты их авторов.

Выше говорилось о «странностях» в писаниях бывшего «космополита» А. М. Борщаговского. Но на фоне множества авторов типа Ваксберга или Шейниса Борщаговский явно выигрывает, ибо разумно утверждает, что Сталин был «не в силах... осуществить депортацию евреев... Как соберешь их по всей империи, как обойтись с сотнями тысяч смешанных браков, с полукровками? Как заменить вдруг добрую четверть врачей, десятки тысяч учителей, научных работников, как поступить с множеством видных деятелей науки, искусства, литературы, мастеров, отмеченных премией его имени?!» И Борщаговский отвергает «не раз» читанные им «якобы достоверные — из первых рук — свидетельства, что все уже было предусмотрено, решено и готово» (цит. соч., с. 35, 36).

Но Борщаговский все же не отказывается от характерных для него «странностей», ибо далее он пишет: «Ссылка, депортация евреев страны не миф, но мифологический, близкий к фантастике образ вожделений и тайных планов Сталина, его неутоленной жажды; дополнительный мотив ненависти из-за сознания невыполнимости его мечты» (там же) — имеется в виду невыполнимая «мечта» о тотальной расправе с евреями. Тем самым Борщаговский представляет себя в качестве некоего медиума, который-де точно постиг «дух» Сталина. В действительности мифологический и не «близкий к фантастике», а чисто фантастический образ жаждущего уничтожить всех евреев Сталина искусственно сконструирован и такими людьми, как Борщаговский (сначала — в приятельских разговорах, а в годы «перестройки» — в публикуемых сочинениях).

Подводя итог теме послевоенных репрессий, целесообразно еще раз сказать о том, что они принципиально отличались — и в «количественном», и в «качественном» отношении — от предвоенных репрессий, хотя многие авторы ставят между ними знак равенства, а подчас даже объявляют репрессии 1949—начала 1953 годов наиболее страшными. Но выше уже говорилось, что в 1950—1952-м за год выносилось в сред-

нем столько же смертных приговоров, сколько в 1937—1938-м за день!

В главе «Загадка 1937 года» первого тома этого сочинения доказывалось, что тогда произошла, в сущности, «замена» преобладающего большинства людей, которые играли правящую роль на всех уровнях (от членов ЦК и наркомов до секретарей мелких партийчек и колхозных бригадиров). Те или иные авторы оспаривают такое решение вопроса, говоря о множестве репрессированных тогда людей, не имевших отношения к партии, государству и управлению экономикой (хотя бы на самом низком уровне). Речь идет и о репрессированных в те годы людях церкви, культуры, науки, и о рядовых служащих, рабочих, крестьянах. Но, во-первых, не следует забывать, что рядовые служащие, рабочие и крестьяне — это 99% тогдашнего населения страны, а репрессированы в те годы были 1,2% населения, и, значит, урон «рядовых» людей незначителен. А во-вторых, репрессии тех лет, направленные все же именно на «правлящий» слой (по всей его вертикали), захватывали иные слои населения, так сказать, не закономерно, а в силу становившейся *неуправляемой* цепной реакции террора. Но, конечно, точный ответ на вопрос о том, какая часть репрессированных ни в коей мере не принадлежала к власти (в самом широком смысле этого слова), можно дать лишь на основе трудоемких исследований.

Но обратимся к послевоенному времени. Выше было показано, что большинство репрессированных тогда по политическим обвинениям людей — это осужденные (другой вопрос — обоснованно или нет) за сотрудничество с врагом, притом даже это тяжкое обвинение в крайне редких случаях приводило к смертному приговору: ведь из числа политических обвиняемых в 1946—1953 годах всего лишь 1,6% были осуждены на смерть.

А что касается известных политических «дел» послевоенных лет, направленных против людей, занимавших более или менее высокое положение (от члена Политбюро до, скажем, члена ЕАК), их изучение дает основания сделать вывод, что в 1946—1953 годах отнюдь не было той «безличной» махины политического террора, которая обрушилась на многие сотни тысяч людей в довоенное время. Скорее уж напротив: целый ряд репрессий 1946 — 1953 годов был инициирован *отдельными* лицами.

Правда, во многих сочинениях и террор второй половины 1930-х годов целиком приписывают отдельным лицам — Сталину, Ягоде, Ежову, Кагановичу, Молотову, Жданову, Хрущеву, Маленкову и др. Однако это уместно только в отношении репрессий в самом верхнем слое; неверно, да и просто нелепо полагать, что около 2 млн. осужденных тогда по политическим обвинениям людей (из них — около 700 тыс. со смертными приговорами) были непосредственными жертвами Сталина и других отдельных лиц. Они представляли собой жертвы самого тогдашнего «климата», царившего в партии и власти (сверху и донизу), которые, в сущности, предались «самопожиранию», — что я стремился показать в первом томе этого сочинения, в главе «Загадка 1937 года».

После войны «климат» был уже совсем иным, и многое зависело теперь от сознания и поведения *отдельных лиц* во власти. Выше сообщалось, например, что министр ГБ Абакумов отказался предъявлять обвинения в «терроризме» врачу Я. Г. Этингеру (на чем настаивал Рюмин) и юношам и девушкам, создавшим «Союз борьбы за дело революции», а злодей Рюмин, добившись ареста Абакумова, жестоко расправился с этим «Союзом» и развернул «дело» Этингера в «дело» почти трех десятков высокопоставленных врачей... И, конечно же, решающую роль сыграл здесь сам Сталин, который поверил Рюмину, а ранее, в 1949-м, поверил в так называемый ленинградский «заговор» (не исключено, что и тут не обошлось без какого-нибудь Рюмина, о коем, правда, ничего не известно — по крайней мере пока).

Как говорилось выше, в последние годы жизни подозрительность Сталина явно приобрела маниакальный характер, что достаточно четко проявилось как раз в его отношениях с Рюминым: он поверил его доносу и высоко вознес его, затем, полтора года спустя, вообще изгнал его из ГБ, однако доносу все же продолжал верить... Нередко утверждают, что «безумие» владело Сталиным и в 1937 году, однако, если уж на то пошло, «безумие» владело тогда массой людей, — иначе бы террор захватил только тех, о ком вождь так или иначе знал лично, а не почти два миллиона человек...

Вполне вероятно, что вышеизложенное будет воспринято теми или иными читателями с недоумением либо даже возму-

щением. Вот, мол, нас призывают чуть ли не радоваться тому, что политический террор в послевоенное время становится менее массовым и жестоким, между тем как этот террор — при любых его масштабах и относительно малом числе смертных приговоров — все равно явление чудовищное.

Однако никуда не деться от того факта, что каждая «настоящая» революция являет собой в принципе уничтожение существовавшего до нее общества в целом. Вспомним, что Наполеон был возведен в главные полководцы Французской революции потому, что «отважился» в упор расстрелять из пушек безоружную толпу парижан (такое было впервые в истории...), и то, что происходило в России в 1917—1921 годах, не могло не «воспитать» массу готовых к беспощадным репрессиям людей.

И, говоря о весьма значительном уменьшении количества политических репрессий в послевоенные годы (и тем более смертных приговоров), я предлагаю, конечно же, не «радоваться» этому, а осознать закономерную «деревольюционизацию» страны (ибо именно Революция отменила все правовые и моральные нормы, и ее идеологи — как не раз было показано выше — совершенно открыто об этом объявляли). Притом нельзя не подчеркнуть, что это уменьшение масштабов и жестокости репрессий происходило в напряженнейшей ситуации «холодной войны» и угрозы атомного нападения США, и, следовательно, перед нами закономерный ход «внутреннего» развития страны.

* * *

В заключение этой главы целесообразно коснуться еще одного явления послевоенных лет — начавшейся в январе 1949 года «борьбы с космополитами» (в бранном словоупотреблении — «безродными космополитами»), — тем более что ныне это явление характеризуется чаще всего крайне неадекватно. Так, например, бывший «космополит» А. М. Борщаговский, выступая в 1998 году вместе со своим братом Д. С. Даниным в телепрограмме «Старая квартира. Год 1949-й», многозначительно сообщил (впрочем, точно я не помню, — возможно, это сделал не он, а Данин), что вот, мол, мы только двое и *уцелели*

из «космополитов». И малоосведомленные телезрители (а таких большинство) вполне могли подумать, что другие «космополиты» были казнены... А ведь почти все причисленные к этой «категории» люди родились в 1890—1900-х годах (Борщаговский и Данин принадлежали к самым молодым из них — 1913 и 1914 г. рожд.), и, чтобы «уцелеть» к 1998 году, им надо было дожить до ста или по меньшей мере до девяноста лет...

Вообще, как явствует из фактов, «борьба с космополитами» — которые являлись театральными, литературными и художественными критиками — представляла собой в основном не *политическое*, а *литературное* (и, шире, «искусствоведческое») явление, и хотя те или иные лица — прежде всего, Константин Симонов, — как мы увидим, пытались превратить его в политическое (делая это либо с перепугу, либо из-за особой вражды), эти попытки остались тщетными. Могут возразить, что один из «космополитов», И. Л. Альтман, был все же ненадолго арестован; однако это произошло 5 марта 1953 года, то есть в день смерти Сталина, и объяснялось, вероятно, растерянностью каких-либо лиц в МГБ.

Следует сказать еще и о том, что некоторые люди, объявленные «космополитами», например критик и литературовед И. М. Нусинов, были арестованы как участники «сионистского заговора»; тот же Нусинов пострадал не из-за своей литературной деятельности, а в качестве активного члена ЕАК.

В общественное сознание давно внедрено представление о критиках-«космополитах» как о живущих интересами подлинного искусства личностях, составивших далекий от властей и вообще всего «официального» критический цех, который, естественно, не только поддерживал все лучшее, но и критиковал недостойное, чем нажил злобных врагов, обрушивших на него страшные гонения.

Прежде всего едва ли есть основания считать причисленных к «космополитам» критиков служителями истинного искусства. Борщаговский в своих мемуарах «Записки баловня судьбы» пишет, например, о своем брате А. С. Гурвиче: «Мысль его чиста и благородна. Он ищет близости в духовности, в нравственном уровне людей» и т. п. (с. 79). Однако ведь этот самый «благородный» Гурвич в 1937 году изничтожил Андрея Платонова, который подвергся жестокому гонению в

1930 году за свое произведение о трагедии коллективизации и в 1937-м с трудом издал небольшую книгу «Река Потудань», а Гурвич тут же на нее набросился; много позднее, в 1997 году, поэт С. И. Липкин писал, что в 1949-м «ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича». Другие «космополиты» — Б. В. Алперс, С. Д. Дрейден, В. Я. Кирпотин, И. М. Нусинов — в свое время жестоко травили Михаила Булгакова.

Боршаговский сопоставляет участь критиков-«космополитов» с судьбой издававшегося в 1930-х годах журнала «Литературный критик» — как он его определяет, «детища новой литературной атмосферы», который «был прихлопнут по инициативе Фадеева в 1940 году». Роль Фадеева в этом прискорбном деле мне неизвестна, но известно, что И. Л. Альтман (тот самый) опубликовал тогда уничтожающую статью, обвинившую «сотрудников «Литературного критика» в антипартийности» (см.: Советское литературоведение и критика... М., 1966, с. 350).

Далее, не соответствует действительности представление, согласно которому «космополиты» были далеки от властей, являлись, так сказать, чисто «творческими» личностями. В 1946—1948 годах Л. М. Субоцкий был секретарем Правления Союза писателей СССР, И. И. Юзовский и Г. Н. Бояджиев поочередно занимали пост председателя Объединения театральных критиков СССР, Л. А. Плоткин являлся заместителем директора Института русской литературы, В. Я. Кирпотин исполнял ту же должность в Институте мировой литературы и т. д. И даже самые молодые из «космополитов», Боршаговский и Данин, успели к 1949 году оказаться в «начальниках»: первый был одним из ведущих членов редколлегии «Нового мира» и одновременно заведующим литературной частью Театра Красной Армии, принадлежавшего к важнейшим, второй исполнял обязанности председателя Комиссии по теории литературы и критике Союза писателей СССР.

Наконец, ложно широко распространенное мнение, что на мирно служивших делу искусства «космополитов» вдруг агрессивно напали их враги; напротив, именно будущие «космополиты» *начали* атаку против ряда писателей, которые затем, как говорится, перешли в контратаку.

Борьба шла между «интернационалистами» и «патриотами». В годы войны будущие «космополиты» мирились с мощ-

ным возрождением русского патриотизма, ибо дело шло о разгроме нацизма. Но затем патриотизм стал все больше раздражать эту группу критиков. В 1948 году А. С. Гурвич писал о русском патриотизме, громя одну из пьес известного драматурга Н. Ф. Погодина: «Понятно, что самые отсталые, отягощенные предрассудками советские люди должны были найти для себя в страшных испытаниях войны доступную для них моральную опору... Но воспеть этот древний слепой инстинкт самосохранения как бессмертную силу духа народного — значит повернуть время вспять». И издевался над погодинской пьесой, где, по его словам, «непостижимая тайна русской народной души предстает перед нами как идея в штанах... Идея эта — исконный, вечный, непоколебимый дух русского человека, а штаны — старые казацкие штаны с лампасами»⁷⁴).

Надо сказать, Погодин (Стукалов) не был истинным художником, но Гурвич напал на него не поэтому; до войны он как раз восхвалял этого драматурга, а в то же время громял одного из значительнейших писателей — Платонова...

Вообще критики, зачисленные позднее в «космополиты», делая вид, что они ратуют за высокое искусство, на самом деле выступали, как правило, против писателей заостренно патриотической направленности. Конечно, атакуемые ими А. В. Софронов, Н. М. Грибачев, А. А. Первенцев, М. С. Бубеннов и другие (не говоря уже о драматурге-плагиаторе А. А. Сурове) отнюдь не были значительными писателями, но «средних» и «посредственных» писателей было тогда (как, впрочем, и во времена Пушкина, Достоевского или Блока) сколько угодно. Однако критики, о которых идет речь, расходовали свой пыл почти исключительно на «патриотов».

Ныне дожившие до нашего времени «космополиты» рассказывают о своих атаках на «патриотов» как об очень трудных, чуть ли ни геройских деяниях. Д. С. Данин пишет, например: «В 46-м мне удалось напечатать статью против Софронова под непрощаемым заголовком — «Нищета поэзии»... А в 48-м мне удалось напечатать антигрибачевскую (т. е. против Грибачева. — В. К.) главу в большой статье о «драматическом начале» в нашей поэзии... произошло нечто беспрецедентное — подвергалась осуждающей критике поэма, только что получившая Сталинскую премию 1-й степени.... Я... рискнул на тот

шажок из молодого экстремизма. Была тут и психологическая подоплека — уязвленность бессильем перед низостью власти».

Что касается «экстремизма», Даниила Семеновича в данном случае подвела память (лгать он бы не стал, так как факты ничего не стоит проверить): его статья, «осуждающая» поэму Грибачева, появилась в октябре 1948 года, а Сталинская премия была присуждена за сию поэму в апреле 1949-го. Но поскольку борьба, которую-де Данин вел с «низостью власти», кажется ему теперь чем-то героическим, он «припомнил», что экстремистски выступил, в сущности, против мнения самого Сталина!

Впрочем, главное в другом. В не раз цитированном трактате Г. В. Костырченко впервые предстала подлинная история «борьбы с космополитами». И выяснилось, что атаки будущих «космополитов» в 1946—1948 годах на «патриотов» велись отнюдь не против «власти», а, наоборот, под руководством идеологической власти — прежде всего в лице Д. Т. Шепилова, который с 1946 года был редактором «Правды» по отделу пропаганды, с 1947-го — первым заместителем начальника Агитпропа (Управления пропаганды и агитации) ЦК, а с 1948-го — заведующим Агитпропом («выше» него в идеологической власти стояли только Маленков и, разумеется, Сталин). Он разделял позиции будущих «космополитов» до января 1949 года, когда, узнав, что Сталин решает вопрос иначе, повернулся, как говорится, на 180 градусов. Был на стороне «космополитов» и 1-й заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР А. А. Фадеева, К. М. Симонов, который имел едва ли меньшую власть, чем сам генеральный (как и Шепилов, он затем обрушился на недавних «друзей»).

Нельзя не обратить особого внимания на тот факт, что такие очень осведомленные люди, как Шепилов и Симонов, до января 1949-го всячески поддерживали будущих «космополитов». В нынешних сочинениях о событиях того времени (между прочим, в известной мере даже в глубоко объективном исследовании Г. В. Костырченко) утверждается, что «антикосмополитическая (и, как считается, «противоеврейская») кампания» готовилась задолго до 1949 года. Конечно, те или иные лица (в частности, настроенные действительно антисемитски) могли планировать нечто подобное. Но поведение Шепилова и Симо-

нова, которые (это известно) чрезвычайно дорожили своим высоким положением, убеждает, что на вершине власти подобных планов *не имелось*, и только после конфликта с Израилем могла стать реальностью «антикосмополитическая кампания».

Г. В. Костырченко на строго документальной основе показал⁷⁵, что к концу 1948 года будущие «космополиты» под «командованием» зав. Агитпропом ЦК Шепилова и 1-го зам. генсека СП Симонова пошли в настоящую атаку на «патриотов», притом для названных руководителей главной целью атаки был генсек СП Фадеев, которого должен был заменить Симонов. Стоит сообщить, что Шепилов, помимо прочего, возглавлял редакцию самой «страшной» тогда цекистской газеты «Культура и жизнь». Забавно, что ныне бывший «космополит» Д. С. Данин, переносясь в своих мемуарах в уже давнее прошлое, констатирует: «...Культура и жизнь» выносит приговоры, нигде обжалованию не подлежащие»⁷⁶), — в самом деле забавно, ибо собратья Данина нередко выступали в этой «палаческой» газете!

В декабре 1948 года борьба против «патриотов» дошла до своего рода крайности: Фадеев и его сторонники попытались отбиться на состоявшемся 18 декабря 1948 года XII пленуме Союза писателей, но Шепилов попросту *запретил* публикацию большинства материалов этого пленума! И лишь через месяц поддерживавший Фадеева секретарь ЦК Г. М. Попов, будучи принят Сталиным, доложил ему об «антипатриотической атаке» на выдающегося писателя Фадеева, «соотношение сил» кардинально изменилось, и 28 января 1949 года в «Правде» была опубликована разгромная редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».

Но Шепилов и Симонов вышли сухими из воды, ибо мгновенно заняли прямо противоположную позицию. А 18 февраля Симонов, дабы отмыться от своего недавнего единства с «космополитами», выступил на собрании драматургов и критиков с беспрецедентно резкими *политическими* обвинениями в их адрес и в мартовском номере «Нового мира» опубликовал пространную статью, в которой, в частности, так «разоблачал» критиков: «Прямые высказывания — это только открыто опубликованная часть программы... в большинстве случаев у этих критиков-антипатриотов забрало было опущено или только

чуть-чуть приподнято. Они знали, что если они поднимут забрало и скажут все, что они на самом деле думают, то их забросают камнями* на улице...» Они-де стремились «продать» русский народ «в рабство американскому империализму.... Вот что такое космополитизм в искусстве, если поглядеть в самый его корень»⁷⁷).

То есть Симонов предъявил «космополитам» такое обвинение, по какому к этому времени уже были арестованы «еврейские националисты» из ЕАК.... Однако власти не вняли сему обвинению. Так, 28 марта Симонов (кстати, вместе с Софроновым) отправил послание Сталину и Маленкову, в котором «ставил вопрос» об исключении целого ряда «космополитов» из Союза писателей, но поддержки не получил, и впоследствии, в 1950 году, исключен был один только И. Л. Альтман, который считался наиболее «пламенным» (он в феврале 1948-го разоблачал — см. выше — «антипатриотизм» выдающегося режиссера Василия Сахновского!..).

Правда, ряд «космополитов» был исключен из партии, но это тогда являлось очень широко распространенным «наказанием» даже за весьма мелкие преступления. И в связи с этим стоит сообщить о процедуре исключения из партии недавнего секретаря Правления СП «космополита» Л. М. Субоцкого, который, помимо литературной карьеры, заседал, начиная еще со времени революции, в различных трибуналах. Уже упоминавшийся Данин воспроизвел (и за это нельзя не поблагодарить его!) реакцию Субоцкого на исключение из партии:

« — Я заявляю! — обвел он нас всех зачеркивающим жестом маленькой волевой руки. — И прошу занести это в протокол! Трибуналы революции... трибуналы войны... Я отправил на расстрел больше нечисти, чем сидит вас сейчас в этом зале! Понятно?!» (Данин, цит. соч., с. 350).

Эта сцена показывает всю ложность внедряемых в сознание людей представлений, согласно которым все «космополиты» были этакими служителями высокого искусства, на коих набросились свирепые громы. Кстати, Данин, в отличие от

*Надо сказать, диковатый ход мысли, ибо расправа посредством бросания камней издали — это «библейский» способ, постоянно упоминаемый и в самой Библии, и в евангелиях.

многих других сочинителей, честно сообщает, что уже в 1950 году он стал снова выступать в печати, начав с опубликованной «Литературной газетой» статьи, как он пишет, «о молодом поэте Ф.» (с. 356). Имя не называется, по-видимому, потому, что этот поэт, Владимир Федоров, был, во-первых, не менее «патриотичен», а во-вторых, менее «поэтичен», чем Анатолий Софронов, статью о стихах которого Данин еще не столь давно озаглавил уничтожающе: «Нищета поэзии». Между тем песню «Шумел сурово Брянский лес...», чьи слова Анатолий Владимирович сочинил более полувека назад, многие ценят и сегодня, — хотя, конечно же, нет оснований считать его значительным поэтом.

И из того факта, что Данин Софронова отверг, а Федорова расхвалил, естественно сделать четкий вывод: критик атаковал в лице Софронова не безнадежно плохого, по его мнению, поэта и даже не «патриота», а влиятельного представителя враждебного «лагеря»; Федоров же жил не в Москве и не принимал участия в литературной борьбе (потому его можно было хвалить).

Как уже сказано, к концу 1948 года перевес сил в этой борьбе был на стороне «космополитов»; затем в дело вмешался Сталин, но — несмотря на приведенные выше тяжелейшие обвинения Симонова в адрес «космополитов» — не только не распорядился о репрессиях, но даже не поддержал предложение об исключении «преступников» из Союза писателей.

Вернусь еще раз к утверждениям об «антисемитизме» Сталина, который связывают и с гонениями на «космополитов» (за немногими исключениями, евреев). Как уже сказано, в 1949—1952 годах по воле Сталина удостоенных высоких почестей евреев было *больше*, чем подвергшихся опале. Другой вопрос, что те или иные лица воспользовались развернувшейся кампанией для нападков на евреев в силу в самом деле присущего этим лицам антисемитизма либо по крайней мере с целью устранить мешающих им «конкурентов».

Я, учившийся в то время на филологическом факультете Московского университета, был непосредственным свидетелем и, более того, «участником» подобной акции. Курс лекций о русской литературе XIX века читал доцент А. А. Белкин, —

и читал, по тем временам, неплохо. Я близко знал его, так как исполнял обязанности старосты курса и постоянно общался с Абрамом Александровичем. «Антипатриотом» он ни в коей мере не являлся, его любовное отношение к русской литературе было несомненным. Незадолго до окончания его лекций до меня дошли сведения о готовящемся увольнении Белкина из университета, и, наивно рассчитывая воспрепятствовать этому, я составил очень лестный для него «адрес», который подписали почти все студенты курса, и торжественно вручил ему сей «документ» после завершающей лекции. Вскоре меня вызвал заместитель декана факультета М. Н. Зозуля и потребовал рассказать о том, как Белкин подготовил упомянутый «адрес», что, конечно, было бы использовано для полнейшей его дискредитации. Это меня окончательно возмутило и вместе с Зоей Финицкой (позднее — известной журналисткой) я «организовал» своего рода делегацию протеста из двух-трех десятков студентов к секретарю партбюро факультета Николаевой.

Теперь я склонен думать, что эти действия только способствовали увольнению Белкина, ибо каким-нибудь вышестоящим лицам, которые должны были утвердить увольнение, по всей вероятности, преподносили наш «бунт» как результат «подстрекательства» со стороны Абрама Александровича. Но мне было более или менее ясно тогда и вполне ясно теперь, когда «загадки» того времени исследуются по сохранившимся документам, что Белкина уволили не из-за предписания власти о некой «расовой чистке» (ведь в те же самые годы множество евреев получали высшие почести!), но по воле тех или иных лиц (хотя бы упомянутого Зозули), воспользовавшихся кампанией «борьбы с космополитизмом» для своей собственной выгоды или удовлетворения антисемитских вожделений. Если бы дело обстояло иначе, были бы абсурдными и тогдашнее наличие евреев в ЦК КПСС, и тот факт, что треть Сталинских премий по литературе доставалась в 1949—1952 годах евреям.

Не столь давно были опубликованы воспоминания А. Л. Штейна «Как я был космополитом», которые убедительно подтверждают мои суждения о «деле» А. А. Белкина. Близко знакомый мне Абрам Львович Штейн (однофамилец вышеупомянутого драматурга) — видный исследователь зарубежной и

русской драматургии, в частности, автор ценных работ о творчестве А. Н. Островского. Он вспоминает, как в 1949 году его, преподавателя Московского института иностранных языков, вместе с его коллегой М. О. Мендельсоном (в публикации он назван Изиксоном) намеревались изгнать в качестве «космополитов», и делалось это потому, что на кафедре были раздутые штаты и кого-либо необходимо было уволить. И «конкуренты» решили воспользоваться начавшейся кампанией против «космополитов» и сократить две «лишние» единицы за счет евреев.

Однако на собрании, долженствующем «разоблачить» врагов, выступил один из профессоров института, который одновременно был работником ЦК партии.

«Мы подвели первые итоги борьбы против космополитизма, — заявил он. — И что же оказалось? Почему-то вышло, что космополитами являются одни евреи. Это неправильно, товарищи. Космополитами могут быть люди любой национальности». Как потом стало известно, ранее имело место «совещание в ЦК по вопросу о космополитизме; которое Сталин открыл именно этими словами»⁷⁸).

И в результате уволили именно ту преподавательницу, которая обличала своего конкурента-еврея, вторая «лишняя» преподавательница перешла на другую кафедру, и положение «стабилизировалось»...

Уже знакомый читателям А. И. Ваксберг, не стесняющийся писать любые нелепицы, так характеризует «кампанию против космополитов»: «Это была тщательно продуманная и хорошо организованная психологическая обработка населения перед грядущими катаклизмами (имеется в виду поголовная депортация евреев. — *В. К.*), которую предначертал обезумевший диктатор» (цит. соч., с. 261). Но как это согласуется с одновременным очень щедрым производством евреев в лауреаты, народные и заслуженные артисты и т. п., о чем, кстати сказать, узнавали несоизмеримо более широкие слои населения, нежели те, которые слышали что-либо о критиках Борщаговском, Данине и т. п.? Так, в 1949—1952 годах стали известными всей стране лауреатами Сталинских премий (часть из них — даже дважды) артисты еврейского происхождения Марк Бернес, Ефим Березин (сценическое имя — Штепсель), Владимир Зель-

дин, Марк Прудкин, Фаина Раневская, Марк Рейзен, Лев Свердлин и др.

Словом, с прискорбием помня о репрессиях и гонениях 1949—1952 годов, затронувших значительное количество людей еврейского происхождения, необходимо вместе с тем освободиться от многочисленных домыслов, вымыслов и зловещих мифов, которые затемняют или вообще заслоняют историческую реальность этого — в сущности, не столь уж далекого — времени.

Часть третья

1953 – 1964



ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА...

Глава восьмая

О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ОТТЕПЕЛИ

Как уже не раз говорилось, то, что назвали «культом Сталина», оказало и до сих пор оказывает очень сильное воздействие на понимание — вернее, лжепонимание — хода истории в 1930—1950-х годах. Выше приводились цитаты из нынешних сочинений, в которых Сталина проклинают за то, что он перед войной пытался строить свои отношения с Гитлером, в сущности, точно так же, как это делали тогда правители Великобритании и Франции; авторы этих сочинений явно не отдают себе отчета в том, что их сознание по-прежнему находится во власти пресловутого культа, ибо-де великий Сталин не «должен» был вести себя подобно заурядным правителям Чемберлену и Даладье... Точно так же несколько не преодолели в себе «культовое» сознание те, кто сегодня объясняет личной злой волей Сталина коллективизацию, 1937-й год, тяжкие военные поражения 1941—1942 годов и т. д. Правда, это уже «культ наизнанку», но он не менее далеко уводит от истинного понимания хода истории, чем культ как таковой.

Я счел нужным напомнить здесь об этом потому, что и многие нынешние суждения о «преемнике» Сталина, Н. С. Хрущеве, основаны, в сущности, на тех же «культовых» понятиях об истории: все, что совершалось после смерти Сталина, приписывается «доброй» (впрочем, в определенных отношениях и «злой») воле Никиты Сергеевича.

18 апреля 1994 года в связи со 100-летием со дня рождения Хрущева была проведена под руководством правившего СССР

в 1985—1991 годах М. С. Горбачева широкая (более 30 участников) конференция, стенограмма которой в том же году вышла в свет в виде книги, изданной немалым по теперешним меркам тиражом. И все происходившее в 1953—1964 годах толкуется в сей книге, по сути дела, как проявления *личной* воли Хрущева.

Впрочем, более или менее осведомленный историк КПСС В. П. Наумов не мог не сказать на этой конференции, что прекращение фальсифицированных политических «дел» (врачей, «сионистского заговора» в МГБ, «мингрельского» и др.), решение о пересмотре Ленинградского дела, амнистия почти половины — 1,2 млн. (!) — заключенных ГУЛАГа и т. п. были осуществлены по инициативе и в ходе практических мероприятий вовсе не Хрущева, а Берии, но последний, по словам Наумова, делал все это, так как «пытался создать образ непреклонного борца за восстановление законности и правопорядка, за реабилитацию всех невинно пострадавших... и т. п. Следует признать, что Берия преуспел в решении своих задач. Его действия в то время произвели впечатление, и сейчас, спустя 40 лет, многие исследователи принимают его маневры за чистую монету»¹⁾.

Заключительная фраза по меньшей мере странна, ибо ведь подследственные и заключенные действительно *освобождались* тогда по указаниям Берии; «монета», если уж пользоваться этим выражением, была все же «чистой». Но Наумов без каких-либо аргументов противопоставляет действия Берии и позднейшие аналогичные действия Хрущева, который-де руководился иными, — так сказать, «благородными» — устремлениями.

Между тем (о чем уже шла речь) и мировая и отечественная история свидетельствует, что любые правители, *предшественники* которых были объектами определенного «культа» и в той или иной мере деспотичными, приходя после них к власти, оказываются, по сути дела, *вынужденными* проявить гуманность. Так, почти ровно за сто лет до смерти Сталина, 2 марта 1855 года, умер деспотичный по тогдашним меркам император Николай I, и сменивший его Александр II амнистировал декабристов, петрашевцев, членов украинского Кирилло-Мефодиевского общества (Н. И. Костомаров, Т. Г. Шевченко и другие) и т. д.

Но вернемся в 1953 год. Берия сразу же после смерти Сталина действовал в этом направлении явно оперативнее и энер-

гичнее, нежели Маленков (и тем более Хрущев), из-за чего Георгий Максимилианович даже заявил 2 июля 1953 года на известном Пленуме ЦК, посвященном «разоблачению» Берии: «Затем, товарищи, факт, связанный с вопросом о массовой амнистии. Мы считали и считаем, что эта мера по амнистии является совершенно правильной. Но... он (Берия. — В. К.) проводил эту меру с вредной торопливостью и захватил контингенты, которых не надо было освобождать...»²⁾ Разумеется, Берия действовал отнюдь не из «милосердия», а в силу присущего ему, более чем его «соперникам», прагматизма; кроме того, он, конечно же, хотел предстать в общественном мнении как «освободитель». Но в основе его действий была все же не личная воля, а как бы закон истории. И те, кто сегодня усматривает в последующих актах амнистий и реабилитаций личную заслугу Никиты Сергеевича, — попросту наивные люди. Любой оказавшийся на его месте деятель не мог не двигаться в этом направлении (начатом к тому же вовсе не Хрущевым, а Берией).

Выше уже не раз отмечалось, что в последние сталинские годы совершалось — пусть и не без «отступлений» — определенное смягчение режима (хотя господствует противоположное представление, согласно которому режим-де все более и более ужесточался). Так, в конце 1940-х — начале 1950-х годов были фактически «реабилитированы» немало людей, подвергшихся гонениям ранее. Скажем, в 1951 году получил Сталинскую премию 1-й степени выдающийся филолог В. В. Виноградов, арестованный в 1934 году и до 1944-го испытывавший всякого рода притеснения; тогда же удостоились Сталинских премий репрессированный в 1933-м драматург и киносценарист Н. Р. Эрдман и заключенный в 1935 году в ГУЛАГ, а позднее ставший писателем В. Н. Ажаев; в начале 1951-го, как уже сказано, была восстановлена в качестве члена Союза писателей СССР изгнанная из него в 1946-м А. А. Ахматова; в 1952 году возвращается в состав ЦК маршал Жуков, удаленный оттуда в 1946-м (его, кстати сказать, обвиняли тогда чуть ли не в организации военного заговора...)*.

*Мне возразят, что в это же самое время другие люди подвергались репрессиям; однако и в годы правления Хрущева немало людей были приговорены к длительным срокам заключения (до 15 лет!) по политическим обвинениям, о чем еще будет речь. Эту «сторону» хрущевского времени стараются «не замечать», но она все же имела место.

Можно привести и много других сведений о благоприятных поворотах в 1949—1952 годах в судьбах тех или иных людей, подвергшихся ранее репрессиям и гонениям, но более показательна, пожалуй, судьба целой группы — как бы даже враждебной «партии» — уже охарактеризованных выше «космополитов». «Борьба» с ними началась в январе — феврале 1949-го очень, пользуясь ходячим современным определением, *круто*. Их недавний покровитель, 1-й зам. генсека СП Симонов в мартовском номере «Нового мира» объявил их ни много ни мало маскирующимися агентами американского империализма... Бывший «космополит» А. М. Борщаговский сообщает в своих мемуарах (даже дважды), что на заседании Секретариата ЦК в январе 1949 года второе лицо в иерархии власти, Г. М. Маленков, вынес «космополитам» следующий приговор: «Не подпускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати!»³⁾

В 1930-х годах подобный приговор скорее всего имел бы роковые последствия, однако «космополиты», как ни странно, стали выступать в «советской печати» уже в следующем, 1950 году (!), а в 1951-м один из главных их лидеров, А. С. Гурвич, опубликовал в «Новом мире», в сущности, целую книгу (70 крупноформатных журнальных страниц). Правда, его новое сочинение также подверглось критике, но факт опубликования все же чрезвычайно многозначителен.

Борщаговский рассказывает о долгой истории печатания сочиненного им в 1949—первой половине 1950 года объемистого (700 книжных страниц) романа «Русский флаг», который вышел в свет только в июне 1953 года, то есть уже после смерти Сталина. Однако из его рассказа явствует, что уже в 1950 году член ЦК и генсек СП СССР Фадеев дал распоряжения своему 1-му заму Симонову, секретарям Правления СП А. А. Суркову и А. Т. Твардовскому, а также историку-академику Е. В. Тарле написать отзывы о романе. И, не обращая внимания на вышеупомянутый «приговор» самого Маленкова, все четверо рекомендовали роман Борщаговского в печать; краткий положительный отзыв написал и сам Фадеев.

Все это было бы, без сомнения, немыслимо, если бы указание о недопущении к печати «на пушечный выстрел» продолжало действовать. А тот факт, что объявленные в 1949 году

чуть ли не вне закона «космополиты» уже в следующем году так или иначе были «прощены», ясно говорит о происходившем смягчении режима.

Правда, Борщаговский в своих мемуарах пытается внушить читателям, что его роман-де не мог быть опубликован, если бы не умер Сталин. Однако из его же собственного рассказа вполне очевидно, что выход в свет «Русского флага» задерживался только из-за сопротивления главного редактора издательства «Советский писатель» Н. В. Лесючевского. Мне хорошо знакомы повадки этого прямо-таки патологического «перестраховщика», так как я «пробивал» через него в течение почти трех лет (1961—1963) книгу М. М. Бахтина о Достоевском, чья наивысшая ценность позднее была признана во всем мире. Лесючевский «сдался» лишь после того, как с помощью всяких ухищрений я побудил тогдашнего председателя СП СССР К. А. Федина подписать составленное мною от его имени весьма резкое «послание» этому уникально трусливому главреду⁴).

Борщаговский, в свою очередь, сообщает, что после долгих проволочек он подал жалобу на Лесючевского в Секретариат СП СССР, который 30 сентября 1952 года на заседании, какое вел член ЦК Фадеев, принял специальное постановление, обязывающее Лесючевского немедленно приступить к изданию объемистого сочинения⁵), и восемь месяцев спустя, в июне 1953-го (срок вполне «нормальный» для издательской практики того времени) роман вышел в свет. И само принятие подобного постановления о книге вчерашнего «космополита» показывает, что Борщаговский был к тому времени — то есть к сентябрю 1952 года — фактически полностью реабилитирован; ведь нелепо полагать, что Секретариат СП мог принять тогда постановление, противоречившее позиции власти!

Немаловажно затронуть и еще одну сторону дела. В сочинениях о так называемых космополитах они обычно изображаются как жертвы заостренно «патриотически» настроенных врагов, которых высшая власть тогда-де целиком поддерживала. Но это также не соответствует действительности. Ведь в декабре 1949 года был отстранен от своих постов секретарь ЦК и МК Г. М. Попов, который, как сообщалось выше, в январе 1949-го сыграл решающую роль в развязывании кампании против «кос-

мополитов». И есть основания полагать, что он потерпел крах именно из-за своего чрезмерного «патриотизма».

А в 1952 году один из главных противников «космополитов» дважды лауреат Сталинской премии А. А. Суров был подвергнут постыдному разоблачению, ибо, как выяснилось, сочинял свои пьесы совместно с безымянными «соавторами»; влиятельные друзья всячески пытались замять этот скандал, поскольку дискредитировалось само «патриотическое» направление в драматургии, а критики-«космополиты» оказывались правыми. Однако Суров все же был публично опозорен, и из этого ясно, что власть не столь уж безусловно поддерживала «патриотов».

Вообще для объективного понимания того времени необходимо ясно осознать, что Сталин относился негативно к *любой* заостренной «позиции». Еще в 1928 году он, говоря о «левой» и «правой» опасностях, бросил ставшие широко известными слова: «Какая из этих опасностей хуже? Я думаю, что обе хуже»⁶⁾.

Имевшая место двадцать с лишним лет спустя, в 1949-м, одновременная расправа и с «ленинградцами», обвиненными в «русском национализме», и с Еврейским антифашистским комитетом неопровержимо свидетельствует, что политика Сталина была именно таковой. Широко распространенное представление о нем как «русском патриоте» или даже «шовинисте» — сугубо тенденциозная версия, хотя ее и придерживаются совершенно разные, даже противоположные, авторы.

* * *

Итак, ситуация накануне смерти Сталина была намного более сложной, чем обычно изображают ее в наше время. Послесталинские годы часто определяют словом «оттепель». Определение это приписывают И. Г. Эренбургу, который в майском номере журнала «Новый мир» за 1954 год (то есть через четырнадцать месяцев после смерти Сталина) опубликовал повесть под таким названием. Однако достаточно широко известно, что столетием ранее Ф. И. Тютчев назвал «оттепелью» время после смерти Николая I. Менее известно, что за семь месяцев до появления эренбурговской повести в октябрь-

ском номере того же «Нового мира» за 1953 год было опубликовано стихотворение Николая Заболоцкого с тем же названием «Оттепель»:

Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега...
Скоро проснутся деревья,
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

Но особенно существенно, что Заболоцкий написал первый вариант этого стихотворения пятью годами ранее, еще в 1948 году, когда вышла в свет его — недавнего заключенного ГУЛАГа — книга (хотя *официальная* реабилитация поэта состоялась уже после смерти Сталина), то есть у него были основания писать в 1948 году об «оттепели».

Конечно, тезис о том, что «оттепель» назревала раньше, чем принято считать, будут оспаривать: при Сталине, мол, безраздельно царил «зима» и никакое «оттаивание» режима не было возможным. Но вот весьма показательные факты. Среди литературных явлений, которые считаются яркими выражениями «оттепели», — книга очерков Валентина Овечкина «Районные будни», роман Василия Гроссмана «За правое дело» и повесть Эммануила Казакевича «Сердце друга», а ведь они были опубликованы еще при жизни Сталина! Правда, они тут же подверглись критике, продолжавшейся некоторое время даже и после смерти вождя, но это, в сущности, была своего рода инерция. Ведь эти произведения все же прошли сквозь «бдительную» редактуру и цензуру 1952 года! А в 1953—1954-м они были изданы массовыми тиражами.

Нет спора, что после смерти Сталина «оттепель» стала гораздо более интенсивной. Однако наивно видеть в этом (как делают многие) некую личную заслугу того же Хрущева. Речь должна идти о естественном пути самой истории, по которому Хрущев — кстати сказать, вслед за Берией и Маленковым — в сущности, был вынужден идти, *не мог не идти*, хотя, между прочим, не единожды пытался сопротивляться (например, после восстания в ноябре 1956-го в Венгрии).

Мое утверждение, что Хрущев — совершенно независимо от его личных качеств — просто не мог не идти по «либеральному» (в той или иной мере) пути, его нынешние апологеты, вероятно, будут оспаривать. Но то же самое доказывают, например, два историка молодого поколения, которые исследовали послесталинский период, — Е. Ю. Зубкова и О. В. Хлевнюк. Последний писал в 1996 году о ситуации после смерти Сталина: «Как показала Е. Ю. Зубкова⁷⁾, круг основных вопросов, которые пришлось бы решать новому руководству, кто бы ни оказался во главе его, а также направления возможных перемен «в известном смысле были как бы *заранее заданы*»... (Выделено мною. — В. К.) все... «болевые точки» в той или иной мере проявились и осознавались еще при Сталине»⁸⁾. Важно отметить, что цитируемые историки «новой волны» свободны от тенденциозности прежних времен.

Тот факт, что так называемая оттепель была к 1953 году всецело назревшей, ясен из поистине мгновенного ее осуществления: не прошло и месяца со дня смерти Сталина, а «оттепельные» явления уже стали очевидными для всех. И если обратиться к действию трех главных лиц тогдашней власти, то раньше и активнее других проявил себя Берия, затем Маленков и лишь позднее — Хрущев, которого пытаются и сегодня представить истинным «отцом оттепели», — притом он-де стал таковым благодаря своим личным качествам. А ведь в последнее время были опубликованы сведения, из которых явствует, что, будучи в 1935—1937 годах «хозяином» Москвы, а в 1938—1949-м — Украины, Хрущев являл собой одного из немногих наиболее активных вершителей репрессий. Выше об этом уже шла речь, но стоит еще раз напомнить, что есть основания видеть в Хрущеве, ставшем в декабре 1949 года секретарем ЦК, вообще главного «соратника» Сталина в репрессиях последующих лет, — в том числе в многостороннем «деле» о «сионистском заговоре».

В связи с этим целесообразно вторично обратиться к одному очень многозначительному эпизоду. После смерти Сталина, который был одновременно председателем Правительства и Первым (определение «генеральный» только как бы подразумевалось, но давно уже не употреблялось) секретарем ЦК, эти верховные посты были «поделены» между Маленковым и Хру-

щевым. Тогда же появился новый секретарь ЦК, Н. Н. Шаталин, который ранее, в 1944—1947 годах, побывал 1-м заместителем Маленкова — начальника Управления кадров ЦК, ведавшего (до 1946 года) «органами». Очевидно, что и теперь, в 1953-м, Шаталин в качестве секретаря ЦК должен был контролировать работу МВД — это следует и из его высказываний на Июльском пленуме ЦК, посвященном «разоблачению» Берии, и из того факта, что после ареста этого министра ВД именно Шаталин был назначен 1-м заместителем нового министра ВД, С. Н. Круглова.

14 марта 1953-го, когда Хрущев стал фактически «главным» (официально он был провозглашен «Первым» позднее, 13 сентября) секретарем ЦК, Шаталин, как естественно полагать, заменил его в качестве непосредственного «куратора» МВД в Секретариате ЦК. Ибо на «антибериевском» Пленуме ЦК Шаталин сообщил, что Берия в марте — июне 1953 года действовал, «обходя» решения ЦК, и он, Шаталин, «жаловался» тогда Хрущеву, который в ответ говорил о бесполезности «проявленной недовольства», пока МВД во власти Берии.

Тут же Шаталин рассказал о вызвавшей его — и, надо думать, равным образом Хрущева — резкое недовольство акции Берии: «...взять всем известный вопрос о врачах. Как выяснилось, их арестовали неправильно. Совершенно ясно, что их надо освободить, реабилитировать, и пусть себе работают. Нет, этот вероломный авантюрист (Берия. — В. К.) добился опубликования специального коммюнике Министерства внутренних дел, этот вопрос на все лады склонялся в нашей печати... Ошибка исправлялась методами, принесшими немалый вред интересам нашего государства. Отклики за границей тоже были не в нашу пользу»⁹⁾.

Если вспомнить (см. выше), как Хрущев через три года, 29 августа 1956-го, заявил друзьям СССР из Канады, что «некоторые евреи» намеревались превратить Крым в «американский плацдарм», придется усомниться в его готовности после смерти Сталина прекратить все «дела» о «сионистских заговорщиках» (что уже в конце марта — начале апреля 1953-го начал осуществлять Берия).

Могут возразить, что жестокий приговор по «делу» Еврейского антифашистского комитета, вынесенный 18 июля 1952

года, был отменен 22 ноября 1955-го, когда Хрущев был уже полновластным правителем страны. Но многозначительно, что в «определении» Военной коллегии Верховного Суда СССР, отменявшем приговор, все же содержались *обвинения* в адрес деятелей ЕАК: «...некоторые из осужденных по данному делу... присваивали себе не свойственные им функции... а также... допускали суждения националистического характера»¹⁰). Кроме того, «определение» Верховного суда не было тогда *опубликовано* — разумеется, не без воли Хрущева.

Естественно полагать, что упорное нежелание Хрущева признать необоснованность «дел» о «сионистских заговорщиках» было обусловлено его собственной руководящей ролью в «разработке» этих «дел» (тот факт, что именно он возглавлял «комиссию», решившую вопрос о расправе с «сионистами» на автозаводе имени Сталина, бесспорно подтверждается сохранившимися документами).

Словом, считать — как это, увы, делают сегодня многие авторы и ораторы — «реабилитационные» акции Хрущева после смерти Сталина выражением его личной «доброй воли» нет никаких оснований. До 1953 года он вел себя совершенно иначе, и новое его поведение диктовалось новой исторической ситуацией (к тому же он явно «отставал» в этом плане от того же Берии...).

Хотя, как уже отмечалось, масса документов сталинского времени была по указанию Хрущева уничтожена, в последнее время все же появились публикации, свидетельствующие о том, что поведение Никиты Сергеевича до 1953 года ни в коей мере не дает оснований усматривать в нем «гуманиста». Вот, например, два фрагмента из стенограмм выступлений Хрущева. Еще в январе 1936 года, то есть за год до 1937-го, он с удовольствием констатировал: «Арестовано только 308 человек. Надо сказать, что не так уж много мы арестовали людей. (С места: «Правильно!») 308 человек для нашей Московской организации (ВКП(б). — В. К.) — это мало. (С места: «Правильно!»)» И 14 августа 1937 года: «Нужно уничтожать этих негодяев... нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа». И результат: «...к началу 1938 г. ...были репрессированы фактически все секретари МК и МГК (из 38 секретарей... избежали репрессий лишь трое), боль-

шинство секретарей райкомов и горкомов* (136 из 146), многие руководящие советские, профсоюзные, хозяйственные, комсомольские руководители, специалисты, деятели науки и культуры. Разрешение на арест давала «тройка»**, в состав которой входил и первый секретарь МК и МГК ВКП(б)¹¹⁾.

Или «жалоба» Хрущева, посланная Сталину в 1938 году уже из Киева: «Украина ежемесячно посылает 17—18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2—3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры»¹²⁾.

«Поклонники» Хрущева, вероятно, скажут, что он вел себя подобным образом в силу давления атмосферы тех лет, а когда после смерти Сталина появилась, так сказать, возможность не прибегать к репрессиям, Никита Сергеевич выявил свою истинную сущность гуманного, доброго правителя. Во многих сочинениях и выступлениях преподносится именно этого рода точка зрения — пусть и не всегда с такой элементарной прямоотой.

При этом освобождение из лагерей и ссылки сотен тысяч политических заключенных целиком и полностью связывают со «смелым» хрущевским докладом на XX съезде партии 25 февраля 1956 года (именно такое мнение господствовало и на упомянутой выше конференции 1994 года). Между тем еще в начале 1990-х годов были опубликованы документы, из которых явствует, что освобождение политических заключенных началось сразу же после издания Указа 27 марта 1953 года «Об амнистии», принятого по инициативе Берии, и к осени этого года вышли на свободу около 100 тысяч (из 580 тысяч) политических заключенных, имевших небольшие сроки. Далее, уже к 1 января 1955-го (Хрущев стал полномочным правителем 8 февраля этого года, отстранив Маленкова с поста предсовмина), были освобождены еще 170,9 тысячи человек¹³⁾. Таким образом, около половины политических заключенных получили свободу еще до того момента, когда Хрущев обрел единоличную власть.

Нельзя, правда, не сказать, что именно после этого, 17 сентября 1955-го, был издан Указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отече-

*Московской области.

**Секретарь обкома, начальник НКВД и прокурор области.

ственной войны 1941—1945 гг.» — а, как отмечалось выше, такие граждане составляли очень значительную часть политзаключенных, — и к 1 января 1956 года количество последних сократилось (в сравнении с 1 января 1955-го) еще на 195 тысяч 353 человека и составляло 113 тысяч 735 человек (там же).

Итак, к 1956 году, к XX съезду партии, открывшемуся 14 февраля, уже обрели свободу более 80 (!) процентов политзаключенных. А между тем до сего времени широко распространено мнение, что будто бы только после хрущевского доклада на XX съезде действительно началось освобождение политзаключенных.

Существенно и другое. «По Указу от 27 марта 1953 г. (то есть бериевскому. — В. К.) были досрочно освобождены все высланные (категория «высланные» перестала существовать) и часть ссыльных... На конец лета и осень 1953 г. планировалось произвести крупномасштабное освобождение спецпоселенцев (то есть депортированных во время войны народов. — В. К.). В апреле — мае 1953 г. в МВД СССР были разработаны проекты Указа... об освобождении спецпоселенцев. Из... переписки... С. Н. Круглова и Л. П. Берии за апрель — июнь явствует, что они намеревались в августе представить указанные проекты на утверждение в Верховный Совет СССР и Совет Министров СССР... Планировалось до конца 1953 г. освободить около 1,7 млн. спецпоселенцев... Однако в связи с арестом Л. П. Берии (26 июня 1953 года. — В. К.) крупномасштабного освобождения спецпоселенцев в 1953 г. не последовало». И лишь позднее «жизнь заставила Н. С. Хрущева и его окружение постепенно осуществить бериевский план по освобождению спецпоселенцев» (цит. соч., с. 14).

Определение «бериевский» план может быть неправильно истолковано, — в том духе, что Берия был наиболее «гуманным» из тогдашних правителей. И, кстати сказать, на хрущевской конференции 1994 года несколько выступавших с негодованием говорили о том, что в ряде историографических исследований сообщаются факты, побуждающие видеть истинного «освободителя» не в Хрущеве, а в Берии. Однако, как уже сказано, представления, согласно которым послесталинские амнистии и реабилитации являют собой личную заслугу кого-либо — как Берии, так и, равным образом, Хрущева, — это

явные пережитки «культового» понимания хода истории. Повторю еще раз: кто бы ни оказался тогда у власти, дело шло бы, в общем и целом, одинаково, — хотя вместе с тем нельзя не видеть, что Берия действовал решительнее, чем Хрущев.

Но естественно встает вопрос: почему все же во главе страны оказался в конце концов именно Хрущев?

* * *

Ответить на этот вопрос, как представляется, весьма нелегко, ибо приходится задуматься над всей предшествующей историей власти в СССР, — и прежде всего о соотношении властной роли *партии* и *государства* (конкретно — правительства). С 1917 года и до второй половины 1930-х годов партия играла главную и определяющую роль во власти. Этому вроде бы противоречит тот факт, что Ленин занимал пост председателя Совнаркома, то есть правительства. Однако не нужны сложные разыскания (достаточно прочитать ленинские сочинения 1918—1923 годов), чтобы убедиться: реальным средоточием власти являлся ЦК партии, где и сам Ленин сосредоточивал свои основные усилия (кстати сказать, ЦК заседал тогда почти ежедневно).

Ленин возглавлял власть не благодаря своему посту председателя правительства, а в силу того, что был верховным вождем партии (хотя формально таковым не являлся). Это вполне ясно хотя бы из того, что А. И. Рыков, сменивший Ленина в качестве предсовнаркома, отнюдь не стал поэтому «главным»; между прочим, в так называемом ленинском завещании названы шесть «вождей», но Рыкова среди них нет, и даже назначение его на высший правительственный пост не возвысило его в рамках истинной — *партийной* — иерархии власти.

Но с середины 1930-х годов, когда совершается своего рода «контрреволюция» (о ней подробнейшим образом говорится в первом томе этого сочинения, в главе «Загадка 1937 года»), партия — это воплощение «революционного духа» — подвергается настоящему разгрому*, и верховная власть перетекает в

*В 1934 году имелось 2 809 786 членов и кандидатов в члены (последние к 1939-му должны были стать членами), а 1939-м — всего 1 588 852 члена партии, то есть на 1 220 934 (!) меньше, чем можно было ожидать.

государство, постепенно приобретающее «традиционные» качества. В заключительной части своего известного доклада 10 марта 1939 года Сталин заявил, что в «пролетарском» государстве «могут сохраниться некоторые функции старого государства»¹⁴). Сказано было весьма осторожно, но нет сомнения, что для многих людей такая постановка вопроса явилась тогда совершенно неожиданной или даже поражающей...

Окончательное «оформление» верховной роли государства произошло 6 мая 1941 года, когда Сталин сменил Молотова на посту председателя Совнаркома — то есть государственного органа; ранее он явно не претендовал на этот пост (который занимали Рыков (до 1930 года) и Молотов), вполне «удовлетворяясь» руководством партией. И с этого момента властная роль партии все более ограничивалась; невозможно переоценить тот факт, что после XVIII съезда следующий, XIX, состоялся лишь двенадцать с половиной лет (!) спустя, пленумы ЦК собирались в среднем не чаще чем раз в год, и даже заседания Политбюро происходили с интервалами в несколько месяцев. Не менее показательно, что члены Политбюро, за исключением одного только Хрущева (и это приведет, как мы увидим, к очень существенным последствиям), одновременно являлись заместителями председателя Совета Министров СССР. Наконец, имела место еще особенная «иерархия власти», которая открыто обнаруживалась в официальных *перечнях* верховных лиц. Первое место в таких перечнях занимал, естественно, Сталин, второе — Молотов, а позднее — Маленков и т. д. И, скажем, в иерархической очередности конца 1949 года, когда член Политбюро Хрущев стал еще и секретарем ЦК, он тем не менее, не будучи зампредом Совмина, занимал *предпоследнее*, 10-е место* («ниже» его был подвергшийся тогда определенной опале А. Н. Косыгин); позднее «место» Хрущева постепенно повышалось; к моменту смерти Сталина он занимал уже 8-е место, «опередив» Микояна и Андреева.

Кто-либо может подумать, что речь идет о «формальных» проблемах, но на этом высшем уровне власти «форма» обладала чрезвычайной значимостью.

* «Выше» него были Сталин, Маленков, Молотов, Берия, Ворошилов, Микоян, Каганович, Булганин, Андреев.

Правда, верховные лица правительства одновременно представляли и как руководители партии (члены Политбюро, а с октября 1952-го — члены Бюро Президиума ЦК), но это диктовалось сохранявшимся понятием о партии как «руководящей и направляющей силе», — понятием, официальную «отмену» которого было бы нелегко объяснить населению страны.

Но нельзя переоценить очевидного из документов тогдашнего порядка: «...постановления от имени Совета Министров визировал сам Сталин, от имени ЦК ВКП(б) — Маленков (то есть Совет Министров был «важнее». — В. К.). После смерти Сталина прежняя практика сначала была сохранена, и совместные постановления подписывали Маленков как председатель Совета Министров и Хрущев как секретарь ЦК КПСС», — то есть по-прежнему «главным» было правительство, а с 1955 года, — после устранения Маленкова с его поста (8 февраля) — «решения будут приниматься как постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, хотя раньше они подписывались, как правило, в обратном порядке»¹⁵). То есть власть перешла к руководителю партии.

Сразу же после смерти Сталина произошло «формальное» изменение, имевшее в действительности первостепенную значимость. Маленков, который до 5 марта 1953-го совмещал посты заместителя председателя Совета Министров и секретаря («второго») ЦК, сменив Сталина в качестве главы правительства, не стал руководителем партии; 14 марта он даже сложил с себя обязанности секретаря ЦК, и фактическим «первым» секретарем стал Хрущев (правда, официально он будет утвержден в качестве «первого» позднее, 13 сентября). Таким образом, произошло окончательное *разделение* государственной и партийной власти. И тут четко выяснилось, что партийная власть имеет теперь второстепенное и даже, в сущности, третьестепенное значение. Ибо в послесталинском иерархическом перечне первое место занял Маленков, второе — 1-й его зам. и министр внутренних дел Берия, третье — 1-й зам. и министр иностранных дел Молотов, четвертое — председатель Президиума Верховного Совета Ворошилов (то есть глава законодательной власти) и только *пятое* — фактический первый секретарь партии, то есть вроде бы такой же преемник Сталина, как и Маленков, — Хрущев. Особенно многозначительно «возвышение»

главы законодательной власти: предшественник Ворошилова на этой должности, Н. М. Шверник, вообще не входил в состав высшей иерархии, — не являлся полноправным членом Политбюро (только кандидатом в члены).

Таким образом, процесс оттеснения, отодвигания партии на задний план, начавшийся во второй половине 1930-х годов, в 1953-м, после смерти Сталина, наглядно выразился в том, что фактический руководитель партии оказался на пятом месте...

В тех или иных сочинениях утверждается, что послесталинское принижение роли партии исходило от Берии; так, например, Константин Симонов писал впоследствии: «После того как власть была сосредоточена в руководстве Совета Министров, а Секретариату ЦК отводились второстепенные функции, Берия старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках, из ЦК в Советы Министров»¹⁶).

Но нет никакого сомнения, что Маленков (и, конечно, другие верховные лица) стремился действовать именно в этом духе, что нашло недвусмысленное и даже, так сказать, яркое выражение в его отказе от поста секретаря ЦК, который он занимал (с небольшим перерывом) с 1939 года. В ходе «разоблачения» Берии Хрущев с негодованием рассказал, как в его присутствии в ответ на следующее суждение: «Если не будет совмещено руководство ЦК и Совета Министров в одном лице (как было при Сталине. — В. К.), то надо более четко разделить вопросы, которые следует рассматривать в ЦК и Совете Министров»... Берия пренебрежительно сказал: «Что ЦК? Пусть Совмин все решает, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой»¹⁷).

Но нет оснований усомниться, что именно такой установки придерживался и Маленков, добровольно «уступивший» руководство партией Хрущеву, — несомненно, потому, что партия, по его убеждению, уже не будет играть верховной роли.

Однако история все же пошла по другому пути. Если выразиться попросту, альтернатива «партия или государство» разрешилась в пользу партии и, потому, Хрущева... Через несколько лет, к 1961 году, в составе верховной власти «уцелел» от 1953-го, кроме самого Никиты Сергеевича, только «вечный» Микоян. Но гораздо существеннее другое. В марте 1953-го в

верхний эшелон власти входил всего лишь *один* собственно партийный руководитель — то есть Хрущев; остальные девять членов Президиума были наиболее высокопоставленными *государственными* деятелями. Между тем перед свержением Хрущева из одиннадцати верховных правителей (членов Президиума) *семеро* являлись чистейшими «партаппаратчиками» — в частности, секретари ЦК Л. И. Брежнев, Ф. Р. Козлов, Н. В. Подгорный, М. А. Суслов и сам Хрущев.

Нельзя не отметить и поистине колоссальный рост численности партии при Хрущеве. За девять лет, с начала 1946 года до начала 1955-го (когда Никита Сергеевич обрел полновластие) количество членов партии выросло с 5510,9 тыс. до 6957,1 тыс., то есть всего лишь на 26,2 %, а в 1955—1964-м — до 11 758,2 тыс.¹⁸⁾, то есть на 69 %! И если к 1955 году членом партии был 1 из 20 людей старше 18 лет, то к 1965-му — уже 1 из 12! Столь резкое увеличение «прироста» партии связано, надо полагать, с восстановлением при Хрущеве ее первостепенной роли.

Из этого вроде бы следует сделать вывод об особенной прозорливости Хрущева (во многих сочинениях, кстати сказать, он и преподносится как искуснейший политик, сумевший «победить» всех своих соперников). Однако руководство партий предоставили Хрущеву *Маленков* и другие, ибо они полагали — как оказалось, ошибочно, — что партия (как это и было в последнее полтора десятилетия сталинского правления) имеет второстепенное значение, что судьбу страны будет решать государство, а партия нужна только для подготовки «кадров» и «пропаганды» (в приведенных словах Берия высказал это с присущей ему решительностью).

Кстати сказать, факты убеждают, что именно эта самая решительность стала причиной ареста и уничтожения Лаврентия Павловича. Хрущев, Маленков и другие явно перестраховались (в прямом смысле — «у страха глаза велики»), ибо нет сколь-нибудь серьезных оснований полагать, что Берия не вполне «удовлетворяло» его *второе* место в иерархии власти и он имел намерение стать во главе государства; как весьма неглупый человек он, наверно, сознавал хотя бы одно: появление на месте Сталина другого грузина, не имеющего и малой доли сталинского статуса — вещь по меньшей мере трагикомическая. И вопреки рассказам Хрущева и других о готовившемся Берией

перевороте, на это нет даже намеков. Тщательный исследователь ситуации вокруг Берии в 1953 году, К. А. Столяров, по документам установил, что за день или за два до ареста Лаврентий Павлович договорился со своей любовницей, актрисой М., о том, что она явится к нему вместе с «красивой подругой», и, как остроумно и вместе с тем убедительно резюмирует исследователь, «трудно допустить, что человек, вознамерившийся буквально на днях осуществить государственный переворот... развлекается со случайными женщинами, тогда как ему надлежит день и ночь дирижировать заговорщиками и проследживать каждый шаг противников»¹⁹⁾.

Устранение Берии было, так сказать, вполне закономерным актом: Хрущев и другие, в сущности, повторили то, что в 1943—1945 годах сделал Сталин. Суть проблемы заключалась в том, что Берия, став в 1938 году главой НКВД, проявил себя энергичнейшим образом в различных областях государственной деятельности и в феврале 1941-го получил пост зампредсовнаркома. Сосредоточив таким образом в своих руках большую власть, он стал потенциально опасен в качестве хозяина репрессивного аппарата, и Сталин в 1943 году лишил его поста наркома ГБ, а в 1945-м — и ВД, но все же оставил на вершине власти.

Между тем в 1953-м Маленков, Хрущев и другие, не обладая сталинским статусом, не могли попросту отнять у Берии МВД, и им, дабы избавиться от воображаемой опасности, оставалось только уничтожить его. Для «оправдания» сей акции Берию превратили в виновника всех репрессий и противника любых «преобразований». В действительности Берия — наиболее прагматический и наименее «политизированный» из тогдашних правителей — готов был идти «по пути реформ» дальше, чем Маленков и Хрущев (выше говорилось, что Берия, например, предлагал остановить «строительство социализма» в ГДР).

* * *

Перейдем теперь к противостоянию Маленкова и Хрущева, которое по многим причинам заслуживает углубленного внимания. Историк, посвятивший этой теме несколько сочинений, Е. Ю. Зубкова, справедливо утверждает:

«В отличие от Хрущева с его *революционным* напором, Маленков был более *эволюционистом*», сторонником точно рассчитанных и продуманных действий. Но время, не преодолевшее азарт нетерпения, все-таки работало на Хрущева и в этом смысле «выбрало» именно его»²⁰) (выделено мною. — В. К.).

Здесь следует только добавить, что время «выбрало» Хрущева не как определенную личность, но как *руководителя партии*, секретаря, а с 13 сентября 1953-го Первого секретаря ЦК КПСС, и, таким образом, Маленков, взяв себе пост главы государства и отдав Хрущеву руководство партией, предопределил свое поражение в соперничестве с Никитой Сергеевичем, — хотя последнему было отведено поначалу (в марте 1953-го) всего лишь пятое место в иерархии власти

Не исключено, что сопоставление двух властей — государственной и партийной (и тем более вопрос о «титулах») покажется тем или иным читателям не столь уж существенным, формальным. Однако в феноменах государства и партии (и, в конечном счете, в «титулах») находили свое воплощение социальные, политические, идеологические силы страны. И оказалось, что определенная «реанимация» *революционности*, предложенная партией под руководством Хрущева, получила намного более активную и мощную поддержку, чем выдвинутая государством во главе с Маленковым *эволюционистская* программа.

В отличие от хрущевской эта программа не предполагала изменения *характера* той власти, которая сложилась при Сталине, но по своей сути «маленковская» программа имела в виду значительно более глубокое преобразование бытия страны, ибо должен был измениться не характер власти, а как бы сама ее *цель*.

Сталин, отвергая «революционизм» ради «традиционного» государства, вместе с тем видел в нем наиболее надежное оружие для достижения той самой цели, которую преследовала Революция, — создания социалистического общества, непримиримо противостоящего капитализму. Незадолго до того как он стал председателем Совнаркома, 29 января 1941 года, Сталин безоговорочно утвердил *превосходство* (как он выразится позднее, в 1952-м, «примат») тяжелой промышленности над легкой и над сельским хозяйством, то есть «примат» производ-

ства *средств производства* над производством *средств потребления*, ибо главная задача — «строить развитие промышленности, хозяйства в интересах социализма» и «обеспечить самостоятельность народного хозяйства страны... Надо все иметь в своих руках, не стать придатком капиталистического хозяйства». Поэтому, например, «приходится не считаться с принципом рентабельности предприятий»; все «подчинено у нас строительству, прежде всего, тяжелой промышленности, которая требует больших вложений со стороны государства»²¹⁾.

Но всего пять месяцев спустя после смерти Сталина, 8 августа 1953 года, выступая на заседании Верховного Совета СССР (что многозначительно — не на партийном, а на государственном заседании), Маленков заявил о необходимости перейти к преимущественному производству средств потребления, утверждая, в частности: «Теперь на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой промышленности у нас есть все условия для того, чтобы организовать крутой подъем производства предметов народного потребления»²²⁾.

А ведь десять месяцев назад, 3—4 октября 1952 года, в «Правде» было опубликовано сочинение Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где отвергались утверждения отдельных «товарищей», приняв которые «пришлось бы отказаться от примата производства средств производства в пользу производства средств потребления»²³⁾.

И если бы вождь 8 августа встал из гроба, он, без сомнения, заклеил бы как предательство программу Маленкова... Впрочем, позднее, 25 января 1955-го, это сделал за Сталина... Хрущев: в своем выступлении на заседании не Верховного Совета, а Пленума ЦК он причислил Маленкова к «горе-теоретикам», которые «пытаются доказывать, что на каком-то этапе социалистического строительства развитие тяжелой промышленности якобы перестает быть главной задачей и что легкая промышленность может и должна опережать все другие отрасли... Это отрывка правого уклона...»²⁴⁾ Хрущев получил, в сущности, всеобщую поддержку, и через две недели Маленков был снят с поста председателя правительства и заменен Булганиным.

Мы еще вернемся к конкретному сопоставлению маленковской и хрущевской программ; прежде уместно поразмыслить о причинах «победы» Хрущева.

Позволю себе начать с рассказа о моем личном восприятии тогдашней политико-идеологической ситуации. В восемнадцать лет, осенью 1948 года, я пришел в Московский университет на филологический факультет, многие тогдашние студенты и аспиранты которого позднее, в «хрущевские» годы, сыграли заметную роль в идеологической жизни. Правда, до вершин власти добрался только один из них — поступивший на факультет в 1947 году и в 1949-м женившийся на своей однокурснице, которая была дочерью самого Хрущева, Алексей Аджубей (еще один из моих «однокашников»), Борис Панкин, побывал главным редактором «Комсомольской правды» и даже министром иностранных дел СССР, однако это было уже после свержения Хрущева).

Но в идеологической сфере весомое место заняли во время «оттепели» учившиеся на факультете в одно время со мной (то есть в 1948—1954 годах) Лев Аннинский, Игорь Виноградов, Александр Коган, Феликс Кузнецов, Станислав Куняев, Владимир Лакшин, Станислав Лесневский, Михаил Лобанов, Юрий Манн, Симон Маркиш*, Олег Михайлов, Станислав Рассадин, Андрей Синявский, Симон Соловейчик, Владимир Турбин, Феликс Фридланд (позднейшее литературное имя — Светов), Лазарь Шиндель (Лазарев) и др.** Впоследствии их пути разошлись — подчас очень далеко, — но до определенного момента было немало общего в том, что они думали, говорили и писали.

В университет я пришел (о чем уже упоминал), будучи, пользуясь тогдашним словечком, *аполитичным* юношей. Это не значит, что я был настроен «антисоветски», — скорее уж «внесоветски». Я стремился жить душой и умом в мире ценностей культуры, — независимо от их политической и идеологи-

*Сын арестованного в 1949 году и расстрелянного в 1952-м еврейского поэта Переца Маркиша; Симона в связи с «делом» отца выслали в Казахстан, но вскоре же он был возвращен и окончил в 1953 году университет.

**Стоит сказать, что в одно время со мной (в 1950—1955 годах) на соседнем, юридическом, факультете университета учился М. С. Горбачев, который к концу правления Хрущева уже стал зав. отделом Ставропольского крайкома КПСС, а на историческом факультете (в 1953—1956-м) Е. М. Примаков, к 1964 году ставший немаловажным сотрудником газеты «Правда».

ческой «окраски» (это «изначальное» состояние души и ума имело, как я теперь понимаю, громадное значение для всей моей последующей жизни). Так, я совершенно не принял в 1946 году известный доклад Жданова, — и опять-таки не из-за его заостренно «советской» направленности, а прежде всего потому, что в нем отвергались «декадентские» поэты, часть из которых я высоко ценил.

Закономерно, что, в отличие от большинства моих ровесников (по крайней мере живших в Москве), я не стал комсомольцем, и это имело прискорбное для меня последствие. За экзаменационное сочинение мне была выставлена оценка «3», и, несмотря на то, что все четыре устных экзамена я сдал на «5», меня приняли на факультет только в качестве «экстерна», — то есть «вольнотрушателя» (конкурс был восемь человек на место, и из тех, кто имел «3» за сочинение, почти никого не приняли).

Утверждая, что оценка за мое сочинение была искусственно занижена, я исхожу из двух фактов. Во-первых, среди принятых тогда на факультет имелось всего лишь *несколько* «беспартийных» (то есть не состоявших в ВКП(б) и ВЛКСМ), а во-вторых, я точно знаю о занижении оценки поступавшему на факультет вместе со мной широко известному впоследствии деятелю литературы Станиславу Лесневскому, с которым мы подружились еще во время экзаменов. Его отец был репрессирован как «враг народа» в 1937 году, и чья-то бдительная рука выставила Станиславу «2» за сочинение, — что означало отстранение от дальнейших экзаменов. Однако дерзкий юноша все же явился на устный экзамен и блистательно сдал его. Восхищенный экзаменатор — самобытный человек и ученый, впоследствии один из видных фольклористов, Петр Дмитриевич Ухов (1914—1962), — на свой страх и риск переправил незаслуженную двойку за сочинение на четверку, и сын «врага народа» Лесневский стал студентом.

Более или менее молодые люди нынешнего времени, черпающие представления о жизни страны при Сталине из СМИ, вероятно, удивятся такому обороту дела, ибо им внушили, что тогдашний «тоталитаризм» действовал неукоснительно и сын «врага народа» никак не мог бы в 1948 году проникнуть в *глав-*

ный университет СССР. Конечно же, в университетской жизни тех лет было сколько угодно всякого рода прискорбных явлений и событий*. Но многие теперешние сочинения, изображающие тогдашнюю жизнь как сплошной мрак, все же не соответствуют действительности. В частности, ложно всячески внедряемое ныне представление, согласно которому люди в те годы находились под тяжким прессом давящей на них сверху официальной идеологии и только тупо повторяли казенные политические догмы. Другой вопрос — насколько оправданными и плодотворными были владевшие тогда сознанием людей политические идеи, но идеи эти вполне могли представлять собой неотъемлемое достояние ума и души тех, кто их исповедовал, а не насильственно внедренную казенщину.

Как уже сказано, я пришел в университет, в сущности, без политических убеждений. В студенческой группе, на занятия которой я стал приходить в качестве экстерна-вольнослушателя (что разрешалось), сразу же выделился Игорь Виноградов — впоследствии один из ведущих сотрудников знаменитого журнала «Новый мир». В первые же дни сентября 1948 года он был избран комсоргом группы. Произнося полагающуюся по этому поводу речь, Игорь восторженно процитировал «высокоидейные» строки Маяковского. И я, отведя его в сторону, спросил: неужели он считает, что строки эти были написаны «от души», а не ради денег и почестей? И в ответ Игорь долго и горячо убеждал меня в обратном, притом было совершенно ясно, что он говорит с полнейшей искренностью.

И подобное, так сказать, «советско— революционное» сознание, вернее, даже энтузиазм был безусловно присущ большинству тогдашних студентов. Меня особенно впечатляло, что и сын репрессированного, Станислав Лесневский, был полон этим энтузиазмом и, в частности, весь пронизан стихами Маяковского. И поскольку я пришел в университет без какого-либо политико-идеологического «багажа», этот своего рода «вакуум» в моем сознании был, должен признаться, быстро, за не-

*Крайним проявлением были аресты нескольких студентов за некие политические «преступления», но, как будет показано ниже, в «хрущевские» годы подвергалось репрессиям (вплоть до 10 лет лагерей!) едва ли меньшее количество «вольнодумных» студентов.

сколько месяцев заполнен тем, что заполняло умы и души окружавших меня молодых людей. В мае 1950 года я вступил в ВЛКСМ, притом теперь уже горячо желая этого (спустя восемь лет, в июле 1958-го, я, напротив, был рад по возрасту выбыть из комсомола...).

Естественно возникает вопрос о том, как же воспринимались «негативные» стороны того времени, которых нельзя было не замечать. Да, все мы то и дело сталкивались с очевидными проявлениями мертвящего бюрократизма, казенщины, тупой догматики, а подчас с грубым насилием и жестокостью власти. Но все это воспринималось как *«отклонения»* от истинной основы жизни страны, — в конце концов, как результаты действий отдельных негодяев или недоумков, которые когда-нибудь обязательно потерпят поражение. В частности, почти никто не связывал подобные явления со Сталиным: казалось, что все прискорбное творится без его ведома и против его воли.

Вот, скажем, в 1950 году было опубликовано его сочинение «Марксизм и вопросы языкознания», в котором не без гнева говорилось, что в лингвистике в течение многих лет «господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики... преследовались и пресекались... снимались с должностей или снижались по должности ценные работники и исследователи... Общеизвестно, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общеизвестное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом. Создана замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая... стала самовольничать и бесчинствовать... аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность...»²⁵) и т. п.

Ныне эти сталинские слова толкуются как выражение крайнего лицемерия, ибо ведь и он сам «попирал» (и это действительно так) «свободу критики». Однако тогда эти слова Сталина воспринимались совсем иначе, и на заседании факультетского Научного студенческого общества состоялась довольно свободная дискуссия о самом этом сталинском сочинении. Обсуждался «вольнодумный» доклад студента Петра Палиевско-

го, а в заключение один из комсомольских «вождей», Юрий Суровцев*, обличал это вольнодумство.

Характерной чертой сознания тех лет было то, что ныне называют (хоть и не очень грамотно) «ностальгией по прошлому»: представлялось, что жизнь была ярче и вольнее в непосредственно революционное время, в ту же «эпоху Маяковского».

Словом, все то, что вызывало у многих студентов критическое (или даже резко критическое) отношение, осознавалось как *отступление* от подлинных основ социализма, революционности, «советскости». Существенно, что негативные оценки жизни в СССР отнюдь не сочетались тогда (в отличие от позднейших времен) со сколько-нибудь позитивным отношением к «капиталистическому миру»; напротив, в нем нередко видели «виновника» тех или иных *наших* бед и, в частности, поистине восторженно относились к любым «революционным» событиям и деятелям стран Запада и Востока.

Так, в 1951 или 1952 году в университетском клубе состоялась встреча с вырвавшимся из тюрьмы турецким поэтом-коммунистом Назымом Хикметом, и его успеху могли бы позавидовать нынешние кумиры эстрады; в конце вечера студенты ринулись к сцене, жадно стремясь прикоснуться к протянутым навстречу рукам Хикмета (признаюсь, что и я сам прикоснулся...).

Вполне уместно утверждать, что многие из нас были намного «левее» Сталина, который, например, как отмечалось выше, был категорически против ввязывания в войну с США в Корею, хотя Хрущев уговаривал его так поступить; уже из этого видно, что хрущевская «левизна» могла найти горячую поддержку у активной части молодежи, или, говоря конкретно, у комсомольцев конца 1940—начала 1950-х годов, значительная часть которых вскоре вступила в партию**. Помню, как группы студентов, проходя мимо расположенного тогда вблизи от уни-

*Этот субъект вплоть до 1990-х годов занимался обличением всякого рода «идейных извращений» и, в частности, написал ряд обличающих лично меня иностранных статей, которые, если издать их вместе, составили бы толстый том.

**Выше я назвал полтора десятка учившихся в одно время со мной в университете получивших впоследствии известность людей; имеет смысл указать даты их принятия в партию: Л. Шиндель-Лазарев — 1951, А. Коган — 1952, И. Виноградов и М. Лобанов — 1954, В. Турбин — 1955, С. Лесневский и С. Соловейчик — 1956, Ф. Кузнецов и Ю. Манн — 1958, С. Куняев — 1960, В. Лакшин — 1964; то есть только третья часть из названных (как, кстати, и я) не вступила в КПСС.

верситета посольства США, нарочито громко запевали воинственные песни того времени типа «Москва — Пекин»...

Я говорю именно о молодежи, поскольку ее тогдашняя настроенность хорошо известна мне лично. Но из свидетельств других людей и документов явствует, что аналогичные устремления были присущи тогда и многим членам партии старших поколений.

Стоит еще добавить, что «комсомольский энтузиазм» владел в то время и такими молодыми людьми, позднейшая жизнь и деятельность которых шла в совсем ином русле. Так, ныне даже нелегко поверить, что литературовед Сергей Бочаров и культуролог Георгий Гачев в конце 1940—начале 1950-х годов входили в руководство факультетской организации ВЛКСМ... И, между прочим (вопреки господствующим теперешним представлениям о том времени), комсомольской «карьере» Гачева не помешало ни то, что его отец был репрессирован в 1938 году, ни то, что его мать — еврейка; осенью 1949 года* Гачев стал секретарем организации ВЛКСМ III курса факультета, в которой насчитывалось более 300 комсомольцев.

Я не случайно взял слово «карьера» в кавычки. Сейчас многие склонны полагать, что в сталинские времена активное участие в «работе» комсомола и, тем более, партии принимали главным образом люди, стремившиеся занять высокие посты и обрести всякого рода привилегии. Конечно, подобных людей было немало, к ним принадлежал, например, упомянутый выше «профессиональный обличитель» идеологических диверсий Суровцев. Но ни Сергей Бочаров, ни Георгий Гачев, ни большинство из названных мной выше студентов той поры вовсе не были «карьеристами», — что доказывает их последующая жизнь: они не только не стремились войти во власть, но в той или иной мере *противостояли* ей. И их участие в «работе» комсомола в университетские годы диктовалось их тогдашней искренней убежденностью, а не стремлением «выдвинуться».

Кто-либо может сказать, что характеристика мировосприятия студентов «предоттепельного» времени не дает оснований для широких выводов, для суждений о тогдашней идеологической ситуации вообще. Но я полагаю, что такие основания все же есть. Ведь среди этих студентов были люди, прибывшие из

*Ныне утверждают, что тогда царил беспросветный «антисемитизм».

различных областей и краев страны, и значительная часть выпускников была распределена опять-таки в разные места. Далее, убеждения этой молодежи складывались, конечно, не на пустом месте; они так или иначе опирались на идеологию наиболее активных людей старших поколений, хотя — как это и характерно для молодых людей вообще — они шли дальше, «заостряли» то, что восприняли от отцов и дедов.

* * *

Возвратимся теперь к сопоставлению двух послесталинских «программ» дальнейшего развития страны, — условно говоря, «маленковско-бериевской» и «хрущевской». Как уже сказано, первая ориентировалась на *государство*, вторая — на *партию*. Правда, в некоторых сочинениях о том времени утверждается, что Маленков, став Председателем Совета Министров и отказавшись от поста секретаря ЦК, вместе с тем все же сохранил за собой главенство в верховном органе партии — Президиуме ЦК, ибо именно он поначалу председательствовал на его заседаниях.

Однако *все* члены Президиума ЦК, за исключением одного только Хрущева, занимали вместе с тем высшие государственные посты, где и была сосредоточена их деятельность. А повседневной практической деятельностью партии ведал Секретариат ЦК, которым единолично руководил Хрущев. Таким образом, наметилась основа для своего рода *двоевластия*, — хотя поначалу государство играло безусловно первостепенную роль.

Автор еще недавно популярных, но теперь полузабытых сочинений, один из «советников» Хрущева, Федор Бурлацкий, в 1953 году был сотрудником «главного» журнала «Коммунист» и присутствовал на докладе Маленкова, прочитанном, по-видимому, осенью того года, перед «аппаратом» ЦК КПСС. В докладе, сообщает Бурлацкий, «то и дело звучали... уничтожающие характеристики... Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших тот самый аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность — со страхом, страх — с возмущением. После доклада стояла гробовая тишина, которую прервал живой и, мне показалось, веселый голос Хрущева: «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора».

И только тогда раздалась бурная, долго не смолкавшая аплодисменты. Так одной фразой Первый секретарь завоевал то, чего Председатель Совета Министров не смог своими многочисленными речами»²⁶⁾. И всего за год с лишним «соперничество» государства и партии окончилось победой последней. Но ясное представление об этом соперничестве имеет немалое значение для понимания и того времени, и последующей истории страны.

Маленков и Берия, в сущности, ставили перед собой задачу завершить тот процесс оттеснения партии на задний план, который начался в середине 1930-х годов. Выше приводились «откровенные» слова Берии о том, что роль партии должна быть ограничена «подготовкой кадров» и «пропагандой», то есть свестись к политико-идеологическому «воспитанию». При Сталине уже в 1940 году и, окончательно, в 1943-м как раз к этим функциям была сведена роль партии в одном из основных институтов государства — в армии: полномочных комиссаров сменили политработники, игравшие, по сути дела, только «воспитательную» роль (в сегодняшней Российской армии также есть именно «воспитатели» — хотя, конечно, уже не в «коммунистическом духе»).

Однако, с другой стороны, послесталинское государство явно предлагало *кардинальную ревизию* прежней программы, ибо выдвинуло в качестве главной цели экономики производство средств потребления (за счет средств производства), а кроме того, устами Маленкова объявило о *немыслимости* войн между мирами социализма и капитализма в «атомную эпоху». 12 марта 1954 года, выступая на собрании избирателей (14 марта состоялись очередные выборы в Верховный Совет СССР), — то есть опять-таки не перед партией — Георгий Максимилианович провозгласил, что прямое противоборство социализма и капитализма «при современных средствах войны означает гибель мировой цивилизации»²⁷⁾.* И, надо прямо сказать, тезис этот был вполне обоснованным: он подтверждается ходом событий уже почти столетия; даже хрущевская доставка ядерных боеголовок на Кубу в 1962 году не привела к войне.

* Стоит напомнить, что 27 июля 1953 года по инициативе Маленкова была окончательно остановлена война в Корее, которая грозила перерасти в атомную.

Уместно также полагать, что маленковское предложение (на сессии Верховного Совета 8 августа 1953 года) переориентировать главные экономические усилия в производство средств потребления было обусловлено, в частности, осознанием немыслимости в дальнейшем полномасштабных войн (хотя обо этом Маленков сказал позднее, через семь месяцев), в связи с чем отпадала, мол, острейшая необходимость в сверхзатратах на тяжелую (во многом — военную) промышленность. Но в январе 1955 года, выступая на Пленуме ЦК, Хрущев категорически отверг эту программу, определив ее словом, давно ставшим бранным — «оппортунизм», — и получил по сути дела всеобщую поддержку. На том же Пленуме Молотов обрушился на маленковскую речь, произнесенную 12 марта 1954 года: «Не о «гибели мировой цивилизации» и не о «гибели человеческого рода» должен говорить коммунист, а о том, чтобы подготовить и мобилизовать все силы для гибели буржуазии»²⁸). Это означало, помимо прочего, что необходимо всемерно развивать тяжелую промышленность — основу военной.

Но тем самым отвергалась та, казалось бы, чрезвычайно привлекательная для всего населения страны экономическая программа, которую Маленков обрисовал в своем докладе 8 августа 1953 года и против которой Хрущев поначалу отнюдь не возражал, — по-видимому, потому что еще, так сказать, не собрал вокруг себя силы партии для отпора. Современный историк пишет о маленковской экономической программе: «Предполагалось резко изменить инвестиционную политику в сторону значительного увеличения вложений средств в легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство; привлечь к производству товаров для народа предприятия тяжелой промышленности... Решения августовской сессии Верховного Совета... предусматривали снижение сельхозналога (на 1954 г. — в 2,5 раза), списание недоимок по сельхозналогу за прошлые годы, увеличение размеров приусадебных участков колхозников, повышение заготовительных цен на сельхозпродукцию...» и т. д.²⁹)

И своего рода результат: «После выступления в августе 1953 г. имя Маленкова, особенно среди крестьян, стало очень популярным. Газету с докладом Маленкова «в деревне зачитывали до дыр, и простой бедняк-крестьянин говорил «вот этот — за нас!» — можно было прочитать в одном из писем, направленных в ЦК КПСС»³⁰).

Конечно же, и «сельские бедняки», и вообще *большинство* населения страны с безусловным одобрением восприняли маленковский доклад. Но у активной в политическо-идеологическом отношении части людей эта программа вызывала сомнения или даже прямое отрицание.

Позволю себе в очередной раз сослаться на личный опыт. В том самом августе 1953 года я вместе с мужской частью университетских студентов (разных факультетов) своего курса находился на «воинских сборах» в лагере около города Коврова (в университете весьма интенсивно действовала военная кафедра, готовившая студентов к офицерскому званию). Дважды за время обучения нас отправляли в лагерь, где, надо сказать, мы оказывались в весьма нелегких условиях, ибо командирами составленных из студентов университета взводов и отделений были курсанты знаменитого училища имени Верховного Совета — по сути дела, «супермены», почти каждый из которых являл собой мастера в каком-либо виде спорта, и только очень немногие из нас успешно выдерживали «нагрузки» вроде 25-километровых марш-бросков со всей амуницией да еще и в жаркую погоду.

К вечеру 8 августа 1953 года, после утомительного дня, я вместе с другими сидел на палаточной завалинке; перед глазами был грозный транспарант: «Американский империализм — злейший враг советского народа», а из громкоговорителя, укрепленного на сосне, звучал голос Маленкова, излагавшего свою программу переориентировки с тяжелой промышленности на легкую и сельское хозяйство. И ясно помню, что нашлись студенты, которые — разумеется, понизив голос, — выразили свое сомнение или даже неприятие этой новации. Должен признать, что к ним принадлежал и я сам...

Правда, впоследствии, в первой половине 1960-х годов, я мыслил иначе, ибо проникся «диссидентскими» воззрениями и, в сущности, вообще «отрицал» всю советско-социалистическую систему. Полагаю, что и у меня, и у других людей моего поколения и круга это был своего рода неизбежный и, по-своему, *нужный** этап развития, хотя у некоторых он чрезмерно за-

*Революция фактически была «отрицанием» всего предшествующего бытия страны, и для «воскрешения» этого бытия, в сущности, необходимо было, в свою очередь, «отрицание» Революции.

тянулся... Необоснованность представления об СССР как об агрессивном монстре, постоянно готовившемся наброситься на «демократический» мир Запада, понял в конце концов даже самый крайний из «диссидентов» — А. И. Солженицын. В сентябре 1996 года он — для множества его почитателей абсолютно «неожиданно» — резко осудил горбачевско-ельцинское поведение на мировой арене:

«Армия наша перестройкой сотрясена... Добрые правители вначале до того себя радужно настроили: вот сейчас все откроем Америке, вообще повернемся к общечеловеческим ценностям, — что, не будь у нас ядерного оружия, которое все проклинали и я — *первый* (выделено мною. — В. К.), сейчас бы нас уже слопали»³¹⁾.

В свете этого «итога» имевшее место сорока годами ранее неприятие маленковской программы резкого сокращения вложений в тяжелую промышленность предстает как вполне оправданное в исторической перспективе отношение к делу. Ведь, согласно сведениям США, к 1953 году они имели 1160 атомных бомб и почти столько же самолетов, способных доставить бомбу в СССР, у нас же имелось не более 100 бомб, а средства их доставки за океан только начинали разрабатываться...³²⁾ Притом, как более или менее ясно теперь, спустя почти полвека*, определенное равновесие, атомный «паритет» препятствовал и препятствует развязыванию военных конфликтов мирового масштаба. Но без огромных затрат на развитие тяжелой промышленности СССР этот паритет был бы невозможен.

Казалось бы, выдвинутая Маленковым программа преимущественного развития сельского хозяйства и легкой промышленности была естественным решением, ведь уровень жизни в стране в 1953 году, через восемь лет после Победы, оставался очень низким. Достаточно сказать, что в СССР на душу населения приходилось зерна почти в 2 раза, а мяса — даже в 3 раза меньше, чем в США. Однако «отставание» в индустриальной сфере было тогда еще более резким: по выплавке стали — в 4, по добыче нефти — в 8 раз!³³⁾ И превосходство сельского хозяйства США во многом было обусловлено именно его гораздо более высокой технической оснащенностью. Так, по обеспече-

*Даже такому человеку, как Солженицын...

нию посевных площадей тракторами США в 1953 году в 6 раз (!) превосходили СССР (там же, с. 80).

Есть все основания полагать, что без роста тяжелой промышленности и энергетики не смогло бы существенно повысить свою продуктивность и наше сельское хозяйство. В течение двух десятилетий, к 1973 году, производство зерна на душу населения увеличилось в 2 раза, мяса в 2,5 раза (это, правда, не означало, что СССР «догнал» США, так как и там продуктивность сельского хозяйства за эти двадцать лет значительно выросла).

Обо всем этом немаловажно было сказать потому, что в последнее время наметилась тенденция к противопоставлению «маленковской» и сменившей ее в 1955 году «хрущевской» экономических программ в пользу первой. Если бы, мол, в 1953 году осуществился своего рода вариант НЭП с таким преобладающим развитием легкой промышленности и сельского хозяйства, которое привело бы к кардинальному повышению уровня жизни, дальнейшая история страны имела бы гораздо более позитивный характер.

Но этот образец «альтернативного» мышления об истории (как, впрочем, все подобные образцы) — только, пользуясь лермонтовской строкой, «пленной мысли раздраженье». Многие любители «альтернатив» усматривали глубочайшую «ошибку» в отвержении НЭП в 1929 году, полностью игнорируя при этом тот факт, что к 1928 году обнаружилась крайняя, в сущности, катастрофическая нехватка товарного хлеба, которая неизбежно вела к деиндустриализации и даже деурбанизации страны.

А в 1953 году, когда количество работников в сельском хозяйстве было почти *в два раза меньше*, чем в 1928-м, и трудились они всецело «коллективно» на огромных (в сравнении с «полосками» 1920-х годов) посевных площадях, было немыслимо увеличить продуктивность без кардинального роста технической оснащенности. Как уже сказано, обеспеченность страны зерном (имея в виду количество зерна на душу населения) увеличилась с 1953 по 1973 год более чем в два раза, но этот рост был, конечно, невозможен без роста парка сельскохозяйственных тракторов за это время почти в три раза, а комбайнов — более чем в два раза (кстати, и добыча нефти за два десятилетия выросла в шесть раз)³⁴. И вполне понятно, что без ин-

тенсивного развития тяжелой промышленности сельское хозяйство было обречено на топтание на месте.

Вместе с тем, разумеется, нельзя отрицать, что уровень жизни в начале 1950-х годов был предельно низким — о чем свидетельствовал и быт преобладающего большинства тогдашних студентов Московского университета. Многие студенты (и даже студентки!) являлись на занятия в потрепанных лыжных костюмах (они были дешевле иной одежды), обед их подчас состоял из нескольких кусков намазанного горчицей или посыпанного сахарным песком черного хлеба и стакана жидкого чая, большая часть из них обитала в тесных общежитиях...*

Но необходимо учитывать, что все это не представлялось тогда чем-то нетерпимым. Шло четвертое десятилетие «строительства социализма», и люди *привыкли*... И хотя маленковская программа быстрого и значительного роста уровня жизни вызвала радостные надежды населения страны, особенно сельского, люди политически и идеологически активные не очень уж ею соблазнились, — несмотря на то, что у большинства из них жизнь была весьма или даже крайне скудной.

Помимо прочего, в программе Маленкова имело место одно труднообъяснимое противоречие. Как пишет современный историк, «в решениях 1953 г. по сельскому хозяйству было и весьма серьезное упущение.... Маленков высказался в том духе, что «страна обеспечена хлебом», т. е., по сути, повторил свои же слова, высказанные на XIX съезде партии (в октябре 1952-го, еще при Сталине. — В. К.)... Первым на ошибочность столь откровенно мажорной позиции обратил внимание Хрущев. В январе 1954 г. он направил в Президиум ЦК записку, в которой говорилось: «Дальнейшее изучение состояния сельского хозяйства и хлебозаготовок показывает, что объявленное нами решение зерновой проблемы не совсем соответствует фактическому положению дел... нам не хватает зерна из текущих заготовок для государственного снабжения, а также имеет

*Все это целиком относится и к автору сего сочинения, который, между прочим, рано — конечно, не без легкомыслия — обзаведясь семьей, обитал в 1950—1953 годах с женой и ребенком в общежитской комнате площадью 8,5 кв. м (как ни странно — и даже неправдоподобно, — в этой комнате подчас собиралось до двух десятков гостей, что подтверждают сохранившиеся фотографии).

ся недостаток в зерне для удовлетворения нужд колхозов и колхозников»³⁵⁾.

Хрущев в данном случае явно выиграл очередной раунд в своем соперничестве с Маленковым. Но как же понять «упущение» последнего? Можно предположить, что Георгий Максимилианович (или некий его — как ныне принято выражаться — спичрайтер) исходил из сопоставления обеспеченности зерном в 1953-м и, с другой стороны, в последнем военном году, 1945-м. Тогда на душу населения пришлось всего лишь 178 кг, то есть менее 500 г на день, а теперь, спустя восемь лет, 435 кг, то есть около 1200 г на день, — почти в два с половиной раза больше. Конечно, сравнение впечатляло; однако следовало учитывать, что около 40% урожая составляло *кормовое* зерно (прежде всего овес, ячмень, кукуруза), которое должны были потребить крупный рогатый скот (55 млн. голов в 1953 году), свиньи (33 млн.), лошади (12 млн.) и домашняя птица*. Следовательно, на человека приходилось в день не 1200, а всего только 700 с лишним граммов, и, если учесть, что хлебопродукты составляли едва ли не основную часть тогдашнего «рациона», «зерновую проблему» действительно никак нельзя было считать решенной.

Словом, маленковская экономическая программа, несмотря на ее явную всем внешнюю «привлекательность», в силу ряда обрисованных выше «изъянов», не являлась перспективной, и ее отвержение Хрущевым и другими выразило в конечном счете эту объективную, реальную бесперспективность...

* * *

Далее, существеннейшее значение имела и *политико-идеологическая* сторона дела. Как уже сказано, Маленков и его сторонники (включая Берия, хотя он находился у власти всего 114 дней) ориентировались на *государство*, продолжая, таким образом, двигаться по пути, начатому во второй половине 1930-х годов: к 1939 году партия испытала настолько грандиозный разгром, что, казалось бы, уже не сможет стать той безусловно

*Между прочим, закупки зерна за рубежом, впервые начатые в 1963 году (то есть при Хрущеве!) и позднее возраставшие, имели в виду именно кормовое зерно, «высвобождая» тем самым собственное зерно для питания людей.

главенствующей властной силой, каковой она была с октября 1917-го. Уже в 1936 году высококвалифицированные эксперты, находившиеся за рубежом, объявили о «смерти» партии. Троцкий: «...большевистская партия мертва», и ее сменила «национально ограниченная и консервативная... советская бюрократия»³⁶); Георгий Федотов: «В России, теперь уже можно сказать, нет партии как организации активного меньшинства, имеющей свою волю»³⁷).

Правда, первый был крайне возмущен этим фактом, а второй — удовлетворен, и объяснялось это разноречие тем, что два идеолога принципиально расходились в своем отношении к большевистской партии.

Федотов писал тогда же: «Весь ужас коммунистического рабства заключался в его «тоталитарности». Насилие над душой и бытом человека... было мучительнее всякой нищеты и политического бесправия. Право беспартийного дышать и говорить, не клянясь Марксом... означает для России восстание из мертвых» (цит. соч., с. 83—84). А Троцкий ставил вопрос прямо противоположным образом: «...Советское государство приняло тоталитарно-бюрократический характер», между тем как ранее «возможно было в партии открыто и безбоязненно спорить по самым острым вопросам политики...» (цит. соч., с. 92).

Итак, с точки зрения Федотова тоталитаризм имел место тогда, когда в стране безраздельно властвовала партия, а переход власти к государственной структуре, перед которой в принципе все равны, он считал отходом от тоталитарного насилия; Троцкий же не мог смириться с тем, что партия утратила свое «особое» положение в стране*. И он был убежден, что настанет время, когда «советская бюрократия» будет «низвергнута революционной партией, которая имеет все качества старого большевизма» (там же, с. 209).

Знаменательно, что биограф Троцкого, Исаак Дойчер, с глубоким удовлетворением писал в 1963 году: «...после смерти Сталина бюрократия была вынуждена делать уступки за уступками... Троцкий предвидел возможность такого развития собы-

*Эти противоположные точки зрения односторонни; истина, как говорится, где-то посередине.

тий... Эпигоны Сталина начали ликвидацию сталинизма и тем самым выполнили... часть политического завещания Троцкого»³⁸⁾ (стоит напомнить, что последний считал цитируемую книгу «Преданная революция» «главным делом своей жизни»).

Дойчер, без сомнения, упомянул бы — если бы это было ему известно, — что Хрущев в 1920-х годах выступал на стороне Троцкого, в чем в июне 1957 года обвинил его Каганович (он, Молотов и Маленков пытались тогда свернуть Никиту Сергеевича), и Хрущев вынужден был признать: «Я... имел неправильное выступление в поддержку позиции Троцкого», оправдывая свою «ошибку» молодостью («я учился в то время на рабфаке»)³⁹⁾, — хотя Никите Сергеевичу было в тот момент уже без нескольких месяцев тридцать лет. Могут возразить, что столь давняя хрущевская приверженность к троцкистской «левизне» не могла определять его политико-идеологическую линию 1950-х годов. Однако нельзя все же сбросить со счетов тот факт, что в верхнем эшелоне послесталинской власти *одни только* Хрущев побывал в свое время в троцкистах; Маленков, например, начал карьеру в свои двадцать с небольшим лет как раз решительной борьбой против троцкистов в Московском Высшем техническом училище, где он тогда учился.

Могут возразить, что в период своего полновластного правления Хрущев неоднократно резко отзывался о Троцком, но в этом уместно видеть стремление отвергнуть предъявленное ему в 1957 году обвинение в причастности к деятелю, который — в силу его уничтожающей критики СССР в годы пребывания за рубежом — воспринимался как некое чудовище...

Для самого Никиты Сергеевича «троцкистский период» его политической биографии, несомненно, имел существенное значение. Это ясно, например, из одной детали его доклада на XX съезде (то есть еще до предъявленного ему обвинения.). Он счел нужным сказать, что «вокруг Троцкого были люди, которые отнюдь не являлись выходцами из среды буржуазии. Часть из них была партийной интеллигенцией, а некоторая часть — из рабочих (трудно усомниться, что докладчик имел в виду и самого себя... — В. К.)... Многие из них порвали с троцкизмом и перешли на ленинские позиции»⁴⁰⁾.

Разумеется, та реанимация «революционного духа», тот сдвиг «влево», который был осуществлен во второй половине

1950-х годов под руководством Хрущева, объясняется отнюдь не тем, что Никита Сергеевич в свое время был причастен к троцкизму, к «левым»; но все же этот факт, так сказать, закономерен, он лишний раз подтверждает наличие определенной логики в ходе истории: именно *единственный* в верховной власти бывший троцкист стал в 1955 году новым «вождем»...

Закономерность движения истории подтверждается и тем, что Троцкий в своем уже цитированном сочинении 1936 года (в главе «Куда идет СССР?») смог так или иначе *предсказать* состоявшийся через двадцать лет XX съезд партии, на котором был крайне резко осужден совершившийся в середине 1930-х годов поворот, определенный Троцким прежде всего словами «партия мертва». Хрущев говорил в своем докладе, что «Ленин решительно выступал против всяких попыток умалить или ослабить роль партии» (цит. изд., с. 20), а между тем Сталин осуществил «массовый террор против кадров партии» (с. 311).

И. Дойчер со своего рода упоением писал в 1963 году: «Троцкий прокладывал путь для тех, кто многие годы спустя крушил монументы Сталину, выбросил его тело из Мавзолея на Красной площади, вычеркнул его имя с площадей и улиц и даже переименовал Сталинград в Волгоград. С ясным пониманием, что это произойдет, Троцкий напоминает... «Месть истории сильнее, чем месть самого сильного генерального секретаря. Я думаю, что это утешает». На пороге своего собственного крушения в результате последнего акта предательства Сталина (речь идет о подосланном мнимом «троцкисте») — убийце. — В. К.) Троцкий уже наслаждается грядущим возмездием истории и своей посмертной победой» (цит. соч., с. 486).

Но не стоит увлекаться этими эффектными формулами; пред нами в конечном счете все то же «культовое» толкование истории, хотя биограф Троцкого — вроде бы непримиримый разоблачитель «культа». *Личные* действия Сталина и Троцкого (а также словно бы выполнявшего «завещание» последнего Хрущева) — это только внешние проявления хода самой истории.

Ход *исторического* времени, как уже говорилось, уместно сравнить с ходом часового маятника, отсчитывающего «абстрактное» время. «Маятник» истории с октября 1917 года двинулся в одну сторону, в середине 1930-х годов начал, в сущнос-

ти, противоположное движение, а в середине 1950-х опять двинулся «влево»*.

Разумеется, это только самая элементарная «схема» исторического движения; под ней — глубокие и подчас даже таинственные сдвиги в поведении и сознании активной (в политическом и идеологическом плане) части населения страны.

При этом (о чем самым подробным образом говорилось в первом томе моего сочинения) поворот с середины 1930-х годов являлся выражением не личной воли Сталина, а воли самой истории, и точно так же в движении «влево» в середине 1950-х нельзя усматривать волю Хрущева. Так, явления «оттепели» (см. выше) наметились еще в последние годы правления Сталина. Весьма многозначителен и тот факт, что Никита Сергеевич, который в феврале 1956 года яростно проклинал Сталина, 5 марта 1953-го, по его собственному позднему признанию, «сильно разволновался, заплакал... волновался за будущее партии, всей страны»⁴¹⁾, — то есть еще явно не был готов к отвержению «тирана»...

Однако «маятник» истории страны в целом — вернее, наиболее энергичной части ее населения — к тому времени уже начал движение (правда, пока очень медленное и неуверенное) «влево», что выразилось хотя бы в названных выше литературных произведениях, опубликованных еще при жизни Сталина, но поднятых на щит после его смерти. Ледяная глыба государства уже подтаивала до 1953 года.

В моем личном опыте это неоспоримо проявилось в политико-идеологическом «настрое» наиболее активных студентов конца 1940—начала 1950-х годов, но, конечно, были и многообразные иные проявления того же самого. Существеннейшую роль играли, естественно, многие члены партии, вступившие в нее еще до поворота середины 1930-х годов и «уцелевшие» в 1937—1938-м. Теперь, спустя пятнадцать лет после «разгрома» партии, они стремились, так сказать, к «реваншу». И под руководством Хрущева было «возрождено» многое из эпохи 1917—1934 годов, хотя дело шло, конечно, не о действительном возврате к прошлому (что вообще невозможно), а к определенно-

*В середине 1960-х — новый поворот «вправо», но это уже выходит за рамки моего сочинения...

му его продолжению в новую эпоху. Вот хотя бы один характерный факт. В 1920 году в самом центре Москвы, на Театральной площади (с 1919 по 1991 год — площадь Свердлова), при активнейшем участии Ленина состоялась закладка памятника Карлу Марксу и была даже выставлена его модель. Но затем проект забраковали. Вполне вероятно, что, если бы Ленин прожил дольше, памятник основоположнику появился бы. Но только Хрущев осуществил в 1961 году ленинский замысел.

Эта, казалось бы, частная историческая «деталь» хрущевского времени все же, как я постараюсь доказать в дальнейшем, очень существенна для понимания хода истории.

В первое («маленковское») время после смерти Сталина вроде бы не предполагались существенные *политические* перемены (другой вопрос — по сути дела утопические для того времени *экономические* инициативы Маленкова); напротив, государственная структура, созданная при Сталине, как бы окончательно утверждалась, оттесняя партию на задний план.

Однако именно «бездушная» махина государства вызывала тогда глухое, но нараставшее недовольство активной части населения страны — особенно тех людей, которые либо помнили сами, либо восприняли из книг, кинофильмов, рассказов старших представление о «революционной» атмосфере 1920—начала 1930-х годов.

Одним из проявлений последовательного «государствления» — правда, внешним, но зато для всех очевидным — была все более широко внедрявшаяся *форменная* одежда. Она как бы имела оправдание в годы войны, но после Победы ее внедрение только усилилось, и чуть ли не большинство населения облакалось в «мундиры», начиная с вождя, который до 1943 года являлся в полустатском-полувоенном, но не имевшем «мундирного» характера одеянии. Теперь же «форма» стала обязательной для людей самых разных возрастов и «рангов» — от высокопоставленных дипломатов до школьников-первоклассников, от директоров заводов (нередко инженерных генералов) до питомцев ремесленных училищ.

Помню, как, будучи школьником последнего класса (форменная одежда к нам еще не дошла), я оказался в сборище сверстников, которые шумно веселились вплоть до полуночи. Наконец, явился с протестом сосед, специально облекшийся в

какую-то чиновную форму, — дабы выступить как представитель государства, а не частное лицо. И одна из девушек, увлекавшаяся театром, гневно продекламировала фрагмент из монолога грибоедовского Чацкого:

Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету;
И нам за ними в путь счастливый!..

В этом, казалось бы совершенно незначительном, эпизоде в конечном счете выразился глубокий и масштабный конфликт. И отмена многих «мундиров» в послесталинские годы представляла собой достаточно многозначительную акцию*. Но об этом — в следующей главе.

*Кстати сказать, Маленков неизменно являлся во френче, а Хрущев — в чисто «штатском» костюме.

Глава девятая

«ХРУЩЕВСКАЯ» ДЕСЯТИЛЕТКА

Истинное значение и смысл того, что происходило в 1955—1964 годах, во многом не выяснены и даже искажены, так как вплоть до 1990-х годов этот период вообще не изучался историками (и как слишком недавний, и в силу определенных запретов), да и в последнее время о нем написано весьма немного, а кроме того, с конца 1980-х Никита Сергеевич был, — как я постараюсь доказать, совершенно необоснованно — объявлен «предтечей перестройки» (пусть только начавшим, но не завершившим «процесс»). В результате суть хрущевского времени была окончательно затемнена, ибо оно, с объективной точки зрения, во многом *прямо противоположно* «процессу», начавшемуся во второй половине 1980-х годов.

Правда, М. С. Горбачев и его окружение явно были уверены, что они продолжают дело Хрущева; но это было чисто *субъективным* представлением, а реальное движение истории приобрело к 1990-м годам совершенно иную направленность. И закономерно, что руль власти, который вроде бы надежно держал в своих руках поначалу Горбачев, в 1991 году был не столько вырван, сколько как бы сам вырвался из его рук, ибо страна двигалась совсем не туда, куда он рассчитывал ее вести.

Казалось бы, многое поначалу являло собой прямое продолжение хрущевской линии; так, например, к концу 1980-х годов были реабилитированы и, более того, превознесены до небес те репрессированные в 1930-х годах виднейшие большевистские деятели, которых при Хрущеве по тем или иным причинам не решились реабилитировать. Однако спустя краткое время о большевиках вообще громко заговорили как о зловещих губителях страны!

Характерна в этом отношении «творческая биография» всегда напряженно державшего нос по ветру Волкогонова. В конце 1980-х годов он сконструировал объемистое сочинение о Сталине, открывавшееся цитатой из хрущевского доклада на XX съезде партии и, в полном соответствии с ним, противопоставлявшее ужасного генсека прекрасному Ленину; однако уже к 1994 году генерал от идеологии скомпоновал сочинение о последнем, и Владимир Ильич предстал в нем чуть ли не как более мрачная фигура, чем Иосиф Виссарионович!

Словом, пользуясь знаменитым в то время горбачевским выражением, «процесс пошел» — однако пошел совсем не в том направлении, и Михаил Сергеевич неожиданно оказался далеко на обочине действительного «процесса»...

Нельзя недооценивать по-своему замечательный «переворот» в политической терминологии: горячих сторонников «оттепели» с 1960-х годов называли (в том числе и они сами) «*левыми*», а противников — «*правыми*». Точно так же в течение нескольких лет называли и радикальных сторонников «перестройки», — но затем они вдруг стали называться (и, надо сказать, не без оснований) «*правыми*»! Эта терминологическая чехарда особенно ясно обнажает несостоятельность господствующих понятий о ходе новейшей истории страны.

Тем не менее до сего дня появляются сочинения, которые по-прежнему усматривают в Хрущеве предшественника «перестройки», — хотя (и это знаменательно) в последнее время несколько авторов (о чем уже шла речь в предыдущей главе) объявили истинным предтечей нынешних «реформ» не Хрущева, а Берию, и это по крайней мере более резонное мнение.

Впрочем, я сопоставляю два в общем-то кардинально различных периода (условно говоря, «оттепель» и «перестройку») только для того, чтобы указать на существенную причину нынешнего неадекватного представления о первом из них, имевшем, повторяю, во многом *противоположные* по сравнению со вторым смысл и направленность, — то есть преследую цель «расчистки» пути к пониманию «хрущевского» десятилетия.

Хотя в ходе перестройки и даже в последующий период, называемый нередко «постперестройкой», те или иные деятели и идеологи постоянно бросались словом «революция», действительный «процесс» (по крайней мере с 1991—1992 годов)

являл собой, если уж пользоваться традиционной терминологией, попытку реставрации, т. е. «возврата» к тому экономическому и политическому строю, который существовал до 1917 года, — вплоть до «воскрешения» дореволюционного герба с его двуглавым орлом (определенное осознание этого и побудило переименовать вчерашних «левых» — в «правых»). Правда, *реставрация* — это именно *попытка*; вернуться в прошлое — да еще и столь дальнее — абсолютно невозможно, и нынешняя Россия, конечно же, имеет очень мало общего и с дореволюционной Россией, и, добавлю, с капиталистическими странами Запада и Востока.

Гораздо более уместно слово «революция» по отношению к хрущевскому периоду, хотя дело шло не о революции в собственном смысле слова, а о «реанимации», определенном восстановлении «революционной» атмосферы и радикальных социально-политических акций.

Именно такого рода акцией явилось, например, начатое по инициативе Хрущева (это вообще была первая его инициатива) в январе 1954 года освоение целины. Сплошным потоком под гром оркестров отправлялись в казахские и западносибирские степи поезда, заполненные людьми — в преобладающем большинстве молодыми, — призванными одним ударом решить «зерновую проблему». Словно возродились столь характерные для послереволюционных лет штурмовые кампании под предводительством партии и комсомола. И сбор зерна за счет освоения целины вырос в среднем на 40%!

Правда, подобные «прорывы» в сфере земледелия заведомо рискованны, ибо здесь надежно неторопливое сотворчество с природой, а не стремительный натиск на нее. Еще в 1970 году журналист-аграрник Юрий Черниченко* опубликовал статью, в которой показал глубокую противоречивость «целинной эпопеи»:

«Целина была счастьем моего поколения.... В первые два года на восток уехало больше семисот тысяч человек». Далее журналист напоминал, что почти полвека ранее совершалось

*Позднее, в конце 1980—начале 1990-х годов, этот ранее серьезный автор впал в своего рода перестроечную истерию, но не будем перечеркивать его заслуги 1960—1970-х годов.

«стопыпинское» освоение той самой целины: «За 1906—1916 годы в восточные степи было переселено 3 078 882 человека, закрепились 82 человека из сотни». Иначе пошло дело в 1950 — начале 1960-х годах: «К пятому урожаю в нашей (Кулундинской, где находился тогда журналист. — В. К.) степи от первых эшелонов остались считанные семьи. Даже Вася Леонов, тракторист, получивший звание Героя, и тот бросил дом, дизель, славу и подался куда-то на шахты...» Ибо «потянулись черные бури, снег стал, как зола, пошли неурожай... хлопцы-целинники, содрвавшие плугами защитный дерн, увидели вскоре черное небо и поразъехались... Что целинник не задерживается — не новость и... полбеды. Но есть известия — стронулся коренной сибиряк, вот в это и верить бы не хотелось... Емельян Иванович Емельяненко, директор из первых целинников... сказал: «Черт его знает, одну эрозию вроде погасили, лесополосы зеленеют, а вторая, кадровая, все разгорается. Пыльные бури, видно, через срок сказываются, как война...» Главное же — и теперь, после одоления эрозии, не достигнута стабильная прибыльность.... нужен уверенный урожай, а не лихорадочная кривая сборов»¹⁾.

Из этого вроде бы следует вывод, что освоение целины было бесплодным предприятием, — в частности, лишний раз доказывающим несостоятельность Хрущева как правителя. Но, во-первых, в 1959 году, например, в стране было собрано в полтора раза больше зерна, чем шестью годами ранее, в 1953-м, а едва ли бы такой прирост был возможен на путях медленного улучшения дела на уже освоенных ранее землях. Во-вторых, нельзя полностью приписывать освоение целины воле Хрущева — это все то же «культовое» представление об истории. В том, что совершалось с 1954 года на западносибирской и казахской целине, воплощалась воля миллионов молодых энергичных людей; другой вопрос — явный недостаток сельскохозяйственных навыков и знаний у подавляющего большинства этой молодежи, бездумно срывавшей весь защитный дерн на огромных пространствах степей, а потом изумлявшейся «черным бурям»....

Здесь необходимо обратить внимание на очень существенную *демографическую* особенность хрущевского периода, о коей, кажется, не сказано до сих пор ни слова. В результате тя-

желейших потерь во время войны молодых людей от 15* до 29 лет в 1953 году имелось почти на 40% (!) больше, чем зрелых людей в расцвете сил — в возрасте от 30 до 44-х лет (первых — 55,7 млн. человек, вторых — всего 35,6 млн.); что же касается молодых мужчин, их было почти в *два раза больше* (!), чем зрелых (то есть тех, кому от 30 до 44-х) — 26,5 млн. против всего лишь 13,9 млн. человек**, — не говоря уже о том, что немалая часть людей зрелого поколения принадлежала к инвалидам войны....

И это огромное преобладание молодых людей, надо думать, не могло не сказаться самым весомым образом на характере времени, на самом ходе истории во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов. Закономерно, например, что в литературе и кинематографии этого периода молодежь является безусловно на первом плане. Вообще стоит серьезно вдуматься в тот факт, что в год смерти Сталина около 30% населения страны составляли дети до 15 лет, те же почти 30% — молодые люди от 15 до 29 лет (включительно) и лишь немногим более 40% — *все* люди старше 30 лет (то есть включая стариков). К 1970 году эта, в сущности, аномальная демографическая ситуация уже кардинально изменилась: молодые люди от 15 до 29 лет составляли теперь всего лишь немногим более 1/5 населения страны, а люди от 30 лет и старше — около половины.

В высшей степени показательно, что еще более резкое преобладание молодежи имело место после гибельных революционных лет, в 1929 году, — то есть во время *коллективизации*: люди от 15 до 29 лет составляли и тогда почти 30% населения страны, а *все* люди старше 30 лет — только около 33% (остальные 37% с лишним — дети до 15 лет). И многие так называемые *перегибы* той поры, которые, как правило, целиком приписывают «вождям», в значительной мере были результатами действий молодых, а нередко даже и совсем юных «активистов», еще не обретших никакого жизненного опыта, не врос-

*То есть 18 лет в 1956-м.

**Скажем, в 1970 году, в период т. н. застоя, мужчин в возрасте от 15 до 29 было 26,5 млн., а от 30 до 44-х — 27,2 млн., т. е. даже больше, чем молодых!

ших в традиционный уклад жизни и — что вообще присуще молодости — склонных к всякого рода переменам и новизне.

Аналогичной была и ситуация второй половины 1950-х годов. В наше время часто говорят о «шестидесятниках» — о поколении, чья молодость пришлось на эти годы, хотя, пожалуй, более точна употреблявшаяся ранее формула «дети XX съезда», ибо основная направленность поколения проявилась не в 1960-х, а уже в 1956 году. При этом речь обычно идет о сравнительно небольшом слое тогдашних молодых людей, выразивших себя в «идеологической» (в широком смысле слова) сфере.

В действительности уместно говорить о *миллионах* тогдашних молодых людей, которые не выступали в печати и не снимали кинофильмы, но были, в общем, заодно с тогдашними молодыми «идеологами». Выше я стремился показать, что существеннейшие перемены в жизни страны были тогда, в середине 1950-х, неизбежны, что «маятник» истории начал движение «влево» (пусть и не очень заметное) еще в последние сталинские годы, и, кто бы ни оказался у власти в 1953 году, дело пошло бы примерно так же.

Кстати сказать, многие «шестидесятники» были, без сомнения, «левее» Хрущева, и тот не только многократно и подчас очень резко одергивал их «идеологов», но даже и отправлял в долгое заключение наиболее ретивых (о чем ниже), хотя об этом ныне упоминается редко.

Прежде чем идти дальше, целесообразно сделать одно пояснение. Выше в состав более чем 55-миллионной армии молодежи 1950-х годов зачислены люди до 29 лет, что может показаться натяжкой (ведь 29 — уже, как говорится, солидный возраст). Но до начала «широкой» оттепели «молодые» стремления не могли быть полностью реализованы. Вот характерный пример. Снявший целый ряд имевших громадную популярность кинокомедий Эльдар Рязанов родился в конце 1927 года, в 1950-м окончил Московский институт кинематографии, но его настоящий дебют — сатирический мюзикл «Карнавальная ночь» (который с упоением восприняла, по всей вероятности, вся — именно вся, без исключения — молодежь страны) появился только в 1956-м, когда режиссеру исполнялось как раз 29 лет. И хотя в фильме дело шло всего лишь о подготовке молодеж-

ного новогоднего вечера, который тщетно пытался запретить мрачный и в то же время смехотворный бюрократ, роль коего исполнял знаменитый Игорь Ильинский, «Карнавальная ночь» стала своего рода «манифестом» тогдашней молодежи. Вместе с тем есть основания предполагать, что «мечта» о подобном фильме витала в сознании режиссера еще тогда, когда он был студентом. Я исхожу при этом из своего — уже описанного в предыдущей главе — студенческого опыта тех лет, в частности, из того, что еще до 1953 года на факультетских «вечерах» мы разыгрывали так называемые капустники («жанр», рожденный в свое время в Художественном театре), по смыслу и стилю близкие к этой самой «Карнавальной ночи».

Кинофильм, о котором идет речь, воспевал душевную и бытовую раскрепощенность, явно противопоставляемую догматике и казенщине сталинских времен, — притом выражая уже сложившуюся настроенность активной части молодежи (той же студенческой), он вместе с тем пробуждал новые веяния в умах и душах молодых людей, живущих в каких-либо захолустных городках и селах, ибо демонстрировался на бесчисленных экранах кинотеатров, Домов культуры, клубов и т. п. Обращая внимание на сей фильм, я вовсе не имею в виду какие-то его особые достоинства, но «идеологическая» его роль была, без сомнения, чрезвычайно значительной.

* * *

Правда, не менее существенное значение имел целый поток тогдашних кинофильмов о *революционном* прошлом. Одна за другой появлялись с 1956 года экранизации уже более или менее давних литературных произведений — «Сорок первый», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Оптимистическая трагедия» и т. д., а также кинофильмы о тех же временах, снятые на основе новых сценариев, — «Коммунист», «По путевке Ленина»; «Рассказы о Ленине», «Синяя тетрадь» и т. п. В этих фильмах было, конечно, немало трагических эпизодов, но в целом собственно революционное — *досталинское* — время представляло в них в сугубо романтизированном виде, как время свободного жизнетворчества — и общенародного и личного, — как эпоха, о которой можно затосковать — оказаться бы, мол,

мне там, среди этих живущих полной жизнью людей (пресловутая ностальгия)!

При восприятии таких фильмов никому не приходило в голову, что в 1918—1922 годах погибли около двух десятков миллионов соотечественников*, что многие принадлежавшие к цвету нации люди эмигрировали или были высланы, что вообще страна находилась тогда подчас на грани полной гибели... Все «негативное» в истории страны после 1917 года было отнесено в тогдашней идеологии к периоду последней трети 1930—начала 1950-х годов, то есть к эпохе «культы личности».

Автор пространных мемуаров, литературная и, в известной мере, общественная деятельница Р. Д. Орлова (Либерзон), о которой уже шла речь в первом томе этого сочинения, с удовлетворением цитировала позднее (уже став эмигранткой) свое выступление на партийном собрании Московской организации писателей в марте 1956 года (то есть сразу же после XX съезда партии):

«Дни, которые мы переживаем, чем-то напоминают первые послеоктябрьские. Тоже митинговый, бьющий весенним полноводьем демократизм... Меня поздравляли, обнимали, целовали»²⁾. Раиса Давыдовна явно не отдавала себе отчета в том, что восхищающий ее «митинговый демократизм» играл немалую роль и в проклинаемом ею терроре 1937 года; в первом томе (глава «Загадка 1937 года») цитировались ее воспоминания о том, как именно на «демократическом» комсомольском митинге она вместе с другими (в том числе и с детьми репрессированных!) не без энтузиазма голосовала за уничтожение «врагов народа».

Черпая свои представления из поверхностных сочинений о сталинском времени, многие люди до сих пор полагают, что террор того времени целиком и полностью на «совести» НКВД. Однако на деле (целый ряд фактов приведен в указанной главе моего сочинения) в стране царила атмосфера беспощадности по отношению к любым «уклонам», и сама Р. Д. Орлова пока-

* Согласно новейшим подсчетам, в начале 1918-го в стране было 148 млн. человек, а через пять лет, в начале 1923-го, — 118,5 млн. людей старше 5 лет; таким образом, население уменьшилось на 29,5 млн., то есть на 19,9% (даже в 1941—1945-м потери были несколько меньше — 19,5%) (Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994, с. 619—620).

лась, например, что в свое время на партсобрании по собственной воле процитировала «крамольные» суждения своего сотоварища, Г. С. Кнабе, который, к счастью, отделался увольнением со службы и долговременной безвестностью...

Тут важно вдуматься в само это понятие «демократизм». Древнегреческое слово означает «власть народа», — то есть, в сущности, власть всех и каждого, однако такого рода «идеал» — несбыточная утопия, и в действительности «демократия» всегда оказывается властью какого-либо слоя людей. В 1956 году дело шло о власти коммунистической партии — власти, которая при Сталине как бы переместилась в государство. И для той же Орловой рамки столь любезного ей «демократизма», в сущности, ограничивались рамками КПСС. Она, надо отдать ей должное, сама не раз признала это в своих мемуарах.

Так, в 1956 году она прочитала в рукописи столь знаменитый впоследствии роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и впоследствии вспоминала: «Мне показалось, что книга о нашей* революции написана извне. Все это было чужим... книга была чужда тому, о чем мы думали, мечтали, спорили... В письме (отвергнувшем роман. — В. К.) редколлегии «Нового мира» (опубликованном в 1958 г.) я нашла оценку романа, близкую моей тогдашней» (цит. соч., с. 161; выделено мною. — В. К.).

Здесь очень существенны слова «чужим» и «чужда», ибо очевидно, что речь идет о том бытии и сознании России, которое никак не вмещалось в рамки политики и идеологии КПСС и соответствующего «демократизма» и потому подлежало уничтожению или хотя бы оттеснению на «задворки» истории. Нет сомнения, что в 1956 году в стране еще было достаточно много людей, к которым не подходила популярная тогда формула: «Мы — родом из Октября» (для младшего поколения составила аналогичная формула: «Мы — дети XX съезда»), ибо они так или иначе были порождены многовековой историей России; однако эти люди вынуждены были скрывать свою «родословную» или хотя бы не обнаруживать ее со всей ясностью.

*«Нашей» здесь явно означает не российской (Революция, конечно, захватывала так или иначе Россию в целом), а принадлежащей определенному слою «победителей».

Пастернак же, несмотря на то, что он считал Революцию неизбежным и даже естественным итогом предшествующей истории России, вместе с тем не отказывался в своем романе и от этой предшествующей истории своей страны*, — с чем не могли согласиться абсолютное большинство советских писателей (не говоря уже о том, что отвергнутый редакцией «Нового мира» роман Борис Леонидович передал в «буржуазное» издательство).

Поэтому даже считавшиеся более или менее «демократическими» писатели беспощадно осудили своего коллегу и письменно, и устно, и даже жестом (поднимая руки на собрании за исключение Бориса Леонидовича из Союза писателей); среди них — В. Дудинцев, В. Инбер, В. Катаев, Л. Мартынов, В. Панова, И. Сельвинский, Б. Слуцкий, А. Твардовский, В. Шкловский... (Р. Орлова, как она сама сообщает, еще не была в 1958-м членом СП, но есть основания полагать, что она оказалась бы заодно с перечисленными).

Это показывает сугубую ограниченность «демократизма» хрущевской поры, но гораздо важнее увидеть в эпизоде с пастернаковским романом другую сторону дела, отмеченную той же Р. Орловой: дореволюционное бытие и сознание России предстало в ее глазах как «чужое», «чуждое». В дальнейшем я буду стремиться показать, что в этой «отчужденности» своего рода ключ к пониманию всей *послереволюционной* истории страны — вплоть до сего дня. И в годы хрущевского правления отчужденность от многовековой России значительно усугубилась.

В 1936 году, как было показано выше, мыслителю-эмигранту Георгию Федотову представлялось, что в результате различных «контрреволюционных» акций, начавшихся в СССР на рубеже 1934—1935 годов, Россия «воскресает» после грандиозного революционного катаклизма. В этом заключалась известная доля истины, и (о чем уже подробно говорилось), если бы не совершился определенный поворот в таком направлении, Отечественная война могла бы закончиться иначе (и, в

*О собственно художественной ценности пастернаковского романа шли и идут споры, но этой стороны проблемы я не касаюсь; речь идет о его идеологическом смысле.

частности, не обрела бы само свое название...). Как и в других случаях, я отнюдь не имею в виду «альтернативное» мышление об истории: во второй половине 1930-х годов происходило именно то, что происходило, и вообще история (как уже отмечалось) несет в себе *свой* объективный смысл, — более весомый, чем любые наши субъективные мысли о ней...

Но после Победы, когда СССР закономерно стал «вождем» целого «соцлагеря», уже невозможно было делать основной упор на собственной, «национальной» истории (выше шла речь о том, что в наиболее «самостоятельной» из стран соцлагеря, Югославии, этого рода тенденции в жизни СССР вызывали в 1947—1948 годах открытое возмущение) *.

Что же касается хрущевского периода, в продолжение его осуществляется многосторонняя реанимация революционного духа и буквы, время с середины 1930-х до смерти Сталина подвергается самому резкому осуждению, и разрыв с предреволюционной историей становится намного более глубоким. Это с очевидностью выразилось в происходивших в хрущевские годы своего рода второй коллективизации деревни, новой и весьма жесткой атаке на Церковь, резком расширении коммунистической пропаганды и т. д.

* * *

Выше говорилось о нынешнем восхвалении Хрущева за те или иные его действия. Но в последнее время был опубликован ряд воспоминаний людей из ближайшего его окружения, которые оценивают роль Никиты Сергеевича весьма и весьма негативно. Правда, есть основания предполагать, что на оценки некоторых из таких авторов повлияло личное недовольство Хрущевым, ибо они по его воле снимались с высоких должностей (а в то время подобные случаи очень многочисленны) или вообще подвергались гонениям (как, например, В. М. Молотов или Д. Т. Шепилов).

Но вот мемуары под заглавием «В годы руководства Н. С. Хрущева», принадлежащие многоопытному В. Н. Нови-

* Впрочем, и в СССР резкой критике подвергались «националистические» проявления в политике и идеологии тех или иных восточноевропейских соцстран, а также Китая.

кову, который занял пост зам. наркома вооружения СССР еще в 1941 году, а в 1960—1963-м был заместителем Председателя Совета Министров СССР, то есть Хрущева, председателем Госплана СССР и представителем СССР в СЭВ; правда, в 1963-м году он был «понижен» до министра—председателя Комиссии по внешнеэкономическим вопросам, но это не являлось серьезной опалой, могущей вызвать тяжкую обиду.

Владимир Николаевич утверждал, что «государственная машина, раскрученная до 1953 г., продолжала работать и двигалась в основном вперед независимо от того, кто где сидел. Мне даже представляется, что, если бы тогда «там» вообще никого не было, страна продолжала бы существовать и развиваться по линии, намеченной ранее».

Но, констатирует В. Н. Новиков, «стремление к реорганизациям у Хрущева проявилось почти с самого начала его деятельности... Никак нельзя написать, будто все предложения Хрущева были дурными, как тшятся доказать некоторые его ненавистники. Были и явно разумные».

Вместе с тем, давая конкретные характеристики хрущевских «реорганизаций», его бывший заместитель оценивает их достаточно противоречиво. «Одним из крупных шагов в промышленности, — напоминает он, — стало тогда (в 1957 году. — В. К.) решение о создании совнархозов и ликвидации в связи с этим промышленных министерств... Хрущев видел в этой форме приближение местных партийных и советских органов к управлению промышленностью... Если говорить о деятельности совнархозов, то можно сказать, что на первом этапе они сделали немало хорошего. Ошибка же заключалась в том, что систему управления промышленностью подстроили к существовавшей системе организации парторганов... Соблюдался принцип: обком КПСС — совнархоз».

Но едва ли можно говорить в данном случае об «ошибке»; выше было показано, что власть стала перемещаться из государства в партию, и результат, который В. Н. Новиков считает «ошибкой», был всецело закономерен. Не менее существенно, что введение совнархозов (советов народного хозяйства) являлось тем «возвратом» к революционной эпохе, который вообще типичен для хрущевского времени (совнархозы играли руково-

дящую роль с декабря 1917 до марта 1932 года, когда их функции были целиком переданы наркоматам).

В. Н. Новиков утверждает, что введение совнархозов явилось одной из причин антихрущевской оппозиции, что именно тогда (в 1957-м) «сложилась т. н. антипартийная* группа... Более молодые члены и кандидаты в члены Политбюро (точнее, Президиума. — В. К.) высказывались за Хрущева, «старая гвардия» (Молотов, Маленков, Каганович, некоторые иные...) выступила против...»

Как известно, совнархозы были ликвидированы вскоре после «свержения» Хрущева, в 1965 году. Но В. Н. Новиков пишет: «Я отвергаю мнение тех лиц, тоже работавших в ту пору на достаточно высоких постах, кто сегодня пишет о ненужности совнархозов... Поначалу (повторюсь) от совнархозов был большой толк. Хуже пошло дело, когда начали проявляться волюнтаристские методы при решении различных вопросов хозяйства страны. С течением времени такого типа решения становились все более частыми»³⁾ и т. д.

В последнее время появилось немало сочинений, в которых Хрущева обвиняют в «развале», «подрыве» и т. п. созданной ранее мощной государственной системы социализма, притом — что вообще-то парадоксально — обвинения этого типа исходят из уст «левых» («левых» в том истинном значении сего слова, которое стало очевидным лишь в наши дни) идеологов. Но, во-первых, глубокая суть «хрущевских» реорганизаций основывалась на состоянии страны в целом — в частности, на устремленности той чрезвычайно многочисленной (около трети от всего населения, включая детей и стариков) молодежи, о которой шла речь выше; приписывание определяющей роли Никите Сергеевичу — все тот же «культ». А во-вторых, уместно ли говорить о «развале» в свете тогдашних достижений?

Конечно, технологический *фундамент* страны был заложен еще до 1953 года, но то, что воздвигалось на нем позднее, поистине грандиозно: 27 июня 1954-го — пуск *первой* в истории мира АЭС; 4 октября 1957-го — запуск *первого* в мире спутника и спуск на воду опять-таки *первого* в мире атомного ледоко-

*Уместно толкование: «антипартийная» — значит «прогосударственная».

ла; 14 октября 1959-го — *первое* прилунение межпланетной станции; 12 апреля 1961-го — *первый* человек в космосе; 12 октября 1964-го (кстати, за два дня до «свержения» Хрущева) — начало полета трехместного космического корабля и т. д.

Напомню еще, что с 1954 по 1964 год производство электроэнергии увеличилось почти в 5 раз, добыча нефти — в 3,5 раза, выплавка стали — в 2 раза, производство цемента — в 3,2 раза и т. п. Словом, едва ли есть серьезные основания для полного отвержения хрущевских «реорганизаций» (хотя к 1964 году их потенциал, по-видимому, был исчерпан). Определенное высвобождение человеческой энергии из-под директивной опеки всевластных министерств дало плоды, и это было своего рода возвратом (разумеется, не буквальным, а только являющим собой аналогию) ко времени движимого «революционным» энтузиазмом восстановления и, затем, интенсивного роста промышленности в конце 1920 — начале 1930-х годов, когда и действовали совнархозы (восстановленные в 1957-м).

Правда, гораздо хуже обстояло дело в сельском хозяйстве. За те же годы сбор зерна и производство мяса увеличились примерно в 1,5 раза, но при этом нельзя не учитывать, что в 1,2 раза выросло и население страны.

Как уже сказано, в послесталинское время предлагались две программы — маленковская, являвшая собой как бы новый вариант НЭПа, в частности, делавшая ставку на расширение и поощрение приусадебных личных хозяйств колхозников и совхозных рабочих, и хрущевская, которая, напротив, имела в виду сосредоточение всех усилий в «укрупненных» колхозах и совхозах, для чего начались урезания и ущемления личных хозяйств.

До сего дня многие авторы уверяют, что, если бы сельское хозяйство пошло тогда по первому пути, оно процветало бы. Не раз приходилось слышать впечатляющую на первый взгляд информацию: приусадебные участки занимали тогда всего лишь примерно 3% посевных площадей, но на них производилось примерно 50% сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, мясо, молоко и т. д.), не считая только зерновых и технических культур. Отдать бы, мол, этим людям еще 3% посевных площадей...

Но это всего лишь странный самообман, ибо хозяева этих

участков не обладали какой-либо техникой*, энергоносителями, лошадьми, кормами, пастбищами, удобрениями, семенами и т. п. и все это получали — более или менее «законно» — в своих колхозах и совхозах, и даже вывоз продукции «частников» на рынки не обходился без колхозного и совхозного транспорта. Не приходится уже говорить о зерне, подсолнечнике, сахарной свекле, льне, хлопке и т. д., которых «частники» и не брались выращивать.

Программа Хрущева была, по сути дела, прямо противоположной: он, в частности, ориентировался на крупные и оснащенные по последнему слову техники фермы, или, вернее, целые агрофирмы США, хотя, понятно, не имел в виду, что аналогичные мощные хозяйства, «агрогорода», в СССР будут в собственности отдельных лиц; он собирался «заимствовать» из-за океана только технологическую, но не собственно экономическую сущность тамошнего сельского хозяйства.

Уже по одной этой причине реальный успех был невозможен, ибо мощным двигателем американских агрофирм является способная постоянно расти прибыльность, четко выражающаяся в долларах, что в СССР того времени было, конечно, невыносимым. Нельзя не добавить к этому, что богатое государство США вкладывало в сельское хозяйство миллиарды, а позднее десятки миллиардов долларов**.

Но не менее утопичной являлась уже сама по себе выдвинутая цель «догнать и перегнать» США по производительности в сельском хозяйстве. Так, в 1961 году вышла в свет своего рода конкретная программа этой «гонки» — книжка под названием «СССР — США (цифры и факты)», в которой (что может даже удивить) достаточно ясно выразилась несостоятельность принятой «гонки»:

«Территория США находится в зоне умеренного и субтропического климата. Северная граница США лежит на параллели несколько выше городов СССР — Винницы, Полтавы, Сталинграда. Даже в наиболее засушливых районах США выпада-

*Невозможно же обходиться одной лопатой...

**Так, например, в 1986 году только из федерального бюджета США (не считая бюджеты штатов) на поддержку сельского хозяйства было израсходовано 31,4 млрд. долл. (Современные США. Энциклопедический справочник. М., 1988, с. 154).

ет за год 400—700 мм осадков... В Советском Союзе... урожай в обширных районах часто страдает от засухи. Основные сельскохозяйственные районы США по своим климатическим условиям сопоставимы *только* (выделено мною. — В. К.) с южными районами Украины, с Северным Кавказом и Черноморским побережьем Закавказья».

Но далее тут же утверждалось: «Несмотря на менее (надо было бы сказать «гораздо менее». — В. К.) благоприятные почвенно-климатические условия, социалистическое сельское хозяйство СССР развивалось такими быстрыми темпами, которые оказались недостижимыми для капитализма»⁴⁾.

Итак, единственное и все же достаточное, что должно-де позволить догнать и перегнать США в области сельского хозяйства, — «социалистические темпы»... Разумеется, из этого ничего не вышло, и уже цитированный В. Н. Новиков с горечью констатировал: «Если еще в 1960 г. мы продавали зерно социалистическим странам (частично и в капиталистические) ежегодно 7—9 млн. тонн, то в 1963* — 1964 гг. мы стали покупать до 12 млн. тонн. Так было положено начало тем закупкам хлеба, которые постоянно возрастали...»⁵⁾

Некоторые авторы целиком возлагают вину за эти закупки, производимые, казалось бы, великой хлебной державой, на Хрущева. Однако корни такого положения дела уходят в пережитый страной революционный катаклизм, и уж Никиту Сергеевича в данном случае уместно не клясть, а одобрять, ибо в 1932—1933-м и в 1946—1947 годах, когда в стране свирепствовал голод, хлеба за границей не покупали... Правда, скажу в очередной раз, что перед нами заслуга не лично Хрущева, а самого хода времени.

Те, кто утверждает, что Хрущев проявлял крайнюю жестокость под давлением Сталина, а придя к власти, стал чуть ли не гуманистом, фальсифицируют историю. При Хрущеве палили из стрелкового и танкового оружия по группам выразивших какое-либо недовольство людей в Тбилиси (1956 год), Темир-Тау (1959), Новочеркасске (1962) и т. д. Получали при нем сроки заключения до 10 (!) и даже 15 (!) лет и «инакомыслящие» — к тому же нередко весьма умеренные — группы (в ос-

*То есть спустя два года после издания книги «СССР — США».

новном студенческие) Льва Краснопевцева (Москва, 1957), Револьта Пименова (Ленинград, 1957), Виктора Трофимова (Ленинград, 1957), Сергея Пирогова (Москва, 1958), Михаила Молостова (Ленинград, 1958), Александра Гинзбурга (Москва, 1960), Владимира Осипова (Москва, 1961), Левко Лукьяненко (Львов, 1961), Виктора Балашова (Москва, 1962), Юрия Машкова (Москва, 1962), Николая Драгоша (Одесса, 1964) и многие другие. Ныне их судьбы более или менее подробно охарактеризованы в ряде сочинений⁶⁾.

При этом важно отметить, что почти все репрессированные в те годы по политическим обвинениям люди, в сущности, не были против социализма; они только стремились к большей «демократизации» общества, чем это предусматривал Хрущев. Характерно, что главные участники студенческой группы Виктора Трофимова, приговоренные к 10 годам лагерей, в конце концов были — очевидно, не без ведома Хрущева — в 1963 году освобождены из лагеря, правда, отсидев до того шесть лет...

* * *

В. Н. Новиков, завершая свои воспоминания о Хрущеве, написал: «Один из минусов личности Хрущева — непостоянство. Он мог сегодня обещать одно, а завтра сделать другое. Государственный деятель не имеет права так поступать»⁷⁾.

Представляется более верным видеть в этом проявление «своеобразия» не личности Никиты Сергеевича, а *исторического периода*, который так или иначе «возрождал» (разумеется, не в прямом, буквальном смысле слова) характер революционной эпохи 1917 — начала 1930 годов, когда «военный коммунизм» вдруг сменялся вроде бы противоположной ему НЭП, последняя — столь же нежданной коллективизацией и т. п. И на рубеже 1950—1960-х годов сама страна (а вовсе не только «руководство» во главе с Хрущевым) переживала всякого рода сдвиги и ломки, которые многие люди — особенно молодые — воспринимали с воодушевлением и большими надеждами.

Приведу один демографический показатель, в котором ясно выразилось это мощное «движение» страны. Согласно переписи 1959 года в составе сельского населения СССР имелось 16,7

млн. людей в возрасте от 10 до 19 лет, а спустя 11 лет, по переписи 1970 года, жителей села в возрасте от 21 до 30 лет было всего лишь около 10 млн., то есть на 41% меньше! * Этот громадный отток молодежи в города объясняют различно — и неблагоприятными условиями деревенского бытия, и определенной «раскрепощенностью» граждан села, совершавшейся в те времена. Но наиболее существен сам факт *движения* миллионов молодых людей — факт, если угодно, «революционный».

Могут возразить, что история России в целом изобилует всякого рода передвижениями больших масс населения — здесь и начавшееся в давние века освоение восточных земель, и уход множества крестьян в долгую зимнюю пору на заработки в города, и столь характерное для России *странничество* (и просто *бродяжничество*). Все это так, но переселенцы прежних времен нередко бережно переносили на новые места всю свою исконную жизненную культуру, уходившие на заработки возвращались в родные места, странники «собирали» на своем пути нечто существенное для всей России и т. д.

Между тем в послереволюционные годы люди чаще всего отрываются от породившей их почвы бесповоротно, притом отрываются как насильственно (скажем, высланные из родных мест во время коллективизации), так и вроде бы вполне добровольно (в ту же пору освоения целины).

Разрыв с предшествующей историей России совершается в 1920—1960-х годах, разумеется, не только в сфере реального бытия, но и, так сказать, по всей шкале, по всем параметрам — вплоть до чисто духовных и интеллектуальных сфер. Были, в сущности, начисто выброшены на «свалку истории» не только собственно религиозные ценности, не только богословие как таковое, но и высшие проявления отечественной *мысли* — от философской до экономической. Так, более или менее «воскрешенные» ныне, в наше время, экономисты-аграрники А. В. Чаянов и Н. Д. Кондратьев до 1930 года стремились глубоко изучить многовековое развитие сельского хозяйства страны и обосновать его наиболее плодотворный дальнейший путь. Но уже

*Соотношение не вполне точное, так как в 1970 году речь должна бы была идти о людях в возрасте 21—31 года; но при этом едва ли получилось бы существенное расхождение цифр.

весной 1928 года без всяких оснований считающийся «защитником крестьянства» Бухарин заклеил планы Кондратьева как «совершенно откровенную кулацкую программу»⁸⁾, и в конечном счете эти замечательные мыслители-экономисты были погублены...

В самой краткой формуле их сельскохозяйственную программу можно определить как программу органического сочетания *личного* и *общинного*, — сочетания, которое и определяло все *позитивное* в аграрной истории России. Напомню, что выше приводились слова известнейшего американского «русоведа» Ричарда Пайпса, являющегося, естественно, безоговорочным сторонником частнособственнического сельского хозяйства, но тем не менее после внимательного изучения нашей аграрной истории признавшего: «...российская география не благоприятствует единоличному земледелию... климат располагает к коллективному ведению хозяйства»⁹⁾.^{*} Стоит отметить, что, хотя климат России, возможно, в самом деле лежит в основе «коллективности» или, вернее, *общинности* ее сельского хозяйства, нельзя не учитывать и сложившееся за столетия мировосприятие, — в частности, отношение к труду и к трудящимся рядом людям, словом, то, что теперь часто определяют заимствованным с Запада термином «менталитет».

В ходе коллективизации все «личное», «частное» беспощадно подавлялось, но начиная с 1935 года было в той или иной мере узаконено, чем, между прочим, крайне возмущался находившийся за рубежом Троцкий (см. выше). И накануне войны положение в сельском хозяйстве было более или менее удовлетворительным. Страшный ущерб нанесла, конечно, война, лишь к моменту прихода к власти Хрущева ее последствия стали преодолевать. При этом, отмечает современный историк, «прирост валовой продукции сельского хозяйства... по целому ряду показателей был достигнут в основном за счет увеличения продуктивности личных подсобных хозяйств», однако тут же начинается «наступление на личные подсобные хозяйст-

^{*}По-своему даже забавно, что в конце 1980 — начале 1990-х годов множество «туземных» авторов, которые, казалось бы, должны знать историю России по крайней мере не хуже Пайпса, тем не менее требовали уничтожения колхозов и насаждения единоличных «фермеров».

ва... 6 марта 1956 г. (то есть сразу после XX съезда. — В. К.) принимается постановление», которым «запрещалось увеличивать размер приусадебного участка колхозника за счет общественных земель и даже рекомендовалось сокращать его. Здесь же был закреплен принцип ограничения количества скота, находящегося в личной собственности колхозника...»¹⁰⁾

Все это являло собой в конечном счете реанимацию «революционного» наступления на остатки «частнособственнических» элементов в жизни страны. И в очередной раз подчеркну, что дело было вовсе не только в личной воле самого Хрущева, — его «революционность» всецело разделяла очень значительная часть населения страны, особенно из числа молодежи, которая составляла тогда, как было показано, около трети населения, а если не считать детей до 15 лет, даже более 40%.

Вот характерный факт: молодой в то время писатель Владимир Тендряков, который, между прочим, позднее превратился в радикального «либерала», в 1954 году опубликовал повесть «Не ко двору», на основе которой как раз в 1956 году был снят очень популярный тогда кинофильм «Чужая родня», крайне резко, как нечто отвратительное, обличавший «пережитки» собственничества в крестьянстве (помимо прочего, один из героев фильма, первоклассный плотник, был заклеен за то, что хотел получить от колхоза плату за свой труд!). В 1958 году тот же Тендряков сочинил воинствующую антирелигиозную повесть «Чудотворная», тоже превращенную в 1960-м в обошедший все экраны одноименный кинофильм. Через много лет Тендряков написал воспоминания о встрече Хрущева с писателями и всячески поносил Никиту Сергеевича, но в 1950—1960-х годах он явно был его вернейшим сподвижником... И есть основания утверждать, что кинофильмы, снятые на основе повестей Тендрякова, имели не менее сильное (хотя и иное по своему характеру) воздействие на поведение и сознание молодежи, чем многочисленные хрущевские речи, особенно если учесть, что в фильме «Чужая родня» в роли борца с «собственничеством» выступал обаятельнейший молодой актер Николай Рыбников.

Говоря об этом, я отнюдь не ставлю задачу «осудить» Хрущева и того же Тендрякова. В конечном счете дело шло о *законном* и *объективном* ходе истории страны; хрущевские

речи и тендряковские повести только выражали собой этот ход истории, начатый Революцией, как бы «скорректированный» в середине 1930 годов «контрреволюционными» акциями, но в середине 1950-х вновь повернувший «влево».

Важно осознать, что революционный катаклизм начала века с неизбежностью породил последующие разнонаправленные резкие движения «маятника» истории и что это привело к особенно негативным последствиям в *сельском хозяйстве*, ибо оно, нераздельно связанное с самой *почвой* — и в буквальном, чисто природном смысле, и в смысле прочной жизненной и духовной основы трудящихся на земле людей, — способно плодотворно существовать при сохранении определенной уравновешенности и традиционности.

Тридцать с лишним лет назад в разговоре с одним из авторитетнейших наших литературоведов-мыслителей Н. Н. Скатовым я обмолвился о том тяжелейшем, непоправимом уроне, который нанесла нашему сельскому хозяйству коллективизация. Но Николай Николаевич, который ближе, чем я, знал положение в сельском хозяйстве, ибо родился в 1931 году и жил до 1962-го не в столицах, а в Костроме, решительно возразил, что главный вред нанесла не коллективизация как таковая, от которой к концу 1930-х деревня так или иначе оправилась, а лавина все снова и снова предпринимаемых «реорганизаций». И после серьезного раздумья я согласился с ним.

Ведь в самом деле есть основания утверждать, что своего рода вторая «коллективизация» деревни, имевшая место при Хрущеве, нанесла сельскому хозяйству если не больший, то и, пожалуй, не меньший урон, чем первая. Правда, показатели, например, производства зерна возросли: в 1949—1953 годах в среднем 80,9 млн. тонн в год, а в 1959—1963-м — 124,7 млн. тонн, то есть на 44,2 млн. тонн больше. Однако 51,6 млн. тонн (в среднем) из этих 124,7 млн. тонн были получены за счет освоения целинных¹¹⁾ земель*, и, следовательно, при Хрущеве производство зерна на «основных» посевных площадях упало (в среднем) с 80,9 до 73,1 млн. тонн! И это — несмотря на весь

*Урожан на них, как уже говорилось, были нестабильны: так, в 1960-м — 58,7 млн. тонн, а в 1963-м — всего 37,9, т. е. падение урожая более чем на треть.

ма значительное увеличение поставок селу техники и удобрений...

По-своему прямо-таки замечательно следующее рассуждение из воспоминаний самого Хрущева о том, что «в стране существовала возможность расширения посевных площадей за счет распашки целинных земель, но этого не делалось... Сталин был категорически против, запрещая производить дополнительную распашку земель и вводить их в севооборот. Возможно, он хотел сосредоточить внимание на культуре земледелия, получив увеличение производства зерна за счет роста урожайности, более интенсивного ведения хозяйства. Это правильный (! — В. К.) путь, но сложный, трудоемкий...»¹²⁾ То ли дело «революционная» кампания!

Современный историк Е. Ю. Зубкова, говоря о росте валового сбора зерна в хрущевские годы за счет освоения целины, вместе с тем утверждает, что «аналогичный прирост можно было бы получить за счет повышения урожайности на уже освоенных землях... однозначный поворот к целине, по существу, означал отказ от интенсивных методов подъема сельского хозяйства, возвращение на прежнюю (начатую Революцией. — В. К.) дорогу... использования новых ресурсов — благо такие еще существовали. Фактически это означало... возврат к «панацеевым» и «быстродействующим» средствам решения экономических проблем, нередко сводящимся к внеэкономическому принуждению либо сознательному энтузиазму. На реальную политику определенное давление оказывали и настроения нетерпения, идущие снизу. Их влияние... подталкивало руководство к использованию... прежних методов «штурма и натиска»»¹³⁾.

В этом рассуждении Е. Ю. Зубковой выразилось плодотворное стремление понять ход истории не в «культурном» духе. Так уж сложилось, что после 1953 года и Хрущев, и будущий его обличитель киносценарист Тендряков, и миллионы рядовых людей — в особенности молодых — делали, в общем, одно дело, которое все они так или иначе считали продолжением великого дела Революции.

Но это продолжение уже не несло в себе той энергии и безоглядности, которые двигали страну после 1917 года, и не могло занять много времени.

Еще в июне 1957 года, как известно, 7 членов Президиума ЦК из 10 — не считая самого Хрущева — выступили против «авантюризма» в проводимой им политике, прежде всего экономической. До сего дня имеет хождение внедренная в те времена версия, что дело шло о борьбе «сталинистов» против «антисталиниста» Хрущева. Однако, во-первых, вопрос о Сталине тогда, в сущности, вообще не обсуждался, а во-вторых, против Хрущева выступили не только давние сподвижники Сталина Молотов и Каганович, но и намного более молодые, вошедшие в Президиум ЦК только в 1952 году, виднейшие руководители экономики М. Г. Первухин и М. З. Сабуров; не менее характерно, что за Хрущева были такие сомнительные «антисталинисты», как Микоян и Суслов (третий из защитников Никиты Сергеевича — его украинский выдвиженец Кириченко).

Однако силами давнего сподвижника Хрущева, председателя КГБ (заменившего в 1954 году МГБ) И. А. Серова, были срочно собраны члены Пленума ЦК, большинство из которых еще не «разочаровались» в Никите Сергеевиче и проводимой под его руководством политике, и они расправились с «оппозиционерами».

К 1964 году, когда Президиум ЦК во второй раз решил отстранить Хрущева, в его составе от Президиума 1957 года оставались двое — Микоян и Суслов. Но теперь все 10 членов, кроме несколько колебавшегося осторожного Анастаса Ивановича, выступили единогласно, да и Пленум ЦК на этот раз собрал не Хрущев, а его противники, — с помощью опять-таки председателя КГБ, которым был тогда В. Е. Семичастный. Правда, судя по его позднему рассказу, имелись и в то время члены ЦК, поддерживавшие Хрущева.

Пока заседал (еще до Пленума) Президиум, в кабинете Семичастного раздаются «звонки: «Слушай, что ты сидишь, там Хрущева снимают! Надо спасать идти!..» Другой звонит: «Слушай, там Хрущев уже победил! Надо идти спасать Политбюро!» А потом, уже на второй день, с Брежневым созвонился и говорю: «...я уже не смогу в следующую ночь членов ЦК удерживать, потому что они начинают бурлить и могут пойти к вам спасать кого-то — или вас, или Хрущева...» И в 6 часов — Пленум»...¹⁴⁾

По-видимому, не столько осознавая со всей ясностью, сколько ощущая и малую «полезность», и большую опасность той реанимации «революционных» действий и призывов, которые периодически исходили от Хрущева (притом, повторю еще раз, с опорой на достаточно широкие слои населения), его сподвижники определили все это по-своему удачным термином «волюнтаризм» и 14 октября 1964 года отправили Никиту Сергеевича в отставку.

Хрущев с гордостью писал впоследствии, что его в 1964 году всего-навсего отправили на пенсию, а не в тюрьму или к стенке в силу его собственной великой заслуги, имея в виду главным образом, надо понимать, свою «мягкость» по отношению к выступавшим против него в июне 1957-го «оппозиционерам» из Президиума ЦК. Однако тремя годами ранее Хрущев — вместе с другими — беспощадно расправился с Берией и рядом его сподвижников, а в конце 1954-го — уже почти по единоличной воле — с Абакумовым (ныне, кстати сказать, «реабилитированным»). Что же касается его противников 1957 года, то едва ли кто-либо из членов тогдашнего Президиума ЦК решился бы учинить расправу с семьей сочленами из десяти... любой из них ограничился бы постепенным лишением их власти — что и сделал Никита Сергеевич.

* * *

Как известно всем, после отстранения Хрущева началась эпоха застоя, длившаяся более двух десятилетий. Ходили слухи, что новый Первый, а с 1966-го по 1982-й Генеральный, секретарь ЦК Брежнев нередко повторял:

— Главное — не раскачивать лодку...

Если это даже фольклор, он весьма точно характеризует брежневскую политику...

Вместо эпилога

ОТКУДА И КУДА МЫ ИДЕМ?

Мое двухтомное сочинение «Россия. Век XX», как было сказано на первых же его страницах, — прежде всего сочинение о Революции, потрясшей страну в начале столетия и еще и сегодня, в сущности, не завершившейся, — не завершившейся уже хотя бы потому, что она не осмыслена, не понята до конца. Ее долго восхваляли, а вот уже в течение десятилетия, главным образом, проклинают, но и то и другое — поверхностные и бесплодные занятия. Поскольку сейчас Революцию гораздо чаще проклинают, чем восхваляют, сосредоточусь сначала на этом отношении к ней.

Революция так или иначе была «делом» России в *целом* (что показано в первом томе этого сочинения), и потому проклинать ее — значит в конечном счете проклинать свою страну вообще. Впрочем, многие вполне откровенно так и делают, — вот, мол, проклятая страна, где оказалось возможным нечто подобное; достаточно часто при этом с легкостью переходят к обличению и других эпох истории России или ее истории вообще.

Признаюсь со всей определенностью, что в свое время и сам я безоговорочно «отрицал» все то, что совершалось в России с 1917 года. Но это было около четырех десятилетий назад — как раз в «разгар» хрущевского правления, а к середине 1960-х годов сравнительно краткий период моего радикальнейшего «диссидентства» уже закончился, и я более трезво и взвешенно судил об истории Революции. И к рубежу 1980—1990-х годов, когда все нараставшее множество авторов с нарастающей яростью начало проклинать Революцию, я воспринял это как совершенно поверхностную и пустопорожнюю ри-

торику. В середине 1990 года я решил высказаться об этом на страницах имевшей тогда 5-миллионный тираж «Литературной газеты», в которой, кстати сказать, мои сочинения более или менее регулярно публиковались, начиная с 1952 года, хотя нередко не без цензурных сокращений. Однако в 1990-м (в «пору гласности!») «ЛГ» попросту отказалась печатать мое сочинение, и оно было опубликовано в самом первом, «пробном» — и, естественно, малотиражном — номере газеты «День», вышедшем в ноябре 1990 года.

Считаю уместным ввести его в эту книгу, поскольку оно, как мне представляется, не устарело, а кроме того, ставит некоторые существенные «историософские» проблемы.

* * *

О революции и социализме — всерьез. Один из старейших и, замечу, наиболее достойных уважения руководителей редакции «Литературной газеты» в недавнем разговоре напомнил мне о том, как двадцать с лишним лет назад он категорически настаивал, чтобы я так или иначе ввел в свою публикуемую газетой статью слово «социализм», а я столь же категорически отказывался (пытаясь, в частности, отговориться тем, что я не член партии, а потому и не должен и даже, так сказать, не вправе рассуждать о социализме).

Отказывался я вовсе не потому, что не желал говорить о социализме, но потому, что никто не стал бы тогда публиковать мое действительное мнение об этом общественном строе — статья даже не дошла бы до цензуры...

Характернейшее явление сегодняшнего дня: авторы и ораторы, называющие себя «демократами», «радикалами» и т. п. (Ю. Афанасьев, Н. Травкин, Г. Попов и др.), в подавляющем своем большинстве всего несколько лет назад без всяких колебаний восхваляли революцию и социализм; теперь они же, не опираясь на какие-либо серьезные размышления, проклинают ту же самую революцию и социализм.

Подчас в их адрес раздаются упреки «нравственного» порядка: негоже, мол, так «радикально» изменять за короткий срок свою «позицию». Но гораздо, даже неизмеримо печальнее другое: ведь совершенно ясно, что невозможно столь быстро

выработать серьезное и основательное понимание истории и современности. Почти все те, кто сегодня проклинает революцию и социализм, попросту поменяли прежний, так сказать, плюс на нынешний минус, в чем и выразилась вся их «мыслительная работа»...

Революция — это всегда своего рода геологический катаклизм, который так или иначе связан с бытием всего человечества и мировой историей в целом. И действительно, осмыслить его возможно лишь в этом глобальном контексте. Между тем взгляд многочисленных «толкователей», за редчайшими исключениями, словно бы приклеен к нескольким десятилетиям истории России в XX веке. Правда, не так уж редки попытки «прояснить» проблему с помощью легковесных экскурсов в более ранние эпохи русской же истории — в эпохи Ивана IV, Петра I или Николая I. Но этого рода аналогии, имеющие, в сущности, отнюдь не познавательный, начисто спекулятивный характер, конечно же, не могут хоть что-нибудь прояснить (все сводится в конечном счете к воплям о «проклятой России», где, мол, только и возможны такая революция и такой социализм).

Сейчас все озабочены тем, насколько малы или же откровенно ложны наши знания о своей истории 1910—1950-х годов, которая и замалчивалась, и фальсифицировалась; однако только очень немногие задумываются над тем, что столь же затемнены и искажены в наших глазах и другие существеннейшие эпохи мировой истории — хотя бы, скажем, эпоха Великой Французской революции конца XVIII — начала XIX века.

Конечно, широко известно, что эта революция сбросила и затем казнила короля и королеву (чем «предвосхитила» 1918 год), вешала на фонарях аристократов, а позднее привела к взаимому уничтожению своих главных вождей («предваряя» 1937 год) и завершилась диктатурой Наполеона (что заставляет вспомнить о Сталине). Однако, в общем и целом, та революция предстает в глазах множества людей, ужасающихся тем, что совершалось в их стране, как явление гораздо более или даже неизмеримо более благообразное (ведь это же все-таки Франция, а не Россия!) и даже по-своему «романтическое».

На деле эта уже далекая (и потому, в частности, затянутая примиряющей дымкой истории) эпоха была вовсе не менее страшной, а во многих своих проявлениях даже более жестокой

(или, скажем так, более откровенно жестокой), чем наше не столь давнее и еще кровоточащее прошлое.

Чтобы всецело убедиться в этом, пришлось бы проштудировать давно не переиздававшиеся книги (скажем, Т. Карлейля и И. Тэна). Но, думаю, достаточно информативны будут и краткие выдержки из только что изданной (к сожалению, мизерным тиражом) книги В. Г. Ревуненкова «Очерки по истории Великой Французской революции» (Л., 1989), над которой автор работал тридцать с лишним лет и сумел создать более объективную картину, чем это характерно для книг, изданных в 1920—1970-х годах.

Задачей революции было уничтожение прежнего общественного строя ради нового, представлявшегося идеальным воплощением свободы, равенства и братства людей. 26 июля 1790 года один из главных вождей революции, Марат, обратился к народу с таким «конкретным» предложением: «Пять или шесть сотен отрубленных голов обеспечили бы вам спокойствие, свободу и счастье». Правда, всего через полгода Марат уже пришел к выводу, что для обеспечения всеобщей свободы и счастья этого слишком мало; в декабре 1790-го он писал, что, «возможно, требуется отрубить пять-шесть тысяч голов, но, если бы даже пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни одной минуты».

Да, вначале могло казаться, что, за исключением сравнительно немногих (20 тысяч из 20 миллионов) людей, обладающих властью и привилегиями, весь народ должен радостно принять новый порядок. Но довольно скоро выяснилось, что это не так. И всего через полтора года пришлось создавать целую систему «революционного правосудия», или, вернее, массового террора, а Марат в издававшейся им газете «Друг народа» стал требовать уже «200 тысяч голов».

«Система революционного правосудия, — показывает В. Г. Ревуненков, — исходила, во-первых, из того, что наказывать следует не только активных врагов революции, но и тех, кто в силу своей темноты и несознательности проявлял безразличие к республиканскому делу (между прочим, до прямых «правовых» формулировок этого рода в революционной России не додумались. — В. К.)... Во-вторых, эта система предполагала, что аресту подлежат не только лица, совершившие оп-

ределенное преступление, но и лица, которые не совершали никаких преступлений, но представлялись «подозрительными» соответствующим властям (это уже вполне похоже на 1918-й и последующие годы. — В. К.)... В-третьих, эта система сначала ограничивала, а затем и вовсе отвергла (в законе от 22 прериаля) применение к тем, кого считали врагами революции, обычных форм судопроизводства; в процессах по этим делам не нужно было ни вызывать свидетелей, ни предъявлять уличающих документов, ни назначать защитников, ни даже подвергать подсудимых предварительному допросу (в этом наши «законники» 1920—1930-х годов явно уступают французским, ибо хотя бы «видимость» допросов существовала. — В. К.)... Столь нигилистическая позиция в вопросах обеспечения революционной законности, которую занимали и правительственные комитеты, и революционные комитеты на местах, открывала простор для произвольных и необоснованных арестов, для всякого рода злоупотреблений, для проведения скандальных процессов-расправ».

И поскольку наказывать следовало и тех, кто «проявлял безразличие к республиканскому делу... карать не только предателей, но и равнодушных... тюрьмы эпохи, — заключает В. Г. Ревуненков, — оказались забытыми не столько дворянами и священниками, сколько людьми из народа». Самой «престижной», если можно так выразиться, была тогда казнь посредством выдающегося революционного изобретения — гильотины. Она, как и другие тогдашние казни (в отличие от казней в СССР), совершалась публично, при большом стечении зрителей, что уже само по себе было жестокой терроризирующей мерой. И только посредством гильотины было публично обезглавлено не менее 17 тысяч человек, среди которых оказались, в частности, величайший ученый той эпохи Антуан Лавуазье и наиболее выдающийся тогдашний французский поэт Андре Шенье... Но подавляющее большинство репрессированных (и в том числе казненных) были люди из народа. Так, из числа гильотинированных дворяне составили 6,25 процента, священники — 6,8 процента, а представители «третьего сословия» — то есть прежде всего крестьяне, рабочие, ремесленники — 85 процентов! Среди гильотинированных были и мальчики 13—14

лет, «которым, вследствие малорослости, нож гильотины приходился не на горло, а должен был размозжить череп».

17 тысяч гильотинированных — это само по себе громадное количество, если учесть, что население Франции конца XVIII века было в шесть-семь раз меньше населения России начала XX века. Но погибшие на гильотине — это лишь только очень малая часть казненных. «Гильотина уже не удовлетворяла... — сообщает В. Г. Ревуненков о событиях 1793 года. — Выводят приговоренных к смерти на равнину... и там расстреливают картечью, расстреливают «пачками» по 53, 68, даже по 209 человек». Были «изобретены» и другие виды массовых казней — например, тысячами людей стали «набивать барки», которые затоплялись затем в реках на глубоких местах.

О брошенных в тюрьмы не приходится и говорить: только «с марта по декабрь 1793 года в тюрьмах оказалось 200 тысяч «подозрительных», а в августе 1794-го «было заключено не менее 500 тыс. человек».

Я говорил уже, что Французская революция отличалась от Российской более открытой, обнаженной жестокостью. Все делалось публично и нередко при активном участии толпы — в том числе и такие характерные для этой революции акции, как вспарывание животов беременным женам «врагов», то есть превентивное уничтожение будущих вероятных «врагов», или то же самое на «более ранней стадии» — так называемые революционные бракосочетания, когда юношей и девушек, принадлежавших к семьям «врагов», связывали попарно одной веревкой и бросали в омут...

Одна из самых чудовищных страниц истории Французской революции — события в северо-западной части Франции — Вандее. Вандейские крестьяне не пожелали, чтобы их загоняли в царство свободы, равенства и братства. И, согласно оценкам различных историков, здесь были зверски убиты от 500 тыс. до 1 млн. человек.

Нельзя не заметить, что нынешние — в большинстве своем весьма малограмотные — «радикалы» нередко употребляют кличку «вандейцы» для обозначения «врагов перестройки»: им уж следовало бы в таком случае не уходить за словом в далекий XVIII век, а пользоваться словами «тамбовцы» или «кронштадтцы», ибо эти люди в 1921 году, вполне подобно вандей-

ским крестьянам, не принимали типичного для того времени «революционного призыва»: «Железной рукой загоним человечество в счастье!»

Фальсифицированная история Французской революции дала основание Б. Н. Ельцину заявить во время его транслированной телевидением пресс-конференции 30 мая 1990 года, что-де в России теперь надо бы создать «Комитет общественного спасения», подобный тому, который действовал во время Великой Французской революции.

Слово «спасение», конечно, привлекательно, но создание этого «Комитета» (основанного сразу же после начала восстания крестьян в Вандее, в апреле 1793 года) означало прежде всего следующее: «На смену стихийным народным расправам с дворянами, священниками, «скупщиками» и т. п., — пишет В. Г. Ревуненков, — пришел «организованный террор», то есть карательная политика, осуществляемая органами государственной власти...» Марат заявил при образовании «Комитета»: «Только силой можно установить свободу, и пришел момент организовать на короткое время деспотизм свободы». Словом, если бы история Французской революции в течение семи десятилетий не излагалась в крайне «отлакированном» виде, едва ли кому-либо пришло в голову открыто заявлять сегодня о целесообразности создания в России чего-нибудь вроде «Комитета общественного спасения» и клеймить «вандейцев»...

Нельзя не сказать о том, что руководители этого самого «Комитета» агитировали за «революционную войну» с целью свержения «всех тиранов» и создания единой «всемирной республики», столицей которой должен был стать Париж. Сен-Жюст выражал чрезвычайно широко распространенные настроения: «Мы призваны изменить природу европейских государств. Мы не должны отдыхать до тех пор, пока Европа не будет свободной; ее свобода будет гарантировать прочность нашей свободы».

Реализация этой программы была предпринята позже Наполеоном. И за время до Реставрации (то есть с 1789 по 1815 год) до двух миллионов гражданских лиц были казнены, просто убиты или погибли в застенках (где побывали миллионы людей), а «общее число убитых солдат и офицеров — согласно выводам виднейшего специалиста — за указанный период вы-

ражается в 1,9 млн.» (Урланис Б. Ц. «Войны и народонаселение Европы». М., 1960, с. 344—345. Выше в этой книге сказано: «Урон был настолько значителен, что французская нация так и не смогла от него оправиться, и... он явился причиной уменьшения роста населения во Франции на протяжении всех последующих десятилетий»).

И в самом деле: если население Великобритании в течение XX века выросло с 16 до 37 млн., то есть на 131 процент, а Германии — с 24 до 56,5 млн., то есть на 135 процентов, Италии — с 16 до 34,5, то есть на 115 процентов, то Франции — с 27 до 39 млн., то есть всего лишь на 44 процента! Таково одно из тяжелых последствий революции; оно уже само по себе дает возможность ясно понять, «сколько стоит» революция...

Итак, Французская *буржуазная* революция, если сделать поправки на значительно меньшее население страны и гораздо менее развитую «технику» (например, отсутствие пулеметов) тех времен, по масштабам гибели людей вполне сопоставима с русской *социалистической* революцией (погиб каждый шестой француз; для России это означало бы гибель 25—30 млн. человек). Поэтому современные причитания и вопли о «проклятой России» или «проклятом социализме» (эти два феномена любят сливать воедино, рассуждая о чудовищном именно *российском* социализме), которые, мол, и породили весь этот ужас, несерьезны и несостоятельны. Во Французской революции не принимали, так сказать, никакого участия ни Россия, ни социализм, а урон был близок к тому, который мы понесли с 1917 по 1953 год. И уместно кричать — если уж очень хочется — только о «проклятой революции». Но и это несерьезно — тогда уж надо кричать о «проклятом человечестве», устраивающем время от времени революции...

Революция — это в самом деле геологический катаклизм, неумолимое, бескомпромиссное, роковое столкновение борников нового строя и приверженцев прежнего (которых никак нельзя свести к кучке властителей и привилегированным слоям).

Правда, стремление к тотальной ликвидации всего складывавшегося веками национального уклада проявилось в России острее, чем во Франции. И этому есть свое объяснение. Из энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в

СССР», изданной в 1983 году, можно узнать, что к 1917 году на территории России находились около 5 миллионов (!) иностранных граждан (см. статью «Интернационалисты»), сотни тысяч из которых приняли самое активное участие в революции (см. об этом, например, вышедшую в 1988 году книгу В. Р. Копылова «Октябрь в Москве и зарубежные интернационалисты»). Вполне понятно, что этим людям были чужды или просто непонятны самобытные основы русской жизни, и мало кто из них мог понять — вспомним лермонтовские слова, — «на что он руку поднимал...». Со мною, вероятно, будут спорить, но я все же твердо стою на том, что любое участие иностранцев в коренных решениях судеб страны само по себе есть *безнравственное явление...*

С другой стороны, в Россию в 1917 году вернулась масса эмигрировавших в 1905—1907 годах людей, которые уже в той или иной степени были оторваны и отчуждены от покинутой ими в юности страны, судьбы которой они теперь взялись решать. Об этом недвусмысленно писал, например, побывавший в 1920 году в России Герберт Уэллс («Россия во мгле». М., 1958, с. 43): «Когда произошла катастрофа в России... из Америки и Западной Европы вернулось много эмигрантов, энергичных, полных энтузиазма... утративших в более предприимчивом западном мире привычную русскую непрактичность и научившихся *доводить дело до конца* (выделено мною. — В. К.). У них был одинаковый образ мыслей, одни и те же смелые идеи, их вдохновляло видение революции, которая принесет человечеству справедливость и счастье. Эти молодые люди и составляют движущую силу большевизма. Многие из них — евреи; большинство эмигрировавших из России в Америку были еврейского происхождения, но очень мало кто из них настроен националистически. Они борются не за интересы еврейства, а за новый мир» (Уэллс пишет об этом «новом мире» с явным одобрением, однако позднее его соотечественник Олдос Хаксли написал роман «Прекрасный новый мир», который в значительной мере был — о чем откровенно сказал сам автор — пародией на уэллсовские представления о «новом мире»).

Фактические подтверждения вывода Уэллса можно почерпнуть в изданной в 1989 году в Киеве книге А. М. Черненко

«Российская революционная эмиграция в Америке», где сказано о множестве людей, которые вернулись в 1917 году из США в Россию, — таких как Троцкий, Бухарин, Володарский, Менжинский, Чудновский и др.

Говоря обо всем этом, нельзя обойти одну сторону дела. Есть люди, которые любые суждения о роли евреев в революции квалифицируют как «антисемитские». Но это либо бесчувственные (не говоря уже об их явном безмыслии), либо просто бесчестные люди (ведь с этой точки зрения и Уэллс — «антисемит»). И, предвидя их реакцию, процитирую разумные и честные слова, опубликованные в издающемся на русском языке в Израиле журнале, — слова из статьи М. Хейфеца «Наши общие уроки» (журнал «Двадцать два», 1980, сентябрь, № 14, с. 162):

«На строчках из поэзии Э. Багрицкого Ст. Куняев убедительно доказал: еврейское участие в большевизме действительно являлось формой национального движения. Уродливой, ошибочной, в конечном счете преступной... Поэтому я, например, ощущаю свою историческую ответственность за Троцкого, Багрицкого или Блюмкина... Я полагаю, что мы, евреи, должны извлечь честные выводы из еврейской игры на «чужой свадьбе»...»

Очевидно, что здесь выражено совершенно иное представление о существе дела, чем в рассуждении Г. Уэллса (стоит, впрочем, учесть, что Уэллс писал свою брошюру давно, в 1920 году, и к тому же был недостаточно полно информирован; едва ли он знал, например, что в России к 1917 году проживали около половины евреев всего мира — более 7 млн.). И нет сомнения, что громадная роль и иностранцев, и евреев в русской революции еще ждет тщательного и основательного изучения.

Но пойдём далее. Что означает вообще насильственная полная смена прежнего уклада бытия страны, переворот от «старого мира» к «новому»? Как уже говорилось, подавляющее большинство людей, стремящихся понять события 1917-го и последующих годов, рассуждают, увы, по-прежнему в узких рамках той самой насквозь «политизированной» системы мышления, которая навязывалась в течение семи десятилетий. Им кажется, что они отбросили прочь эту систему — ведь дерзают же они самым резким образом критиковать или даже «отрицать» и революцию, и социализм, задавать в самой решительной форме

вопрос о том, оправдана ли хоть в какой-то мере страшная цена, которой оплачивался переход к новому строю, и т. д.

Но все это, как говорится, слишком мелко плавает. Великую — пусть даже речь идет о страшном, чудовищном величии — революцию никак невозможно понять в русле собственно *политического* мышления. С этим, по всей вероятности, согласился бы даже такой политик до мозга костей, как Ленин. Ведь именно он писал в июне 1918 года: «...революцию следует сравнивать с актом родов... Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса... Трудные акты родов увеличивают опасность смертельной болезни или смертельного исхода во много раз».

Здесь дано не собственно политическое, но, так сказать, бытийственное сравнение: страна, в которой рождается совершенно новый уклад бытия, неизбежно превращается в страну измученную, истерзанную, обезумевшую от боли, окровавленную и даже полумертвую, пребывающую на грани гибели, «смертельного исхода». Конечно, могут спросить: а зачем тогда вообще эти перевороты?

Политический ответ на этот вопрос едва ли сможет быть сколько-нибудь основательным. Ответ надо искать в самых глубинах человеческого бытия, ибо рождение нового для него — неизбежность, которая нередко оказывается предельно трагической неизбежностью.

Выше шла речь о перевороте от феодализма к капитализму. Но дошедшие до нас исторические свидетельства ясно показывают, что столь же мучительны и «смертельно опасны» были перевороты от «первобытного коммунизма» к рабовладельческому обществу и, далее, к феодализму (полная гибель богатейшей античной цивилизации и культуры).

История неопровержимо свидетельствует, что со временем общественные формации неизбежно сменяют друг друга в любой стране, и только те, кто не читал ничего, кроме пропагандистских книжек, воображают, что представление об этой смене формаций — некая собственно «марксистская» идея. Не надо погружаться в какие-либо идеологические доктрины, дабы установить, что в истории человеческого общества время

от времени совершаются коренные перевороты и что этот факт давным-давно осознан людьми.

Естественно, что любая такая перемена вызывает непримиримое сопротивление у более или менее значительной части населения, и, если события и не всегда доходят до жестокой трагедийности, острейший драматизм при переходе от старого к новому неизбежен. А если в обществе есть достаточно большие группы людей, страстно стремящихся заменить существующий строй новым, дело с необходимостью оборачивается трагедией.

Сейчас, повторяю, многие ставят вопрос: а стоит ли вообще устраивать революции? Вопрос этот, прошу прощения, по существу совершенно детский... История человечества (как история и любого народа, и отдельной личности — уже хотя бы в силу неизбежно ожидающей ее смерти) есть, помимо прочего, явление глубоко *трагедийное*. И революции, или, скажем более обобщенно, коренные перевороты, совершающиеся время от времени в человеческой истории, как раз и обнажают с наибольшей остротой и мощью присущую ей трагедийность.

Вера в возможность создания *земного рая* возникла, вероятно, не позднее веры в загробный рай. И, по сути дела, эта вера и есть стержень и основа «революционного сознания», которое способно оправдать самые тяжелые или даже вообще любые жертвы... Уже шла речь о Марате, который откровенно говорил, что необходимо не колеблясь «отрубить двадцать тысяч голов» (на самом деле их оказалось 4 миллиона), ибо это обеспечит «спокойствие, свободу и счастье» оставшимся в живых французам. Через сто семьдесят лет Мао Цзэдун еще более откровенно рассуждает о задаче «начисто покончить с империализмом» (то есть уничтожить земной ад, место которого займет земной рай): «Если из 600 млн. человек (население Китая в 1958 г. — В. К.) половина погибнет, останется 300 млн. Не страшно, если останется и треть населения, через столько-то лет население снова увеличится».

Вот истинное сознание революции... Те, кто пытается отождествить все «негативное» в революции с Россией, поспешат, без сомнения, объявить Мао агентом Москвы. Но после издания книги П. П. Владимирова «Особый район Китая, 1942—1945» (М., 1973) и многих других книг о китайских делах каж-

дый мыслящий человек знает и понимает, что Мао и его окружение действовали отнюдь не по указке из Москвы.

Речь идет о революции, которая есть феномен мировой истории, возможна в любой стране и вовсе не являет собой некое «русское изобретение» (газета «День», 1990, ноябрь).

* * *

То представление о революции, которое изложено в приведенном, опубликованном уже почти десятилетие назад сочинении, сложилось в моем сознании намного раньше, но я долго не имел возможности выразить его в печати. Вместе с тем, как уже сказано, в свое время, в начале 1960-х годов, узнав (прежде всего из бесед с М. М. Бахтиным) многое из того, о чем стали говорить публично только в 1990-х годах, я пережил период (правда, не очень долгий) полнейшего «отрицания» Революции — то есть всего происходившего в стране после 1917 года.

Теперь я понимаю, что эта «стадия» отрицания была по своему оправданной или даже необходимой. Ведь и сама Революция являлась, в сущности, *отрицанием* всей предшествующей истории России, — кроме тех ее событий и явлений, которые можно было истолковать как ее, Революции, «подготовку» и предвестие; в целом же дореволюционное историческое бытие страны было объявлено «проклятым прошлым» или, «в лучшем случае», — *предысторией*, а история-де началась с Октября...

Напомню, что в 1931 году Сталин, в котором сегодня многие готовы видеть прирожденного патриота, заявил на страницах «Правды»: «История России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били... Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны» и т. д.¹⁵⁾

В начале XVII века шведская и польско-литовская армии действительно нанесли России целый ряд тяжких ударов, но, судя по итогам, наше сопротивление с этими врагами — одна из замечательных и даже способных удивить страниц отечественной истории. Дело в том, что из-за длительного засилья всякого рода антипатриотических тенденций преобладающее большинство современных русских людей не имеют скольконибудь ясного представления об исторической реальности на-

чала XVII века, — в частности, о самих напавших на Россию Польше и Швеции тех времен: обе они принадлежали тогда к наиболее *сильным и воинственным* государствам Европы. «Речь Посполита», в которой в 1569 году объединились Польское Королевство и Великое княжество Литовское, простиралась от Балтийского и почти до Черного моря, а с запада на восток — от Одера до Днепра, и ее население почти в *два раза* превышало тогдашнее население России. А шведское королевство занимало тогда преобладающую часть Скандинавского полуострова и Прибалтики, и его армия была одной из самых мощных в тогдашней Европе (что перестало иметь место только после Полтавской битвы 1709 года). Тем не менее Россия в 1600—1610-х годах в конечном счете смогла отразить агрессию обеих стремившихся покорить ее западных держав, и процитированные сталинские слова поистине нелепы.

Впрочем, Иосиф Виссарионович в данном случае присоединился к господствующей фальсификации «истории старой России», которую, мол, только «непрерывно били».

Единственное, пожалуй, нападение на Россию, которое все-таки никак невозможно было преподнести в этом духе — Отечественная война 1812 года. Но смысл победы над общеевропейской наполеоновской империей толковался в том же 1931 году следующим образом (цитирую статьи из Малой Советской Энциклопедии, написанные вскоре возведенной в «профессора» М. В. Нечкиной):

«...«Отечественная» * война, русское националистическое название войны, происшедшей в 1812... вооруженные чем попало крестьяне, защищая от французов свое имущество, легко справлялись с разрозненными французскими отрядами... вся война получила название «Отечественной»: дело тут было не в подъеме «патриотического» духа, но в защите крестьянами своего имущества.. Наполеон был вынужден покинуть Россию. Далее война... велась уже вне пределов Российской империи под громким лозунгом «освобождения» Европы из-под «ига Наполеона». Окончательная победа над последним явилась началом жесточайшей всевропейской реакции...»¹⁶⁾

Могут возразить, что такого рода «толкования» войны 1812

*Именно в кавычках.

года давно — еще до начала «второй» Отечественной войны — отброшены, и это действительно так. Но было бы попросту абсурдным, если бы в канун и во время нового глобального нашего нашествия на страну с Запада «историки» продолжали твердить нечто подобное. И Сталин в 1941-м, уже, вероятно, не помня свои сказанные десятью годами ранее слова о том, что «старую Россию-де» непрерывно «били польско-литовские паны», обращаясь к воинам: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков», — в том числе «Кузмы Минина, Дмитрия Пожарского...»

Да, война закономерно заставила воскресить героические страницы отечественной истории. Но очень многое и имеющее первостепенную ценность оставалось или полностью забытым, или по меньшей мере тенденциозно искаженным; так, например, великие творения отечественной литературы издавались, хотя и в урезанном виде*, и, начиная с середины 1930-х, никто не отрицал их высшую ценность. Но в них постоянно пытались усматривать прежде всего и главным образом «беспощадную критику» дореволюционной России, — невзирая на то, что едва ли в какой-либо другой литературе мира в XIX веке имеется такое богатство истинно прекрасных образов людей и самого человеческого бытия, какое воплотилось в творчестве Пушкина и Тютчева, Кольцова и Лермонтова, Тургенева и Фета, Островского и Лескова, Толстого и — даже — Достоевского (правда, глубоко специфических — трагедийных — образов).

Но гораздо существеннее другое. Революция целиком и полностью отвергла отечественную мысль**, — исключая тех ее представителей, которые подвергали российское бытие радикальной критике и так или иначе «готовили» Революцию (декабристы, Белинский, Чернышевский и др.). Наиболее глубокие мыслители, раскрывавшие истинный смысл отечественной истории и культуры, — Иван Киреевский, Аполлон Григорьев, Николай Данилевский, Константин Леонтьев, Николай Страхов, Владимир Соловьев, Николай Федоров, Василий Розанов и многие другие, — в течение долгого времени находились в

*Так, например, весьма редко и «выборочно» публиковались творения одного из величайших писателей мира — Достоевского.

**О богословии, то есть религиозной мысли, уже и говорить не приходится.

полном забвении; следует добавить, что без их наследия, нераздельно связанного с вершинами русской литературы (в частности, многие из перечисленных мыслителей были ближайшими собеседниками и подчас даже «наставниками» великих писателей), невозможно во всей полноте и глубине понять эту литературу.

После 1917 года люди, развивавшие традиции названных мыслителей, либо были погублены — Павел Флоренский, Александр Чайнов, Николай Кондратьев, — либо их выслали из страны (некоторые из них сами вынужденно эмигрировали) — Лев Карсавин, Николай Бердяев, Семен Франк, Сергей Булгаков, Питирим Сорокин, — либо подвергались гонениям и почти не имели возможности публиковать свои сочинения, — Михаил Бахтин и Алексей Лосев...

И это, конечно, только одна сторона дела: Революция отвергла не только *самосознание* России, но и то ее *бытие*, которым и было порождено это самосознание.

Разумеется, в послереволюционное время в стране оставались люди, которые не отринули то, чем они жили до 1917 года, но, во-первых, они, в сущности, не имели возможности передавать свое достояние новым поколениям (это вело к обвинению в «антисоветской пропаганде»), а во-вторых, постепенно уходили из жизни: так, к 1956 году из каждых 12 человек населения страны только 1 был старше 60 лет (то есть ему было больше 20 лет в 1917 году); а таких мужчин имелась в 1956-м еще меньшая доля — 1 из 15. К тому же очень многие из этих людей за послереволюционные четыре десятилетия поддались тотальному «отрицанию» прежней России...

«Разрыв» с дореволюционным прошлым только усилился в хрущевское время с его «левизной», и это имело поистине роковые последствия. Выше говорилось о том, что и Французская революция была тотальным отрицанием предшествующей истории (в частности, уничтожение *Церкви* имело тогда, пожалуй, более беспощадный характер, чем в России). Она отменила даже сам *календарь*: летоисчисление велось теперь не с Рождества Христова, а с 1789-го, объявленного «1-м годом» (позднее, после свержения короля, «1-м» стали считать 1792-й); новые, «революционные» имена получили и месяцы (в СССР дело до этого не дошло; ограничились тем, что в календарях наряду с

обозначением «традиционного» года указывался такой-то по счету «год революции»). Так что разрыв с прошлым был самый радикальный.

Но, в отличие от нашей революции, Французская сравнительно быстро завершилась, как известно, *реставрацией* 1814 года (то есть ровно через четверть века): на престол взошел родной брат казненного в 1793 году короля, вернулись в страну эмигранты и изгнанники, обрела прежний статус Церковь и т. п.

Все это, конечно, не могло вернуть страну к ее дореволюционному состоянию: слишком кардинальными были перемены, и уже в 1830 году «маятник» истории двинулся «влево» — в Париже вспыхнул бунт, который как бы «уравновесил» реставрацию и революцию. И в свете этого сам начавшийся в 1814 году период реставрации во Франции предстает, в сущности, как *восстановление* связи времен, преодоление того тотального «отрицания» предшествующего исторического бытия (и сознания) страны, которое началось в 1789 году.

Совсем по-иному шло дело в России. Нечто подобное реставрации началось у нас только в 1991 году — то есть не через четверть, а через три четверти века (по сути дела — жизнь трех поколений) после 1917 года. «Реставраторы», конечно, всячески старались показать, что возвращают страну в дореволюционное состояние: восстановили прежний герб, флаг и т. д., выискивали среди потомков династии Романовых подходящего «претендента», стояли со свечками в руках в Успенском соборе (где последняя литургия состоялась на Пасху 1918 года) и т. п. Но все это представляло собой бессодержательные «жесты», и разрыв с дореволюционной Россией был слишком велик (в частности, людей, которые вступили в сознательную жизнь до 1917 года, уже почти не имелось).

То, что революции с необходимостью завершаются реставрациями, определяется уже хотя бы неизбежным «разочарованием»: любая революция осуществляется с целью создания принципиально более совершенного общества взамен наличного, пороки и злодеяния которого крайне преувеличиваются революционной пропагандой. Но, как уже неоднократно отмечалось, «прогрессистское» мировоззрение заведомо несостоятельно: любое ценное «приобретение» оборачивается *равноценной* «потерей» — и рождается настоятельное стремление «вернуться»

в прошлое (которое теперь, напротив, «идеализируется»), — что опять-таки немислимо (в особенности если дело идет о «возвращении» на три четверти столетия назад...).

Мне лично знакомо немалое количество русских людей, которые мечтали о «реставрации» еще в 1960-х годах, но осуществилась она только тридцать лет спустя, когда, можно сказать, было уже слишком поздно.... Естественно встает вопрос: почему в той же Франции «отрицание» революции произошло всего через четверть века, а у нас для этого потребовалось в три раза больше времени?

Ответ на этот вопрос, как говорится, нелегкий и способен вызвать резкие возражения и даже возмущение. Относительно быстрая реставрация во Франции определялась, конечно же, ее военным поражением в 1812—1814 годах, и, если бы в 1941—1945-м мы не победили, а потерпели поражение, у нас произошло бы то же самое... Наша великая Победа как бы целиком и полностью «оправдала» Революцию.

Хрущев на XX съезде заявил: «Главная роль и главная заслуга в победоносном завершении войны принадлежит Коммунистической партии», хотя в том же докладе сказал и совсем другое (разумеется, с крайним недовольством): «...события настоятельно требовали принятия партией решений по вопросам обороны страны в условиях Отечественной войны, но за все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного Пленума ЦК»¹⁷⁾ (!); напомним также, что в 1942 году был ликвидирован институт военных комиссаров, то есть партийных руководителей армии.

В части этого сочинения, посвященной войне, было показано, что главными полководцами Отечественной войны стали люди, начавшие свой воинский путь в 1914—1915 годах; и вообще к 1941 году в стране еще имелись 35 миллионов людей, которые к 1917 году были старше 20 лет и многие из которых еще так или иначе сохраняли связь с прошлым. В годы войны и некоторое время после Победы предпринимались те или иные усилия для преодоления разрыва с многовековой историей страны, но образование — в результате Победы — «соцлагеря», которое «востребовало» интернационализм, а не обращение к самосознанию России, а также новый «левый» поворот

«маятника» в хрущевскую пору как бы окончательно закрепили этот разрыв.

Страна жила так, как будто она в самом деле была «родом из Октября», а ее молодежь — «дети XX съезда». И это вело — и привело — к самому тяжкому итогу. Постепенно нарастало «разочарование» в том, чем жили и во что верили; оно было неизбежным, ибо «совершенное общество», которое вроде бы должно было создаться после Революции, — утопия. В последние годы множество авторов утверждали, что будто бы одна только Россия соблазнилась утопией; однако те всеобщие «Свобода, Равенство и Братство», во имя которых разразилась Французская революция, были не менее утопичной целью, и всего через 25 лет Франция возжелала вернуться назад...

Но благодаря этому (конечно, относительно) «возврату» восстановилась связь времен, и Франция продолжала «нормальное» историческое бытие (пусть и не без ряда дальнейших потрясений). Между тем наша страна, поскольку она до 1990-х годов жила как бы *только тем, что породила Революция*, оказалась в гораздо более прискорбном положении. Закономерное «разочарование» в плодах Революции для большинства людей означало «разочарование» в самом своем Отечестве, ибо не только молодые, но и старшие поколения не были кровно связаны с тысячелетним историческим бытием и самосознанием своей страны, — бытием и самосознанием, которые по своей общечеловеческой ценности не уступают истории и культуре любой другой страны. В результате масса людей поверила крикливым «идеологам», утверждавшим, что Россия-де не принадлежит к странам «нормальным», «цивилизованным», «культурным» и т. п., и началась волна поистине патологического низкопоклонства перед иными странами, у которых мы, мол, должны, так сказать, с нуля учиться и жить, и мыслить.

Дело вовсе не в том, что предлагается нечто «унизительное»; дело в том, что действительно жить и мыслить можно только на основе, на почве собственной истории и культуры. Любое «заимствование» осуществимо лишь при условии, что оно *врастает* в наше бытие и сознание и тем самым, между прочим, неизбежно обретает существенно иной смысл и значение, нежели имело там, откуда мы его взяли.

То, что происходит сейчас, назревало уже давно, хотя и

подспудно. Почти сорок лет назад меня прямо-таки поразил и, естественно, навсегда запал в память один внешне вроде бы незначительный разговор, который на самом деле явился своего рода «откровением». В 1961 году я начал добиваться издания книги о Достоевском, принадлежащей одному из очень немногих «уцелевших» корифеев отечественной мысли — М. М. Бахтину. Одним из многочисленных «ходов» в этой операции была попытка найти поддержку у весьма влиятельного «идеологического деятеля», настроенного к тому же весьма патриотически. Я сказал ему, что, поскольку Достоевский известен во всем мире, великолепная бахтинская книга о нем обязательно привлечет внимание и, без сомнения, повысит мировой авторитет нашей современной культуры. Ответ, повторю, поразил меня:

— На Западе, — возразил мне этот вроде бы патриотический деятель, — давно написали о Достоевском гораздо глубже, чем ваш Бахтин.

Мой собеседник был *советским* патриотом и готов был бороться со всем *буржуазным*, но в то же время он полагал, что западная культура мысли как таковая заведомо превосходит русскую. Главной причиной этого фактического низкопоклонства перед Западом была оторванность от русской мысли в ее высших воплощениях. И незачем называть имя этого «идеологического работника», ибо почти все его коллеги были точно такими же. Несколько позднее, в 1970-х годах, когда мне уже удалось добиться издания книги М. М. Бахтина, другой «идеологический работник» препятствовал новым публикациям, но затем побывал в Париже, узнал, что там чрезвычайно высоко ценят Михаила Михайловича, и изменил отношение к нему...

М. М. Бахтин (1895—1975) давно уже признан во всем мире одним из наиболее выдающихся (или даже самым выдающимся) мыслителей нашего столетия. И вообще русская мысль начиная со «Слова о законе и Благодати» митрополита Киевского Иллариона (1038) и до последних сочинений М. М. Бахтина и А. Ф. Лосева (1893—1988) — то есть за девять с половиной столетий — создала ценности, которые выдержат сравнение с достижениями любой духовной культуры мира. При этом необходимо сознавать, что духовное творчество не рождается на пустом месте: его порождает *бытие* страны во всей его целостности.

В самые последние годы непрерывно растет количество людей, которые открывают для себя эту истину. Правда, *слишком длительный «разрыв»* исторической преемственности уже привел к очевидному «поражению» страны в 1990-х годах. И, как я стремился показать, эта беда явилась оборотной стороной великой Победы 1945 года, представлявшейся не плодом многовековой истории России, а «заслугой Коммунистической партии», — как утверждал тот же Хрущев.

Но в заключение необходимо со всей определенностью сказать, что 75 лет, жизнь трех поколений, невозможно выбросить из истории, объявив их (это в 1990-х годах делали многие) «черной дырой». Те, кто усматривает цель в «возврате» в дореволюционное прошлое (особенно если учитывать всю его отдаленность во времени), не более правы, чем те, кто до 1990-х годов считал своего рода началом истории страны 1917-й год. Истинная цель в том, чтобы срастить времена, а не в том, чтобы еще раз — хоть и с иной «оценкой» — противопоставить историю до 1917-го и после него.

Кроме того, проклиная ныне послереволюционную эпоху авторы и ораторы совершенно безосновательно объявляют ее временем *бессмысленной* массовой гибели и страданий людей. Если считать время от времени взрывающиеся в самых различных странах мира революции бессмыслицей, следует уж тогда объявить бессмысленным бытие человечества вообще. А любая революция есть *уничтожение* существовавшего до него *общества*, и поскольку никакого другого общества, кроме наличного, пока и нет, *потенциально* революция грозит гибелью всем и каждому...

Далее, как я стремился показать в этом сочинении, масштабы гибели людей в ходе революции последовательно сокращаются: в 1930-х годах они намного меньше, чем в 1920-х (хотя многие без всяких оснований думают иначе), и еще значительно меньше они уменьшаются в 1940—1950-х, а с 1964 года политические убийства вообще не имеют места (между тем, если внимать нынешним СМИ, время с 1917 по 1985 год — время чуть ли не непрерывных казней).

И последнее. Революция — это, конечно же, трагическая, даже предельно трагическая пора в истории России. Но несостоятельны те авторы, которые пытаются представить револю-

ционную трагедию как нечто «принижающее», даже чуть ли не «позорящее» нашу страну. Во-первых, жизнь и человека, и любой страны несет в себе трагический смысл, ибо люди и страны смертны. А во-вторых, трагедия и с религиозной, и с философской точки зрения отнюдь не принадлежит к сфере «низменного» и «постыдного»; более того, трагедия есть свидетельство *избранности*...

Словом, можно скорбеть о России, которую постигла Революция, но только низменный взгляд видит в этом унижение своего Отечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Главы 1—4 *(с. 6—152)*

- 1) Цит. по кн.: Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии. Немецкая политическая традиция и нацизм. СПб, 1997, с. 141.
- 2) Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил в войнах XVII — XX вв. (историко-статистическое исследование). М., 1960, с. 234.
- 3) Там же, с. 235-236.
- 4) См.: Похлебкин В. В. Великая война и несостоявшийся мир. 1941—1945—1994. Военный и внешнеполитический справочник. М., 1997, с. 15.
- 5) Тейлор А. Вторая мировая война. — В кн.: Вторая мировая война. Два взгляда. М., 1995, с. 420.
- 6) Макдональд Чарльз Б. Тяжелое испытание. Американские вооруженные силы на Европейском театре во время Второй мировой войны. М., 1979, с. 98.
- 7) Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 391.
- 8) См.: Семиряга М. И. Тюремная империя нацизма и ее крах. М., 1991, с. 231—232.
- 9) Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1944 гг.). М., 1968, с. 45, 46.
- 10) Цит. по кн.: Проэктор Д.-М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1985, с. 303, 304.
- 11) Рюруп Р., профессор. Немцы и война против СССР. — В кн.: Другая война. 1939—1945. М., 1996, с. 363.
- 12) Урланис Б. Ц., цит. соч., с. 222; Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996, с. 121.
- 13) См.: Наринский М. М., доктор исторических наук. Как это было. — В кн.: Другая война... С. 44.

- 14) Цит. по кн.: Яковлев Н. Н. Новейшая история США. 1917—1960. М., 1961, с. 325.
- 15) См.: Черчилль Уинстон. Вторая мировая война. Книга первая. М., 1991, с. 179.
- 16) Цит. по кн.: Большая ложь о войне. Критика новейшей буржуазной историографии мировой войны. М., 1971, с. 136.
- 17) См.: Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. М., 1989, с. 191.
- 18) Урланис Б. Ц., цит. соч., с. 245.
- 19) Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы, материалы. М., 1987, с. 103, 104.
- 20) Левин Им. Генерал Власов по ту и эту сторону фронта. М., 1995, с. 74.
- 21) Цит. по кн.: Загорулько М. М., Юденков А. Ф. Крах плана «Ольденбург» (о срыве экономических планов фашистской Германии на временно оккупированной территории СССР). М., 1980, с. 275.
- 22) Левин Им., цит. соч., с. 15.
- 23) Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение. М., 1993, с. 289—291.
- 24) «Литературное наследство», т. 84. Иван Бунин. М., 1973, кн. вторая, с. 398.
- 25) Бунин Иван. Великий дурман. М., 1997, с. 168.
- 26) Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. М., 1973, т. 2, с. 194.
- 27) «Наш современник», 1994, № 5, с. 174—188.
- 28) См.: Под стягом России. Сборник архивных документов. М., 1992, с. 118—131.
- 29) См.: Энциклопедический словарь. Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, т. XXVI. СПб, 1899, с. 680.
- 30) Тейлор Алан, цит. соч., с. 402.
- 31) Ширер Уильям. Взлет и падение Третьего рейха. М., 1991, т. 2, с. 8.
- 32) Дашичев В. И., цит. соч., с. 25.
- 33) «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., 1967, с. 121.
- 34) Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976, с. 56, 57.
- 35) От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада на трагические страницы Второй мировой войны. М., 1992, с. 54.
- 36) Гриф секретности снят... С. 123.
- 37) Черчилль, цит. соч., т. 1, с. 242—243.
- 38) Цит. по кн.: Кровавый маршал. Михаил Тухачевский. 1893—1937. Сост. Г. В. Смирнов. М., 1997, с. 286.
- 39) Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 43, с. 11.
- 40) См.: Коминтерн: опыт, традиции, уроки... М., 1989.
- 41) Тойнби А.-Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1996, с. 106—107.

- 42) Вторая мировая война: два взгляда... С. 136.
- 43) Цит. по кн.: Прозектор Д.-М., цит. соч., с. 214.
- 44) Лиддел Гарт Б., цит. соч., с. 94, 95.
- 45) См.: Черчилль Уинстон, цит. соч., с. 339.
- 46) Цит. по кн.: Прозектор Д.-М., цит. соч., с. 215.
- 47) Розанов Г. Л. Сталин. Гитлер. Документальный очерк советско-германских дипломатических отношений 1939—1941 гг. М., 1991, с. 204.
- 48) Лиддел Гарт Б., цит. соч., с. 116.
- 49) Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. М., 1968, с. 286.
- 50) Черчилль, цит. соч., т. 1, с. 149.
- 51) Трухановский, цит. соч., с. 326.
- 52) Черчилль, цит. соч., т. 1, с. 387.
- 53) Цит. по кн.: Батлер Дж. Большая стратегия. Сентябрь 1939—июнь 1941. М., 1959, с. 234.
- 54) Черчилль, цит. соч., т. 2, с. 157.
- 55) Уткин А. И. Так пришла война. Екатеринбург, 1992, с. 53.
- 56) Черчилль, цит. соч., т. 2, с. 295; Безыменский Лев. Тайный фронт против второго фронта. М., 1987, с. 97 (более адекватный перевод).
- 57) Черчилль, цит. соч., т. 2, с. 297.
- 58) Гальдер Ф., генерал-полковник. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба сухопутных войск. 1939—1942 гг. М., 1971, т. 3, кн. 1, с. 282.
- 59) Цит. по кн.: Трухановский, цит. соч., с. 352—353.
- 60) См.: Черчилль, цит. соч., т. 3, с. 18.
- 61) Тейлор, цит. соч., с. 507.
- 62) Иванов Р. Ф. Мафия в США. М., 1996, с. 101, 104, 105.
- 63) Черчилль, цит. соч., т. 3, с. 317, 320.
- 64) Эйзенхауэр Дуайт. Крестовый поход в Европу. Военные мемуары. М., 1980, с. 295.
- 65) Цит. по кн.: Овсяный И. Д. Тайна, в которой война рождалась. М., 1975, с. 260.
- 66) Черчилль, цит. соч., т. 3, с. 574.
- 67) Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1984, т. II, с. 86.
- 68) Цит. по кн.: Безыменский, цит. соч., с. 190.
- 69) См. об этом: Безыменский Лев. Разгаданные загадки Третьего рейха. М., 1984, т. 2, с. 202—328 и Сергеев Ф. Тайные операции нацистской разведки. М., 1991, с. 320—383.
- 70) Тейлор Алан, цит. изд., с. 545.
- 71)—72) См.: Волков Ф. Д. Тайное становится явным. Деятельность дипломатии и разведки западных держав в годы Второй мировой войны. М., 1989, с. 269.
- 73) См. об этом: Яковлев Н. 3 сентября 1945. М., 1971, с. 26—30.

- 74) Секреты Гитлера на столе у Сталина. Март—июнь 1941 г. М., 1995, с. 35, 70, 80.
- 75) Судоплатов Павел. Разведка и Кремль... М., 1996, с. 109.
- 76) См.: Анфилов В. А. Дорога к трагедии сорок первого года. М., 1997, с. 198.
- 77) Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 42, 43.
- 78) История России. XX век. М., 1996, с. 412.
- 79) Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945. Краткая история. М., 1984, с. 41.
- 80) История Второй мировой войны. 1939—1945. М., 1975, т. 4, с. 18.
- 81) Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946, с. 38, 39, 40.
- 82) Цит. по кн.: Косолапов Ричард. Слово товарищу Сталину. М., 1995, с. 180.
- 83) Похлебкин В. В. Великая война и несостоявшийся мир. Военный и внешнеполитический справочник. М., 1997, с. 18, 121.
- 84) История России. XX век. М., 1996, с. 393, 394.
- 85) Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996, с. 266.
- 86) См.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. Приложения. М., 1990.
- 87) Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 643—644.
- 88) Ленин В. И. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 33, с. 120.
- 89) Вторая мировая война... Два взгляда. М., 1995, с. 449.
- 90) Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М., 1991, с. 13.
- 91) Ленин В. И., цит. изд., т. 41, с. 148.
- 92) Хаффнер Себастиан. Самоубийство Германской империи. М., 1972, с. 27—28.
- 93) Почему-то в ряде сочинений этот прорыв датируется 16 октября, когда фронт находился еще на расстоянии 150 км от Москвы. По свидетельству генерала А. А. Лобачева, члена Военного совета (то есть «второго» по положению начальника) 16-й армии, сражавшейся именно на этом участке фронта, указанный прорыв имел место 30 ноября, когда фронт находился в 16 км от границы Москвы. См.: Лобачев А. А. Трудными дорогами. М., 1960, с. 258.
- 94) См.: Дорога на Смоленск. Американские писатели и журналисты о Великой Отечественной войне советского народа. 1941—1945. М., 1985, с. 79.
- 95) См.: Сандалов Л. М., генерал-полковник. На Московском направлении. М., 1970, с. 259.
- 96) Рейнгардт Клаус. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941—1942 года. М., 1980, с. 237.
- 97) За Москву, за Родину. М., 1964, с. 42.

- 98) Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1984; Казаков В. И. Артиллерия, огонь! М., 1975; Сандалов Л. М. На Московском направлении. М., 1970.
- 99) Захаров С. Е., Зверев Ю. И. На подмосковных рубежах. М., 1984, с. 36.
- 100) Провал гитлеровского наступления на Москву. М., 1966, с. 94, 95, 105.
- 101) Жуков Г. К., маршал. Воспоминания и размышления. М., 1985, том 2, с. 226.
- 102) Битва за Москву. М., 1966, с. 253.
- 103) Цит. по кн.: Проэктор, Д.-М. указ. соч., с. 314.
- 104) Там же, с. 310.
- 105) Цит. по кн.: Анфилов В. А. Крушение похода Гитлера на Москву. 1941. М., 1989, с. 299.
- 106) Поход в Москву в 1812 году: мемуары участника, французского генерала графа де Сегюра. М., 1911, с. 97.
- 107) Коленкур Арман де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. М., 1943, с. 220.
- 108) Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 146.
- 109) Там же.
- 110) Сандалов Л. М., цит. соч., с. 253, 255.
- 111) Солженицын Александр. Публицистика. Вермонт — Париж, 1989, с. 141.
- 112) Там же, с. 306 второй пагинации.
- 113) Решетовская Н. В споре со временем. М., 1975, с. 40—41.
- 114) Столяров Кирилл. Палачи и жертвы. М., 1997, с. 334—335, 343.
- 115) Решетовская Н., цит. соч., с. 33.
- 116) Момыш-улы Баурджан. За нами Москва. Записки офицера. Алма-Ата, 1970, с. 372.
- 117) Твардовский А. Стихотворения и поэмы. М., 1986, с. 865.
- 118) Сандалов Л. М., цит. соч., с. 273.
- 119) Ржевская Елена. Ближние подступы. М., 1985, с. 54.
- 120) Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М., 1956, с. 24.
- 121) Маршал Жуков, каким мы его помним. М., 1989, с. 310.
- 122) Сандалов Л. М., цит. соч., с. 253—254.
- 123) Ржевская Елена. Была война... М., 1980, с. 107—108.
- 124) Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Довольно о войне? Воронеж, 1992, с. 77.
- 125) Солженицын Александр. Публицистика... С. 323 второй пагинации.
- 126) Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994, с. 623.
- 127) Народы России. Энциклопедия. М., 1994, с. 61.
- 128) Людские потери СССР в Великой Отечественной войне. Сборник статей. СПб, 1995, с. 40.

- 129) Максудов С. О фронтовых потерях Советской Армии в годы Второй мировой войны. «Свободная мысль», 1993, № 10, с. 118—119.
- 130) Солженицын Александр. «Русский вопрос» к концу XX века. М., 1995, с. 81—82.
- 131) Гриф секретности снят... С. 146.
- 132) Народонаселение... С. 623.
- 133) Людские потери СССР в Великой Отечественной войне... С. 74.
- 134) См.: Мельников Д., Черная Л. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии. 1933—1945. М., 1987, с. 347—348.
- 135) Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы, материалы. М., 1987, с. 210.
- 136) Преступные цели — преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1945 гг.). М., 1968, с. 159, 160.
- 137) Там же, с. 174.
- 138) Мельников Д., Черная Л. Империя смерти, с. 365.
- 139) Преступные цели гитлеровской Германии... С. 114.
- 140) Преступные цели — преступные средства... С. 184.
- 141) Соколов Борис. Цена победы... М., 1991, с. 12.
- 142) Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А., цит. соч., с. 93, 94.
- 143) Черчилль, цит. соч., кн. 2, с. 569—570.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятая

(с. 170—217)

- 1) Грайнер Б., Штайнгаус К. На пути к 3-й мировой войне? Военные планы США против СССР. Документы. М., 1983, с. 29. См. также: Холловэй Дэвид. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия. 1939—1956. Новосибирск, 1997, с. 301.
- 2) Тейлор Алан. Вторая мировая война. — В кн.: Вторая мировая война. Два взгляда. М., 1995, с. 383—384.
- 3) Цит. по кн.: Яковлев Н. Н. Новейшая история США. 1917—1960. М., 1961, с. 326, 327.
- 4) «Источник. Документы русской истории», 1998, № 1(32), с. 98.
- 5) «Вопросы истории», 1992, № 1, с. 54.
- 6) «Известия ЦК КПСС», 1991, № 2, с. 194.
- 7) Хрущев Никита Сергеевич. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997, с. 224.
- 8) Н. С. Хрущев (1894—1971). Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. 18 апреля 1994 года. Горбачев-Фонд. М., 1994, с. 116, 120.
- 9) «Неизвестная Россия. XX век», т. III. М., 1993, с. 142.

- 10) То же, т. I. М., 1992, с. 272.
- 11) История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991, с. 7.
- 12) См.: Чернев А. Д. 229 кремлевских вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК. Коммунистическая партия в лицах и цифрах. М., 1996, с. 39—44.
- 13) См., напр.: Шейнис Зиновий. Провокация века. М., 1992.
- 14) См., напр.: Жуков Ю. Н. Кремлевские тайны. Сталина отстранили от власти в 1951 году? «Независимая газета», 21 декабря 1994 г.; Он же. Тихая десталинизация. Борьба с культом личности началась в марте 1953 года. Там же, 27 мая 1997 года.
- 15) Радзинский Эдвард. Сталин. М., 1997, с. 518.
- 16) Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1985, т. 2, с. 215.
- 17) Маршал Жуков, каким мы его помним. М., 1989, с. 105, 394.
- 18) Зима В. Ф. Голод в СССР 1946—1947 годов: происхождение и последствия. М., 1996, с. 170.
- 19) Попов В. П. Крестьянство и государство (1945—1953). Париж, 1992, с. 134.
- 20) Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник. М., 1988, с. 10.
- 21) Восленский Михаил. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. London, 1990, с. 160—165.
- 22) Поражение германского империализма во Второй мировой войне. Статьи и документы. М., 1960, с. 281—282.
- 23) СССР — США (цифры и факты). М., 1961, с. 76.
- 24) Сельское хозяйство СССР... С. 10.
- 25) Сталин И. Сочинения, т. 16, 1946—1952. М., 1997, с. 7.
- 26) Пришвин М. М. Собрание сочинений в восьми томах, т. 8. М., 1986, с. 408.
- 27) Он же. Собрание сочинений в шести томах, т. 6. М., 1957, с. 386.
- 28) Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 522.
- 29) «Источник...», 1998, № 1, с. 97.
- 30) Сталин И. Т. 16, с. 27.
- 31) Клайн Рэй. ЦРУ от Рузвельта до Рейгана. New York, 1989, с. 164, 166.
- 32) Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М., 1996, с. 43.
- 33) Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. М., 1992, с. 72.
- 34) Мурашко Г. П., Волокитина Т. В., Носкова А. Ф. Создание соцлагеря. — В кн.: Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Том 2. Апогей и крах сталинизма. М., 1997, с. 28, 29.
- 35) «Родина», 1993, № 11, с. 80, 81.
- 36) Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991, с. 334—335.
- 37) Там же, с. 333—334, а также: Хрущев, цит. соч., с. 269—270.
- 38) Клайн Рэй, цит. соч., с. 136.
- 39) Цит. по кн.: Найтли Филипп. Шпионы XX века. М., 1994, с. 295.

- 40) Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, т. 12. Л., 1949, с. 104.
- 41) Хемингуэй Эрнест. Собрание сочинений, т. 2. М., 1968, с. 306.
- 42) Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать. М., 1964, с. 224. Выделено мною. — В. К.
- 43) Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с. 329.
- 44) Цит. по кн.: Сосинский С. Б. Акция «Аргонавт» (Крымская конференция и ее оценка в США). М., 1970, с. 121.
- 45) См.: Наринский М. М. Нарастание конфронтации: план Маршалла, Берлинский кризис. — В кн.: Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Том 2. Апогей и крах сталинизма. М., 1997, с. 55, 58.

Глава шестая (с. 218—270)

- 1) Земсков Виктор. Политические репрессии в СССР (1917—1990 гг.). «Россия. XXI», 1994, № 1—2, с. 110.
- 2) Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). «Социологические исследования», 1991, № 6, с. 11.
- 3) Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. «Вопросы истории», 1990, № 3, с. 82.
- 4) См.: Воронцов Андрей. Дело Берии: живет и побеждает? «Шпион», 1993, № 1, с. 73—80 и № 2, с. 45—52; Стариков Борис. Сто дней «лубянского маршала». «Родина», 1993, № 11, с. 78—84; Столяров Кирилл. Палачи и жертвы. М., 1997.
- 5) См.: Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма Июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998, с. 758.
- 6) Земсков Виктор. Политические репрессии... С. 110.
- 7) «Известия ЦК КПСС», 1991, № 2, с. 150.
- 8) Неизвестная Россия. XX век, III, М. 1991, с. 76.
- 9) Симонов Константин. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. М., 1989, с. 273.
- 10) Судоплатов Павел. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы. М., 1997, с. 476.
- 11) См.: Волкогонов Дмитрий. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. М., 1989, кн. II, ч. 2, с. 189.
- 12) Хрущев Никита. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997, с. 214.
- 13) Столяров Кирилл. Палачи и жертвы. М., 1997, с. 115.
- 14) Хрущев Никита, цит. соч., с. 226.
- 15) Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма Июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998, с. 420.
- 16) Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992, с. 88.
- 17) См.: Кристофер Эндрю и Гордиевский Олег. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М., 1992, с. 422.

- 18) Костырченко Г. В. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. Документальное исследование. М., 1994, с. 143.
- 19) Молотов, Маленков, Каганович... С. 229.
- 20) Пленум ЦК КПСС. Июль 1953 года. Стенографический отчет. «Известия ЦК КПСС», 1991, № 2, с. 157.
- 21) Байбаков Н. К. От Сталина до Ельцина. М., 1998, с. 127.
- 22) «Источник. Документы русской истории», 1994, № 3, с. 99.
- 23) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 266.
- 24) Хрущев Никита, цит. соч., с. 222, 223.
- 25) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 263—264.
- 26) Хлевнюк О. В. Л. П. Берия: пределы исторической реабилитации. — В кн.: Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996, с. 150.
- 27) Земсков Виктор. Политические репрессии в СССР (1917—1990 г.г.) «Россия. XXI», 1994, № 1—2, с. 110.
- 28) См. там же.
- 29) Логинов В., доктор исторических наук. Об этой книге и ее авторе. — В кн.: Антонов-Овсеенко Антон. Сталин без маски. М., 1990, с. 3.
- 30) Антонов-Овсеенко Антон, цит. соч., с. 342.
- 31) Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994, с. 619—622.
- 32) Антонов-Овсеенко Антон, цит. соч., с. 103.
- 33) Иванова Г. М. ГУЛАГ: государство в государстве. — В изд.: Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Том 2. Апогей и крах сталинизма. М., 1997, с. 236.
- 34) Народонаселение... С. 623—624.
- 35) Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). «Социологические исследования», 1991, № 6, с. 15.
- 36) Земсков В. Н., цит. соч. «Социологические исследования», 1991, № 7, с. 12.
- 37) Там же, с. 11.
- 38) Земсков Виктор. Политические репрессии в СССР... С. 110.
- 39) «Социологические исследования», 1991, № 7, с. 10—11.
- 40) Преступность и правонарушения в СССР. Статистический сборник. 1989. М., 1990, с. 94.
- 41) «Социологические исследования», 1991, № 6, с. 15.
- 42) «Россия. XXI», 1994, № 1—2, с. 110.
- 43) Похлебкин В. В. Великая война и несостоявшийся мир. 1941—1945 — 1994. Военный и внешнеполитический справочник. М., 1997, с. 128, 132.
- 44) «Социологические исследования», 1991, № 7, с. 8—9.
- 45) См.: «Служба безопасности. Новости разведки и контрразведки». 1993, № 3, с. 13—23.
- 46) Яковлев Н. Н. Новейшая история США. 1917—1960. М., 1961, с. 364.

- 47) Неизвестная Россия. XX век. IV. М., 1993, с. 350—351, 353, 355.
- 48) Похлебкин В. В., цит. соч., с. 128.
- 49) Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать». Документы, факты, комментарии. М., 1992, с. 257.
- 50) Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 50.
- 51) «Новое время», 1993, № 2—3, с. 49.
- 52) Симонов Константин. Глазами человека моего поколения. Размышления об И. В. Сталине. М., 1989, с. 284—286.
- 53) Кожин Вадим. Искусство живет современностью. «Вопросы литературы», 1966, № 10, с. 29.
- 54) «Наш современник», 1998, № 11—12, с. 133.
- 55) Там же, 1999, № 5, с. 127—135.
- 56) Евтушенко Евгений. Волчий паспорт. М., 1998, с. 73.
- 57) Там же, с. 242.
- 58) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 324—325.
- 59) Судоплатов Павел. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы. М., 1997, с. 637.
- 60) Медведев Рой. Генсек с Лубянки (Политическая биография Ю. В. Андропова). М., 1993, с. 80.
- 61) Кожин Вадим. Поэты и стихотворцы. «Вопросы литературы», 1966, № 3, с. 35.

Глава седьмая (с. 271—345)

- 1) «Вопросы истории», 1991, № 12, с. 66.
- 2) Гиренко Ю. С. Сталин — Тито. М., 1991, с. 391.
- 3) Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 52, 53.
- 4) Холловэй Дэвид. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия. 1939 — 1956. Новосибирск, 1997, с. 342.
- 5) Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах, т. 26. М., 1984, с. 79—80.
- 6) Данилова Е. Н. «Завешание» Петра Великого. — В кн.: Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986, с. 213—279.
- 7) Филитов А. М. «Холодная война». Историографическая дискуссия на Западе. М., 1991, с. 107.
- 8) Иванян Э. А. Белый дом: президенты и политика. М., 1979, с. 168.
- 9) Судоплатов Павел. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы. М., 1997, с. 341—354.
- 10) Найтли Филипп. Шпионы XX века. М., 1994, с. 287.
- 11) «Правда», 1946, 12 августа.

- 12) Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». М., 1946, с. 36.
- 13) «Наш современник», 1995, № 10, с. 184—198.
- 14) См.: Иного не дано. М., 1988, с. 12—23.
- 15) Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 1990, с. 291, а также: Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой, том третий. М., 1997, с. 292.
- 16) Цит. по кн.: Волкогонов Дмитрий. Триумф и трагедия. И. В. Сталин. Политический портрет. М., 1989, кн. II, часть 2, с. 61—62.
- 17) Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994, с. 119, 130, 132.
- 18) Там же, с. 15.
- 19) Симонов Константин. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М., 1989, с. 121—122, 140.
- 20) См. примечание 17.
- 21) Столяров Кирилл. Палачи и жертвы. М., 1997, с. 104.
- 22) Хрущев Никита, цит. соч., с. 219; Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991, с. 434.
- 23) Ахматова А. А. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. 2, с. 143.
- 24) «Нева», 1988, № 5, с. 140.
- 25) Они не молчали. М., 1991, с. 391, 399.
- 26) Судоплатов Павел, цит. соч., с. 517.
- 27) Костырченко Г. В. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев СССР в последнее сталинское десятилетие. Документальное исследование. М., 1994, с. 74.
- 28) Сталин И. Сочинения, т. 13. М., 1951, с. 149.
- 29) Капица П. Л. Письма о науке. М., 1989, с. 248.
- 30) Симонов Константин, цит. соч., с. 129, 130, 131.
- 31) «Литературная газета», 1947, 20 сентября; «Октябрь», 1947, № 9.
- 32) «Октябрь», 1948, № 1, с. 3—27.
- 33) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 193.
- 34) «Литературная газета», 1948, 25 февраля.
- 35) Борщаговский Александр. Записки баловня судьбы. М., 1991, с. 29.
- 36) Альбац Евгения. Еврейский вопрос. М., 1995, с. 22.
- 37) Агурский Михаил. Ближневосточный конфликт и перспективы его урегулирования. «Наш современник», 1990, № 6, с. 127, 128.
- 38) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 10.
- 39) Понтрягин Л. С. Жизнеописание, составленное им самим. М., 1998, с. 113.
- 40) Авторханов А. Технология власти. М., 1991, с. 473.
- 41) Он же. Загадка смерти Сталина (Заговор Берии). М., 1992, с. 62.
- 42) Шейнис Зиновий. Провокация века. М., 1992, с. 56.
- 43) Бережков Валентин. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993, с. 340.

- 44) Шейнис З. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М., 1989, с. 421.
- 45) Аллилуева Светлана. Двадцать писем к другу. М., 1990, с. 182.
- 46) «Вопросы истории», 1991, № 12, с. 58.
- 47) См.: Аллилуев Владимир. Хроника одной семьи. Аллилуевы. Сталин. М., 1995, с. 175.
- 48) Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. London, 1990, с. 137.
- 49) Аллилуев Владимир, цит. соч., с. 212.
- 50) Говрин Йосеф. Израильско-советские отношения. 1953—1967. М., 1994, с. 10, 11.
- 51) Никитина Г. С. Государство Израиль (особенности экономического и политического развития). М., 1968, с. 55.
- 52) Меир Голда. Моя жизнь. Автобиография. Printed in Israel, 1989, с. 258.
- 53) Агурский Михаил. Ближневосточный конфликт и перспективы его урегулирования. «Наш современник», 1990, № 6, с. 129.
- 54) «Вестник еврейской советской культуры», 1989, 21 июля.
- 55) Бесси Алва. Инквизиция в раю. М., 1968, с. 162.
- 56) Борщаговский Александр. Записки баловня судьбы. М., 1991, с. 154.
- 57) Он же. Обвиняется кровь. М., 1994, с. 4.
- 58) Там же, с. 10.
- 59) Аллилуев Владимир. Хроника одной семьи. Аллилуевы. Сталин. М., 1995, с. 247.
- 60) Никитина Г. С., цит. соч., с. 83—84.
- 61) Цит. по кн.: Эндрю Кристофер и Гордиевский Олег. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М., 1990, с. 419.
- 62) Никитина Г. С., цит. соч., с. 99, 101, 404; Государство Израиль. Справочник. М., 1986, с. 147.
- 63) Айзенберг Деннис, Дан Ури, Ландау Эли. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля. М., 1993, с. 228—239.
- 64) Цит. по кн.: Рапопорт Виталий, Алексеев Юрий. Измена родине. Очерки по истории Красной Армии. London, 1988, с. 384.
- 65) «Советская литература», 1990, № 5, с. 69.
- 66) Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941—1948. Документированная история. М., 1996, с. 384.
- 67) Ваксберг Аркадий. Нераскрытые тайны. М., 1993, с. 266.
- 68) Авторханов А. Загадка смерти Сталина. (Заговор Берин). М., 1992, с. 62.
- 69) «Источники», 1997, № 5, с. 140—141.
- 70) Штейн Александр. И не только о нем... М., 1990, с. 213.
- 71) Столяров Кирилл, цит. соч., с. 19.
- 72) Шейнис З, цит. соч., с. 174.
- 73) Инквизитор. Сталинский прокурор Вышинский. М., 1992, с. 75.

- 74) См.: «Новый мир», 1949, № 3, с. 188.
- 75) Костырченко Г. В., цит. соч., с. 177—206.
- 76) Данин Даниил. Бремя стыда. М., 1996, с. 73.
- 77) «Новый мир», 1949, № 3, с. 185—186.
- 78) «Вопросы литературы», 1994, вып. III, с. 218.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава восьмая

(с. 346—385)

- 1) Н. С. Хрущев (1894—1971). Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. 18 апреля 1994 года. Горбачев-Фонд. М., 1994, с. 114.
- 2) «Известия ЦК КПСС», 1991, № 1, с. 144.
- 3) Борщаговский Александр. Записки баловня судьбы. М., 1991, с. 69.
- 4) Диалог. Карнавал. Хронотоп. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. Витебск, 1992, № 1, с. 118—120.
- 5) Борщаговский Александр, цит. соч., с. 365.
- 6) Сталин И. Сочинения, т. 11, с. 232.
- 7) Имеется в виду исследование: Зубкова Е. Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства. «Отечественная история», 1995, № 4.
- 8) Хлевнюк О. В. Л. П. Берия: пределы исторической «реабилитации». — В кн.: Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1996, с. 149—150.
- 9) «Известия ЦК КПСС», 1991, № 2, 157.
- 10) Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. М., 1994, с. 391—392.
- 11) Неизвестная Россия. XX век. III. М., 1993, с. 129, 135, 13.
- 12) См. Косолапов Ричард. Слово товарищу Сталину. М., 1995, с. 322.
- 13) «Социологические исследования», 1991, № 7, с. 14.
- 14) Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1953, с. 644.
- 15) История России. XX век. М., 1996, с. 523—524.
- 16) Симонов Константин. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М., 1989, с. 274.
- 17) «Известия ЦК КПСС», 1991, № 1, с. 153.
- 18) Мы и планета. Цифры, факты. М., 1969, с. 102.
- 19) Столяров Кирилл. Палачи и жертвы. М., 1997, с. 260.
- 20) Зубкова Е. Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель». — В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991, с. 319.
- 21) Косолапов Ричард, цит. соч., с. 164.

- 22) Заседания Верховного Совета СССР (пятая сессия.), 5—8 августа 1953 г. Стенографический отчет. М., 1953, с. 281.
- 23) Сталин И. Сочинения, т. 16. М., 1997, с. 169.
- 24) Хрущев Н. С. Об увеличении производства продуктов животноводства. Доклад на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 января 1955 года. М., 1955, с. 4.
- 25) Сталин И., цит. изд., с. 122.
- 26) Бурлацкий Федор. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них... М., 1990, с. 27—28.
- 27) «Правда», 13 марта 1954 года.
- 28) Цит. по кн.: Трудные вопросы истории... М., 1991, с. 220.
- 29) Зубкова Е. Ю. После войны... С. 305—306.
- 30) Зубкова Е. Ю. 1953 год и новая аграрная политика. — В кн.: История России. XX век. М., 1996, с. 522.
- 31) Газ. «Труд» от 13 сентября 1996 года.
- 32) Холловэй Дэвид. Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия. 1939—1945. Новосибирск, 1997, с. 304, 417—418.
- 33) СССР — США (цифры и факты). М., 1961, с. 71, 79, 41, 44.
- 34) СССР — США ... С. 80; СССР в цифрах в 1973 году. М., 1974, с. 123.
- 35) Зубкова Е. Ю. После войны... С. 306.
- 36) Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991, с. 86.
- 37) Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб, 1992, том 2, с. 85.
- 38) Дойчер Исаак. Троцкий в изгнании. М., 1991, с. 355, 358.
- 39) Молотов, Маленков, Каганович. 1957... М., 1998, с. 539.
- 40) Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 27.
- 41) Хрущев Никита. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997, с. 267.

Глава девятая и Вместо эпилога (с. 386—431)

- 1) «Литературная газета» от 18 марта 1970 года.
- 2) Орлова Раиса. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993, с. 225, 226.
- 3) Новиков В. Н. В годы руководства Н. С. Хрущева. «Вопросы истории», 1989, № 1, с. 106, № 2, с. 105, № 1, с. 108, № 2, с. 110, 111, 115.
- 4) СССР — США (Цифры и факты). М., 1961, с. 52, 58.
- 5) «Вопросы истории», 1989, № 2, с. 113.
- 6) См.: Рождественский С. Р. Материалы к истории самостоятельных политических объединений в СССР после 1945 года. — В кн.: Память. Исторический сборник. Выпуск 5. Москва — Париж, 1982; Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс—Москва, 1992; Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М., 1995.

- 7) «Вопросы истории», 1989, № 2, с. 117.
- 8) Бухарин Н. И. Путь к социализму. Избранные произведения. Новосибирск, 1990, с. 281.
- 9) Пайпс Ричард. Россия при старом режиме. М., 1993, с. 30.
- 10) Зубкова Е. Ю. Оттепель (1953—1964). — В кн.: История России. XX век. М., 1996, с. 524—525.
- 11) СССР в цифрах в 1973 году. М., 1974, с. 105.
- 12) Хрущев Никита Сергеевич. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997, с. 407—408.
- 13) Зубкова Е. Ю. После войны: Маленков, Хрущев и «оттепель». — В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991, с. 307.
- 14) От оттепели до застоя. М., 1990, с. 189.
- 15) «Правда», 5 февраля 1931 года.
- 16) Малая Советская энциклопедия. М., 1930—1931, т. 6, с. 186, 187; т. 7, с. 418.
- 17) Цит. по кн.: Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов. М., 1991, с. 49, 29.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

Часть первая 1939—1945

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

<i>Глава первая.</i> Война и геополитика	6
<i>Глава вторая.</i> Внезапность или неготовность?	80
<i>Глава третья.</i> Москва — Ржев — Берлин	96
<i>Глава четвертая.</i> Итоги войны	131
<i>Приложение.</i> Война и евреи	153
Поэзия военных лет (<i>вместо заключения</i>)	158

Часть вторая 1946—1953

«НЕИЗВЕСТНОЕ» ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ

<i>Глава пятая.</i> СССР и мировая ситуация послевоенных лет . . .	170
<i>Глава шестая.</i> Лаврентий Берия, послевоенные репрессии, сталинский культ...	218
<i>Глава седьмая.</i> Борьба с «антипатриотизмом» и «еврейский вопрос»	271

Часть третья 1953—1964

ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА...

<i>Глава восьмая.</i> О так называемой оттепели	346
<i>Глава девятая.</i> «Хрущевская» десятилетка	386
<i>Вместо эпилога.</i> Откуда и куда мы идем?	410
<i>Примечания</i>	432

Кожинов Вадим Валерианович

РОССИЯ. ВЕК XX

1939—1964

Ответственный редактор *А. Корина*

Редактор *П. Ульяшов*

Художественный редактор *А. Новиков*

Технический редактор *Н. Носова*

Компьютерная верстка *Т. Комарова*

Корректор *Л. Гусева*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.

www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12

(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.

Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.

Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.

Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.

Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

ООО Дистрибуторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.

Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:

РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть книжных магазинов «Буквоед»:

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34

и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Нижнем Новгороде:

РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Челябинске:

ООО «ИнтерСервис ЛТД», г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 14. Тел. (3512) 21-35-16.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.11.2004.

Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52

Тираж 3000 экз. Заказ № 6895.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15

Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Книга выдающегося писателя, мыслителя, историка Вадима Валериановича Кожинова (1930–2001) охватывает двадцатипятилетний период отечественной истории с 1939 по 1964 год. Период, который разделяется на время войны, послевоенное восьмилетие (до смерти Сталина) и годы хрущевского правления. Подход автора к исследуемому материалу во многом неординарен и даже неожиданный. Потому, наверное, по-новому видятся события, казалось бы, известные и хорошо изученные.



ISBN 5-699-09129-7



9 785699 091294 >